ИНОСТРАННАЯ литература

1
1967

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Иностранная литература

ОРГАН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР

Издательство «Известия» • Москва

1

ЯНВАРЬ
1967

СОДЕРЖАНИЕ

ПОВЕСТИ

ЛЕОНАРДО ШАША — Каждому свое. Американская тетушка 9

Будущее начинается сегодня

СТИХИ

ПЕТР КАРААНГОВ — Я верю... 3
КОШТА АНДРАДИ — Ты будешь... 4
ДАШДОРЖИЙН НАЦАГДОРЖ — Марс 6
АНАТОЛЬ СТЕРН — Грядущее 6
МИХАЙ БЕНЮК — Красная звезда 7
БОЖИДАР БОЖИЛОВ — О Луне и человеке . . . 8
ДОРА ГАБЕ — На пороге 116
ЛОДОЙН ТУДЭВ — Крылатый конь. На фотографии — Земля 137
ЛЮБОМИР ЛЕВЧЕВ — Железная перчатка 156
МИХУ ДРАГОМИР — Из записок космонавта . . . 180

СУМИТРАНАНДАН ПАНТ — Локаятан (Фрагменты поэмы) 193

Из современной фантастики

РАССКАЗЫ

АНТОН ДОНЧЕВ — Возвращение 98
ИВО ШТУКА — Находка у Белых Камней 103
ДЖ. БРЕННАН — Последняя инстанция 117
РОБЕРТ ШЕКЛИ — Терапия 124
УИЛЬЯМ ТЕНН — Недуг 138
МОРИО КИТА — Машина времени 158
АНХЕЛЬ АРАНГО — Три новеллы 170
АНТОН ДОНЕВ — Фантастический юмор 181

КРИТИКА

Ю. КАГАРЛИЦКИЙ — Человек и будущее человечества 201

Е. БРАНДИС, В. ДМИТРЕВСКИЙ — Фантастика в движущемся мире 212

ПУБЛИЦИСТИКА

СТАНИСЛАВ ЛЕМ — Куда идешь, мир? 219

ДАНИИЛ ГРАНИН — И все же... 227

АРМАН ЛАНУ — Мир 2000. года будет принадлежать похитителям огня 233

РОБЕРТ ЮНГ — Электронный оракул 237

ЖАН МАРАБИНИ — На сто лет вперед 240

Г. ГУРЕВИЧ — На экране — фантастика 245

АНКЕТА «ИНОСТРАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ»

ПОЧЕМУ Я СТАЛ ФАНТАСТОМ... 250

НАШИ ГОСТИ

РАЗГОВОР ШЕЛ О ФАНТАСТИКЕ. Кобо Абэ в «Иностранной литературе» (Отчет А. Стругацкого и Б. Стругацкого) 264

СРЕДИ КНИГ

Борис Слуцкий — Доказуемое будущее. С. Ларин — Разум одержит верх. Р. Нудельман — Голос отчаяния. Ариадна Громова — Как построить мир? Ф. Мендельсон — Фантастика и сатира. Н. Павлова — Невероятность современного мира. Л. Ягодовский — Чтобы люди стали лучше. В. Неделин — По поводу супермена и других сверхгероев комиксов. И. Роднянская — Вера и сомнения. Кирилл Ковальджи — Они уверенно смотрят в будущее 267

АВТОРЫ ЭТОГО НОМЕРА

. 286

В номере опубликованы карикатуры зарубежных художников А. ДОСТАЛОВОЙ, Я. КРУЛИКОВСКОГО, И. КОНРАДА, С. ХОЛЫ, Й. БИДЛО, К. ЛЕШШО, В. РЕНЧИНА, З. ЗЕМЕЦКОГО, М. НЕСВАДБЫ, Г. АНАСТАСОВА, ЭД. ФИШЕРА, К. ФЕРСТЕРА, перепечатанные из журналов «Дикобраз» (Чехословакия), «Рогач» (Чехословакия), «Шпильки» (Польша), «Стыршел» (Болгария), «Ойленшпигель» (ГДР) и других, а также из книги «Сфера комического» К. ФЕРСТЕРА (Польша) и сборника карикатур ЭД. ФИШЕРА (США). Работы Ж. ЭФФЕЛЯ выполнены автором по заказу редакции.

На обложке: рисунок ФРАНЦА ХААКЕНА (ГДР).

Будущее начинается сегодня

ПЕТР КАРААНГОВ

Я верю...

Подушки снега ночь взбивает пышно —
и город, в них упав,
по рельсам тишины ведет неслышно
огромный свой состав.

Персты подняв, плывут деревья в утро
сквозь мутный снежный дым —
и дальний свет полоской перламутра
уж улыбнулся им...

Не сплю на этом движущемся ложе,
бледнеет тень обид,
и сердце спрашивает: что же, что же
рассвет в себе таит?

Я вижу: там леса шумят над нивой
высокою волной,
улыбки там щедрее и счастливей,
чем в этот час ночной.

Там от домов тепло струиться будет,
смывая лед тоски,
там радость, словно хлеб, разрежут люди
на равные куски.

Там в людях даже сложность стать сумеет
открытой и простой,
и то, что не красиво, не посмеет
назваться красотой.

...Подушки снегопада взбиты пышно —
и город, в них упав,
по рельсам тишины ведет неслышно
огромный свой состав.

Я верю: день разумный, справедливый
поднимется, лучась,—
и станет человек сильней, счастливей,
чем в этот ранний час!

Но и тогда, и за хребтами века,
на дальнем берегу
настигнет вдруг, охватит человека
тоска в ночном снегу.

Все шире будет той тоски граница —
чтоб сердцу даже там
мечтательно, мучительно стремиться
к далеким берегам.

Перевод с болгарского
ВАЛЕНТИНА КОРЧАГИНА

КОШТА АНДРАДИ

Ты будешь...

Любимая моя! Ты будешь
Моей Анголой завтрашнего дня,
С твоими жаркими глазами
Ты будешь доказательством существованья
Людей свободных, поющих, словно птицы...

Ты будешь
Дождем, пролившимся на семена,
Ты будешь криком возмущенья
И криком созиданья
В поэмах цвета крови,
Текущей в жилах у меня...

Ты будешь матерью,
Ты улыбнешься тысячам детей,
Которые пожнут плоды
Жестокой гибели героев,
Ты будешь знаменем поэта,
Поднявшимся над мертвою землей.

Ты будешь,
Потому что любишь ты и плачешь,
Ты будешь,
Потому что любишь ты и обвиняешь...
Народа голос в голосе твоем
Питает жажду жизни и борьбы
И ненависть к убийцам.
Ты будешь,
Потому что хлеб
Останется навеки хлебом.

Ты будешь
Для того, чтоб завтра
Наш дом наполнился цветами,
Чтоб свет ворвался в нашу дверь
И ритмы танцев островов креольских.

Ты будешь...
А потом придут
Друзья всех наций,
Они придут, увидят, что мечта жить на свободе
Победила!

Любимая моя!
Ты будешь...
И несмотря на слезы,
На то, что мы не знаем ничего на свете,
Что мы не знаем
Детей, которые играть умеют,
Что мы не знаем
Детей, которые справляют ежегодно елку,
Что мы не знаем,
Что мы не знаем...

Мы знаем только то, что будем жить,
И что живем уже,
И что отчизна наша,
Возрождаясь день ото дня
В слезах, в крови, в любви,
Ведет борьбу во имя жизни!

Перевод с португальского
ЛИДИИ НЕКРАСОВОЙ

ДАШДОРЖИЙН НАЦАГДОРЖ

Марс

Багровый свет... Снега, каналы, горы...—
сквозь даль дорог, сквозь тьму и звездный дым
к тебе мы жадно устремляем взоры,
в твой тайный мир проникнуть мы хотим.

Быть может, жизнь в бессонной круговерти
и на тебе — сады, цветы, трава...
Быть может, на твоей кроваво-красной тверди —
всесильные, как боги, существа...

Скажи мне — почему нет от тебя вестей?
И смотрят ли на Землю телескопов линзы?
Есть на тебе любовь — бессмертный смерч страстей?
Построен ли уже социализм?

Взгляни на Землю, Марс, на шар наш голубой!..
Ты в космосе мерцаешь красной искрой...
И, может быть, неотвратимо близко
мгновение, когда мы встретимся с тобой!

Перевод с монгольского
ЯКОВА БЕЛИНСКОГО

АНАТОЛЬ СТЕРН

Грядущее

Смотря на окаменевшее вино янтаря,
что на смуглой груди у любимой,
ты думаешь о непроходимых первобытных чащах,
которые поглотил когда-то с ревом океан.
Это твое вчера,
а каким будет твое завтра?
Через полянку перед твоим окном
плывет темно-синяя туча
с малиновым лоскутом заката —
женщина в темно-синем переднике
и ее четырехлетний сын,
этакая маленькая реальность!
Он с усилием переставляет ножки
в раздувшихся шароварах.

Может быть, это будущий
Данте или Эйнштейн?
Может быть, через двести лет,
или сто,
или завтра
любой из нас почувствует,
что нога его ступила на звезду,
на одну из миллиарда звезд,
тех звезд, что родились из вздоха любви?
Этого вполне хватит,
чтобы земля стала раем,
человеческим раем.

Перевод с польского
Е. ВИНОКУРОВА

МИХАЙ БЕНЮК

Красная звезда

Сталкиваются туманности,
солнечные системы,
гаснут светила,
потом воскресают *сверхновыми* звездами.
Шепчутся атомы,
сферы поют,
и проходят миллиарды светогодов,
или приходят, кто знает!
Где-то на щепке
конечный среди бесконечности
стоит человек на мысе Доброй Надежды,
считает несчетные звезды,
измеряет безмерные дали,
и мысль его убегает
то назад, то вперед,
и ткет эфемерную истину,
и мечту великую ткет
над все большим и большим простором грядущего.
А мечта далека,
как гигантские красные звезды,
которые в тысячи раз
ярче, пламенней нашего солнца.
Свобода — это красная звезда.
Ее поймал в телескоп
мечтающий человек.

Перевод с румынского
КИРИЛЛА КОВАЛЬДЖИ

БОЖИДАР БОЖИЛОВ

О Луне и человеке

Да, всегда во мне жило подспудное чувство,
что фантастика карты смешала заране!
Нынче видим Луну мы
не глазом искусства,
а обыденно,
просто
на телеэкране.
Будто дали земные, что пашней одеты,
кое-где на них камни чернеют даже.
О, причудливость линий Пикассо,
где ты?
Ничего необычного в лунном пейзаже...
Убежден, что и там, далеко за Луною,
где в галактиках бьется антиматерия,
встретит нас что-то очень знакомо-земное,
а не круго-угловая феерия.
Ни догадки схоластов повторять я не буду,
ни старинную притчу про потоп и ковчег.
Но, возможно, самым великим чудом
во Вселенной окажется человек.
Это странное зданье из нервов и клеток,
что фантастами стало,
бунтарями,
поэтами,
победившее в трудной страде пятилеток,
чтобы дальние звезды ощупать ракетами...

Перевод с болгарского
ВИКТОРА ВИНОГРАДОВА

ЛЕОНАРДО ШАША

Каждому свое

ПОВЕСТЬ

Перевод с итальянского Л. ВЕРШИНИНА

Глава первая

Письмо принесли с дневной почтой. Вначале почтальон, как обычно, положил на стойку пачку разноцветных рекламных брошюрок. Затем осторожно, точно боялся, что оно вот-вот взорвется, письмо. На желтом конверте — белый прямоугольник напечатанного типографским шрифтом адреса.

— Не нравится мне это письмо,— сказал почтальон.

Аптекарь оторвался от газеты, снял очки и спросил удивленно и даже несколько раздраженно:

— В чем дело?

— Я говорю, не нравится мне это письмо.— И почтальон указательным пальцем с опаской подвинул конверт аптекарю. Тот, не притрагиваясь к письму, склонился над мраморной стойкой, стараясь получше рассмотреть конверт. Затем взял письмо, вновь водрузил на нос очки и принялся изучать его.

— Чем же оно тебе не нравится?

— Его опустили ночью или рано утром. И заметьте, адрес вырезан из бланка со штампом вашей аптеки.

— А ведь верно,— согласился аптекарь и вопросительно поглядел на почтальона, будто ожидал от него совета или объяснения.

— Письмо анонимное,— заметил почтальон.

— Анонимное? — повторил аптекарь.

Он еще не дотронулся до письма, но оно уже ворвалось в его мирную домашнюю жизнь и, подобно молнии, грозило испепелить немного увядшую, некрасивую и неряшливо одетую женщину, которая в кухне жарила на ужин козленка.

— У нас многие не прочь послать анонимку,— сказал почтальон.

Он положил сумку на стул, а сам облокотился о мраморную стойку, явно дожидаясь, когда аптекарь наконец вскроет письмо. Он принес его нераспечатанным в надежде на простодушие и дружеское расположение адресата, не забыв, однако, хорошенько исследовать конверт. Рассуждал он так: «Если аптекарь вскроет письмо и прочтет, что ему наставили рога, он промолчит, но, если в письме угроза или просьба, он непременно скажет».

Во всяком случае уходить, ничего не узнав, почтальон не собирался — времени у него было предостаточно.

— Мне — и вдруг анонимное письмо? — после долгого молчания сказал аптекарь.

Он сказал это с возмущением, но на лице был написан испуг. Он побледнел, над губой выступили капельки пота, глаза растерянно блуждали. И хотя почтальон сгорал от нетерпения, он не мог не разделить изумления и возмущения аптекаря. Ведь владелец аптеки был человеком добродушным, сердечным и покладистым: он всем давал лекарства в кредит, а на земле, которая досталась ему от жены в приданое, крестьяне хозяйничали, как у себя дома. Никаких сплетен и пересудов не слышал почтальон и насчет его жены.

Внезапно аптекарь решился, он взял письмо, распечатал его, развернул сложенный лист бумаги. Как почтальон и подозревал, слова были вырезаны из газеты. Аптекарь залпом проглотил горькую «микстуру». Впрочем, в письме было всего две строчки.

— Ну и дела! — воскликнул он уже почти шутливо, с видимым облегчением.

«Значит, не про измену»,— решил почтальон и спросил:

— Что, угрозы?

— Да, грозятся,— подтвердил аптекарь и протянул ему письмо.

Почтальон поспешно схватил его и громко прочел:

— «Это письмо — твой смертный приговор. За содеянное тобою тебя ждет смерть».

Он сунул письмо в конверт и положил его на стойку.

— Да это просто шутка,— убежденно сказал он.

— Думаешь, шутка? — встревоженно переспросил аптекарь.

— А что же еще? Некоторые рогоносцы покоя себе не находят, так в отместку они уж не знают, чем бы досадить ближнему. Это не впервой. Еще они страсть как любят по телефону названивать.

— Что верно, то верно,— согласился аптекарь.— И со мной такое случалось. Однажды ночью слышу телефонный звонок. Подхожу, женский голос спрашивает, не потерял ли я собаку. А то она нашла одну, голубую, в крапинку, и ей будто бы сказали, что это собака аптекаря. Вот это и правда была шутка. А тут ведь смертью угрожают.

— Э, дело рук тех же глупцов,— уверенно сказал почтальон и, взяв сумку, направился к выходу.— Так что не стоит волноваться,— бросил он на прощание.

— Я и не волнуюсь,— ответил аптекарь; но почтальон уже ушел.

И все-таки он волновался. Уж очень грубой была шутка. Если только это шутка... А что же еще? Ссор он ни с кем не заводил, политикой не занимался, даже с друзьями избегал говорить о ней. Никто не знал, что по старой семейной традиции он голосовал на парламентских выборах за социалистов, а на муниципальных — за христианских демократов. Ведь когда в городке правили демо-христиане, им удавалось кое-что урвать у правительства для местных нужд, да к тому же левые партии упорно покушались на семейную ренту. Но он никогда не вступал в спор ни с теми, ни с другими — правые считали его своим сторонником, левые — своим. Впрочем, заниматься политикой — только время попусту терять. Тот, кто этого не понимает, либо преследует корыстные цели, либо слеп от рождения. Словом, он жил спокойно и мирно. А может, это и послужило причиной анонимного письма?

Какой-нибудь завистливый бездельник решил, верно, напугать его, посеять в душе беспокойство. Впрочем, у него есть одна-единственная страсть — охота, и, возможно, тут кроется причина анонимного письма. Охотники, это уж всем известно, народ не очень доброжелательный. Достаточно обзавестись хорошей собакой или хорька подстрелить, как все начнут тебе завидовать, даже друзья, которые охотятся вместе с тобой и по вечерам приходят в аптеку языки почесать. Такие вот типы уже не одну охотничью собаку отравили. Иной раз хозяева по недомыслию оставляли своих собак одних на центральной площади — пусть себе по-

бегают немного,— так потом их находили отравленными стрихнином. Может, у кого-нибудь стрихнин ассоциировался с аптекой. И зря, совершенно зря. Потому что для него, аптекаря Манно, собака — святая святых, особенно если она отменно хороша на охоте, будь то его собственная или друзей. Впрочем, его-то собаки могли не бояться яда. Всего их было у него одиннадцать, большинство чернейской породы. Откормленные, ухоженные, они полновластно хозяйничали в большом саду. Приятно было смотреть на них и слушать их заливистый лай. Правда, он немного злил соседей, но для аптекаря звучал сладостной музыкой. Он знал по голосу каждую собаку, точно угадывал, радуется ли она, сердится или заболела сапом. Ну конечно же все дело в собаках. Кто-то решил над ним подшутить, но, честно говоря, довольно зло. В среду у него единственный свободный день, а кто-то решил его попугать, чтобы он не пошел на охоту. Верно, собаки у него превосходные, но и стреляет он, если говорить без излишней скромности, наверняка — каждую среду зайцам и кроликам настоящее побоище устраивает. Его постоянный напарник по охоте, доктор Рошо, может это подтвердить. Он, кстати, тоже хороший стрелок, да и собаки у него отличные. Словом, все ясно... Анонимное письмо пробудило в нем даже чувство гордости и стало как бы свидетельством его охотничьей доблести. В среду открывается сезон охоты, а его хотят лишить самого большого удовольствия — ведь для аптекаря Манно это был самый радостный день года.

Продолжая раздумывать над тем, кто и с какой целью написал анонимку, хотя последнее уже не вызывало у него сомнений, аптекарь вынес плетеное кресло из дома и уселся в тени. Прямо напротив, освещенная неумолимыми лучами солнца, возвышалась бронзовая статуя Меркуцио Спано, магистра права, неоднократного заместителя министра почт и телеграфа. В своем двойном качестве магистра права и заместителя министра он длинной тенью задумчиво склонялся над анонимным письмом (так по крайней мере показалось аптекарю), но эта непочтительная мысль тут же сменилась чувством горечи за незаслуженную обиду. Чужая подлость лишний раз оттенила его собственную порядочность, и аптекарю стало очень жаль себя, ведь сам-то он на ответную подлость не способен. Когда тень Меркуцио Спано коснулась стен замка Кьярамонте на другой стороне площади, аптекарь был так глубоко погружен в свои невеселые думы, что дону Луиджи Корвайя показалось, будто он заснул.

— Проснись! — крикнул он приятелю.

Аптекарь вздрогнул, улыбнулся и поторопился принести дону Луиджи стул.

— Ну и денек,— вздохнул дон Луиджи, грузно опускаясь на стул.

— Термометр показывает сорок четыре,— сказал аптекарь.

— Да, но уже немного посвежело. Вот увидишь, ночью без одеяла не поспишь.

— Погода и та стала каверзной,— с горечью сказал аптекарь.

И тут же решил рассказать дону Луиджи о странном письме, а уж тот сам поделится новостью с каждым из приятелей.

— Представляешь, я получил анонимное письмо!

— Анонимное письмо?!

— Да, и с угрозами.— Аптекарь встал и пошел за письмом.

Дон Луиджи, прочтя две грозные строчки, воскликнул:

— О господи! — И тут же добавил: — Глупейшая шутка.

Аптекарь сразу согласился, что конечно это шутка, но, похоже, не без умысла.

— Какой здесь может быть умысел?

— Отвадить меня от охоты.

— Возможно. Вы, охотники, на всякую пакость способны,— заметил дон Луиджи.

Сам он осуждал это бессмысленное занятие, стоившее к тому же немалых денег и грудов, хотя вполне умел оценить жареную куропатку или кролика в кисло-сладком соусе.

— Не все,— уточнил аптекарь.

— Разумеется, разумеется. Нет правил без исключения. Но ты сам знаешь, на что способны некоторые охотники: собаке они за милую душу подсунут отравленную котлету, а то будто ненароком вместо зайца подстрелят гончую друга. Сущие негодяи. Собака-то здесь при чем? Хорошо ли, плохо ли, но свое собачье дело она знает. Если ты такой храбрый, своди счеты с самим хозяином.

— Ну, это разные вещи,— возразил аптекарь, которому тоже иной раз доводилось завидовать счастливому обладателю отличной своры гончих. Впрочем, он никогда не желал им смерти.

— А по мне, так это одно и то же. Кто может хладнокровно убить чужую собаку, вполне способен убить и ближнего своего, говаривал наш священник. Впрочем,— добавил он,— я могу и ошибиться. Ведь я сам не охотник.

Так они целый вечер проговорили о психологии охотников, и каждому, кто приходил, немедля сообщали об анонимке. А затем разговор неизменно заходил о ревности, зависти и злобной мстительности тех, кто подвизался на древнем и благородном поприще охоты. О присутствующих, разумеется, не говорили, хотя дон Луиджи подозревал чуть ли не в каждом автора анонимки и тайного отравителя чужих собак. Он буравил лица собеседников своими маленькими острыми глазками под колючими бровями. Доктору Рошо, нотариусу Пекорилле, адвокату Розелло, учителю Лауране, даже аптекарю, который, возможно, сам и сочинил письмо, чтобы за ним укрепилась слава бесстрашного охотника,— всем им дон Луиджи готов был приписать любые подлые намерения, какие только мог вообразить его подозрительный и коварный ум.

Но в одном все были единодушны: письмо — просто шутка, довольно злая, тем более что автор анонимки стремился запугать аптекаря как раз перед торжественным днем открытия охотничьего сезона. И когда на площади, как и каждый вечер, появился старшина карабинеров, аптекарь Манно и сам решил слегка пошутить. Делая вид, будто он напуган и совершенно растерян, аптекарь пожаловался блюстителю закона, что ему, честному человеку и гражданину, добропорядочному отцу семейства, ни за что ни про что грозят смертью.

— А что случилось? — спросил старшина, заранее приготовившись услышать занятную историю.

Но, увидев письмо, он сразу помрачнел. Конечно, это могла быть шутка, скорее всего так оно и есть, но неблаговидный поступок налицо, и заявление написать все же следует.

— Какое еще заявление? — воскликнул аптекарь.

— Э, нет, без заявления не обойтись. Таков закон. Так и быть, чем плестись в казарму, давайте напишем его прямо здесь. Впрочем, это минутное дело.

Они зашли в аптеку, аптекарь зажег настольную лампу и под диктовку старшины карабинеров стал писать.

Диктуя заявление, старшина держал в руках развернутый лист бумаги, и на него сбоку падал луч света от лампы. Лаурана, которому очень хотелось знать, как пишутся такого рода официальные заявления, прочел на обратной стороне листа слово UNICUIQUE, а затем несколько слов, набранных более мелким шрифтом: ordine naturale, menti obversantur, tempo, sede *. Он подошел поближе, чтобы разобрать осталь-

---

* Естественное состояние, помрачение умов, время, местопребывание *(лат.)*.

ное, и громко прочел «человеческое». Но тут старшина, оберегая служебную тайну, досадливо сказал:

— Простите, разве вы не видите, что я диктую?

— Я читал на обратной стороне листа,— сказал в свое оправдание Лаурана.

Старшина тут же сложил лист вдвое.

— Не мешало бы и вам рассмотреть письмо на свету,— с плохо скрываемым раздражением буркнул Лаурана.

— Не беспокойтесь, мы сделаем все что нужно,— заверил его старшина и продолжил диктовку.

Глава вторая

Двадцать третье августа 1964 года было для аптекаря Манно последним счастливым днем на этой грешной земле. Заключение врачебной экспертизы гласило, что он дожил лишь до заката, что косвенно подтверждалось и охотничьими трофеями — одиннадцать кроликов, семь куропаток, три зайца, которых нашли в переполненных ягдташах аптекаря и доктора Рошо. По мнению знатоков, это была добыча за весь день, если принять во внимание, что место не являлось охотничьим заповедником и не особенно изобиловало дичью. Аптекарь и врач любили трудную охоту, подвергая тем самым нелегкому испытанию находчивость собак и свою собственную. Поэтому они всегда отправлялись на охоту вдвоем и не искали других партнеров. Тот счастливый день они тоже завершили вместе, в десяти шагах друг от друга, вот только аптекаря сразили выстрелом в спину, а доктора Рошо — в грудь. Одна из собак разделила их участь и отправилась охотиться вместе с ними в райских кущах. Одна из десяти собак, которых аптекарь взял с собой на охоту: одиннадцатую он оставил дома, потому что у нее воспалились глаза. Быть может, верный пес бросился на убийцу, а может, его подстрелили от избытка рвения или ярости. Никто так и не узнал, как повели себя в трагический миг остальные девять собак аптекаря и две доктора. Известно только, что примерно в девять вечера они сомкнутой стремительной стаей ворвались в городок с диким воем, и этот вой, разумеется, услышали все жители до одного, и у каждого зародилось недоброе предчувствие. Отчаянно лая, собаки пулей понеслись к складу, который аптекарь приспособил под псарню. Там, у закрытых дверей, они завыли еще громче, словно хотели поскорее поделиться с заболевшей собакой трагической вестью.

Знаменательное возвращение собак надолго посеяло у жителей городка глубокие сомнения в разумности мироздания, и об этом не забывали упомянуть всякий раз, когда заходил разговор о собачьих достоинствах, ибо несправедливо, что собаки лишены дара речи. Впрочем, в оправдание создателя надо сказать, что если бы собаки даже и обрели внезапно дар речи, они сразу бы вновь онемели, спроси их старшина карабинеров, кто были убийцы.

Сам он узнал о возвращении собак ближе к полуночи, когда уже лежал в постели. До рассвета он с помощью карабинеров и нескольких зевак убеждал собак показать ему место недавней охоты, соблазняя их требухой и задабривая ласковыми речами. Но те оставались глухи и немы. Пришлось старшине карабинеров, когда солнце уже стояло высоко в небе, самому отправиться на розыски, узнав предварительно у жены аптекаря название места, где двое друзей собирались поохотиться. Лишь в сумерки, после целого дня поисков — не приведи господь повториться такому — он набрел на тела убитых. Ничего другого он и не ждал. С той самой минуты, как он вскочил с постели, ему уже

стало ясно, что автор анонимного письма, которое все приняли за шутку, привел свою угрозу в исполнение. Это была серьезная неприятность, самая серьезная за те три года, что старшина карабинеров прослужил в городке. Двойное убийство, причем обе жертвы — люди уважаемые, степенные, добропорядочные, не имевшие врагов и занимавшие видное положение. Жена аптекаря, урожденная Спано, приходилась правнучкой тому Спано, чей монумент высился на площади, доктор Рошо был сыном известного окулиста профессора Рошо, а его жена — племянницей каноника и кузиной адвоката Розелло. Само собой разумеется, из областного центра примчались полковник и начальник полиции. Вскоре газеты сообщили, что расследование возглавил лично начальник уголовной полиции, в тесном сотрудничестве с карабинерами. Хорошо известно, что проторенной дорожкой идти легче, поэтому первым делом были задержаны те, за кем в прошлом числились уголовные преступления, исключая злостных банкротов и ростовщиков, а таких в городке тоже было немало. Но ровно через сорок восемь часов все задержанные были отпущены на свободу. Следователи действовали вслепую, на ощупь, и даже местные осведомители блуждали в полном мраке. Тем временем шли приготовления к похоронам, весьма торжественным и пышным, как и подобало, если учесть высокое положение убитых и их многочисленной родни. Да и сам случай был из ряда вон выходящим, и буквально весь городок оплакивал погибших. Полиция решила увековечить это событие, что и было сделано в строжайшей тайне, настолько тайно, что на лице каждого, попавшего в момент похорон в объектив, было написано: «Вы, мои дорогие, зря стараетесь, я честный, порядочный человек, а не преступник какой-нибудь и всегда был другом погибших». Следуя в похоронной процессии за двумя массивными, отделанными бронзой гробами из орехового дерева, которые несли на плечах, сгибаясь под их тяжестью, самые крепкие и преданные клиенты и покупатели, друзья аптекаря обсуждали анонимное письмо и копались в прошлом бедняги Манно.

При этом они, как и полагается в таких случаях, горько оплакивали доктора Рошо, который вообще был ни при чем и дорогой ценой заплатил за легкомысленное согласие отправиться с аптекарем на охоту. Заметьте, после того, как аптекарь получил анонимное письмо! Ведь при всем уважении к покойному Манно, нельзя не признать, что коль скоро автор анонимки осуществил свою угрозу, значит, у него был на то свой резон, пусть даже нелепый, основанный на мелком, давно забытом поступке или, вернее, проступке аптекаря. К тому же в письме было ясно сказано «за содеянное тобою тебя ждет смерть». Значит, какой-то грешок, хотя бы давний и совсем пустяковый, за аптекарем все-таки водился. Да и вообще зря никто и шагу не сделает, а уж убивать ни с того ни с сего честного человека, а тут еще сразу двух, никому и в голову не придет. Конечно, сгоряча можно убить человека за неосторожно брошенное слово, за обгон твоей машины. Но ведь это преступление было совершено с заранее обдуманным намерением, чтобы отомстить за обиду, вероятно, одну из тех обид, которые со временем не только не забываются, а становятся еще острее. Правда, в мире хватает сумасшедших, которым вдруг втемяшится в голову, что кто-то тайно их преследует, и попробуй их потом разубедить. Но разве это преступление назовешь поступком сумасшедшего? Не говоря уж о том, что в данном случае сумасшедших, по-видимому, было двое, а довольно трудно себе представить, чтобы двум безумцам удалось заранее сговориться. А что убийц было двое, нет никаких сомнений. Кто рискнет схватиться в одиночку с двумя вооруженными охотниками, да к тому же с такими меткими стрелками? Все же необъяснимым оставался самый факт отправления письма. Зачем было предупреждать аптекаря? Вдруг Манно,

вспомнив о своей вине, а о том, что она существовала, не могло быть двух мнений, или же просто испугавшись угрозы, не пошел бы на охоту? Тогда все планы убийц рухнули бы.

— Письмо,— сказал нотариус Пекорилла,— характерно для преступлений по мотивам оскорбленной чести. Но невзирая на риск, мститель хочет, чтобы жертва заранее умирала от страха и, получив письмо, вновь стала бы переживать свою вину.

— Да, но аптекарь отнюдь не умирал от страха,— заметил учитель Лаурана.— Пожалуй, вечером, получив письмо, он немного взволновался, но потом успокоился и даже начал подшучивать над угрозой анонима.

— Откуда нам знать, что человек скрывает от других и что у него творится на душе? — сказал нотариус.

— А зачем скрывать? Если возникли какие-нибудь подозрения насчет автора анонимки, самым разумным было бы...

— ...Рассказать о них друзьям и старшине карабинеров,— с иронией заключил нотариус Пекорилла.

— Почему бы и нет?

— О, мой дорогой друг! — удивленно, с оттенком укоризны воскликнул нотариус.— Вообразите себе, мой дорогой друг, что аптекарь Манно, да будет земля ему пухом, в минуту слабости или внезапного безумия... Ведь мы все-таки мужчины, не так ли?

Ища поддержки, он обернулся к окружающим, и все дружно кивнули.

— В аптеку чаще всего заходят женщины, а все они считают аптекаря чуть ли не своим домашним врачом... Словом, удобный случай делает мужчину вором... Приятная девушка, молодая дама... Учтите, мне лично неизвестно, чтобы за покойным водились подобные грешки, но кто может поручиться.

— Никто,— подтвердил дон Луиджи Корвайя.

— Вот видите,— продолжал обрадованный нотариус.— И я, пожалуй, рискну сказать, что основания для таких подозрений... есть. Будем откровенны, покойный женился по расчету. Достаточно посмотреть на синьору, на эту бедняжку, чтобы мигом улетучились все сомнения, согласен, она женщина честная, добродетельная, но чертовски некрасивая.

— Он выбился из бедности,— сказал дон Луиджи,— и, как все разбогатевшие бедняки, был скупым и даже жадным, особенно в молодости... Потом, уже после женитьбы, когда дела в аптеке пошли отличнейшим образом, он изменился. Да и то чисто внешне.

— Вот именно внешне. Потому что в глубине души он оставался человеком скрытным, суровым. Но главное даже не в этом. Вспомните, как он вел себя, когда заходил разговор о женщинах?

На риторический вопрос нотариуса немедленно отозвался дон Луиджи.

— Он только слушал, сам же не произносил ни слова.

— А так, что тут скрывать, ведут себя те, кто болтовне о женщинах предпочитает нечто другое. Иной раз он улыбался, как бы говоря: «Вы только языки чешете, а я не зеваю». К тому же, не забывайте, он был красивым мужчиной.

— Все ваши соображения, дорогой нотариус, ровным счетом ничего не доказывают,— возразил Лаурана.— Даже если предположить, что Манно соблазнил девушку или, выражаясь языком дешевых романов, опозорил ее, даже если это так, то тогда непонятно, почему он, получив письмо, не поделился со старшиной карабинеров своими подозрениями относительно авторства анонимки.

— Да потому что между вечным покоем и домашним покоем многие выбирают первое. Уж поверьте мне на слово,— вмешался в разговор

коммандор Церилло с таким видом, словно он жалел, что ему самому до сих пор не представилась возможность сделать подобный же выбор.

— Но старшина очень тактично, осторожно... — попытался было возразить Лаурана.

— Не говорите ерунды,— оборвал его нотариус. И тут же добавил: — Извините, но вам я объясню все попозже.

Процессия уже подошла к самой кладбищенской церкви, где усопших поминали добрым словом, а нотариусу как раз предстояло произнести прочувствованную речь в честь покойного аптекаря.

Впрочем, Лаурана больше не нуждался в разъяснениях нотариуса, он и сам отлично понял, что сказал глупость.

В первый же вечер старшина карабинеров вызвал к себе вдову Манно и, прибегая к тончайшим эвфемизмам и хитроумным уловкам, стал допытываться, не возникала ли у нее хоть однажды, а такое может случиться с каждым, тень, лишь тень подозрения о внебрачных похождениях покойного супруга. Нет, боже упаси, он не думает, что синьор Манно изменял ей, но, быть может, какая-нибудь женщина, желая соблазнить его, слишком часто заходила в аптеку: словом, не замечала ли синьора чего-либо странного в поведении мужа? Ему, старшине, вполне достаточно одного туманного намека. Но синьора неизменно и решительно отвечала:

— Нет!

И все-таки старшина карабинеров не признал себя побежденным. Он велел доставить в казарму служанку и, по-отечески беседуя с ней, после шестичасового допроса сумел выжать из нее признание, что да, однажды у аптекаря с женой произошла небольшая семейная сцена. Виновницей ссоры была одна девушка, которая, по мнению синьоры Манно, слишком часто появлялась в аптеке. Аптека находилась в нижнем этаже дома, и синьоре при желании нетрудно было проверить, кто пришел или ушел.

Вопрос: Ну, а синьор Манно?

Ответ: Он все отрицал.

Вопрос: А вы, что вы об этом думаете?

Ответ: Я? А я-то здесь при чем?

Вопрос: У вас, как и у синьоры, тоже возникли подозрения?

Ответ: У синьоры никаких подозрений не было. Просто ей казалось, что девушка уж больно разбитная, ну а, сами знаете, мужчина всегда остается мужчиной.

Вопрос: Очень разбитная? И вдобавок очень красивая?

Ответ: По-моему, так себе. Но вот разбитная — точно.

Вопрос: Значит, разбитная, иначе говоря, очень живая, словом, кокетливая. Вы это хотели сказать?

Ответ: Да.

Вопрос: Ее имя?

Ответ: Не знаю. На этот вопрос служанка позже отвечала: — Я ее не знаю, не видела ни разу, хотя нет, один раз, но даже лица не помню.

Допрос продолжался с четырнадцати часов тридцати минут до девятнадцати часов пятнадцати минут, когда служанка, словно по наитию, вдруг вспомнила не только имя, но и возраст всех родственников до пятого колена, номер дома и уйму других подробностей о разбитной девице. Ровно в девятнадцать тридцать девица предстала перед старшиной, а ее отец остался ждать у ворот казармы. А в двадцать один час несостоявшаяся свекровь вместе с двумя приятельницами явилась в дом девицы, вернула ей золотые часы, брелок для ключей, галстук и двенадцать писем, в свою очередь потребовав немедленного возвращения кольца, браслета, подвенечной вуали и двенадцати писем. Быстро покончив с неприятной церемонией, означавшей бесповоротное расторже-

ние предстоящего брака, несостоявшаяся свекровь с издевкой заключила:

— Поищите теперь другого олуха,— тем самым косвенно признав, что ее сын не отличался умом, раз он хороводился с девицей, которая спуталась с аптекарем. Слова старухи исторгли яростные вопли из груди матери беспутной девицы и привели в неистовство ее мгновенно сбежавшихся родственников. Но прежде чем они опомнились и обрушились на старуху, та вместе с двумя верными подругами поспешно удалилась. Выскочив на улицу, она громко, чтобы все соседи слышали, крикнула:

— Нет худа без добра. Неужто его не могли убить раньше, чем мой сын зачастил в дом к этой шлюхе?

Она явно намекала на судьбу аптекаря, который, таким образом, за один день вторично удостоился надгробного слова.

Глава третья

Просмотрев целый ворох рецептов и выслушав показания врача, писавшего их, старшина карабинеров пришел к заключению, что частые посещения девицей аптеки объяснялись тяжелой болезнью ее младшего брата. Он в одиннадцать лет заболел менингитом и никак не мог полностью оправиться, заикался, часто терял память и вообще слыл слабоумным.

Отец работал в поле, а мать хозяйничала по дому. Девушке самой приходилось ходить к лечащему врачу за советами и рецептами. К тому же в семье она была самой грамотной и сообразительной. Само собой разумеется, были допрошены и отец девицы, и ее бывший жених, но больше из желания поскорей разделаться с этой частью расследования. Наконец старшина убедился в невиновности девушки, но теперь ей предстояло убедить в этом и семь с половиной тысяч жителей городка, включая всех родственников. А они, едва старшина закончил допрос, на всякий случай, втихомолку, со знанием дела, основательно ее избили.

Синьоре Терезе Спано, вдове Манно, которая вынула из альбома и долго рассматривала фотографии мужа, чтобы отобрать, какую из них увеличить для надгробного памятника, казалось, будто его красивое и спокойное лицо искажено чуть заметной ухмылкой, а глаза смотрят холодно и насмешливо. Так, даже в доме, где аптекарь Манно прожил целых пятнадцать лет и всегда слыл образцовым отцом и верным мужем, с ним произошла странная метаморфоза. Вдову и во сне мучили подозрения, ей чудилось, будто во всех зеркалах он отражался голым, как манекен, как червь, безруким и безногим. Ночью, внезапно проснувшись, синьора вскакивала, и снова начинался допрос фотографий мужа. Иногда ей казалось, будто покойный отвечал ей, что смерть есть смерть, а все остальное гроша ломаного не стоит, а чаще он представал в ее воображении таким же циничным и хитрым, как и при жизни. Ее родственники были крайне возмущены и не преминули в сотый раз упрекнуть бедняжку в опрометчивом согласии выйти замуж за аптекаря, чему они в свое время упорно противились. Родные же аптекаря, которым чужд был этот пышный траур, так же как прежде была чужда обеспеченная, сытая жизнь их родича, приняли его гибель как роковую неизбежность. Коль скоро твое положение изменилось и в своем ослеплении ты думаешь, что добился богатства и счастья, тебя раньше других настигают горе, стыд и безжалостная смерть.

Хотя не было никаких улик, кроме окурка сигары, найденного на месте преступления, а это позволяло предположить, что, долго сидя в засаде, один из убийц закурил, в городке буквально каждый хранил

про себя разгадку тайны или по крайней мере был убежден, что нашел ключ к ее раскрытию.

Подобрал такой ключ и Лаурана, им было слово UNICUIQUE, которое он, вместе с другими, увы, стершимися из памяти словами, разобрал сквозь призму лучей на оборотной стороне листа. Лаурана не знал, последовал ли старшина карабинеров его совету внимательно рассмотреть обратную сторону письма и подвергли ли это письмо всестороннему изучению в лаборатории научной криминалистики. В этом случае слово UNICUIQUE не могло не привлечь внимания судебных экспертов. Но в глубине души Лаурана не был уверен, примут ли во внимание его совет и придадут ли в лучшем случае должное значение этой косвенной улике. По правде сказать, это даже льстило его тщеславию, потому что другим не было дано разгадать столь очевидную тайну или, вернее, столь таинственную очевидность; тут нужен ум острый, свободный от предрассудков, способный распутать этот гордиев узел. Так, из тщеславия, помимо собственной воли Лаурана сделал первый шаг. Заглянув, как всегда, к продавцу газет, он спросил «Оссерваторе романо».

Продавец весьма удивился — синьор Лаурана слыл, хотя и не вполне заслуженно, ярым антиклерикалом, а главное, вот уже лет двадцать никто не спрашивал у него «Оссерваторе». Он об этом без обиняков и сказал, заставив сердце Лаураны забиться от радости.

— Уже лет двадцать никто не спрашивал у меня эту газету... Во время войны ее еще читали, в наш город пять газет прибывало. Но однажды ко мне пришел секретарь фашио* и объявил, что, если я не перестану заказывать «Оссерваторе», меня лишат права на продажу газет. Сила солому ломит. Скажите, а как бы вы поступили на моем месте?

— Точно так же,— ответил Лаурана.

«Итак,— подумал он,— никто не спрашивал у нашего киоскера, есть ли у него «Оссерваторе романо». Но, может, старшина карабинеров это уже выяснил? Нужно навести справку у начальника почты или у письмоносца».

Начальник почты был человеком говорливым и всеобщим приятелем. Лауране без особого труда удалось получить нужные сведения.

— Я пишу работу о Карло Мандзони. Мне рекомендовали прочесть одну статью в «Оссерваторе романо», появившуюся пятнадцать—двадцать дней назад. У нас кто-нибудь получает «Оссерваторе романо»?

Все знали, что Лаурана печатает в журналах критические статьи. Поэтому начальник почты, не задумываясь, ответил (он бы ничего не сказал или долго колебался, если бы полиция предварительно уже наводила соответствующие справки):

— У нас «Оссерваторе» выписывают двое — достопочтенный синьор каноник и приходский священник св. Анны.

— А отделение демократической партии?

— Нет.

— Даже секретарь местного отделения?

— Тоже нет. Я же вам сказал, к нам всего два экземпляра приходят.

И, объясняя настойчивые вопросы Лаураны его инстинктивным недоверием к церковным властям, посоветовал ему:

— Сходите к приходскому священнику. Если у него сохранился этот номер газеты, он вам наверняка даст.

Церковь св. Анны была совсем неподалеку, а рядом стоял дом священника. Лаурана и раньше был в довольно дружеских отношениях с приходским священником, человеком широких взглядов, пользовав-

*Фашио — местная организация фашистской партии.

шимся неизменным расположением прихожан; что же до начальства, то оно его недолюбливало, и не без основания.

Священник встретил Лаурану с распростертыми объятиями. Но когда тот объяснил цель своего визита, на лице священника отразилась досада. Он сказал, что, конечно, получает «Оссерваторе романо»; в силу инерции, а главное, не желая раздражать начальство, он, как и его предшественник, подписался на эту газету, но уж читать ее — увольте. Он эту газету вообще не раскрыл ни разу и подозревает, что ее уносит капеллан. А вы его знаете? Ну, такой молодой, худой, кожа да кости. И что любопытно, он никогда не смотрит вам в глаза. Настоящий тупица. Да вдобавок еще соглядатай, его для этого и приставили. Уж он-то читает «Оссерваторе романо» и наверняка хранит все номера. Хотите, я ему позвоню?

— Буду вам очень признателен.

— Сию минуту.

Он снял трубку и назвал номер. Едва его соединили, он грубо спросил:

— Ну как, уже настрочил очередной донос канонику?

При этом он подмигнул Лауране и немного отвел трубку, чтобы и тот слышал протестующие возгласы капеллана. Помолчав, он добавил:

— Впрочем, мне на это начхать. Я тебе по другому поводу звоню. Слушай меня внимательно. Что ты делаешь с номерами «Оссерваторе романо», которые воруешь у меня?

Капеллан снова отчаянно запротестовал, но приходский священник бесцеремонно прервал его:

— Да нет, на этот раз я шучу... Ну так вот, куда ты их деваешь? Сохраняешь? Молодец, молодец. Подожди, сейчас я тебе скажу, какие номера мне нужны. Собственно, не мне, а моему другу, одному критику. Какие вас интересуют номера?

— Точно затрудняюсь сказать. Статья, которую я ищу, могла быть напечатана где-то между первым июля и пятнадцатым августа.

— Отлично... Слушай, есть у тебя все номера с первого июля по пятнадцатое августа? Должен проверить? Так проверь и заодно посмотри, нет ли в одном из этих номеров статьи о Мандзони. Поищи хорошенько и потом позвони мне.

Он повесил трубку и объяснил:

— Обещал поискать, и если найдет, то завтра утром принесет газету мне. Это избавит вас от неприятной необходимости встречаться с ним. Он грязный тип.

— В самом деле?

— Поверьте, нужно обладать железными нервами, чтобы его терпеть. К тому же он человек порочный, вы, конечно, понимаете, о чем я говорю. А я назло все время посылаю к нему молоденьких девиц. Он, бедняга, мучается, терпит просто отчаянные муки. Ну, а потом мстит мне. Но я, как вы сами убедились, смотрю на жизнь трезво. Знаете анекдот о молодой служанке и строгом епископе? Нет? Тогда послушайте. Хоть раз вы услышите анекдот о священниках, рассказанный самим священником. Так вот, однажды епископу донесли, что в одном селении священник не только держит служанку значительно более молодую, чем это предписано уставом, но и спит с ней на одной постели. Епископ, понятно, помчался в селение, внезапно нагрянул в дом священника и видит там красивую молодую служанку, а в спальне — широченную кровать. Тогда он объявляет священнику, какие про него ходят слухи. Тот не отрицает: «Это сущая правда, ваше преосвященство, что служанка спит с одного края кровати, а я — с другого. Но вы сами видите, что тут с двух сторон висят петли. В эти петли я каждый вечер перед сном вдеваю вот эту здоровенную доску. Она покрепче двери». И показывает доску. Епископ был поражен, даже растроган такой мо-

ральной чистотой. Ему вспомнились святые времен средневековья, которые, ложась рядом с женщиной, клали между нею и собой крест или меч. Он мягко сказал: «Но, сын мой, конечно, доска — разумная мера предосторожности, но если тобою овладевает искушение? Ведь оно бывает дьявольски сильным, почти неодолимым, что ты тогда делаешь?» — «О, ваше преосвященство, что ж тут такого сложного? Я просто снимаю доску».

Приходский священник успел рассказать еще парочку анекдотов, прежде чем позвонил капеллан. Он проверил: все номера с первого июля по пятнадцатое августа у него сохранились, но статьи о Мандзони там нет.

— Я очень сожалею,— сказал приходский священник,— но, может, он плохо смотрел. Я же вам говорил, это настоящий болван. Чтобы удостовериться, пожалуй, лучше вам самому сходить и посмотреть. Впрочем... Хотите, я ему велю принести все номера сюда?

— Нет, нет, благодарю вас, не стоит беспокоиться... К тому же статья не так уж мне нужна.

— Охотно вам верю, уже два века мы не говорим ничего нового и важного. А уж о Мандзони, представляете себе, что может написать о Мандзони католик. Чтобы понять и по-настоящему оценить этого писателя, нужно быть человеком глубоко развращенным в прямом и переносном смысле слова.

— И все же кое-какие мысли католиков о творчестве Мандзони довольно поучительны.

— Знаю, знаю, бог, карающий и прощающий смертных, Мандзони и Вергилий... Обо всем этом, по правде говоря, одни лишь католики и писали. За редкими исключениями. И, пожалуй, ничего особенно умного до сих пор не сказали. Знаете, когда исследователи почти попадают в цель, в самую сердцевину? Когда они затрагивают тему молчания в любви. Но этот разговор заведет нас слишком далеко. Хочу показать вам одну вещицу, вы ведь неплохо в этом разбираетесь.

Он подошел к стенному шкафу, открыл его и вынул маленькую, величиною с ладонь, фигурку святого Рокко.

— Посмотрите, какое изящество линий, какая экспрессия. Знаете, как она мне досталась? Она вместе с разным хламом валялась в церковной кладовой у одного моего коллеги из ближнего селения. Взамен я ему купил большого новенького святого Рокко из папье-маше. Он меня за маньяка считает, за одного из тех, которые помешаны на всякой старине, и как будто даже некоторое смущение испытывал, что согласился на такой невыгодный для меня обмен.

Приходский священник был хорошо известен как тонкий и отнюдь не бескорыстный знаток древнего искусства, и многие знали, что он поддерживает постоянные и выгодные торговые связи с антикварами Палермо.

Показывая гостю со всех сторон фигурку святого Рокко, священник не переставая рассказывал:

— Кое-кто его уже видел. Мне дают триста тысяч лир. Но я пока хочу сам им полюбоваться, всегда успею продать его какому-нибудь казнокраду. Ну, каково ваше мнение? По-моему, первая половина шестнадцатого века.

— Да, похоже...

— Вот и профессор Де Ренцис то же самое думает. А он большой знаток сицилийской скульптуры пятнадцатого и шестнадцатого веков. Впрочем, немудрено, что его мнение,— тут он громко засмеялся,— всегда совпадает с моим. Ведь плачу-то ему я.

— Вы ни во что не верите,— сказал Лаурана.

— О нет, верю! И по нынешним временам даже слишком во многое.

По городку ходил анекдот, возможно, это даже была правда, что однажды во время мессы, когда приходский священник открывал ларец-дарохранительницу, ключ застрял в замочной скважине. Священник не утерпел и выругался:

— Что, в ней дьявол, что ли, сидит?

Понятно, он имел в виду замочную скважину. Одно было известно точно — священник всегда торопился закончить службу, он вечно что-то покупал или продавал на стороне.

— Простите, тогда я не понимаю...— начал было Лаурана.

— Почему я не снимаю церковное облачение? Должен вам сказать, что я его надел не по своей воле. Возможно, вы об этом знаете. Мой дядюшка, священник этой самой церкви, богач и ростовщик, оставил мне все свое добро, но с условием, что я тоже последую его примеру. Когда он умер, мне было три года. В десять лет, когда я поступил в духовную семинарию, я чувствовал себя святым Людовиком, в двадцать два, закончив ее,— живым воплощением сатаны. Я хотел бросить все, но это значило распрощаться с наследством, обречь мать на нищету. Теперь мне дядюшкино наследство не очень нужно, мать умерла. Я мог бы сложить с себя церковный сан.

— А Конкордат?

— Если я предъявлю завещание дяди, Конкордат мне не страшен. Я стал священником по принуждению, и церковные власти отпустили бы меня с миром, не ущемляя моих гражданских прав. Но дело в том, что теперь в этом одеянии я чувствую себя вполне удобно. И это сочетание удобств и определенного цинизма позволило мне обрести душевное равновесие и полноту жизни.

— А вы не рискуете навлечь на себя неприятности?

— Абсолютно нет. Если меня попытаются тронуть, я устрою такой скандал, что сюда примчатся даже корреспонденты «Правды». И не меньше месяца тут просидят.

После столь приятной беседы Лаурана вышел от священника уже в полночь. Он расстался с ним, преисполнившись симпатии к этому духовному отцу. «Да, в Сицилии, а может, и во всей Италии полно таких вот милых людей, которым надо голову снести»,— подумал он. Что же до слова UNICUIQUE, то он узнал, что оно не могло быть вырезано из газет, приходивших на имя священника. А это уже кое-что значило.

Глава четвертая

Прошло три дня строгого траура, и Лаурана решил, что, пожалуй, теперь уже не сочтут за невежливость, если он сходит к достопочтенному канонику Розелло и попросит у него на время июльские и августовские номера «Оссерваторе романо», в одном из которых якобы опубликована статья о Мандзони, совершенно необходимая ему для работы. Каноник доводился дядей жене доктора Рошо. Он был очень привязан к племяннице, которая воспитывалась в его доме до самого своего замужества. Большой, просторный дом каноника не был поделен и принадлежал всей семье. Лет двадцать назад в нем жили два женатых брата со своими чадами и домочадцами, составлявшими единый клан, духовным и фактическим главой которого был сам каноник. Затем смерть и многочисленные браки увели из дома девять человек, осталось четверо: каноник, его холостой племянник адвокат Розелло и две золовки.

Каноник был в ризнице — снимал с себя после мессы церковное облачение. Он встретил Лаурану крайне радушно. После десятиминутного обмена любезностями разговор зашел о жестоком убийстве, о мягкости и благородстве покойного доктора Рошо, о неутешном горе вдовы.

— Ужасное преступление. И такое темное, загадочное,— сказал Лаурана.

— Ну, не очень уж загадочное,— возразил каноник.— Видите ли,— сказал он после короткой паузы,— у покойного аптекаря были-таки любовные похождения. Никто, правда, об этом не знал. Заметьте, сначала его предупредили анонимным письмом, а потом убили, типичный способ мести. А бедняга Рошо поплатился за чужие грехи.

— Вы так думаете?

— Какие могут быть сомнения? Деловых связей аптекарь ни с кем не поддерживал. Это установлено. Остается любовная интрижка. Чей-то отец, брат или жених не в силах забыть обиды, и вот однажды он решает разом со всем покончить. В слепой ярости он заодно убивает и совершенно невинного человека.

— Возможно, что и так, но я не совсем в этом уверен.

— Не уверены? Но уверенным, дорогой Лаурана, можно быть только в Боге. И в Смерти. Конечно, утверждать что-либо с полным основанием нельзя, но факты, подтверждающие это предположение, налицо. Первое: в письме аптекаря предупреждали, что он поплатится смертью за свою вину; в нем не упоминалось, за какую, но автор письма предполагал, что аптекарь, прочитав анонимку, тут же вспомнит о своем неблаговидном поступке, пусть даже совершенном весьма давно. Следовательно, либо обида, нанесенная кому-то аптекарем, была серьезной и со временем не забылась, либо его проступок относился к недавнему прошлому и связан, как говорится, с текущими событиями. Второе: коль скоро аптекарь, как известно, а вы, насколько я знаю, присутствовали при этом, не пожелал подать заявление, значит, он все же опасался неприятных для себя последствий. Третье: не похоже, чтобы семейная жизнь в доме аптекаря протекала вполне мирно и спокойно.

— Допустим... Но я мог бы кое-что вам возразить. Первое: аптекарь получает письмо с определенными, недвусмысленными угрозами. И что же он делает? Через неделю отправляется на охоту, предоставив врагу прекрасную возможность осуществить свою угрозу. Ясно, что он не принял письма всерьез, посчитав просто шуткой. Следовательно, он не чувствовал за собой ни в прошлом, ни в настоящем никакой вины. Но раз угроза все же была приведена в исполнение, да еще с такой жестокостью, невольно напрашивается догадка, что свой проступок аптекарь Манно совершил давным-давно; и столь запоздалая месть кажется невероятной. Нельзя исключить и того, что обиду незнакомцу аптекарь Манно нанес совершенно случайно: неосторожно сказанное слово, какой-нибудь жест, ранившие больной, воспаленный мозг преступника. Второе: никто из увидевших письмо даже не подумал принять его всерьез. Никто. Городок наш небольшой, и в нем трудно скрыть тайную любовную связь или порок. Что же до заявления, то он действительно отказался его написать. Но именно потому, что он сам и все его друзья считали анонимное письмо шуткой.

— Возможно, вы и правы,— сказал каноник, но по глазам было видно, что он остался при своем мнении.— О, всевидящий господи, яви нам истину во имя справедливости, а не мести,— торжественно произнес он.

— Будем надеяться,— промолвил Лаурана, и его слова звучали как «аминь». Затем он объяснил цель своего нежданного визита.

— Вам нужен «Оссерваторе романо»? — переспросил каноник, весьма довольный, что католическая газета понадобилась такому заядлому атеисту.— Да, я почитываю «Оссерваторе», но хранить... Я сохраняю журналы «Чивильта каттолика», «Вита э пенсьеро», но не газеты. Церковный сторож приносит мне почту, а я потом забираю домой частные письма и газеты. После того как я прочитываю газеты «Оссерваторе

романо», «Иль пополо», они становятся, так сказать, предметом домашнего обихода. Ага, вот,— он вытащил из стопки газет и журналов «Оссерваторе романо»,— я возьму газету домой, сразу после обеда прочту, и сегодня же вечером мои золовки или служанка наверняка завернут в нее что-нибудь либо используют для растопки печи. Понятно, если только в газете нет энциклики или речи его Святейшества.

— Само собой разумеется!

— Если вам нужен вот этот позавчерашний номер,— он протянул сложенную вчетверо газету Лауране.— возьмите, я успею полистать ее потом. Последняя неделя была сущим адом, и я даже не прикоснулся к газетам.

Лаурана развернул «Оссерваторе» и, словно зачарованный, уставился на заголовок. Вот оно, UNICUIQUE, точь-в-точь такое же, как на обороте анонимного письма. UNICUIQUE SUUM — каждому свое. Красивый типографский шрифт, хвостик буквы Q с изящным завитком. Затем идут скрещенные ключи, папская тиара и тоже заглавными буквами NON PRAEVALEBUNT *. Каждому свое — и аптекарю Манно с доктором Рошо тоже. Какое слово стояло после этого UNICUIQUE, которое та же рука, что лишила жизни двух человек, вырезала из газеты и приклеила к письму? Слово «осужден»? А может быть, «смерть»? Как жаль, что нельзя взглянуть на письмо, которое теперь хранится в секретном полицейском досье.

— Не стесняйтесь,— сказал каноник,— если этот номер вам нужен, берите его.

— Что?... Ах да, спасибо. Нет, нет, он мне не нужен.

Лаурана положил газету на стол и поднялся. Он был взволнован, и ему вдруг стал невыносим этот запах гниющего дерева, увядших цветов и воска, которым была пропитана ризница.

— Крайне вам признателен,— сказал он, протягивая канонику руку, которую тот пожал с подобающим радушием, высказав отеческую любовь к заблудшей душе грешника.

— До свидания, надеюсь, вы еще не раз навестите меня,— ласково попрощался он с гостем.

— С удовольствием,— ответил Лаурана.

Он вышел из ризницы и, пройдя через пустую церковь, очутился на залитой палящим солнцем площади. Пересекая ее, Лаурана подумал о том, как прохладно и хорошо было в церкви, и эта мысль мгновенно обернулась иронической метафорой. Да, приходский священник и каноник, каждый по-своему, чувствовали себя весьма хорошо. Впрочем, если верить слухам, оба они одинаково наслаждались жизнью, а различие было чисто внешним. Из подсознательного чувства самолюбия Лаурана упорно старался думать о чем угодно, только не о своем разочаровании и безусловном поражении. Ведь если бы ему и удалось узнать, из какого номера «Оссерваторе» было вырезано роковое UNICUIQUE, как доискаться, куда потом делась газета. А сам каноник, его золовки, племянник и служанка, разумеется, абсолютно не причастны к преступлению. Судя по тому, какая участь ждала «Оссерваторе» после того, как его страницы наспех пробежал достопочтенный каноник, можно предположить, что читателей у газеты, таких как капеллан св. Анны, вообще раз два и обчелся. Возможно, газета попала к автору письма, потому что в нее было что-то завернуто. К тому же в районном центре «Оссерваторе» продается во всех киосках, и любой, случайно или с определенной целью, мог ее купить.

В сущности, полиция очень разумно поступила, не придав значения этому UNICUIQUE. Ничего не скажешь, опыт есть опыт. Воистину, пус-

* Не одолеют *(лат.)*.

тое занятие искать иглу в стоге сена, да еще когда знаешь, что у нее нет ушка, в которое можно было бы вдеть нить поисков. А вот его самого эта деталь страшно заинтриговала. У газеты всего два подписчика во всем городе. Это же верная улика, крайне важная для расследования. Вот только завела она в тупик. Правда, и полиции с ее окурком сигары тоже нечем похвастаться. Экспертизой было установлено, что сигара — марки «Бранка», а их курит лишь коммунальный секретарь, который не только вне всяких подозрений, но всего шесть месяцев назад прибыл в городок.

«Ну что ж, газета стоит сигары «Бранка»,— подумал Лаурана,— но пусть полиция гоняется за своей сигарой, а ты поставь крест на «Оссерваторе романо».

И все же дома, пока мать накрывала на стол, он машинально набросал на листке бумаги: «Тот, кто составил письмо, вырезая слова из «Оссерваторе», а) купил газету в районном центре, с целью запутать следствие, б) газета попалась ему в руки случайно, и он не сообразил, что это орган Ватикана, в) он привык ежедневно видеть эту газету и поэтому не учел, что она имеет весьма ограниченный, почти профессиональный круг читателей и даже по верстке отличается от других газет».

Он положил ручку, еще раз перечитал написанное и разорвал листок на мелкие куски.

Глава пятая

Паоло Лаурана преподавал итальянский язык и историю в классическом лицее районного центра. Лицеисты считали его человеком чудаковатым, но толковым, а их отцы — толковым, но чудаковатым. Слово «чудаковатый» в понимании учеников и их отцов означало, что хоть Лаурана и человек со странностями, но не эксцентричный. Его странности не бросались в глаза, они были безобидны и даже проявлялись как-то робко. Но эти же странности характера мешали лицеистам оценить по достоинству его ум и способности, а их родителям склонить Лаурану, нет, не к жалости, а к разумной оценке знаний — ведь каждому известно, что теперь учеников, заслуживающих на экзамене плохой оценки, вообще не встретишь. Лаурана был вежлив и застенчив до такой степени, что в разговоре начинал заикаться. Казалось, если ему дадут какой-нибудь деловой совет, он непременно ему последует. Но все по опыту знали, что за его вежливостью крылась твердая убежденность и непоколебимость суждений; все дружеские советы входили ему в одно ухо и тут же выходили в другое.

Весь учебный год протекал для него в поездках из городка в районный центр и обратно. Он уезжал с семичасовым автобусом и возвращался в два. Послеобеденное время он посвящал чтению, готовился к занятиям, а вечер проводил в клубе или в аптеке. Домой он приходил часам к восьми. Частных уроков он не давал, даже летом; в это время он предпочитал заниматься литературной критикой и нередко публиковал в журналах статьи, которые в городке никто не читал. Словом, он был человеком честным, серьезным и очень пунктуальным. Подчас на него нападала полнейшая апатия, нередко он испытывал безотчетное глухое раздражение; он знал за собой эту слабость и жестоко корил себя за нее. Не лишен он был и склонности к самоанализу, что являлось для него скрытым источником гордости и тщеславия, ибо он считал, и не без основания, что по своему образованию и духовным качествам весьма отличается от своих коллег и именно поэтому, как человек более высокой культуры, находится в полном одиночестве.

В политике все считали его коммунистом, хотя это и было неверно, а в личной жизни — жертвой эгоистичной и ревнивой материнской люб-

ви, что было правдой. Уже на пороге сорокалетия он по-прежнему таил в душе желание завязать любовную интригу с ученицами или с преподавательницами своего же лицея, которые обычно даже не подозревали об этом. Но стоило одной из них ответить на его робкие ухаживания, как он тут же сникал, увядал. Мысль о матери, о ее реакции и суждении насчет его избранницы, о том, смогут ли эти женщины ужиться вместе, о возможном их решении жить отдельно гасила его эфемерные страсти. Он начинал избегать предмет своей любви, словно уже имел горький опыт супружеской жизни, и сразу им овладевало чувство радости и освобождения. Быть может, он с закрытыми глазами, не раздумывая, женился бы на женщине, которую ему выбрала бы мать, но для нее он оставался наивным, беспомощным мальчиком, беззащитным перед людской злобой и трудностями жизни, совершенно не созревшим для столь ответственного шага.

При таком характере и образе жизни у Лауры не было друзей. Много знакомых, но ни одного друга. К примеру, с доктором Рошо он вместе учился в гимназии и в лицее, но когда после университета они оказались в одном городке, то друзьями так и не стали. Они встречались в аптеке или в клубе, мирно беседовали, вспоминали какого-нибудь школьного приятеля или эпизод из гимназической жизни. Иногда Лаурана приглашал Рошо к себе домой, если заболевала или впадала в ипохондрию мать. Рошо выписывал лекарства и обычно оставался выпить кофе; они снова предавались воспоминаниям о каком-нибудь приятеле или гимназисте, который потом исчез, словно в воду канул. Рошо никогда не брал денег за визит, но каждый год на рождество Лаурана посылал ему в подарок интересную книгу, потому что Рошо был из тех, кто все же почитывал новинки. Но теплых отношений между ними так и не возникло, их объединяли лишь общие воспоминания и возможность обстоятельно и с чувством взаимопонимания поговорить о литературных и политических событиях. С другими соседями и знакомыми и это было невозможно. Ведь в городке почти все были крайне правыми, даже те, кто считал себя социалистом или коммунистом. Поэтому смерть Рошо особенно его поразила, и он впервые испытал чувство пустоты и собственной виновности, особенно после того, как увидел труп Рошо. Печать смерти легла на его лицо бледно-серой маской, которая постепенно застывала в этой душной комнате, насквозь пропитанной запахом цветов, восковых свечей и пота. Рошо словно подвергся неумолимому окаменению, и черты лица словно хранили горестное изумление и отчаянное желание освободиться от этой коры холодного безмолвия.

Лицу аптекаря смерть, наоборот, придала торжественное и задумчивое выражение, какого никто не замечал у него при жизни. Так что бывает не только ирония судьбы, но и ирония смерти. Все это вместе взятое: гибель человека, с которым его связывала скорее не дружба, а давнее знакомство, смерть, впервые увиденная во всей ужасающей наготе, хотя ему не раз доводилось видеть прежде покойников, закрытая дверь аптеки и неизменная траурная лента над ней — все это повергло Лауру в полнейшее отчаяние и прострацию, и он буквально физически чувствовал, как сердце его то вдруг замирало, то начинало сильно биться. Он пытался выйти из этого состояния душевной депрессии и, пожалуй, ему это удалось: теперь его интерес к мотивам преступления носил чисто умозрительный характер и подогревался разве только упрямством. Словом, он до некоторой степени очутился в положении человека, услышавшего в клубе или в гостиной ребус, который всегда готовы предложить и, что еще хуже, разгадать почему-то именно кретины. При этом всем хорошо известно, что это глупейшая игра, пустая трата времени, любимое занятие дураков, которым как раз некуда девать время. И все же он чувствует себя обязанным решить этот ребус и упорно ломает над

ним голову. Мысль о том, что решение задачи приведет, как это принято говорить, виновных на скамью подсудимых, иными словами, к торжеству правосудия, ни разу даже не мелькнула у Лаураны. Он был человеком долга, достаточно умным, честным, уважающим законы, но знай он, что крадет хлеб у полиции или даже невольно помогает ей в расследовании, Лаурана с отвращением отказался бы от всякой попытки решить эту загадку.

Так или иначе, но этот суховатый, застенчивый и не такой уж храбрый человек решил пойти «ва банк», да еще вечером в клубе, когда там полно народу. Речь, как всегда, зашла о преступлении. И вдруг Лаурана, обычно молчавший, выпалил:

— Письмо было составлено из слов, вырезанных из «Оссерваторе романо».

Все разговоры мгновенно прекратились, воцарилось изумленное молчание.

— Ну и ну! — первым отозвался дон Луиджи Корвайя.

В его возгласе звучало удивление, но не важностью улики, а, скорее, безрассудством того, кто, объявив об этом, подставил себя под двойной удар — полиции и преступников. Ничего похожего в городке еще не случалось.

— В самом деле?.. Но, прости, откуда ты узнал? — спросил адвокат Розелло, кузен жены покойного Рошо.

— Я это заметил, когда старшина карабинеров диктовал аптекарю заявление в полицию. Если вы помните, я вошел в аптеку вместе с ним.

— И вы сказали об этом старшине? — поинтересовался Пекорилла.

— Да, я ему порекомендовал хорошенько изучить письмо. Он ответил, что так и сделает.

— Попробовал бы не сделать! — воскликнул дон Луиджи с облегчением и одновременно с ноткой огорчения, что это открытие оказалось для Лаураны не столь уж опасным.

— Странно, что старшина ничего мне не сказал,— проговорил Розелло.

— А может, эта улика ничего не давала,— заметил начальник почты. И с просиявшим от внезапной догадки лицом сказал:— Потому-то вы, значит, и спросили у меня?..

— Нет,— отрезал Лаурана.

В это самое время полковник в отставке Сальваджо, всегда готовый вмешаться, едва только кто-то высказывал сомнения, подозрения или критические замечания в адрес полиции, армии или карабинеров, величественно поднялся и, направившись к Розелло, спросил:

— Не соблаговолите ли вы объяснить, почему, собственно, старшина должен был вас информировать о тех или иных уликах?

— Как родственника, только как родственника одной из жертв,— поспешил заверить его Розелло.

— А-а,— протянул полковник. Он решил, что Розелло, пользуясь своим политическим влиянием, требует от старшины карабинеров специального отчета. Но все же не вполне удовлетворенный ответом, вновь ринулся в атаку:— Должен вам, однако, заметить, что даже родственнику убитого старшина не может сообщить секретных данных расследования. Не может и не имеет права, а если он это сделает, то это будет серьезным нарушением, я повторяю, серьезным нарушением служебного долга.

— Знаю, знаю,— сказал Розелло.— Но я думал так, по дружбе.

— У корпуса карабинеров нет друзей,— возвысил голос полковник.

— Да, но не у старшин,— не утерпел Розелло.

— Старшины это тоже корпус, полковники — тоже корпус, и ефрейторы — тоже корпус...

Полковник вошел в раж, его голова начала дрожать. Члены клуба по долгому опыту знали, что это верный признак очередного приступа ярости, которым был подвержен отставной вояка.

Розелло встал, сделал знак Лауране, что хочет с ним поговорить, и они оба спустились вниз.

— Старый болван,— сказал он, едва они вышли из клуба.— Интересно, что ты думаешь про эту историю с «Оссерваторе романо»?

Глава шестая

После его откровенного высказывания тогда, в клубе, ровным счетом ничего не произошло. Он ничего особенного и не ждал, но хотел проверить, какой эффект произведут его слова на каждого из присутствующих. Однако вмешательство полковника разрушило все его планы. Единственное, чего ему удалось добиться, так это доверительных признаний Розелло о ходе следствия. Если бы их услышал полковник Сальваджо, он бы остолбенел. Впрочем, существенными успехами полиция похвастать не могла, все сводилось к подозрениям о тайных любовных похождениях аптекаря.

Но и, не достигнув желаемого результата, Лаурана все же интуитивно чувствовал, что у членов клуба и особенно у завсегдатаев аптеки можно кое-что выведать.

Одно ему было точно известно: обычно охотники держат в тайне место, куда они хотят отправиться в день открытия охоты, желая первыми очутиться в богатом дичью месте. В городке это давно стало традицией. Те, кто собирался вместе пойти на охоту, а в данном конкретном случае Манно и Рошо, ревниво оберегали свою тайну. Очень редко они сообщали о ней третьему, да и то под строжайшим секретом. Нередко случалось, что нарочно называли совсем не то место; поэтому никто, даже если Манно и Рошо поделились с кем-нибудь своим намерением, не мог быть уверен в правдивости их слов. Лишь надежному, испытанному другу, не подверженному охотничьей страсти, Манно или Рошо могли назвать место, где они собирались поохотиться.

Сопровождая мать, которая отправилась навестить сначала вдову аптекаря, а затем вдову доктора, Лаурана сумел кое-что разузнать. Он задал одной и другой тот же вопрос:

— Муж говорил вам, в каком месте он намерен поохотиться в первый день?

— Уходя, он сказал, что, вероятно, они с Рошо отправятся в Канателло,— ответила вдова аптекаря.

Лаурана мысленно сразу же отметил это «вероятно», свидетельствовавшее о нежелании аптекаря и в последний момент открыть секрет даже жене.

— А про письмо он вам ничего не говорил?

— Нет, ничего.

— Очевидно, он не хотел вас тревожить зря.

— О да,— сухо, с оттенком едкой иронии в голосе ответила вдова.

— И потом, он, впрочем, как и все мы, думал, что это шутка.

— Хорошенькая шутка,— вздохнула вдова,— шутка, которая стоила ему жизни, а мне репутации.

— Да, ему она, увы, стоила жизни... Но вы... При чем здесь вы!?

— При чем? Вы что, не знаете, какие о нас постыдные слухи распускают?

— Дурацкие сплетни,— сказала синьора Лаурана,— сплетни, которым ни один здравомыслящий человек, если у него есть христианское милосердие, не может поверить...

Но поскольку у нее самой христианского милосердия явно не хватало, она все же спросила:

— Значит, ваш покойный муж ни разу не вызвал у вас подозрений?

— Ни разу, синьора... Моя служанка рассказывает, будто я устроила мужу сцену ревности из-за этой... Ну, словом, из-за одной бедной девушки, которая часто приходила в аптеку за лекарствами. Но если бы вы знали, до чего моя служанка глупа и невежественна. При одном слове «карабинеры» ее начинает трясти. Они заставили ее сказать все, что только хотели... А все эти Рошо, Розелло... Даже такой святой человек, как наш каноник... Все они поговаривают, что доктора, земля ему пухом, погубили пороки моего мужа. Точно мы здесь не знаем друг друга, не знаем, что делает и думает другой, и если он спекулирует, ворует, пре...— тут она прикрыла рот рукой, словно и так сказала лишнее. Глубоко вздохнув, она со скрытым ехидством прошептала: — Бедный доктор Рошо, в какую семью он попал.

— Но мне кажется...— попытался было возразить Лаурана.

— Поверьте, мы здесь друг о друге всю подноготную знаем,— прервала его вдова Манно.— Вы, известное дело, занимаетесь своими книгами да уроками,— с легким презрением сказала она.— У вас нет времени интересоваться чем-либо другим, но мы, — тут она обратилась за подтверждением к старой синьоре Лаурана,— мы-то знаем.

— Разумеется, знаем,— подтвердила синьора Лаурана.

— И потом, я училась с Луизой, женой Рошо, в одном колледже... Ну, скажу я вам, это штучка!

«Эта штучка», за которой, по словам вдовы Манно, водилось в пансионе множество всяких грешков, сидела сейчас напротив Лаураны в затененной плотными гардинами комнате, как это и подобает дому, где царит траур. Знаки траура виднелись повсюду, даже зеркала были затянуты черным крепом. Но убедительнее всего говорила о трауре увеличенная до натуральных размеров фотография самого Рошо. Фотограф из районного центра заретушировал черной тушью костюм и галстук покойного, ибо по его эстетическим понятиям и покойники, портреты, которых он увеличивал, должны были «носить по себе траур». При свете маленькой свечи горькая усмешка в углу рта, усталый, умоляющий взгляд придавали покойному вид бродячего актера, загримированного под призрак.

— Нет, он мне об этом не говорил,— ответила Луиза Рошо на вопрос, не знала ли она, в какое именно место муж собирался на охоту.— Потому что я, по правде говоря, не одобряла его охотничью страсть, да и приятели его были мне не по душе. Нет, я, конечно, ничего не знала, у меня было лишь предчувствие, смутная догадка... И злой рок, увы, подтвердил мои самые худшие опасения,— с глубоким вздохом, почти со стоном сказала она и поднесла платок к глазам.

— Это судьба. А с судьбой разве поспоришь? — желая утешить вдову, сказала синьора Лаурана.

— Да, верно, это судьба, но поймите сами... Когда я вспоминаю, как мы были счастливы, как спокойно, мирно, без всяких забот и даже мелких размолвок мы жили... Да простит меня господь, тогда мною овладевает отчаянье, полное отчаянье...

Она опустила голову и беззвучно заплакала.

— Не надо, не надо так отчаиваться,— остановила ее синьора Лаурана.— Вы должны положиться на волю божью, излить ему свои страдания.

— Да, уповать на великую доброту Христа, так говорит и мой дядюшка каноник. Посмотрите, какую чудесную иконку с изображением сердца Христова он мне принес!

Она показала на висевшую за спиной синьоры Лаурана картинку.

Старуха повернулась. Поспешно отодвинула стул, словно она совершила святотатство, и, послав воздушный поцелуй изображению Христа, воскликнула:

— О, святое сердце Христово! Красиво, поистине красиво! А какой у Христа проникновенный взгляд,— добавила она.

— Да, взгляд, утешающий нас в горестях,— согласилась синьора Луиза.

— Вот видите, господь не оставил вас своим милосердием,— торжествующе произнесла старуха.— И потом у вас осталась надежда и утешение в жизни. Ведь у вас дочка, и вы должны и о ней подумать.

— О, только о ней я и думаю! Если бы не она, я сделала бы с собой что-нибудь ужасное.

— А она знает? — нерешительно спросила синьора Лаурана.

— Нет, мы от нее, бедняжки, все скрыли. Сказали, что папа в отъезде и скоро вернется.

— Но она видит, что вы вся в черном, и ничего не спрашивает? Быть может, она просто не хочет знать?

— Нет. Она даже сказала, что черное платье мне очень идет и чтобы я почаще его надевала...— Правой рукой она поднесла к лицу белый с траурной каемкой платок, вытирая обильные слезы, и под пристальным взглядом Лауры поправила юбку, прикрыв колени.— И так будет всегда, теперь я всегда буду ходить в трауре,— всхлипывая, проговорила она.

«А девочка права,— подумал Лаурана.— Красивая женщина, и черный цвет ей очень к лицу. Великолепная фигура: стройная, чуть полноватая, а сколько в ней ленивой грации и неги, даже когда она застывает, словно изваяние. Мягко очерченное лицо с пухлыми губами, темные с золотистым отливом глаза, ровные белоснежные зубы, лицо не зрелой, много испытавшей женщины, а, скорее, расцветшей девушки. О, если бы она улыбнулась».

Но у него не было никакой надежды, что такое может случиться в этой мрачной комнате, да и разговоры, которые завела мать, отнюдь не настраивали на веселый лад.

И все же это случилось, когда речь зашла об аптекаре и о приписываемых ему молвой любовных похождениях.

— Честно говоря, у него был повод так себя вести. Лючия Спано, бедняжка, никогда не отличалась красотой. Мы с ней учились в одном колледже, она и тогда была некрасивой, даже хуже, чем теперь.

Она улыбнулась, но тут же ее лицо снова опечалилось.

— Но мой муж, он-то чем виноват? — и разрыдалась, закрывая лицо носовым платком.

Глава седьмая

Для ведущих расследование картина преступления становится тем яснее, чем тщательнее собраны и проанализированы ее стилистические и материальные компоненты. Это альфа и омега всех детективных романов, которыми упивается добрая половина человечества. Но в действительности дело обстоит иначе: коэффициент ошибок и безнаказанности преступников высок не только и не столько потому, что низок интеллект следователей, а чаще всего потому, что компоненты преступления обычно бывают крайне недостаточными. Иными словами, лица, организовавшие и совершившие преступление, весьма заинтересованы в высоком коэффициенте безнаказанности.

Компоненты, позволяющие раскрыть преступления, где все окутано тайной и неясными остаются сами его мотивы,— это анонимное письмо,

донос профессиональных осведомителей, а также случай. И лишь в известной и, пожалуй, даже очень незначительной степени проницательность следователя.

Лауране случай пришел на помощь в сентябре. Он уже несколько дней находился в Палермо, где принимал экзамены в одном лицее. Однажды в ресторане, куда он обыкновенно заходил пообедать, он встретил школьного товарища, с которым не виделся много лет, но внимательно следил за его успехами в области политики. Коммунист, секретарь ячейки в небольшом селении, он стал депутатом сначала Областного собрания, а затем и парламента. Понятно, они вспомнили о студенческих временах, а когда зашел разговор о бедном Рошо, депутат сказал:

— Меня совершенно поразило известие о его убийстве, ведь он приходил ко мне дней за пятнадцать-двадцать до смерти. До этого мы с ним лет десять не виделись. Он приехал ко мне в Рим, в палату депутатов. Я его сразу узнал, он совсем не изменился, не то, что мы... Мы-то с тобой немного постарели. Вначале я подумал, что его смерть связана с этой поездкой в Рим. Но потом, насколько я понял, расследование установило, что он погиб только из-за того, что находился в компании приятеля, который, кажется, соблазнил девушку... А знаешь, зачем он приходил ко мне? Чтобы спросить, согласен ли я разоблачить в нашей газете, на митингах и в самом парламенте одного из ваших именитых граждан. Этот тип держит в руках всю провинцию и творит всякие бесчинства: крадет, подкупает, посредничает в темных делах.

— Человека из нашего городка?! Ты уверен?

— Я припоминаю, что прямо он этого не сказал, вероятно, только намекнул, а может, у меня после нашего разговора сложилось такое впечатление.

— Но именно одного из тех, кто держит в руках всю провинцию?

— Да, это я точно помню, он так и сказал. Я, конечно, ответил, что буду рад разоблачить эти скандальные злоупотребления, но мне прежде всего нужны доказательства, какие-нибудь документы. Рошо сказал, что у него в руках целое досье и он мне его принесет... С тех пор я его больше и не видел.

— Естественно.

— Вполне естественно, раз человек ушел из жизни.

— Прости, я не собирался острить. Просто я подумал, что твое подозрение о связи между его поездкой в Рим и трагической смертью имеет... Теперь я припоминаю, что дня два его не было в городке, потом он сказал мне, что ездил к отцу в Палермо. Но это поистине невероятно, Рошо — и вдруг кого-то разоблачает, подбирает досье!.. Ты уверен, что это был Рошо?

— Черт побери! — воскликнул депутат-коммунист.— Я же тебе сказал, что сразу узнал его и что он совсем не изменился.

— Да, ты прав, он не изменился... А имени человека, которого он хотел разоблачить, Рошо не назвал?

— Нет.

— Даже не намекнул? И никаких подробностей не сообщил?

— Нет, ничего. Больше того, я настаивал, пытался узнать хоть что-то, но он заявил, что речь идет о весьма деликатном, сугубо личном деле...

— Личном?

— Да, личном... И потому либо он расскажет все с документами в руках, либо ничего... Должен тебе признаться, когда он сказал, что еще не решил, открыть ли мне все или умолчать, мне стало не по себе. У меня создалось впечатление, что эти документы и сам его приход были как-то связаны с попыткой шантажа. Если он добьется своего, то промолчит, а если нет, то придет ко мне с досье...

— Но Рошо был не из тех людей, которые способны на шантаж.

— Ну а как бы ты сам истолковал его поведение?

— Не знаю, все это очень странно, почти невероятно.

— Я вижу, тебе даже трудно представить, что он хотел кого-то разоблачить, тем более ты не можешь догадаться, кого именно и по каким причинам! Но ведь вы были друзьями, ты его хорошо знал?! Тебе это не кажется странным?

— Во-первых, я не был с ним особенно близок. И потом, характер у него был скрытный и он никогда не делился своими переживаниями. Поэтому мы никогда не говорили с ним о личных, интимных делах, а все больше о книгах и о политике.

— А что он думал о политике?

— Думал, что заниматься политикой, не считаясь с моральными принципами...

— Самый настоящий оппортунизм.

— В этом смысле я тоже немного оппортунист.

— В самом деле?

— Это не мешает мне голосовать за коммунистов.

— Отлично, отлично,— сказал депутат.

— Но с большими сомнениями и колебаниями...

— Почему вдруг? — спросил депутат, бросив на собеседника насмешливый и снисходительный взгляд, обещавший мгновенно опровергнуть любые доводы Лауры.

— Оставим этот разговор, все равно ты не убедишь меня голосовать против.

— Против кого?

— Против коммунистов.

— Вот это было бы даже оригинально,— рассмеялся депутат.

— Как сказать,— серьезно ответил Лаурана и снова заговорил о Рошо, который, по-видимому, тоже голосовал за коммунистов, хотя и не признавался в этом. Вероятно, из уважения к своим родственникам, вернее, к родственникам жены, которые весьма активно участвуют в политической жизни, особенно каноник.

— Каноник?

— Да, каноник Розелло, дядя его жены... Поэтому Рошо из чувства уважения, а может, из боязни семейных ссор предпочитал не занимать определенную позицию. Должен тебе сказать, что в последнее время Рошо стал особенно упрямым и нетерпимым в своих суждениях о людях и о политике. Я имею в виду политику правительства.

— Может, от него ускользнула выгодная должность или заработать не дали?

— Не думаю... Понимаешь, он был совсем не таким, каким ты его себе представляешь... Он любил свое дело, родной городок, вечера в клубе или в аптеке, любил охоту, собак, мне кажется, он очень любил жену и обожал дочку.

— Ну и что это доказывает? Он мог любить также и деньги, быть тщеславным.

— Деньги у него были. А тщеславие было ему чуждо. Да и потом, какие могут быть тщеславные желания у человека, который по своей воле решил навсегда остаться в нашем городишке?

— Ну, скажем, занять то же положение, какое в былое время занимал городской врач,— жить на свои собственные сбережения, лечить бесплатно и даже оставлять бедным пациентам немного денег на лекарства.

— Примерно к этому он и стремился. Но зарабатывал он хорошо и слыл отличным врачом не только у нас, но и в округе; к нему на прием

всегда приходило множество больных. И потом, у него было имя, ведь старик Рошо был известным врачом. Кстати, я собираюсь его навестить.

— Словом, ты и в самом деле подозреваешь, что смерть Рошо связана с его враждебным отношением к таинственному господину?

— Нет, этого я не думаю. Ничто не подтверждает такого подозрения. Рошо умер потому, что неосторожно (я говорю неосторожно, так как он знал об угрозе) отправился на охоту вместе с аптекарем Манно. Во всяком случае, мне так кажется.

— Бедный Рошо,— сказал депутат.

Глава восьмая

Старый профессор Рошо, чья слава замечательного окулиста до сих пор живет в Западной Сицилии, постепенно становясь легендой, уже лет двадцать назад оставил кафедру и перестал практиковать. Ему уже перевалило за девяносто. По иронии судьбы, а может быть, в подтверждение мифа о человеке, который, возвращая зрение слепым, бросил вызов природе и та в отмщение его самого лишила зрения, профессор Рошо был поражен в старости почти полной слепотой. Он поселился в Палермо, у своего сына, который был, верно, не менее опытным глазным врачом, но, по убеждению многих, жил рентой со славы отца. Лаурана по телефону известил о своем желании навестить многоуважаемого профессора в любое удобное для него время. Служанка отправилась доложить об этом хозяину. Он сам подошел к телефону и сказал Лауране, чтобы тот приходил немедля. Конечно, по одному беглому упоминанию о прошлых встречах ему не удалось тут же вспомнить старого друга младшего сына, но в своем беспросветном одиночестве старик очень нуждался в собеседнике.

Было пять часов дня. Старик профессор сидел в кресле на террасе, сбоку стоял проигрыватель, и знаменитый актер то дрожащим, то громовым, то проникновенным голосом декламировал тринадцатую песнь «Ада».

— Видите, до чего я дожил? — сказал профессор, протягивая ему руку.— Должен слушать «Божественную комедию» в его исполнении.

Можно было подумать, что актер стоял рядом, а у профессора были свои причины глубоко его презирать.

— Я бы предпочел, чтобы Данте мне читал двенадцатилетний внук, служанка или швейцар, но у них другие дела.

За парапетом террасы в горячем сирокко сверкал Палермо.

— Чудесный вид,— сказал старый профессор и уверенно показал рукой,— вон там Сан Джованни дельи Эремити, Палаццо д'Орлеан, королевский дворец.— Он улыбнулся.— Когда десять лет назад мы поселились в этом доме, я видел чуть получше. Теперь я вижу только свет, да и то словно далекое белое пламя. К счастью, в Палермо света много. Но что проку говорить о наших недугах... Значит, вы были другом моего бедного сына?

— Да, в гимназии и в лицее, потом он поступил на медицинский факультет, а я — на филологический.

— На филологический? Так вы преподаватель?

— Да, преподаю итальянский язык и историю.

— Представьте себе, я жалею, что не стал специалистом по литературе. Сейчас я по крайней мере знал бы наизусть «Божественную комедию».

«Ну, это у него пунктик»,— подумал Лаурана.

— Но вы в своей жизни сделали много больше, чем те, кто читает и комментирует «Божественную комедию».

— Вы думаете, что моя работа имела больше смысла, чем ваша?

— Нет. Но то, что делаю я, способны делать тысячи людей, а вот возвращать зрение слепым могут лишь немногие — десять-двадцать человек в мире.

— Чепуха,— сказал профессор и, как видно, задремал. Затем внезапно спросил: — А мой сын, каким он был в последнее время?

— Каким был?

— Я хочу сказать, нервничал ли он, проявлял признаки беспокойства, озабоченности?

— Нет, я этого не замечал. Но вчера, беседуя с одним приятелем, который виделся с ним в Риме, я припомнил, что он в последнее время действительно немного изменился. Но вы-то почему об этом спрашиваете?

— Потому что и мне он показался не таким, как всегда... Простите, но вы сказали, что какой-то человек встречался с ним в Риме?

— Да, в Риме, за две-три недели до несчастья.

— Странно. А этот человек, случайно, не ошибается?

— Нет, не ошибается. Он был нашим товарищем по школе. Теперь он депутат парламента, коммунист. Ваш сын ездил в Рим специально, чтобы встретиться с ним.

— Встретиться? Странно, очень странно... Не думаю, чтобы у сына была просьба к нему, хотя коммунисты в определенном смысле тоже стоят у власти. Куда легче добиться протекции от тех, других,— он показал пальцем на Палаццо д'Орлеан, резиденцию Областного собрания.— А те, другие, были у сына под боком, в самом доме. И, насколько мне известно, люди довольно-таки влиятельные.

— Но он, собственно, и не собирался просить об услуге. Он хотел, чтобы наш друг разоблачил в парламенте злоупотребления и мошенничества одного видного человека.

— Мой сын? — изумился старик.

— Да, я тоже был очень удивлен.

— Он и в самом деле сильно изменился,— заключил старик, словно беседуя с самим собой.— Изрядно изменился, и я даже запамятовал, когда впервые заметил в нем какую-то усталость, неприязнь к людям и даже нетерпимость суждений, которая напоминала мне его мать... Моя жена происходила из семьи мелких землевладельцев, которым в двадцать шестом—тридцатом годах тяжко пришлось, прежде чем они выпутались из сетей, расставленных ростовщиками... Нет, моя жена не любила ближних своих... Вернее сказать, просто не понимала их, и никто ее этому не научил. И уж меньше всего я... Но о чем мы говорили?

— О вашем сыне.

— Ах да, о сыне .. Ему нельзя было отказать в уме, но он был инертен и нелюбопытен. И отличался редкой честностью... Быть может, от матери он унаследовал прочную любовь к земле, к полям. Только это он и унаследовал от нее, ведь его дедушка, отец моей жены, как дикарь, дневал и ночевал в поле, да и моя жена тоже... А сын, кажется, не отрывался от книг... Он был из тех людей, которых обычно называют простаками, а между тем это дьявольски сложные натуры... Поэтому мне не понравилось, что, женившись, он попал в семью католиков. Я говорю, католиков, так сказать, фигурально, потому что за долгие годы, а мне скоро девяносто два, ни разу не встречал здесь истинного католика. Есть люди, которые на своем веку лишь пол-облатки причастия и попробовали, но всегда готовы запустить руку в чужой карман, пнуть ногой в лицо больного или умирающего и подстрелить из люпары * здорового... Кстати, вы знаете мою невестку, ее родственников?

---

* Люпара — ружье для охоты на волков.

— Не особенно близко.

— А я их почти совсем не знаю. Невестку я видел несколько раз, а ее дядю всего однажды, он у нее вроде каноник?

— Да, каноник.

— Премилый человек. Он пытался обратить меня. К счастью, он был в Палермо проездом, а то, пожалуй, все кончилось бы тем, что он тайком привел бы ко мне самого Папу. Ему даже в голову не пришло, что я глубоко верующий человек... Моя невестка, говорят, очень красива?

— Да, очень.

— А может, она очень чувственна? Когда я был молод, таких особ называли «женщина для постели»,— спокойно, со знанием дела сказал он, словно речь шла совсем не о жене его погибшего сына, и руками обрисовал распростертое женское тело.— Вероятно, это выражение теперь не в ходу, ведь женщина утратила свою таинственность и в алькове, и в душе мужчины. Знаете, о чем я сейчас подумал? Католической церкви удалось наконец одержать величайшую победу — отныне мужчина презирает женщину. Добиться этого церкви не удавалось даже в самые мрачные и жестокие века. А вот теперь она торжествует. Теолог сказал бы, что это месть Провидения; мужчина думал, что уж в сфере эротики он обрел полную свободу действий, а сам угодил в старую ловушку.

— Да, возможно, вы и правы. Но мне кажется, что еще никогда женское тело не было так восславлено и выставлено напоказ. Оно выполняет те же функции, что и реклама, становится приманкой, предметом купли-продажи.

— Вы сказали одно слово, которое и является квинтэссенцией этой проблемы. Вот именно женское тело «выставлено», как прежде выставляли напоказ повешенных... Словом, правосудие свершилось. Но я что-то слишком разговорился, мне не мешает немного передохнуть.

Лаурана понял это как намек и немедленно поднялся.

— Нет, нет, не уходите,— сказал старик, видимо огорченный, что так быстро лишится редкой возможности побеседовать. Он снова впал в забытье; лицо его в профиль было красивым и чеканным, как на медали. Таким же его будут видеть потом все новые поколения студентов на бронзовом барельефе в вестибюле университета, а под барельефом будет торжественная надпись, которая непременно вызовет ироническую улыбку у каждого, кто ее ненароком прочтет.

«Однажды он так же тихо погрузится в реку смерти»,— думал Лаурана, не отрывая от него глаз, пока старик, не шевелясь и точно продолжая прерванную мысль, не сказал вдруг:

— Некоторые факты и события лучше не вытаскивать на свет божий... Есть такая пословица, вернее, максима: мертвый — мертв, поможем живому. Если вы скажете это итальянцу с севера, он сразу же вообразит себе автомобильную катастрофу, убитого и раненого и решит, что разумнее оставить в покое мертвого и попытаться спасти раненого. Сицилиец же представит себе убитого и убийцу, и помочь живому для него значит помочь убийце. А что такое для сицилийца мертвец, лучше всех понял, пожалуй, Лоуренс *, который, кстати, помог смешать эротику с дерьмом. Мертвец — это внушающий ужас обитатель чистилища, жалкий червь в человеческом облике, прыгающий на раскаленных угольях... Но если мертвец — наш кровный друг или родич, надо сделать все, чтобы живой, иначе говоря, убийца, поскорее узрел убитого в адском пламени чистилища. Я не сицилиец до мозга костей, и у меня никогда не было стремления помочь живым, то есть убийцам; к тому же я убежден, что тюрьма — это весьма конкретное воплощение чистилища. Но в гибели

* Дж. Г. Лоуренс (1885—1930) — английский писатель, автор ряда эротических романов, в том числе нашумевшего в свое время романа «Любовник леди Чаттерлей».

моего сына есть нечто такое, что заставляет меня подумать о живых, об их судьбе...

— Живые, иначе говоря убийцы?

— Нет, я имею в виду не тех живых, которые его непосредственно убили. Я думаю о живых, которые пробудили в нем эту нелюбовь к людям, научили его видеть темные стороны жизни и совершать непонятные поступки. Те, кому посчастливилось дожить до моих лет, склонны думать, что смерть — это волевой акт, в моем конкретном случае легкий волевой акт. В один прекрасный день мне надоест слушать голос вот этого,— он показал на проигрыватель,— шум города, служанку, которая шесть месяцев подряд поет о блеснувшей слезе, и мою невестку, которая десять лет ежедневно справляется о моем здоровье в тайной надежде услышать, что я наконец-то отошел в иной мир. И тогда я решу умереть, так же просто, как иные вешают телефонную трубку, когда им надоедает болтовня приставучего идиота или бездельника. Словом, я хочу сказать, что когда человек дошел до такого вот душевного состояния, смерть становится для него лишь неизбежной формальностью. И тогда, если есть виновные, их нужно искать среди самых близких людей. В случае с моим сыном можно начать и с меня, ведь отец всегда виноват, всегда.

Казалось, что потухшие глаза старика подернулись дымкой далеких воспоминаний.

— Как видите, я один из живых, которому надо помочь.

Лауране пришло на ум, что в словах старика таится двойной смысл. «А может, это просто горестное предчувствие близкого конца»,— подумал он.

— Вы думаете о чем-либо определенном? — спросил он.

— О нет, ничего определенного. Я же сказал, что думаю о живых. А вы?

— Мне трудно вам сейчас ответить,— сказал Лаурана.

Наступило молчание. Лаурана поднялся и стал прощаться. Старик протянул ему руку.

— Это сложная проблема,— сказал он.

И не понятно было, имел ли он в виду убийство сына или вечную загадку жизни.

Глава девятая

Лаурана вернулся в городок в конце сентября. За это время ничего нового не произошло, как сообщил ему адвокат Розелло в клубе, отозвав его в сторонку, чтобы не слышал грозный полковник Сальваджо. Но зато у Лаураны были новости для Розелло, и он рассказал адвокату о встрече с депутатом-коммунистом, о документах, которые Рошо пообещал привезти при условии, что тот выступит с разоблачением.

Розелло был поражен. Слушая рассказ Лаураны, он беспрестанно повторял: «Смотри-ка!» А потом мучительно стал припоминать хоть один намек или слово Рошо, которые можно было бы как-то связать с этой невероятной историей.

— Я думал, тебе самому хоть что-нибудь было известно,— сказал Лаурана.

— Что-нибудь известно? Да я не перестаю удивляться!

— Возможно, его молчание объяснялось тем, что он хотел разоблачить одного из деятелей твоей партии и боялся, что ты вмешаешься и попытаешься его переубедить. Он был упрям, но подчас легко поддавался чужому влиянию. Если бы ты узнал, то стал бы нажимать на него, требовать взаимного примирения. Не мог же ты остаться безучастным

к угрозам в отношении одного из членов твоей партии, а следовательно, и всей партии в целом.

— Когда затронута честь семьи, приходится иногда поступаться партийными интересами. Обратись он ко мне, я бы ему непременно помог.

— Но, вероятно. именно этого он и не хотел: тебе пришлось бы поставить под удар твое положение в партии ради дела, которое касалось только Рошо. Ведь он сказал, что речь идет о сугубо личном и очень деликатном деле.

— Личном и деликатном? Ты уверен, что он не назвал имен или каких-либо подробностей, которые позволили бы установить, кого он имел в виду?

— Нет, он ничего такого не сказал.

— Давай знаешь что сделаем? Я позвоню моей кузине, и потом мы вместе сходим к ней. Уж жене-то он, вероятно, хоть что-нибудь да сказал... Согласен?

Они направились к телефону, Розелло позвонил кузине и сказал ей, что Лаурана узнал совершенно невероятные вещи, которые, возможно, она одна могла бы объяснить. Если они ей не помешают в столь неурочный час, то нельзя ли им прийти?

— Ну, двинулись,— сказал Розелло, повесив трубку.

Вдова Рошо в тревоге прижимала руки к сердцу, сгорая от нетерпения услышать рассказ Лаураны. Ее поразило известие о поездке мужа в Рим. Глядя на кузена, она сказала:

— Наверно, это произошло, когда он за две-три недели до гибели объявил, что едет в Палермо.— Но об остальном она и понятия не имела. Да, пожалуй, в последние месяцы муж был чем-то озабочен, он стал неразговорчив и часто жаловался на головные боли.

— Его отец, профессор Рошо, тоже сказал мне, что в последнее время сын как-то изменился.

— Вы видели моего свекра?

— Этого ужасного старика,— добавил Розелло.

— Да, я навестил его... У него есть свои странности, но рассуждает он вполне здраво и, я бы сказал, беспощадно...

— Он безбожник! — воскликнула синьора.— А разве человек без всякой веры может быть иным?

— Я хотел сказать, что он беспощаден в своих суждениях, что же до веры, то, думаю, она у него есть.

— Нету, нету,— возразил Розелло.— Он атеист, и притом из закоренелых, которых не переубедишь даже на смертном одре.

— Все-таки я сомневаюсь, что он атеист,— сказал Лаурана.

— Он ярый антиклерикал,— добавила синьора Рошо.— Однажды мы втроем — я, муж и дядюшка — отправились его навестить. Вы бы только послушали, что говорил мой свекор. Поверите ли, у меня начался озноб,— и она в ужасе заломила красивые обнаженные руки, словно ее и теперь била дрожь.

— Что же он сказал?

— Такое, такое, что я не могу повторить, в жизни не слышала ничего подобного... А бедный дядюшка только сжимал в руке свое маленькое серебряное распятие и терпеливо говорил ему о милосердии божьем, о любви.

— Профессор Рошо, кстати, сказал мне, что каноник — милейший человек.

— И не ошибся! — воскликнула синьора.

— Дядюшка просто святой,— добавил Розелло.

— Нет, этого нельзя и не следует говорить. Святых,— пояснила синьора,— создаем не мы... Но дядюшка каноник наделен такой сер-

дечной щедростью и великодушием, что его можно смело назвать почти святым.

— Ваш муж,— сказал Лаурана,— внешне очень походил на отца. Да и мыслил он примерно так же.

— Как этот безбожный старец?! Помилуйте... Муж с большим уважением относился к дядюшке и вообще к церкви. Каждое воскресенье он провожал меня на мессу. Соблюдал пост. Ни разу он не усомнился в догматах религии, не позволил себе никаких насмешек. Неужели вы думаете, что я, хоть и любила его, согласилась бы связать с ним жизнь, если бы только заподозрила, что он мыслит, как его отец?

— По правде говоря,— заметил Розелло,— его трудно было понять. Даже ты, его жена, очевидно, не могла бы сказать с уверенностью, что он думал о политике, о религии.

— Он уважал семью, церковь,— уклонилась от прямого ответа синьора.

— Так-то так... Но теперь ты сама убедилась, что он был человеком замкнутым и своими сокровенными мыслями и планами не делился даже с тобой.

— Увы, это правда,— вздохнула синьора.— А своему отцу, хотя бы своему отцу, он ничего не сказал? — обратилась она к Лауране.

— Ровным счетом ничего.

— А депутату он сказал, что речь идет о личном и очень деликатном деле?

— Да.

— И пообещал принести документы?

— Целое досье.

— Знаешь,— сказал Розелло кузине,— нельзя ли нам порыться в его письменном столе, посмотреть его бумаги?

— Я бы хотела, чтобы все осталось в неприкосновенности, как было при жизни мужа. У меня самой не хватило бы духу рыться в его столе.

— Но это помогло бы устранить лишний повод для нелепых подозрений и беспокойства. И потом, пойми. Если кто-то нанес Рошо оскорбление, я из уважения к его памяти, из чувства любви к нему готов сам продолжить розыски и докопаться до истины.

— Ты прав,— сказала синьора и поднялась со стула.

Высокая, стройная, с красивой грудью и обнаженными плечами, она распространяла вокруг благоухание, в котором более опытный и менее пристрастный ценитель женских прелестей смог бы отличить тонкий аромат «Балансьяги» от запаха пота. У Лаураны синьора Луиза на миг вызвала неподдельное восхищение, словно перед ним была ожившая Ника Самофракийская, которая поднимается по лестнице Лувра дворца. Вдова Рошо провела их в кабинет покойного мужа, довольно мрачную комнату либо казавшуюся такой, так как свет падал лишь на письменный стол, оставляя в тени большие угрюмые шкафы, полные книг. На столе лежала раскрытая книга.

— Именно ее он читал в последний день,— сказала синьора.

Заложив страницу пальцем, Розелло закрыл книгу и прочел вслух заглавие:

— «Письма к госпоже Z». Что это за вещь?— спросил он у Лаураны.

— Очень интересная книга одного поляка.

— Он на редкость много читал,— сказала синьора.

Розелло с большей, чем прежде, осторожностью положил книгу на место.

— Посмотрим сначала в ящиках стола,— сказал он. И выдвинул самый верхний. Лаурана склонился над раскрытой книгой, и его внимание привлекла фраза: «Лишь действие, затрагивающее правопорядок

определенной системы, наводит на человека суровый луч закона». И словно перелистав другие страницы и пробежав глазами не отдельные фразы, а всю книгу, Лаурана вспомнил, о чем шла речь и в каком контексте. Польский писатель говорил здесь о Камю и его книге «Чужой». «Правопорядок определенной системы». А какая система была и есть у нас? Да и будет ли она когда-нубудь? Быть «чужими» как в правоте, так и в виновности, и в правоте и виновности одновременно — это роскошь, позволительная, когда есть правопорядок определенной системы. Если только не считать системой право убивать безнаказанно, как убили бедного Рошо. Но тогда человек куда больше «чужой», когда он выступает в роли палача, а не осужденного, и он более прав, если приводит в действие гильотину, а не стоит под ней.

Синьора тоже приняла участие в поисках. Она склонилась над самым нижним ящиком письменного стола, точно вписанная в конус светотени, отбрасываемой лампой. Ее грудь полуобнажилась, лицо таинственно утопало в темной копне волос. Мрачные мысли Лаураны мигом улетучились, растаяли под жарким солнцем желания.

Синьора задвинула ящик, легко, словно играючи, выпрямилась.

— Ничего не нашла,— сказала она равнодушно, точно рылась в ящике только для того, чтобы сделать приятное кузену.

— Я тоже,— сказал Розелло весьма спокойно и положил на место последнюю папку.

— Возможно, у него был свой отдельный ящик в банке,— сказал Лаурана.

— Я тоже об этом подумал,— ответил Розелло.— Завтра попытаюсь что-либо узнать.

— Нет, это исключено, он знал, что здесь никто не тронет его книги и бумаги, даже я... Он был человек аккуратный,— сказала синьора, самим тоном давая понять, что она, увы, особой аккуратностью не отличается.

— Одно несомненно, здесь кроется какая-то тайна,— сказал Розелло.

— Значит, ты думаешь, что эта история с депутатом-коммунистом и с документами как-то связана с его смертью? — спросила кузина у Розелло.

— Ни в малейшей мере. А ты что скажешь? — обратился он к Лауране.

— Кто знает...

— О боже! — воскликнула синьора.— Значит, вы думаете...

— Нет, я этого не думаю. Но полиция зашла в тупик со своими догадками о галантных похождениях аптекаря, и теперь возможны любые гипотезы.

— А письмо? Письмо с угрозами, которое получил аптекарь? Как объяснить это письмо? — спросил Розелло.

— Да, это ужасное письмо,— поддержала его синьора Рошо.

— Я склонен думать, что это уловка убийц. Аптекарь был выбран как ложная цель, для маскировки...

— И вы в этом убеждены? — с изумлением и величайшей тревогой спросила синьора.

— Нет, отнюдь не убежден.

Синьора сразу приободрилась.

«Она твердо уверена, что ее муж погиб по вине аптекаря, и любое другое предположение осквернило бы память покойного»,— подумал Лаурана.

Он упрекнул себя, что внес беспокойство в ее душу своими домыслами, которые, откровенно говоря, считал не лишенными основания.

Глава десятая

— Важный синьор, нотабль, который подкупает, крадет, посредничает в темных делах... Кто бы это мог быть, как, по-вашему?

— В городке?

— Либо в городке, либо в округе, а может, и в провинции.

— Вы задали мне нелегкую задачу,— сказал приходский священник св. Анны.— Если бы мы ограничились одним городком, то и младенцы в животе у матери смогли бы ответить на ваш вопрос... Но если говорить об округе и даже о провинции, тут немудрено сбиться с толку и совсем запутаться.

— Тогда ограничимся городком,— сказал Лаурана.

— Розелло, адвокат Розелло.

— Это немыслимо.

— Что немыслимо?

— Что именно он...

— ...Подкупает, крадет, посредничает в темных делах? Ну тогда, простите за невежливость, вы ничего дальше своего носа не видите.

— Нет, нет... Я хотел сказать, совершенно немыслимо, чтобы человек, с которым я беседовал, намекал на Розелло.

— А кто этот человек, с которым вы беседовали?

— Простите, но этого я вам сказать не могу,— покраснев и старательно избегая пронизывающего взгляда священника, ответил Лаурана.

— Мой дорогой Лаурана, очевидно, ваш собеседник не назвал вам ни местности, ни имени того человека. Он дал вам такие сведения, которые, уж поверьте мне, подходят, ну, скажем, для ста тысяч человек, не считая джентльменов, уже выловленных и отдыхающих за счет государства... И в этой великой армаде вы собираетесь отыскать вашего нотабля?

Он снисходительно и насмешливо улыбнулся.

— Я, собственно, думал, что человек, назвать которого я не могу, имел в виду нотабля из городка... Но раз вы говорите, что там только Розелло...

— Нет, просто Розелло самый крупный из всех, и его имя прежде всего пришло мне на ум. Он, строго говоря, единственный подходит под определение нотабля. Но есть мошенники и помельче, и кое-кто наверняка назвал бы среди них и меня.

— Ну, что вы,— неуверенно возразил Лаурана.

— Увы, да, и, возможно, с некоторым основанием... Но повторяю, самый крупный — Розелло... Представляете ли вы себе, что это за человек? Я имею в виду его участие в разных сделках, его огромную ренту и его открытое и тайное влияние. Ведь определить, что это за тип, совсем не трудно — он кретин, не лишенный хитрости. Словом, один из тех, кто ради того, чтобы получить или удержать в руках выгодную должность, пройдет по трупам, но только не по трупу своего любезного дядюшки каноника.

— Я знаю, что за человек Розелло, но не совсем ясно представляю, каково его влияние. Вам это наверняка известно лучше меня!

— Отличнейшим образом известно... Итак, Розелло входит в состав административного совета фирмы «Фурарис» — пятьсот тысяч лир ежемесячно, он — технический консультант той же фирмы — парочка миллионов в год, советник банка «Тринкария» — еще пара миллионов, член исполнительного комитета акционерного общества «Вешерис» — пятьсот тысяч лир в месяц, президент объединения по добыче мрамора, финансируемого той же фирмой «Фурарис» и банком «Тринкария», причем все знают, что мрамор в том районе невозможно найти, даже если привезти его специально,— он тут же потонул бы в песке. Кроме того, Розелло — член Областного собрания. Эта должность с финансо-

вой стороны для него чистый убыток, ведь представительских денег ему едва хватает на чаевые швейцарам, но для поддержания престижа... она важна. Вы, очевидно, знаете, что именно Розелло в Областном собрании разорвал соглашение с неофашистами и уговорил остальных советников от демо-христианской партии вступить в союз с социалистами; такая операция в Италии была проделана впервые... Зато теперь он пользуется авторитетом среди социалистов и, пожалуй, завоюет уважение даже коммунистов, если, учуяв заранее новый сдвиг своей партии влево, сумеет опередить других... Больше того, коммунисты уже сейчас осторожно заигрывают с ним... А теперь перейдем к его частным делам, которые известны мне далеко не полностью: земельные участки в районном центре и, говорят, даже в самом Палермо, контроль над двумя-тремя строительными фирмами, типография, которая постоянно выполняет заказы учреждений и общественных организаций, контора по перевозке грузов... Я уже не говорю о его темных сделках, в которые весьма опасно совать нос, даже из чистого любопытства. Ну, а если бы мне сказали, что он держит тайные дома терпимости, я бы поверил этому человеку на слово.

— Вот никогда бы не подумал! — воскликнул Лаурана.

— Еще бы! Так оно всегда и бывает. Как-то в одной книге о релятивизме я прочел: «Сам факт, что мы невооруженным глазом не видим лапки сырных червей, еще не означает, что и сами черви их не видят...» Я один из червей в той же самой головке сыра и прекрасно вижу лапки других червей.

— Забавно!

— Не очень,— ответил приходский священник.— Вокруг нас самих кишат черви,— добавил он с брезгливой гримасой.

Эта горькая острота совсем было расположила Лаурану к откровенности. А не рассказать ли священнику все, что он знает о преступлении и о Рошо? Приходский священник — человек тонкий, умный, непредубежденный, с большим жизненным опытом. Кто знает, может, ему и удастся подобрать ключ к этой сложной проблеме. Но Лаурана вспомнил, что священник любит посплетничать и выставить себя человеком независимым, циничным, лишенным всяких предрассудков. К тому же было известно, что он питал глубокую антипатию к канонику. Узнай он что-либо, порочащее семью каноника, то не преминул бы распустить всевозможные слухи. В недоверии Лаураны сказалась его инстинктивная неприязнь к пастырю, недобросовестно выполняющему свои обязанности, хотя он и считал, что по-настоящему хороших священнослужителей не бывает в природе. Такое же чувство питала к приходскому священнику и мать Лаураны, противопоставляя его, как она говорила, испорченности глубокую нравственную чистоту достопочтенного каноника.

— За исключением Розелло, кто еще в провинции отвечает определению нотабля, которую дал покойный Рошо?

— Разрешите немного подумать,— сказал приходский священник. Затем спросил: — Исключая депутатов и сенаторов?

— Само собой разумеется.

— Так, коммендаторе Федели, адвокат Лавина, доктор Якопитто, адвокат Анфоссо, адвокат Эванджелиста, адвокат Бойано, профессор Камерлато, адвокат Макомер...

— Мне кажется, это неразрешимая задача.

— Конечно, неразрешимая, я же вам сразу сказал. Их много, слишком много, куда больше, чем мог бы предположить тот, кто не попал в головку сыра... Но вас, простите за нескромный вопрос, вас-то что заставляет заниматься этой проблемой?

— Любопытство, чистейшее любопытство... Однажды в поезде я случайно встретил одного типа, и тот рассказал мне про некоего человека

из наших мест, который живет припеваючи, как бы это сказать поточнее, за счет нарушения законов...

С тех пор, как Лаурана всерьез заинтересовался преступлением, он научился лгать с известной легкостью, и это несколько беспокоило его, словно он обнаружил в себе тайную склонность к пороку.

— В таком случае...— сказал приходский священник и махнул рукой, как бы ставя крест на этой малолюбопытной проблеме. Однако нетрудно было заметить, что версия Лаураны не очень его убедила.

— Простите, что я отнял у вас впустую столько времени,— извинился Лаурана.— Знаете, я читал Казанову, подлинный текст воспоминаний... На французском...— добавил он не без гордости.

— А я их до сих пор не читал,— сказал Лаурана.

— Собственно, разница с итальянским текстом невелика, пожалуй, французский вариант менее цветист... Я подумал, что если рассматривать эти воспоминания как руководство по эротике, то самое интересное в нем вот что: соблазнить двух-трех женщин сразу куда легче, чем одну.

— В самом деле? — удивился Лаурана.

— Ручаюсь вам,— сказал приходский священник, приложив руку к груди.

Глава одиннадцатая

Лаурана отлично помнил: до самого последнего дня Рошо и Розелло всегда здоровались и обменивались двумя-тремя словами. Нельзя сказать, чтобы они были в дружеских или тем более родственных отношениях, но Рошо со всеми, даже со своим напарником по охоте аптекарем Манно, держался на расстоянии и, на первый взгляд, равнодушно, с холодком. Обычно в разговоре он ограничивался односложными ответами, и, чем многочисленнее было общество, тем более замкнутым и молчаливым становился Рошо. Лишь, уединившись где-нибудь в уголке с таким старым школьным другом, как Лаурана, он иногда позволял себе откровенничать. Можно предположить, что и с аптекарем Манно, в долгие часы охоты, он беседовал столь же охотно.

Отношения Рошо с кузеном жены внешне до последних дней оставались неизменными. Впрочем, при обычном немногословии Рошо вообще трудно было бы заметить какие-либо изменения. Во всяком случае, они разговаривали друг с другом. Этот факт опровергал зародившееся подозрение, что Розелло строил козни против родственника. Но только если заранее считать Розелло не способным к тонкому и коварному притворству. А в этих краях люди нередко умели искусно скрывать свою вражду, готовя одновременно самое подлое преступление. Но это предположение Лаурана отвергал в самом зародыше.

Теперь разумнее всего было бы перестать заниматься неразрешимой загадкой, больше о ней не думать. Для Лаураны это было своего рода развлечением в дни каникул, и, по правде говоря, довольно глупым. Начинались занятия, а значит, ему предстояли ежедневные неприятные поездки в районный центр и обратно, так как старуха мать всем сердцем прилепилась к местечку, к своему дому и ни за что не соглашалась переехать поближе. И хотя Лаурана считал себя жертвой материнского эгоизма, но, возвращаясь после занятий в родной городок, в большой, старый дом, он испытывал такую радость, от которой он сам никогда бы не отказался. Только вот автобусное расписание было очень неудобным. Каждое утро он выезжал в семь утра и лишь через полчаса автобус добирался до места, да еще минут тридцать приходилось бродить по улицам либо сидеть в учительской или в кафе в ожидании начала занятий.

А в половине второго он тем же автобусом отправлялся назад и в два приезжал домой... Эти беспрестанные разъезды становились для Лауры все тяжелее, да и годы уже давали себя знать. Все, кроме матери, советовали ему купить машину и научиться ее водить. Но эти добрые советы казались Лауране запоздалыми — в его-то годы, при его нервозности и рассеянности, не говоря уже о материнских страхах, это немыслимо. Но сейчас, предельно усталый, отупевший, имея перед собой неприятную перспективу весь школьный год опять мотаться туда и сюда в автобусе, он решил попытать счастья. Впрочем, если инструктор в первые же дни занятий обнаружит у него недостаток внимания и замедленную реакцию, он не станет упорствовать и покорно вернется к своему хотя и старомодному, но привычному образу жизни.

Но это неожиданное решение впоследствии стало для Лауры фатальным. Конечно, он так, сразу не перестал думать о причинах убийства Рошо и аптекаря, но встреча, которая произошла на лестнице Дворца правосудия, куда он отправился, чтобы взять свидетельство о том, что в прошлом за ним не числится уголовных преступлений (а это было необходимо для получения водительских прав), ознаменовала собой крутой поворот в его приватном расследовании.

Вторично на помощь ему пришел случай, но теперь это было чревато для Лауры роковыми последствиями. Итак, он подымался по лестнице старинного здания, полный тысячи мучительных опасений, как и всякий итальянец, пришедший в государственное учреждение, да еще именуемое Дворцом правосудия. Навстречу ему попался Розелло, спускавшийся по той же лестнице в компании двух мужчин. Одного из них Лаурана сразу узнал — это был депутат парламента Абелло, которого преданные друзья, да и вся партия считали образцом морали и великолепным знатоком религиозной доктрины. Свою высокую ученость уважаемый депутат демонстрировал уже не раз, доказывая, что святой Августин, святой Фома, святой Игнатий и все остальные святые, которые когда-либо брались за перо или поведали свои мысли современникам, давным-давно предвосхитили и превзошли все идеи марксизма. Эту глубокую мысль депутат Абелло высказывал везде.

Розелло был, по-видимому, рад случаю познакомить Лаурану, щипавшего жидкую травку книжной культуры, с таким великим носителем культуры, как депутат Абелло. Он представил Лаурану депутату, и тот, небрежно протянув руку, машинально произнес:

— Дорогой друг...— Однако сразу же проявил интерес, когда Розелло сказал, что Лаурана не только преподает в лицее, но и занимается литературной критикой.— Литературной критикой? — повторил депутат Абелло с важным видом экзаменатора.— О чем же вы пишете?

— Так, разные мелкие заметки о Кампане, о Квазимодо.*

— Ах, о Квазимодо,— разочарованно протянул депутат.

— Он вам не нравится?

— Абсолютно не нравится. В Сицилии сейчас один-единственный большой поэт — Лучано Де Маттиа. Вам знакомо это имя?

— Нет.

— «Услышь, Фридрих, мой голос, который принесет тебе с чайками ветер». Каково?! Эти чудесные стихи Де Маттиа посвятил Фридриху Второму. Непременно найдите их и прочитайте.

На помощь Лауране, подавленному универсальной культурой депутата, пришел Розелло, с дружелюбной, но снисходительной улыбкой давая понять, сколь он великодушен.

— Как это ты сюда попал? Какие-нибудь дела?

---

* Дино Кампана (1885—1932), Сальваторе Квазимодо (род. в 1901) — известные итальянские поэты.

Лаурана ответил, что приехал за свидетельством, и объяснил, зачем оно ему вдруг понадобилось.

Тем временем он с любопытством поглядывал на отошедшего в сторонку незнакомца. Кто он: подручный депутата или один из клиентов Розелло? По-видимому, родом он из деревни, но в нем поражал контраст между очками в легкой металлической оправе, которые обычно носят пожилые американцы, и широким, грубым лицом, прокаленным солнцем. Возможно, смущенный этим, хотя и неназойливым, любопытством, незнакомец извлек из кармана пачку и вынул оттуда сигару.

Депутат протянул Лауране руку и, скорее даже презрительно, а не просто равнодушно, сказал:

— До свидания, дорогой друг.

Пожимая протянутую руку, Лаурана мысленно отметил, что пачка, которую незнакомец снова сунул в карман, была желто-красного цвета. Он попрощался с Розелло и невольно кивнул головой стоявшему в сторонке незнакомцу.

Когда двадцать минут спустя он чуть не бегом вышел из Дворца правосудия (ему надо было успеть на урок) и проходил мимо табачной лавки, ему внезапно пришла на память та пачка и перед глазами вспыхнули два цвета: желтый и красный. Повинуясь мгновенному побуждению, он зашел и попросил сигары «Бранка». В те короткие секунды, пока рука лавочника искала на полке сигары, его сердце учащенно билось, и кровь прилила к лицу, словно в игорном доме он следил за последними медленными вращениями шарика рулетки. Но вот на прилавке пачка сигар «Бранка» — желтый с красным. Впечатление, что он рискнул и выиграл, было столь сильным, что Лаурана, мысленно имитируя раскатистый голос крупье, сказал про себя: «Jaune et rouge» *. Возможно, он даже произнес это вслух, потому что владелец лавки какое-то мгновение глядел на него в немом изумлении. Лаурана расплатился и вышел на улицу. Когда он открывал пачку, руки у него дрожали. Вынув сигару и закурив, он, желая продлить удовольствие, невольно отогнал мысль о важности и неопровержимости сделанного им нового открытия. Потом, вспомнив об игорном зале Монтекарло, где побывал однажды, подумал: «А ведь на табло рулетки желтого цвета не было».

В лицей он пришел, когда директор уже стоял в коридоре у дверей его класса, где неистово шумели ученики.

— Нехорошо, профессор, нехорошо,— вяло упрекнул он Лаурану.

— Простите за опоздание,— сказал Лаурана, входя в класс с зажженной сигарой в зубах.

Он был счастлив и вместе с тем как-то испуган и растерян. Ученики громкими криками приветствовали приобщение учителя к лиге курильщиков.

Глава двенадцатая

Судя по тому немногому, что Лаурана выяснил, человек, курящий сигары «Бранка», с одинаковым успехом мог быть наемным убийцей и профессором Даласского университета, приехавшим вкусить плоды учености, которыми щедро делился со всеми депутат Абелло. Лишь инстинкт, как и у каждого сицилийца, на собственном опыте узнавшего, что такое страх, почти безошибочно предупреждал Лаурану об опасности. Вот так же гончая, когда она бежит по следу ежа, еще на видя его, заранее предчувствует всю боль от колючих иголок и жалобно лает.

* Желтое и красное *(франц.)*.

Но в тот же вечер после новой встречи с Розелло предчувствия Лаураны стали реальностью. Даже не поздоровавшись, Розелло спросил, горделиво и самодовольно улыбаясь:

— Ну, какое впечатление произвел на тебя депутат Абелло?

Лаурана, помолчав, ответил весьма двусмысленно:

— Достоин той славы, которой пользуется.

— Я рад, искренне рад твоим словам. Рано или поздно он будет министром. Это блистательный, редкого ума человек... Вот увидишь.

— Внутренних дел,— добавил, не сдержав иронии, Лаурана.

— Почему внутренних дел? — подозрительно спросил Розелло.

— Неужели, по-твоему, столь необыкновенному человеку дадут министерство туризма?

— Да, пора этим синьорам из Рима понять, что ему нужно дать важное, ключевое министерство.

— Когда-нибудь поймут,— заверил его Лаурана.

— Будем надеяться. Очень уж обидно, что такой достойный человек в столь трудный исторический и политический момент не оценен в должной мере.

— Но, если не ошибаюсь, он стоит на правых позициях. А в ситуации, когда налицо сдвиг влево...

— Если хочешь знать, правая позиция депутата Абелло куда левее китайской... Какой там правый, левый? Для него эти различия лишены всякого смысла.

— Очень приятно слышать,— сказал Лаурана. И потом, словно невзначай:— Что это за синьор провожал депутата?

— Он из Монтальмо, прекрасный человек.

Но тут же спохватился и пронзил Лаурану ледяным взглядом:

— А почему ты о нем спрашиваешь?

— Так, из любопытства. Он показался мне интересным человеком.

— Да, это человек очень интересный,— с затаенной насмешкой и угрозой подтвердил Розелло.

Лаурана поежился от страха. Он тут же перевел разговор на депутата.

— Значит, депутат Абелло полностью согласен с теперешней линией вашей партии? — спросил он.

— Почему бы и нет? Двадцать лет мы прихватывали голоса правых, пора нам заполучить и голоса левых. Тем более что в сущности ничего не меняется.

— А китайцы?

— При чем тут китайцы?

— Не понимаю, почему депутат Абелло стоит левее китайцев?

— Все вы, коммунисты, такие: из одной фразы готовы свить целую веревку и повесить на ней честного человека. Я сказал так, к слову... Если это доставит тебе удовольствие, могу сказать, что он правее Франко... Это необыкновенный человек, редкой широты взглядов, и для него, повторяю тебе, все эти дурацкие определения «левый», «правый» ничего не значат. Но извини, мы продолжим этот разговор в другой раз, у меня много дел дома.

Он ушел мрачный, даже не попрощавшись.

Когда же через полчаса он появился снова, с ним произошла разительная перемена, он стал веселым, приветливым, готовым пошутить и посмеяться. Однако в нем чувствовались напряженность, беспокойство и, быть может, даже страх, которые неудержимо влекли этого человека на огонь. «Словно ночную бабочку «мертвая голова»,— подумал Лаурана. Литературная реминисценция из «Преступления и наказания» по профессиональной привычке тут же переплелась с реминисценциями из стихов Гоццано и Монтале.

Розелло попытался вновь завести разговор о человеке из Монтальмо, которым заинтересовался Лаурана. Впрочем, возможно, он даже не из Монтальмо, а живет в районном центре. Он и виделся-то с ним всего дважды, первый раз именно в Монтальмо, это и навело его на мысль, что он из Монтальмо. А что он хороший, честный и верный человек, нет никаких сомнений, потому что так охарактеризовал его сам депутат Абелло...

Ночная бабочка сама обожгла себе крылышки в огне подозрений Лаураны. Ему стало почти жаль Розелло.

На следующий день после обеда Лаурана отправился на автобусе в Монтальмо. В этом городке жил один его университетский друг, который не раз приглашал Лаурану приехать и посмотреть на недавние раскопки, увенчавшиеся ценнейшими находками из истории древней Сицилии. Монтальмо оказался красивым городком, удачно спланированным, с безбрежным горизонтом и прямыми улицами, которые радиусами расходились от центральной площади, сплошь застроенной домами в стиле барокко.

В одном из домов на площади и жил его друг. Это было большущее здание, столь же темное внутри, сколь светлое снаружи. Сложенное из белого песчаника, оно все сверкало, словно камни впитали в себя солнце.

Друга, почетного инспектора археологии, не оказалось дома, он как раз ушел на место раскопок. Старая служанка сказала об этом через слегка приоткрытую дверь, с явным намерением захлопнуть ее перед самым носом Лаураны.

Но из дома гулко, словно из множества открытых дверей, донесся повелительный голос:

— Кто там?

Крепко держа приоткрытую дверь, служанка крикнула куда-то в глубину:

— Да это профессора спрашивают.

— Так впусти же,— приказал голос.

— Да он к профессору пришел, а его нет,— ответила служанка.

— Сказано тебе, впусти.

— О господи,— простонала служанка, словно вот-вот случится несчастье.

Она распахнула дверь и пропустила вперед Лаурану.

Все двери и в самом деле были открыты, из одной вышел пожилой сгорбленный человек с ярким пледом на плечах.

— Вы ищете моего брата?

— Да, я его старый друг еще по университету. Он не раз приглашал меня посмотреть раскопки, новый музей. И вот сегодня...

— Пожалуйста, проходите. Он скоро вернется.

Старик повернулся, пропуская Лаурану. И в ту же секунду служанка сделала Лауране знак: она поднесла правую руку ко лбу. Этот недвусмысленный намек остановил Лаурану. Но старик, не оборачиваясь, сказал:

— Кончетта предупреждает вас, что у меня не все дома?

Лаурану поразила, но одновременно приободрила эта откровенность старика, и он смело последовал за ним.

Старик провел его через анфиладу комнат в кабинет, заваленный и заставленный книгами, статуэтками, старинными вазами, сел за письменный стол и кивком головы предложил гостю сесть напротив. Отодвинув стопку книг, он сказал:

— Кончетта считает меня безумным, и, по правде говоря, не одна она.

Лаурана неодобрительно покачал головой.

— Вся беда в том, что я действительно безумен... Но только отчасти. Не знаю, говорил ли вам брат обо мне. Ну, хотя бы о том, что, когда он учился, я, по его словам, весьма ограничивал его в деньгах. Меня зовут Бенито, я старший брат... Это имя мне дали отнюдь не в честь того синьора, о котором вы сразу же подумали. Кстати, мы были с ним почти одногодки. Именно после объединения страны в моей семье особенно окрепли республиканские и революционные настроения. Меня назвали Бенито потому, что мой дядя, умерший в год моего рождения, сам родился в тот год, когда Бенито Хуарес * расстрелял Максимильяна. А то, что еще одного императора расстреляли, явилось для моего деда огромной радостью. Однако это не помешало ему давать нам имена в строгом соответствии с бонапартистскими традициями, которые по-прежнему соблюдались в нашей семье. После революции 1820 года в нашем семействе не было ни одного, кто при рождении избежал бы второго имени Наполеон, если это был мальчик, или Летиция — если это была девочка. Моего брата зовут Джироламо Наполеон, мою сестру — Летиция, а меня — Бенито Хуарес Джузеппе Наполеон. Впрочем, не исключено, что Джузеппе, в представлении моих родителей, это, так сказать, нечто среднее между Бонапартом и Мадзини... Когда выпадает такая возможность, очень неплохо поймать двух зайцев сразу. Во времена фашизма мое имя производило впечатление. Синьора, который, как тогда выражались, вершил судьбами великой родины, тоже звали Бенито, и он был моим однолеткой. Люди так привыкли к мифам, что многие думали, что, едва у меня прорезался зуб, я уже совершил поход на Рим. Вы фашист?

— Что вы, что вы?!

— Не обижайтесь, мы все немного фашисты.

— Вы так думаете? — спросил Лаурана с любопытством и одновременно с раздражением.

— Конечно... Сейчас я вам приведу один пример, который, кстати, позволит вам понять, какое жестокое разочарование я испытал совсем недавно... Пеппино Тестакуадра, мой старый друг, один из тех, кто с двадцать седьмого и по сороковой провел в тюрьме и ссылке свои лучшие годы, стал фашистом... Хотя любому, кто бросил бы ему такое обвинение, он бы кости переломал или рассмеялся в лицо... Но, увы, это так.

— Фашист?! По-вашему, Тестакуадра фашист?

— Вы его знаете?

— Я слышал его выступления, читал его статьи...

— И вы, понятно, считаете, что прошлое его, статьи и речи говорят об обратном и только безумец или подлец может называть его фашистом... Ну что ж, насчет безумия еще можно согласиться, если только считать безумием стремление к абсолютной истине, но подлостью здесь и не пахнет. Он мой друг, мой старый друг. Но что поделаешь — он фашист. Тот, кто, заполучив маленькое и пусть даже беспокойное, но теплое местечко, сразу начинает отделять интересы государства от интересов граждан, различать права своих и чужих избирателей, путать соглашательство с правосудием, тот... Не кажется ли вам, что у него можно спросить, ради чего, собственно, он мучился в тюрьме и на каторге? И не имеем ли мы права со злорадством подумать, что он не на ту карту поставил, и если бы Муссолини его позвал...

— Именно со злорадством,— подчеркнул Лаурана.

— Мое злорадство говорит лишь о мере моего разочарования. Как друга Тестакуадры и как избирателя.

— Вы голосуете за партию Тестакуадры?

---

* Бенито Хуарес (1806—1872) — выдающийся мексиканский государственный деятель, возглавивший борьбу мексиканского народа против иностранных интервентов.

— Нет, не за партию... Собственно, и за партию, но это имеет для меня второстепенное значение... Как, впрочем, и для всех здесь... Кого связывает с политическим деятелем денежное пособие, кого тарелка спагетти, право на ношение оружия, заграничный паспорт. Ну, а других, вроде меня, связывают давняя дружба, уважение к его личным качествам... А вы подумали, какая для меня мука выйти из дома, чтобы проголосовать?

— Вы что, разве совсем не выходите из дома?

— Никогда. Уже много лет... В один прекрасный момент я прикинул и точно подсчитал — если я выйду из дома, чтобы повидаться с честным, умным человеком, то рискую в среднем встретить двенадцать прохвостов и семь болванов, готовых сходу выложить мне свое мнение о человечестве, о правительстве, о местных властях и о Моравиа... Как, по-вашему, игра стоит свеч?

— Нет, безусловно, нет.

— К тому же дома я чувствую себя преотлично, особенно в этой компании.— И он обвел правой рукой все свои бесчисленные книги.

— У вас отличная библиотека.

— Конечно, и тут иной раз наталкиваешься на прохвостов и болванов. Я, понятно, говорю о писателях, а не о персонажах книг. Но я легко от них избавляюсь — возвращаю книгу продавцу или дарю первому идиоту, пришедшему ко мне с визитом.

— Значит, даже уединившись у себя в доме, вы не можете избавиться от идиотов?

— Увы, нет... Но здесь я чувствую себя увереннее, как бы на известном расстоянии от них... Точно в театре, и мне даже становится весело. Признаюсь вам, отсюда все, что происходит в городке, тоже кажется мне представлением. Свадьбы, похороны, ссоры, отъезды, разлуки, встречи... Потому что я все знаю и вижу, и любое событие доходит до меня, словно повторенное и усиленное эхом.

— Я познакомился с одним человеком из Монтальмо,— прервал его Лаурана,— и никак не могу вспомнить его имени и фамилии. Роста он высокого, широкоскулый, темнолицый, носит очки в металлической оправе и, по-видимому, является доверенным лицом депутата Абелло...

— Вы преподаете в лицее?

— Да, я преподаватель,— ответил Лаурана и под пристальным, холодным взглядом собеседника покраснел, словно он солгал.

— Где же вы познакомились с этим синьором из Монтальмо, имя которого вдруг позабыли?

— На лестнице Дворца правосудия, несколько дней назад.

— Он был в обществе двух полицейских?

— Нет, в компании депутата Абелло и одного моего знакомого, адвоката.

— А у меня вы хотите узнать его имя?

— Собственно, мне это не так уж важно.

— Но вы хотите узнать или нет?

— Пожалуй, хочу.

— А зачем?

— Так, из любопытства... Этот человек произвел на меня сильное впечатление.

— Еще бы! — воскликнул дон Бенито и громко засмеялся.

Он хохотал до слез, до спазм в горле. Потом постепенно успокоился, вытер глаза большим красным платком.

«Да, он безумен,— подумал Лаурана.— В самом деле безумен».

— Знаете, над чем я смеюсь? — спросил он у Лаураны.— Над собой, над своими страхами. Признаюсь, я испугался. Меня, который считает себя свободным гражданином в далеко не свободной стране, на миг

охватил извечный страх, мне показалось, что я очутился в тисках между преступником и сбиром... Но даже если вы и вправду сбир...

— Вы ошибаетесь. Я уже вам сказал, я преподаватель, коллега вашего брата.

— Как же вас угораздило столкнуться нос к носу с Раганой? — И старик снова разразился хохотом. Затем пояснил: — Мой вопрос продиктован осторожностью, а не страхом... Во всяком случае, я вам уже ответил.

— Значит, его зовут Рагана и он преступник?

— Совершенно точно, один из не зарегистрированных в полиции преступников, весьма уважаемых и неприкосновенных.

— Вы думаете, что он и теперь остается неприкосновенным?

— Не знаю, возможно, когда-нибудь доберутся и до него. Но все дело в том, мой дорогой друг, что в Италии, этой благословенной стране, если начинают бороться с местными, диалектальными мафиями, значит, уже создана мафия общенациональная... Нечто подобное я уже наблюдал сорок лет назад... Правда, общеизвестно, что история в малом и великом вначале бывает трагедией, а повторяясь, становится фарсом, но мне все равно не по себе.

— При чем здесь это? — вспылил Лаурана.— Согласен, сорок лет назад большая мафия фашизма попыталась раздавить малую... Но в наши дни, увольте... Неужели вам кажется, что сегодня все это опять повторяется?

— Не совсем... Однако позвольте рассказать вам в виде притчи известный всем факт. Промышленные магнаты решили соорудить в горах вблизи большого селения плотину. С десяток депутатов на основе заключения экспертов потребовали, чтобы плотину не строили, ибо она может обрушиться на лежащее внизу селение. Правительство все же дает разрешение строить плотину. Позже, когда ее уже соорудили, снова стали раздаваться предостерегающие голоса. Никакого эффекта. До тех пор, пока не случилось несчастья, которое некоторые предвидели. Итог— две тысячи убитых... Две тысячи человек. Все Рагана, процветающие в наших местах, не убивают столько и за десять лет... Я бы мог рассказать вам еще много подобных же притч, впрочем, вы и сами отлично их знаете.

— Ваши доводы неубедительны... И потом, честно говоря, мне кажется, что ваши притчи так и остаются лишь абстрактными умозаключениями. Вы не учитываете страх, ужас...

— А вы думаете, что жители Лонгароне не испытывали страха, глядя на плотину?

— Это разные вещи. Согласен, это была ужасная трагедия.

— И виновники ее останутся безнаказанными. Так же как и наши известнейшие бандиты, во всяком случае, самые типичные.

— Но признайте, что если всех известных и неизвестных нам Рагана удастся наконец потревожить, невзирая на их высоких покровителей, то это будет большой и важный шаг вперед.

— Вы так думаете? В наших-то условиях?

— В каких условиях?

— Полмиллиона эмигрантов, а это почти все работоспособное население, сельское хозяйство в полном запустении, закрыты серные копи и соляные накануне закрытия, нефтяные богатства, вызывающие у всех лишь ироническую улыбку, областные институты, бросающие деньги на ветер, правительство, которое предоставляет нам вариться в собственном соку... Мы тонем, друг мой, погружаемся на дно... Пиратский корабль, каким была прежде Сицилия, с великолепным леопардом, выпустившим когти на кормовом флаге, с цветами Гуттузо на щите, Сицилия с ее гарибальдийцами, которых политики называют доблестными мучениками, с ее писателями, преисполненными гражданского

долга, с ее Малаволья и Перколла, с ее законниками-рогоносцами, с ее безумцами, с ее утренними и ночными Демонами, с ее апельсинами, серой и трупами в трюме, тонет, друг мой, неумолимо тонет... А мы с вами: я, старый безумец, и вы — человек долга, занимаемся каким-то Раганой, стараемся понять, удрал ли он на берег вслед за уважаемым депутатом или остался на корабле среди обреченных. И это когда нам самим вода подступает к горлу.

— Все равно я с вами не согласен,— сказал Лаурана.

— В конечном счете, и я тоже,— заключил дон Бенито.

Глава тринадцатая

— Какое животное держит клюв под землей?— еще с порога спросил Артуро Пекорилла.

Почти каждый вечер молодой Пекорилла торжественно приносил в клуб запас анекдотов, ребусов, острот, загадок, которые он лихорадочно собирал по всем альманахам, газетам и на эстрадных представлениях в районном центре. Но когда в клубе был отец, его появление носило характер куда более скромный и даже грустный. Нотариус Пекорилла признавал, что молодому человеку, который страдает нервным истощением, а Артуро именно этим объяснял свои частые пропуски занятий в университете, не помешает веселая компания, но сам он не должен превращаться для этой компании в постоянный эликсир веселья. И хотя мнение нотариуса не разделялось врачами, он стоял на своем, а молодой человек, в силу неумолимой жизненной необходимости, ему покорялся.

В тот вечер нотариуса не было в клубе, и молодой Пекорилла уже с порога огорошил всех своей загадкой о животном, у которого клюв под землей.

Бывалые охотники назвали бекаса, муравьеда, люди, мало знакомые с миром животных, предпочли экзотических птиц: страуса, аиста, журавля, кондора.

Молодой Пекорилла дал им немного помучиться, а потом с торжеством объявил:

— Вдова.

Все сдержанно засмеялись, как и подобает в таких случаях, а потом трое из присутствующих, каждый по-разному, отреагировали на загадку.

Полковник Сальваджо вскочил с кресла и зычным голосом, предвещавшим бурю, спросил:

— Вы подразумеваете и солдатскую вдову?

— Боже меня упаси,— ответил молодой человек.

Полковник, вполне удовлетворенный, вновь погрузился в кресло.

— В загадке допущена лингвистическая неточность,— заметил бухгалтер Пиранио.— Вы употребили выражение «держать клюв» вместо «иметь клюв», а это испанизм, вернее, даже неаполитанизм.

— Конечно, вы правы,— поспешно согласился Артуро Пекорилла, которому не терпелось рассказать новенький анекдот.

Реакция дона Луиджи Корвайя была неожиданной и, безусловно, неосторожной.

— Кто знает,— задумчиво сказал он,— не выйдет ли замуж вторично вдова доктора Рошо?

— У нее что, тоже клюв под землей? — со свойственной ему бестактностью спросил молодой Пекорилла.

— Вечно ты со своими глупостями лезешь! — крикнул дон Луиджи, побагровев.

Сознание того, что он допустил ошибку, усиливало его ярость. Этот бездельник Артуро Пекорилла своей репликой лишь подчеркнул его промах, да еще на глазах у всех остальных. Дело это весьма щекотливое, рискованное, а этому желторотому юнцу вздумалось еще острить.

— У меня это вырвалось совершенно машинально,— стараясь говорить как можно спокойнее, объяснил дон Луиджи Корвайя.— Услышал слово «вдова» — и сразу мелькнула мысль о вдове Рошо... А ты не уважаешь ни живых, ни мертвых.

— Я пошутил,— сказал молодой Пекорилла.— Все так и поняли, верно ведь? Я бы никогда себе не позволил...

— Есть вещи, с которыми не шутят... Если я здесь, в кругу друзей, задал себе вопрос, как поступит в дальнейшем вдова нашего бедного Рошо, можешь не сомневаться, что мною руководили самые добрые намерения. Впрочем, все мы знаем высокую порядочность синьоры Рошо.

— О да, конечно, какой может быть разговор! — хором подтвердили все.

Дон Луиджи продолжал:

— Синьора так молода, что мне, как бы это поточнее выразиться, больно думать, что она навсегда замкнется в своем горе и трауре...

— Это верно,— вздохнул полковник Сальваджо.— Отменно красивая женщина.

— Но вам-то теперь...— бросил Артуро Пекорилло, который уже раскаивался, что замял разговор о солдатской вдове, и явно намеревался подзадорить полковника намеком на его слабые мужские способности.

— Что значит это ваше «теперь»? — немедля отозвался полковник, весь подобравшись, словно пантера перед прыжком.

— Теперь уж вам...— повторил молодой Пекорилла и безнадежно махнул рукой.

Полковник рванулся вперед:

— К вашему сведению, молодой человек, я в мои семьдесят два года, если раз в день не...

— Полковник, я вас не узнаю! — сурово прервал его бухгалтер Пиранио.— При вашем престиже и звании!

Пиранио действительно был убежден, что полковник обязан вести себя солидно, с достоинством. Его упрек сразу возымел свое действие.

— Вы правы,— сказал полковник.— Совершенно правы. Но когда вас столь нагло провоцируют...

— А вы не обращайте внимания,— ответил Пиранио.

Эта сцена повторялась каждый вечер. И тому, кто хотел всласть насладиться яростью полковника, оставалось ждать, когда Пиранио не будет в клубе.

Едва полковник вновь уселся в кресло, на этот раз уже Пиранио вернулся к разговору о вдове Рошо:

— Не спорю, синьора Луиза молода и красива, но не забывайте, что у нее дочь, которой она, очевидно, захочет посвятить всю жизнь.

— Что значит посвятить жизнь дочери? — вмешался начальник почты.— Когда есть деньги, мой уважаемый друг, такой проблемы вообще не существует. Девочка прекрасно проживет на деньги, оставленные ей отцом. Достаточно поместить ее в хороший колледж — и все проблемы решены.

— Совершенно справедливо,— поддержал его дон Луиджи.

— Однако надо учитывать и другое обстоятельство,— возразил Пиранио.— Прежде чем жениться на вдове с ребенком, пусть даже она хорошо обеспечена, любой дважды подумает.

— Вы в этом уверены? Найдется ли среди присутствующих хоть один человек, исключая вас, который бы хоть на минуту засомневался? Жениться на такой женщине! Да любой, не раздумывая, ринулся бы на штурм! — воскликнул коммендаторе Церилло.

— Еще бы! — гаркнул полковник.

С этого момента почтение к синьоре Луизе резко пошло на убыль. Само собой разумеется, это относилось к ее телу, а не к ее редким и неоспоримым добродетелям. А вот ее обнаженное тело, и особенно грудь и ноги, подвергались столь детальному рассмотрению, да еще во всех ракурсах, что ему мог позавидовать даже фотограф-нудист Брандт. Неуважение к прекрасной вдове дошло до того, что полковник, словно новорожденный, приник к ее груди. Чтобы оторвать его, понадобился весь авторитет бухгалтера Пиранио и неоднократные напоминания о славном боевом прошлом полковника, которому не пристало вести себя так непристойно.

Лаурана сидел молча и, как всегда, с любопытством слушал обычный шумный спор о женщинах. Для него вечер в клубе был точно чтение книги Пиранделло или Бранкати, в зависимости от того, о чем и в каком тоне шел разговор. Но, честно говоря, чаще все это напоминало эротические страницы Бранкати. Поэтому он регулярно посещал клуб. После трудового дня это был приятный час отдыха.

Однако разговор о синьоре Рошо тяготил его, смущал и вообще вызывал самые противоречивые чувства. Он был возмущен и одновременно захвачен им. Не раз ему хотелось уйти или выразить свое негодование, но бесстыдство их суждений, смутная тревога, нечто похожее на ревность удерживали его. Когда закончилась эротическая интерлюдия, разговор возвратился к теме «претендентов на престол». В эту категорию, по мнению коммендаторе Церилло, входили холостяки от тридцати до сорока лет, представительные, мягкого нрава и, конечно, с дипломом в кармане, могущие с успехом претендовать на постель и богатства вдовы Рошо. Нашелся один, кто, скорее из любезности, чем по убеждению, назвал имя Лауры, но тот, покраснев, словно ему сделали комплимент, робко запротестовал.

Спор разрешил дон Луиджи Корвайя.

— Что это вы так далеко ищете? — воскликнул он.— Когда синьора решит вновь выйти замуж, то муж у нее есть, можно сказать, под боком.

— Кого вы имеете в виду? — грозно вопросил полковник, готовый, казалось, обрушить громы и молнии на счастливого избранника.

— Кого? Да конечно ее кузена, нашего любезного друга Розелло.— Дон Луиджи никогда не забывал причислить к своим друзьям тех, на кого изливал всю свою желчь.

— Эту церковную мышь? — буркнул полковник и, желая выразить все свое презрение, плюнул, с обычной меткостью угодив в белую эмалированную плевательницу, стоявшую на расстоянии трех метров.

— Вот именно,— улыбнулся дон Луиджи в восторге от собственной прозорливости.— Вот именно.

Эта же мысль уже несколько дней подряд мучила Лаурану. Он пришел к выводу, что именно здесь кроется главная и единственно возможная причина убийства. А теперь дон Луиджи Корвайя из любви к сплетням и злословию пришел к тому же. Вот только тот факт, что Рошо пытался нанести удар тайком через депутата-коммуниста, не вписывался в картину преступления, вернее, оставался темным, загадочным пятном в самой картине. Тут могло быть две гипотезы: либо Рошо застал жену и ее кузена, как пишется в полицейских протоколах, на месте преступления, либо Рошо лишь подозревал, хотя и с известным основанием, об их любовной интриге. В первом случае поведение Рошо представлялось

Лауране довольно-таки странным: он увидел все своими глазами, хладнокровно объявил любовнику жены, что намерен погубить его, затем повернулся и ушел. И вот, готовя свою месть, он продолжает поддерживать вполне вежливые отношения с человеком, которого ненавидит. Во втором случае трудно объяснить, каким образом Розелло удалось узнать о намерениях Рошо. Впрочем, тут вполне правдоподобна и третья гипотеза: Розелло всячески увивался за ни в чем не повинной синьорой Рошо, и она сказала об этом мужу или он сам догадался. Но тогда Рошо, твердо убежденный в верности жены, ограничился бы тем, что круто изменил либо вообще порвал отношения с Розелло. Его терпимость и снисходительность к человеческим слабостям не могли перед лицом несостоявшегося, а значит, и не такого уж страшного оскорбления мгновенно смениться злобой и жаждой мести. Следует, однако, учесть, что к депутату он отправился лишь для того, чтобы позондировать почву — узнать, готов ли тот поднять скандал в парламенте. Рошо еще не принял решения прибегнуть к мести и даже откровенно признался депутату, что сначала должен решить для себя, открыть ли ему все или нет, в зависимости от...

В зависимости от чего? Вероятно, от того, изменит ли Розелло после угрозы свое поведение или нет. Значит, прибегнув к открытой угрозе, Рошо поставил ему определенные условия? Тогда надо вернуться к первому предположению — обманутый, отчаянно влюбленный в свою жену муж хочет любой ценой удержать ее, однако ведет себя довольно странно, как герой киноэкрана или как великосветский сноб.

И хотя Лаурана сурово осуждал образ жизни, который определяется страстями, самолюбием и особенно ложными понятиями чести, он не мог не сознавать, что в этой гипотезе есть элемент неуважения к памяти Рошо. Поэтому он всячески стремился разбить эту гипотезу, опровергнуть ее. Но с какого боку к ней ни подступись, эта история таила в себе много двусмысленного и грязного, хотя Лауране еще многое было неясно: связь между причиной и следствием, механизм преступления и, наконец, взаимоотношения главных действующих лиц трагедии. И он чувствовал, что в плане моральном и эмоциональном он тоже как-то сопричастен к этой двусмысленной и темной истории.

Глава четырнадцатая

Если три довольно правдоподобные гипотезы и вероятный мотив убийства, проступивший сквозь пелену злословья, послужили бы достаточным основанием для обвинительного приговора, это лишь усилило бы в душе Лауры инстинктивное отвращение и даже протест против системы судопроизводства и против самих принципов, какими оно руководствуется. Но три эти гипотезы, которые он беспрестанно сопоставлял и обдумывал, а также туманный мотив преступления, по его убеждению, не оставляли никаких сомнений в виновности Розелло.

Прав был приходский священник, говоря, что Розелло кретин, не лишенный хитрости. Он с дьявольской хитростью подготовил убийство, прибегнув к далеко не новому в криминалистике способу. Однако Розелло упустил из виду, что газета, из которой он вырезал слова анонимного письма,— «Оссерваторе романо». Для него это была обычная газета, ибо он привык постоянно видеть ее дома и в своем кругу. Это его первая ошибка. Вторая заключается в том, что он медлил и дал Рошо время принять меры и поговорить с депутатом. Но, очевидно, этой ошибки избежать было невозможно — нельзя задумать убийство и тут

же его осуществить. Третья ошибка: он появился в компании наемного убийцы, когда сигара «Бранка» фигурировала как главная улика в расследовании и о ней писали все газеты. Понятно, одно дело в глубине души быть уверенным в виновности человека, и совсем другое — безапелляционно обвинить его в преступлении или осудить. «Но, быть может,— думал Лаурана,— судья или полицейский судят о виновности подозреваемого по его поведению — словам, волнению, заминкам в ответах, растерянным или испуганным взглядам; все это, разумеется, очень трудно обнаружить в газетных отчетах». В конечном счете именно эти мелкие подробности убеждали Лаурану в виновности Розелло. Правда, бывают случаи, когда люди невиновные ведут себя, словно они совершили преступление, и это их губит. Почти всегда в присутствии муниципальной стражи, таможенников, карабинеров, судей итальянцы начинают вести себя так, точно они в чем-то виноваты. Но он, Лаурана, был от законов и от людей, облеченных правом вершить его, куда дальше, чем Марс от Земли. И все эти полицейские, судьи казались ему фантастически далекими существами, словно это были марсиане, внезапно обретавшие на земле плоть и кровь, когда раздавался крик человеческой боли или безумия. С того дня, как Лаурана спросил у Розелло, с кем это он стоял на лестнице Дворца правосудия, тот словно совсем потерял голову. Он старательно избегал Лаурану, а если не успевал вовремя свернуть в сторону или сделать вид, будто его не заметил, еле кивал. Но иной раз он буквально не давал ему проходу, распинался в своих добрых чувствах и выражал полнейшую готовность оказать ему услугу, используя свои связи в университетских и министерских кругах. Но поскольку Лаурану весьма смущали и даже раздражали эти проявления симпатии, он неизменно отвечал, что не нуждается в протекции своего служебного начальства, после чего Розелло становился мрачным и подозрительным. Возможно, он думал, что Лаурана отвергает эти проявления дружбы и не хочет воспользоваться его услугами из неприязни, которую питает честный человек к преступнику, или даже собирается поделиться своими подозрениями с полицейским комиссаром либо старшиной карабинеров — словом, непосредственно с одним из тех, кто причастен к расследованию. Между тем такого намерения у Лаураны не было и в помине. Собственно, его огорчало и беспокоило именно предположение, что Розелло приписывает ему подобные планы. Большую роль здесь играло даже не чувство страха, которое усиливалось при воспоминании о печальном конце аптекаря и Рошо и заставляло Лаурану невольно принимать меры предосторожности, чтобы избежать подобной же участи, а своего рода самолюбие. Оно-то и принуждало его решительно отвергать даже мысль о том, что он может стать орудием наказания преступников. Его любопытство было чисто абстрактного, интеллектуального свойства, и его не следовало смешивать с любопытством людей, которым государство платило жалованье, чтобы они помогали поймать и передать в руки неумолимого закона преступников, этот закон нарушавших либо презиравших. Это смутное чувство самолюбия подкреплялось воспоминаниями о бесславной и заранее проигранной битве, которую вел долгие годы угнетенный народ с законом и его исполнителями. В душе Лауры жило давнее убеждение, что лучший закон и лучшее правосудие, если только вы не желаете довериться судьбе или уповать на возмездие небес,— это выстрел из двустволки. В то же время Лаурана испытывал гнетущее чувство невольного сообщничества и даже подспудной солидарности с Розелло и его приспешником-убийцей. Эти чувства, несмотря на возмущение и отвращение к двум преступникам, побуждали его оставить их безнаказанными. Лаурана даже не возражал, чтобы к ним вернулось то спокойствие, которое они наверняка утратили в последнее время благодаря его любо-

пытству. Да, но разве можно допустить, чтобы Розелло безнаказанно занял место несчастного Рошо в сердце женщины, которая маняще-бесстыдно стояла у Лаураны перед глазами как бы в самом центре этого запутанного лабиринта страстей и смерти? Впрочем, тут его влечение и вожделение тоже носили двойственный характер: с одной стороны, беспричинная, неоправданная ревность, которую питали неудовлетворенность, робость, всевозможные самоограничения, отравлявшие его жизнь, с другой — горькая радость, мысленное удовлетворение желаний, своеобразная форма самогипноза.

Но все это представлялось Лауране весьма смутно, в лихорадочных, бессвязных видениях.

Так прошел весь октябрь.

В начале ноября, сразу за днем поминовения усопших, шел праздник победы, и, таким образом, у Лаураны оказалось четыре свободных дня. Тут он впервые открыл, что не только все беды обрушиваются на людей из-за нежелания сидеть дома, но и что именно дома лучше всего работать и с упоением перечитывать уже знакомые книги.

Утром второго ноября он отправился вместе с матерью на кладбище. Убедившись, что на могилах близких лежат заказанные ею цветы, стоят свечи, мать, как и в прошлые годы, пожелала обойти все кладбище и прочесть заупокойную молитву у могил родственников и друзей. Остановились они и возле фамильного склепа Розелло — синьора Луиза в изящном траурном платье, преклонив колени на бархатной подушечке, молилась, то и дело возводя очи к мраморной плите, на которой было высечено имя ее мужа, *своей трагической смертью повергшего в безутешную скорбь родных и близких*..

В центре плиты красовался портрет Рошо на прозрачной эмали. Бедняга Рошо выглядел на фотографии лет на двадцать моложе и смотрел куда-то вдаль задумчиво-печально. Синьора Луиза встала и любезно объяснила, что она выбрала именно этот портрет мужа в молодости, ибо примерно тогда они и познакомились. Она поведала о генеалогии и степени родства всех покойников, навсегда замурованных в этом склепе. Но она, живая, к несчастью, еще живая, завидует им, мертвецам, потому что жизнь ей не мила. Она тяжко вздохнула, смахнула невидимую слезу. Синьора Лаурана прочла свою молитву. Прощаясь, молодая вдова, как показалось Лауране, сжала ему руку с тайным и робким намеком и поглядела на него с мольбой во взоре. Он сразу представил себе, что кузен и любовник все ей рассказал и что она молила его о молчании. Лаурана был этим весьма смущен, ведь это подтверждало ее соучастие в преступлении.

Но его незачем было просить о молчании. Решение проводить дома все вечера, собственно, и объяснялось желанием позабыть самому и дать забыть другим, позволить Розелло обрести прежнюю уверенность и свободу действий. Впрочем, это последнее относилось и к ней, синьоре Луизе. Ведь только страх заставлял ее изображать скорбь по умершему, часами простаивать на коленях у могилы мужа, ожидая, пока чье-либо появление не позволит ей подняться. А как Лаурана заметил, группа юнцов с нетерпением дожидалась этого момента. И только потому, что, когда вдова Рошо поднималась с колен, черное, узкое платье, отнюдь не скрывавшее ее прекрасных, словно у одалисок Делакруа, форм, задиралось и на миг обнажалась соблазнительная упругая ляжка в туго натянутом чулке.

«Ну и люди»,— подумал он с ревнивым презрением. В любой части света, если только край юбки приподнимается на несколько сантиметров выше колена, в радиусе тридцати метров наверняка можно обнаружить хоть одного сицилийца, исподтишка любующегося этим пикантным зрелищем.

Лаурана даже не замечал, что сам он жадно впился глазами в белевшую сквозь черный чулок ногу, и обнаружил присутствие юнцов именно потому, что и он принадлежал к той же породе.

Идя рядом с сыном и крепко опираясь на его руку, мать шепнула ему, что, пожалуй, синьора Рошо недолго останется вдовой.

— Почему ты так думаешь?

— Потому что такова жизнь. И потом она молода и красива.

— А ведь ты вот больше не вышла замуж!

— Я была не очень молодой, а уж красивой меня никогда нельзя было назвать,— со вздохом сказала старуха.

Лауране стало не по себе, даже как-то противно.

«Странно,— подумал он.— Почему это на кладбище, среди мертвых, чувствуешь себя иной раз живым до неприличия. Может, это день виноват». А день и в самом деле был удивительно хорош. Теплый воздух был пропитан гнилостным и все же приятным запахом земли и корней, струился аромат розмарина, мяты, гвоздики и роз, украшавших соседние могилы богатых синьоров.

— За кого она, по-твоему, должна выйти замуж? — с раздражением спросил он.

— Конечно за своего кузена, адвоката Розелло,— ответила старуха, остановившись и посмотрев на сына в упор.

— Почему именно за него?

— Да потому, что они росли вместе, в одном доме и хорошо знают друг друга. И потом, их брак позволит объединить владения.

— Тебе это кажется вполне убедительным? Я нахожу это безнравственным, именно потому, что они росли вместе, в одном доме.

— Знаешь поговорку «всего опаснее два «к» — кумовья и кузены»? Самые хитрые амуры обычно завязываются между дальними родственниками.

— А разве между ними была любовная связь?

— Кто его знает? Давно, еще подростками, они, говорят, были влюблены друг в друга. Но это было, понятно, юношеское увлечение. Синьору канонику, рассказывают, это не понравилось, и он принял свои меры. Сейчас я уже толком не помню, но слух такой был...

— А зачем он принял меры? Раз они были влюблены, зачем было мешать их браку?

— Ты сам минуту назад сказал, что это кажется тебе безнравственным, так же думал и наш каноник.

— Я так сказал, потому что ты не говорила о любви, а оправдывала возможный брак тем, что они росли вместе, и всякими материальными соображениями. А если их связывала любовь, тогда это меняет дело.

— Для брака между кузиной и кузеном нужно разрешение церкви, значит, хоть тень греха в этом есть... По-твоему, каноник мог допустить, чтобы не совсем законная любовь расцвела под крышей его дома?! Это было бы неприличным для него, а синьор каноник — человек строгих нравов.

— А теперь?

— Что теперь?

— Если они поженятся теперь, что-нибудь изменится? Многие подумают то же, что и ты,— они, мол, давно питали друг к другу нежные чувства, еще с тех пор, как жили в доме каноника.

— Нет, это не одно и то же, теперь это будет актом милосердия... Жениться на вдове с ребенком, объединить добро и...

— Объединить добро — это акт милосердия?

— А как же? Добро тоже нуждается в милосердии.

«О боже, ну и религия!» — подумал Лаурана.

Впрочем, его мать свое поистине священное почитание добра ежедневно доказывала тем, что не позволяла выбрасывать корки, остатки обеда, гниющие фрукты.

— Жаль выбрасывать,— говорила она и съедала совершенно черствый хлеб и подгнившие груши.

Из-за этой жалости к остаткам еды, которые словно молили об одном — поскорее стать фекалиями, она рисковала схватить дизентерию.

— А вдруг эти двое, которые любили друг друга, под крышей дома дядюшки каноника, продолжали оставаться в связи и после замужества Луизы? Вдруг они в какой-то момент решили избавиться от Рошо?

— Этого не может быть! — воскликнула старуха.— Всем известно, что бедняга доктор погиб из-за аптекаря.

— А если наоборот: аптекарь погиб из-за Рошо?

— Этого не может быть,— повторила старуха.

— Хорошо, пусть так. Но допусти на момент, что я прав... Тогда это тоже был бы акт милосердия?

— Мы здесь и не такое видали,— ничуть не смутившись, ответила старуха.

Они как раз подошли к могиле аптекаря Манно, который под распростертыми ангельскими крыльями счастливо улыбался на эмалевом медальоне, довольный удачной охотой.

Глава пятнадцатая

Остальные дни каникул Лаурана провел, пересматривая и правя черновики своих лекций по итальянской истории и литературе. В своем деле он был очень педантичным и относился к нему с любовью. Поэтому за работой он почти забыл о скверной истории, в которую невольно оказался втянутым. В те минуты, когда он об этом вспоминал, все представлялось ему далеким, точно со стороны, а само преступление по технике исполнения и частично по замыслу — скопированным с романа Грэхема Грина. Даже встреча на кладбище с синьорой Луизой и мысли, вызванные ею, вошли в привычный круг литературных реминисценций, окрашенных мрачным религиозным романтизмом.

Но когда после недолгого отдыха снова потянулись скучные дни занятий, он был однажды приятно удивлен, встретив в рейсовом автобусе вдову Рошо. Она сидела в первом ряду возле открытого окна, заложив ногу на ногу. Место рядом было свободно, и, ответив на приветствие, она с робкой, манящей улыбкой указала на него Лауране. Лаурана на мгновение заколебался, ему стало почему-то стыдно, словно, сев рядом с ней в первом ряду, он выставит напоказ свою тайну, свое влечение и одновременно отвращение. Он хотел было под благовидным предлогом отказаться и поискал взглядом в глубине автобуса кого-нибудь из приятелей, чтобы поболтать с ним в дороге. Но в автобусе сидели одни крестьяне и студенты, да и все места были заняты. Тогда он, поблагодарив ее, принял любезное приглашение. Синьора Луиза сказала, что ей повезло, что место рядом осталось свободным: будет с кем побеседовать в дороге, да и, право же, за приятным разговором куда легче переносить автобусную тряску, странное дело, но вот в машине и в поезде у нее даже голова не кружится. Потом добавила, что сегодня чудесный день, что нет ничего лучше, чем бабье лето, и стала без умолку болтать про хороший урожай, про дядюшку каноника, которому что-то нездоровится... Она перескакивала с одной темы на другую и так трещала, что у Лауры звенело в ушах, словно от прилива крови. Вот такое же чувство бывает, когда с вершины горы сразу спускаешься в долину. Только спустился он не с горы, а из сонного царства, где его

грезы неизменно прерывал звон будильника, а по утрам мать подавала жиденький кофе. Он чувствовал, что рядом с Луизой у него загорается кровь. Чем суровее и безжалостнее он осуждал ее за развращенность и ничтожество, тем неудержимее влекло его это пышное тело, зовущие губы, густые волосы, исходивший от нее еле уловимый запах постели, недавнего сна. Все это возбуждало в Лауране желание, сильное до боли.

Интересно, что до смерти Рошо при каждой встрече с ней между ними всегда завязывался разговор. Ничего не скажешь, красивая женщина. Однако не красивее многих других, особенно теперь, когда благодаря кинозвездам само понятие женской красоты стало весьма широким и одинаково прекрасными нам кажутся женщины худые и полные, с профилем Аретузы * и моськи.

«Да, тут, чтобы устоять, надо быть каменным»,— подумал Лаурана.

Уже тогда, в гостиной с прикрытыми жалюзи, она показалась ему удивительно прекрасной и желанной в своем траурном платье. Приглушенный свет лампы, зеркала, затянутые черным крепом, увеличенная фотография покойника — зримое свидетельство неумолимой смерти — и молодое, обещавшее многое тело — зримое свидетельство силы жизни — придавали всему окружающему оттенок злой иронии.

Его мучительная страсть еще больше возросла, когда Лауране открылись сложнейшие причины убийства — измена, тайная связь, обдуманная жестокость, с какой оно было осуществлено, словом — воплощение зла, облачившегося в обольстительные одежды секса. Над ним тяготел страх перед грехом, перед плотской любовью, страх, от которого он так и не освободился, и теперь Лаурана ясно понимал, что желание тем сильнее захлестывало его, чем неумолимее и строже звучал голос рассудка, звавший к суровому Turn of the screw **, как выражаются англичане. Он чувствовал себя, особенно сейчас, сидя с ней рядом, когда на крутых поворотах ее тело касалось его тела, как бы раздвоенным, и сказка о душевном раздвоении человека, столь привлекавшая его в литературе, вошла отныне в его жизнь.

Когда они вышли из автобуса, Лаурана не знал, что делать дальше — попрощаться или проводить Луизу до места. Они постояли немного на площади, а потом синьора Рошо, как-то сразу утратившая свою кокетливость, которая не покидала ее все время пути, и даже помрачневшая в лице, сказала, что на этот раз она приехала в город по причине, о которой хотела бы ему рассказать.

— Я узнала, что муж действительно ездил в Рим к вашему другу депутату, чтобы попросить его выступить с разоблачениями. Помните, вы как раз говорили об этом, когда заходили ко мне вместе с кузеном.

Причем слово «кузен» она произнесла с брезгливой гримасой.

— В самом деле? — спросил Лаурана, совершенно сбитый с толку, лихорадочно пытаясь понять мотивы этого неожиданного признания.

— Да, я узнала это почти случайно, когда уже потеряла всякую надежду. После разговора с вами я припомнила массу мелких подробностей, которые, вместе взятые, подтверждали истинность факта, случайно ставшего вам известным... Я принялась искать, рыться в бумагах. И вот нашла дневник, который муж вел тайком от меня и прятал на полке за книгами... Когда улетучились все надежды и я уже готова была прекратить поиски, мне однажды захотелось почитать книгу... Я сняла ее с полки и увидела...

— Дневник, он вел дневник?

— Да, толстую тетрадь, которую фармацевтические фирмы обычно дарят врачам... Каждый день, начиная с первого января, муж в трех-

---

* Аретуза — в греческом мифе нимфа священного источника в древней Сицилии.

** Завинчивание гаек *(англ.)*.

четырех строках своим неразборчивым почерком записывал все, что считал достойным внимания. Больше всего он писал о нашей дочке. Но вот с начала апреля он стал писать об одном человеке, не упоминая его имени.

— Не упоминая имени? — с едкой иронией переспросил Лаурана.

— Да, но и так нетрудно было понять, кого он имел в виду.

— А, нетрудно понять...— многозначительно протянул Лаурана, намекая, что он готов поддержать шутку синьоры, но не более того.

— Да, совершенно точно и не рискуя ошибиться. Речь шла о моем кузене.

Этого Лаурана не ожидал. У него перехватило дыхание, он судорожно глотнул воздух.

— Я делюсь с вами,— продолжала синьора Луиза,— потому что знаю, какая тесная дружба связывала вас с мужем. Но обо всем этом никто не знает и не должен знать, пока у меня в руках не будет доказательств. Сегодня я приехала сюда именно по этому делу... У меня возникли кое-какие подозрения.

— Но значит...— воскликнул Лаурана.

— Что значит?

Он хотел сказать, что значит, она невиновна и абсолютно непричастна к преступлению, в котором он несправедливо ее подозревал. Но сказал, густо покраснев, совсем другое:

— Значит, вы не верите, что ваш муж был убит только потому, что оказался вместе с аптекарем?

— Честно говоря, я в этом не убеждена, но возможно, так и было... А вы?

— Я?

— Вы сами-то уверены?

— В чем?

— В виновности моего кузена и в том, что бедняга аптекарь тут ни при чем...

— Видите ли...

— Прошу вас, не скрывайте от меня ничего, ничего. Я так нуждаюсь в вашей поддержке,— печально сказала синьора, с нежной мольбой глядя ему в глаза.

— Твердой уверенности у меня нет. Считайте, что у меня есть подозрения, и, скажем прямо, довольно серьезные... Но вы... вы в самом деле готовы действовать против вашего кузена?

— А почему бы нет? Если в смерти мужа... Но мне нужна ваша помощь.

— Я целиком в вашем распоряжении,— пролепетал Лаурана.

— Прежде всего, вы должны обещать мне, что не расскажете никому, даже вашей матери, то, о чем я вам сейчас сказала.

— Клянусь.

— Потом мы вместе обсудим все, что вы знаете, и что я надеюсь узнать сегодня, и тогда уж наметим линию действий.

— Однако тут нужны предусмотрительность, осторожность, одно дело иметь подозрения...

— Сегодня, я надеюсь, все разъяснится.

— Но как?

— Сразу, в двух словах, не объяснишь, да это было бы и преждевременно... Я пробуду здесь до завтрашнего вечера... И если вы не возражаете, мы могли бы встретиться. Где бы я могла с вами встретиться завтра вечером?

— Право, не знаю... Простите, я хотел сказать, что не знаю... может быть, вы не хотите, чтобы нас видели вместе.

— Меня это не пугает.

— Тогда в кафе.

— В кафе, отлично.

— В кафе «Ромерис», там обычно мало народу и можно уединиться.

— Около семи? Или лучше точно в семь?

— А это для вас не будет поздно?

— Нет, почему же. И потом раньше семи я, видимо, не освобожусь, мне надо за день очень многое успеть... Завтра вечером вы обо всем узнаете... Итак, завтра в семь, в кафе «Ромерис»... Потом, если вы не возражаете, мы сможем вместе вернуться к себе домой последним поездом.

— Я буду счастлив,— просияв от радости, ответил Лаурана.

— А что вы скажете своей матери?

— Скажу, что, вероятно, задержусь по школьным делам. Впрочем, такое со мной уже бывало.

— Значит, вы мне обещаете? — с игривой улыбкой спросила синьора.

— Клянусь вам! — с жаром воскликнул Лаурана.

— Тогда до скорой встречи,— сказала синьора Луиза, протягивая ему руку.

В порыве любви и раскаянья Лаурана склонился к ее руке, не решаясь ее поцеловать.

Он долго смотрел ей вслед, пока она шла по обсаженной пальмами широкой площади, эта удивительная, мужественная женщина, это невинное создание.

И глаза его увлажнились от счастья.

Глава шестнадцатая

Кафе «Ромерис», с его большими зеркалами, которые венчали картонные львы, красиво раскрашенные черной тушью, с его «поцелуем змия», вырезанного на стойке, откуда он, казалось, протягивал свои щупальца к ножкам стульев и столов, к ручкам чашек и основаниям светильников, казалось чересчур помпезным. Оно было полно жизни и шума, но скорее на страницах книг знаменитого писателя, уроженца этих мест, умершего лет тридцать назад, нежели в действительности. Местные жители кафе почти не посещали, а редкие клиенты были сплошь приезжие, провинциалы, еще не забывшие о его былом великолепии, или же люди типа Лаураны, которых привлекали литературные воспоминания и царившая здесь тишина.

Было просто непонятно, как это синьор Ромерис, последний из представителей славной династии кондитеров, до сих пор его не закрыл. Возможно, это тоже объяснялось литературными воспоминаниями и любовью к писателю, который обессмертил кафе в своих книгах.

Лаурана пришел в кафе без десяти семь. Он редко заходил сюда вечером, но за столиками сидели те же самые посетители, что и в утренние либо полуденные часы. За стойкой у кассы восседал синьор Ромерис, а за столиками удобно расположились полусонный барон д'Алькоцер, их превосходительства Моска и Лумия, высшие чиновники, которые, давно выйдя на пенсию, развлекались игрой в шашки, попивая марсалу и токайское вино.

Лаурана хорошо знал их. Он вежливо приветствовал всех, и каждый любезно с ним поздоровался, даже барон, который вообще редко узнавал остальных посетителей, снизошел до кивка. Его превосходительство Моска спросил, чем объяснить его появление в столь необычное время. Лаурана сказал, что опоздал на автобус и теперь ему приходится ждать

поезда. Он сел за столик в углу и попросил синьора Ромериса принести ему коньяк. Синьор Ромерис тяжело поднялся из-за монументальной, сверкавшей латунью кассы, ибо такой роскоши, как официант, он не мог себе позволить, не спеша благоговейно налил рюмку коньяку и поставил на столик перед Лаураной. А так как Лаурана уже вынул из портфеля книгу, синьор Ромерис поинтересовался, что он читает.

— Любовные письма Вольтера.

— Любовные письма Вольтера,— захихикал барон.

— А вы их читали? — спросил Лаурана.

— Друг мой,— ответил барон.— Я знаю всего Вольтера.

— Кто же его теперь читает? — заметил его превосходительство Лумия.

— К примеру, я,— заявил его превосходительство Моска.

— О да, мы-то его почитываем... Видимо, и уважаемый профессор тоже. Но, судя по всему, в наши дни Вольтером интересуются мало, и уж во всяком случае не так, как надо,— глубокомысленно изрек его превосходительство Лумия.

— Увы,— вздохнул барон д'Алькоцер.

Лаурана ничего не ответил. Впрочем, в кафе «Ромерис» разговор между дряхлыми стариками неизменно протекал следующим образом: две-три фразы, а затем долгая пауза, когда каждый про себя обдумывал сказанное. Минут пятнадцать спустя его превосходительство Моска сказал:

— Эти собаки не читают Вольтера,— а на языке кафе «Ромерис» «собаками» называли политиков.

— Вольтера? Да они даже газет не читают! — воскликнул барон.

— Многие марксисты не прочли ни одной страницы Маркса,— подал голос синьор Ромерис.

— Немало есть и пополари,— барон упорно называл так демо-христиан,— которые не прочли ни одной страницы дона Стурцо *.

— Этот мне дон Стурцо,— фыркнул его превосходительство Моска, давая понять, что сыт им по горло. Снова наступила тишина. Часы показывали уже четверть восьмого. То и дело поглядывая на дверь, Лаурана пробегал глазами, не очень схватывая его смысл, любовное письмо Вольтера, звучавшее на итальянском вдвойне непристойно. Конечно, опоздание на пятнадцать минут, на полчаса кажется женщине вполне естественным. Поэтому Лаурана не проявлял нетерпения, а лишь беспокоился, тем более что глухая тревога не покидала его все последние дни. Ему было радостно и одновременно тревожно, словно Луизу (про себя он теперь называл ее только так) ждет испытание — решающая встреча с его старой матерью.

Без четверти восемь барон д'Алькоцер сказал синьору Ромерису с явным подвохом:

— Впрочем, Вольтера не читал и ваш дон Луиджи,— имея в виду писателя, увековечившего кафе, благоговейную память о котором синьор Ромерис хранил ревниво, даже с фанатизмом.

Синьор Ромерис гордо выпрямился из-за кассы.

— При чем здесь дон Луиджи? — воскликнул он.— Дон Луиджи Пиранделло читал все и все знал. Ну, а если Вольтер не отвечал его видению мира, то это уже другой разговор.

— Мой дорогой Ромерис,— вмешался его превосходительство Моска.— Не спорю, видение мира у дона Луиджи было совершенно иным, чем у Вольтера, но вот телеграмму Муссолини он послал и феску надел...

— Простите, ваше превосходительство, а вы разве не поклялись в

---

* Дон Луиджи Стурцо (1871—1959) — основатель первой католической партии Пополари.

верности фашизму?! — воскликнул синьор Ромерис, с налитыми кровью глазами, едва сдерживаясь.

— Лично я нет,— сказал его превосходительство Лумия, подняв руку.

— Я в этом не уверен,— бросил его превосходительство Моска.

— Ах так, не уверен? — с обидой в голосе произнес его превосходительство Лумия.

— Ну помню, помню. но это была чистая случайность, они просто забыли привести тебя к присяге,— ответил его превосходительство Моска.

— Нет, это не простая случайность, я постарался не присягать.

— Для нас эта присяга была жизненной необходимостью,— сказал его превосходительство Моска.— С волками жить — по-волчьи выть.

— А вот дон Луиджи, он...— усмехнулся барон.

— В этой стране зависть людей просто поедом ест,— воскликнул синьор Ромерис.— Книгами дона Луиджи восхищается весь мир. Но для вас он лишь человек, пославший телеграмму Муссолини и надевший феску... Сущее скудоумие...

Но никто не отозвался на его оскорбительный намек — трем старцам главное было позлить своего приятеля.

В другое время Лаурану очень развеселила бы эта сценка, но сейчас он нетерпеливо ждал, когда они наконец умолкнут, словно маленькая стычка была главной причиной опоздания Луизы. Он встал, подошел к двери, открыл ее, выглянул на улицу, посмотрел направо, налево. Луизы не было. Он вернулся и снова сел за столик.

— Вы кого-нибудь ждете? — спросил синьор Ромерис.

— Нет,— сухо ответил Лаурана и подумал: «Она уже не придет, ведь уже восемь».— Но в душе у него еще теплилась надежда.

К удивлению синьора Ромериса, он заказал еще одну рюмку коньяку.

В четверть девятого его превосходительство Моска поинтересовался:

— Ну, а как дела у вас в школе?

— Плохо,— ответил Лаурана.

— С чего бы им идти хорошо? — спросил барон.— Если все разваливается, то почему школа должна быть исключением?!

— Правильно,— сказал его превосходительство Лумия.

Без четверти девять Лаурана вдруг представил себе, что Луизу убили. У него появилось желание рассказать обо всем, что переживает и чувствует, этим четырем старикам: они наверняка опытнее его и лучше разбираются в человеческой душе. Но тут барон д'Алькоцер, показав на книгу, которую Лаурана только что закрыл, сказал:

— Эти письма Вольтера подтверждают нашу поговорку о том, что в определенных обстоятельствах для некой части тела и родственные отношения не помеха.

И объяснил с ухмылкой, что эти письма Вольтер писал своей племяннице. Его превосходительство Лумия без обиняков «процитировал» поговорку, а барон «уточнил», что то же самое словцо, которое в поговорке поясняло, при каких условиях и родственные барьеры становятся преодолимыми, Вольтер употребил в письмах, и притом на итальянском языке. Он попросил у Лаураны книгу, чтобы прочесть друзьям письмо, где приводится это словечко.

Все четверо до того смаковали это пикантное место, что Лауране стало противно.

Что толку рассказывать о своих опасениях и горестях этим четырем хитрым старым циникам? Не лучше ли пойти прямо в квестуру, найти серьезного, понимающего следователя и рассказать... ему... Но что? Что одна дама назначила ему, Лауране, свидание в кафе «Роме-

рис» и не пришла? Просто смешно. Рассказать о своих подозрениях и страхах? Но тогда придет в действие весьма опасная машина правосудия, и ее уже не остановить. Да и что ему, собственно, известно о том, что Луиза узнала за эти два дня? Вдруг она нашла доказательства, опровергающие виновность Розелло? А может, она вообще не нашла никаких доказательств? А если у нее девочка внезапно заболела или еще что-нибудь случилось и ее срочно вызвали домой? К тому же она могла в горячке поисков истины вообще забыть о свидании.

Но вопреки всем этим «а можем, а вдруг» у него росла тревога за Луизу, за ее жизнь.

Он поднялся и стал лихорадочно ходить взад и вперед от двери к стойке.

— Вы чем-нибудь обеспокоены? — прервав чтение, спросил барон.

— Нет, просто я сижу здесь уже целых два часа.

— А мы сидим здесь целых два года,— ответил барон, закрыл книгу и протянул ее Лауране.

Лаурана взял книгу и положил в портфель. Посмотрел на часы — двадцать минут десятого.

— Ну, мне пора на станцию,— сказал он.

— До отхода поезда еще сорок пять минут,— заметил синьор Ромерис.

— Погода сегодня отличная, прогуляюсь немного,— сказал Лаурана.

Он расплатился за коньяк, попрощался и вышел. Закрывая дверь, он услышал, как его превосходительство Лумия произнес:

— Наверняка у него любовное свидание и он сгорает от нетерпения.

На улице было безлюдно. Вечер был чудесный, хотя и дул колючий холодный ветер. Он медленно спускался к станции, обуреваемый мрачными мыслями. У привокзальной площади его обогнала машина, она со скрежетом затормозила метрах в десяти и задним ходом подъехала к нему.

Отворилось окошко, и водитель позвал его:

— Синьор, синьор Лаурана?

Лаурана подошел и узнал в лицо одного из горожан, хотя имени его сразу не вспомнил.

— Вы на станцию?

— Да,— ответил Лаурана.

— Если хотите, я вас подвезу.

«Вот кстати,— подумал Лаурана...— Приеду пораньше и смогу позвонить Луизе из дома, узнать, что и как».

— Спасибо,— сказал он и сел в кабину рядом с водителем.

Машина вихрем сорвалась с места.

Глава семнадцатая

— Он был человеком замкнутым, неразговорчивым, порой упрямым и своевольным. Обычно вежливый, любезный и даже услужливый, он был способен взорваться из-за неверно понятого слова или ложного впечатления и тогда уже шел напролом. Вот преподавателем, тут уж ничего не скажешь, он был превосходным: вдумчивым, добросовестным, пунктуальным. Человек большой культуры, он искал новые методы преподавания. С этой стороны, повторяю, к нему нельзя было предъявить никаких претензий. Но что касается личной жизни... Вам это может показаться не вполне корректным, но в сфере личных чувств он оставлял впечатление, как бы поточнее выразиться... человека одержимого, с комплексом неполноценности.

— Одержимого?

— Пожалуй, это сильно сказано и уж конечно не отвечает тому представлению, которое сложилось о нем и его жизни у большинства коллег. Спокойный, аккуратный, с неизменными привычками и вкусами, он свободно и откровенно выражал свое мнение... Но иногда людей, хорошо его знавших, поражали его едкий сарказм, внезапные вспышки гнева... А вот коллегам-преподавательницам и своим ученицам он казался женоненавистником. Я же думаю, что за этим просто скрывалась робость...

— Выходит, он был одержим мыслью о женщинах, помешан на сексе? — сказал следователь.

— Да, примерно так,— согласился директор лицея.

— А как он себя вел вчера?

— По-моему, нормально, как всегда: провел уроки, затем немного побеседовал со мной и с коллегами. Помнится, мы говорили о Борджезе.

Следователь немедленно занес это имя в свою записную книжку.

— Почему вдруг? — спросил он.

— Почему мы заговорили о Борджезе? Видите ли, Лаурана с некоторых пор вбил себе в голову, что его недооценили и теперь настало время воздать ему должное.

— А вы иного мнения? — с оттенком подозрения спросил следователь.

— Честно говоря, не знаю, что ответить, надо бы перечитать. Его «Рубе» произвел на меня сильное впечатление. Но это было тридцать лет назад, понимаете, целых тридцать лет назад.

— А,— протянул следователь и карандашом нервно перечеркнул у себя в книжке фамилию Борджезе.

— Но, возможно,— продолжал директор лицея,— мы говорили о Борджезе днем раньше. Хотя нет, вчера. Словом, я не заметил вчера в поведении Лаураны ничего странного, необычного.

— Во всяком случае, в городе он наверняка задержался не из-за школьного совета?

— О, точно нет.

— Тогда почему же своей матери он сказал именно так?

— Кто знает? Очевидно, он что-то хотел скрыть от нее. Остается предположить, что у него была связь с женщиной или, если не связь...

— То встреча, любовное свидание. Мы об этом уже подумали. Но пока нам не удалось установить, где он провел время после того, как вышел из ресторана, иными словами, начиная с половины третьего.

— Один из его учеников сказал мне утром, что вчера вечером видел Лаурану за столиком в кафе «Ромерис».

— Могу я поговорить с этим учеником?

Директор лицея тут же приказал вызвать этого ученика. Тот подтвердил, что накануне вечером, проходя мимо кафе «Ромерис», он заглянул в окно и увидел за одним из столиков синьора Лаурану. Он сидел и читал книгу. Было это примерно без четверти восемь или ровно в восемь.

Ученика отпустили. Следователь сунул в карман записную книжку, карандаш и со вздохом поднялся.

— Придется сходить в кафе «Ромерис». Мне надо как можно скорее распутать это дело, а то его мать с шести утра сидит в квестуре и ждет.

— Несчастная старуха... Он был к ней очень привязан,— сказал директор лицея.

— Кто знает? — ответил следователь.

У него уже возникло одно подозрение, которое полностью подтвердилось в кафе «Ромерис».

— По-моему, у него было свидание с женщиной,— сказал его превосходительство Лумия.— Он был очень растерян и явно нервничал.

— Он ждал встречи и сгорал от нетерпения, словно юноша в час первого свидания,— добавил барон д'Алькоцер.

— Вы ошибаетесь, дорогой барон, свидание было назначено именно в кафе, но она не пришла,— возразил ему синьор Ромерис.

— Не знаю, не знаю...— сказал его превосходительство Моска.— Одно неоспоримо, тут замешана женщина... Когда он вышел, просидев два часа в кафе, кто-то из нас сказал, что он торопится на свидание.

— Это был я,— уточнил его превосходительство Лумия.

— Но вел он себя не так, как другие, желающие побыстрее скоротать время перед любовной встречей. Он то и дело поднимал глаза от книги и бросал тревожный взгляд на дверь, вставал, прохаживался взад и вперед по залу и даже выглянул на улицу и посмотрел сначала налево, а затем направо,— сказал его превосходительство Моска.

— Вероятно, он не знал, откуда женщина придет, с левой или с правой стороны,— глубокомысленно заключил следователь.— Отсюда можно сделать вывод, что он не знал и в какой части города жила эта женщина.

— Не торопитесь с выводами,— сказал барон,— действительность куда богаче и неожиданнее всех наших умозаключений. Больше того, раз уж нам так нужны выводы, то, по-моему, если он действительно ждал в кафе женщину, это была приезжая... Неужели вы думаете, что у нас в городе женщины выходят из дома в семь-восемь вечера, чтобы отправиться на свидание в кафе?

— Если только это была не потаскуха,— добавил его превосходительство Лумия.

— Ну, знаете, такой человек, как он, не мог иметь дела с потаскухами,— сказал синьор Ромерис.

— О, мой дорогой Ромерис, вы даже не представляете, сколько солидных, культурных и серьезных людей ищут общества потаскух,— сказал его превосходительство Лумия.— Верно другое, потаскуха назначила бы ему свидание у себя дома или в гостинице, а в кафе встречаются лишь влюбленные.

— Суть дела в следующем,— изрек барон.— Очевидно, у него было назначено свидание здесь, в кафе, он прождал два часа, но женщина не пришла. Тогда он ушел, сказав, что идет на станцию, и исчез. Если он ждал женщину в кафе и наконец решил, что та его просто надула или не пришла по каким-то серьезным причинам, как он, по-вашему, должен был поступить? Учтите при этом, что он был обеспокоен или оскорблен. Тут возможны три гипотезы: первая, он вернулся домой и лег в постель, полный разочарования или тревоги; вторая, он пошел домой к женщине потребовать объяснения, а с ним разделались; третья, он взял и бросился с крепостной стены либо под поезд. Но поскольку домой он не вернулся, сохраняют силу лишь две последние гипотезы. Если он сидел здесь, чтобы убить время перед встречей, тогда невольно напрашивается такое предположение — на месте свидания Лаурану ждал муж, брат или отец этой женщины, который и прикончил его в два счета.

— А не приходит ли вам на ум другая, менее романтическая, но более правдоподобная версия? Свидание с этой горячо желанной женщиной состоялось, и с нею он забыл о матери, о школе — словом, обо всем на свете?.. Разве так не могло случиться? — сказал его превосходительство Моска.

— Не думаю... Такой спокойный, уравновешенный человек! — возразил синьор Ромерис.

— Вот именно, спокойный,— многозначительно протянул его превосходительство Лумия.

Следователь встал.

— У меня голова кругом идет,— сказал он.

Рассуждения барона, действительно четкие, весьма логичные, привели его в полнейшую растерянность. Попробуй разыщи всех женщин, с которыми Лаурана мог иметь длительную или мимолетную связь!

Начнем с учениц: нынешние девицы пятнадцати—восемнадцати лет на всякое способны. Затем — коллеги. Далее — матери учениц и учеников, по крайней мере более или менее симпатичные и моложавые. И, наконец, проститутки, те, что прежде назывались «содержанками», и дешевые шлюхи. Да, тут сам черт ногу сломит. Конечно, если только профессор не объявится сегодня-завтра, словно мартовский кот, вдосталь погулявший ночью по чужим крышам.

Но профессор лежал под кучей шлака на дне заброшенной серной шахты, как раз на полпути между районным центром и родным городком.

Глава восемнадцатая

Восьмого сентября в городке был праздник юной девы Марии. Статую юной девы, украшенную золотом и драгоценностями, торжественно пронесли по улицам под громкие звуки оркестра, от которых, казалось, дрожали стены домов. В небо взлетали бенгальские огни, в домах жадно истреблялись жареные поросята и поедались горы мороженого. В этот торжественный день каноник Розелло по обычаю собрал у себя друзей в честь юной девы Марии, алтарь которой в главной церкви он предпочитал всем остальным. Этот домашний прием был традиционным, но в прошлом году его пришлось отменить из-за траура по случаю убийства Рошо. Но теперь, когда в августе исполнился год с момента трагической гибели, двери дома каноника снова открылись для гостей. Тем более что он рад был сообщить друзьям о предстоящей помолвке своего племянника адвоката с племянницей Луизой. Их свели, говорил всем каноник, людская злоба и воля господня, которой он смиренно покоряется.

— Я подчиняюсь велению небес,— объяснил он дону Луиджи Корвайя.— Господь знает, что я упорно противился их браку. Ведь они росли под одной крышей, словно брат и сестра. Но после столь ужасной трагедии это будет уже акт милосердия. Понятно, семейного милосердия. Мог ли я позволить, чтобы бедная моя племянница, молодая, красивая женщина, провела одна с ребенком на руках остаток жизни? А с другой стороны, легко ли ей в наше время найти мужа, который бы не позарился на ее добро и был бы столь благороден и сердечен, что считал бы девочку своей дочерью? Трудно, весьма трудно, мой дорогой дон Луиджи... И тогда мой племянник, который, честно говоря, не помышлял о браке, решился, нет, не пожертвовать собой, упаси боже, но на этот добрый, милосердный поступок.

— Милосердный, черт побери! — рявкнул сзади полковник Сальваджо, услышавший последние слова каноника.

Каноник в гневе и замешательстве мгновенно обернулся, но, увидев полковника, улыбнулся и сказал с мягкой укоризной:

— Ах, полковник, полковник, вы просто неисправимы.

— Простите меня, дорогой! — воскликнул бравый вояка.— Ваше одеяние наводит вас на мысли о милосердии, а мне, старому грешнику, это представляется в ином свете. Синьора Луиза женщина, а ваш племянник-адвокат — мужчина что надо. Вот я и говорю, какой мужчина, если только он настоящий мужчина, устоит перед красотой...

Шутливо погрозив ему пальцем, каноник удалился. И тогда полковник, куда более откровенно, пояснил дону Луиджи:

— Он мне толкует про милосердие, этот святоша. Да я, чтобы по-

быть с такой женщиной, совершил бы любое безумие. Да я бы ради этой женщины...— он показал рукой на Луизу, которая в элегантном полутраурном платье стояла рядом с женихом — своим кузеном. Она увидела полковника и с улыбкой легким кивком приветствовала его. Полковника словно пронзило током, он склонился к уху дона Луиджи и шепнул ему, точно изнывая от страстного желания:

— Вы только посмотрите на ее улыбку. Когда она улыбается, то словно предлагает себя, умереть можно.

И внезапно, вскинув руку, точно шпагу, он закричал:

— В атаку, черт побери, в атаку!

Дон Луиджи решил было, что отставной полковник бросился к синьоре Луизе, но тот прямиком кинулся в зал, где начали обносить гостей мороженым. Дон Луиджи тоже пошел в зал. Там уже были приходский священник, нотариус Пекорилла с женой, синьора Церилло. Они сплетничали об остальных гостях, разумеется, тихо, вполголоса, одними намеками. Но у дона Луиджи почему-то не было желания перемывать косточки ближним. Он вернулся в гостиную. Нотариус Пекорилла поспешно доел мороженое и присоединился к нему. Они вышли на балкон. Внизу, на улице, праздник был в самом разгаре. Дон Луиджи излил свою желчь сначала на этих веселящихся дураков, затем на Банк развития Юга страны, на фирму «Фиат», на правительство, Ватикан и, наконец, на Организацию Объединенных Наций.

— Какие мы все жалкие людишки,— заключил он.

— Чем ты, собственно, недоволен? — поинтересовался нотариус.

— Всем.

— Нам с тобой надо поговорить наедине,— сказал нотариус.

— О чем? — устало сказал дон Луиджи.— Все, что я знаю, знаешь и ты, да и все остальные. Какие уж тут могут быть разговоры?

— Я человек любопытный. И потом, мне надо отвести душу. Мы знаем друг друга шестьдесят лет, с кем же еще прикажешь откровенничать? Я об этих вещах даже с женой не говорю.

— Тогда уйдем отсюда,— сказал дон Луиджи.

— Давай спустимся в мою контору,— предложил нотариус.

Контора была в этом же доме, на первом этаже. Они вошли, Пекорилла зажег свет и запер дверь. Друзья молча сели друг против друга и скрестили пытливые взгляды. Наконец дон Луиджи сказал:

— Ты привел меня сюда, чтобы поговорить, так говори.

Нотариус секунду колебался, затем, поморщившись, словно он выдрал клочок волос из головы, решительно сказал:

— А ведь бедняга аптекарь был ни при чем.

— Тоже мне открытие! — воскликнул дон Луиджи.— Я это понял уже на третий день траура.

— Понял или узнал?

— Мне стало известно кое-что, и тогда я сразу сообразил, где собака зарыта.

— Ну и что же тебе стало известно?

— Что Рошо узнал о любовной связи жены с кузеном, он их застал на месте преступления.

— Верно. Я тоже это узнал, несколько позже, но все же узнал.

— А я буквально сразу, по горячим следам, потому что служанка в доме Рошо — мать служанки моей тетушки Клотильды.

— Ах, вот как!.. Ну и что же сделал Рошо, застав жену за нежной беседой с кузеном?

— Да ничего, повернулся к ним спиной и ушел.

— О, черт! Как же он их не убил? Да я бы их на части разорвал.

— Полно тебе... Здесь на нашей грешной земле, среди ревнивцев, свято оберегающих свою супружескую честь, нередко встречаются самые

диковинные экземпляры рогоносцев... И потом, не забывай, бедняга доктор был безумно влюблен в свою жену.

— Ну, а я могу досказать остальное, потому что имею сведения из первых рук: от ризничного сторожа церкви св. Матриче, но прошу тебя...

— Ты меня знаешь, я даже под пытками рта не раскрою.

— Так вот слушай, примерно с месяц Рошо молчал, но в один прекрасный день он пришел к канонику и рассказал ему про связь жены с Розелло. Он поставил условие: либо племянник покинет наш город и никогда больше сюда не вернется, либо он, Рошо, передаст своему другу-коммунисту, депутату парламента кое-какие документы и тогда любовник жены прямым путем отправится на каторгу.

— Но как ему удалось заполучить эти документы?

— Похоже, он зашел в контору адвоката Розелло в его отсутствие... Молодой практикант, помощник Розелло, впустил его и сказал, что адвокат уехал и вернется только на следующий день. Но Рошо ответил, что это странно, ведь адвокат назначил ему деловую встречу в конторе. Наступил полдень, практиканту пора было обедать, к тому же он не знал, что отношения между его патроном и Рошо изменились, ведь прежде они были в большой дружбе. Он оставил доктора одного в конторе, а тот возьми да сфотографируй все документы... Я думаю, именно сфотографировал, потому что Розелло ничего не заметил и ни о чем не догадался, пока Рошо не поговорил с каноником. Когда каноник рассказал племяннику про визит Рошо, Розелло бросился допрашивать практиканта. Тот вспомнил о приходе Рошо и признался, что оставлял доктора одного в конторе. Розелло был вне себя, он надавал юноше пощечин и выгнал на все четыре стороны. Но быстро одумался и объяснил своему помощнику, что погорячился, ведь потом Рошо очень сердился на него, Розелло, за то, что зря прождал несколько часов, а встреча была действительно крайне важной. Он дал юноше десять тысяч лир и снова взял его к себе на службу.

— И об этом тебе тоже рассказал ризничный сторож?

— Нет, это я узнал от отца юноши.

— Непонятно, как Розелло мог так небрежно, прямо в столе, хранить столь важные документы?

— Ну, знаешь, точно ответить на это затрудняюсь. Вероятно, Рошо подобрал ключ, и потом, Розелло столько лет беспрепятственно обделывал свои делишки, что уже считал себя в полной безопасности, так сказать, неприкосновенным. Но когда дядюшка-каноник сообщил ему про ультиматум Рошо, пред ним вдруг словно разверзлась земля.

— Да, все так и было,— сказал дон Луиджи.— Впрочем, тетушка Клотильда утверждает, что Рошо убрали потому, что любовники не в силах были больше притворяться и таиться... Словом, всему виной неодолимая страсть.

— Неодолимая страсть, черта с два!—воскликнул нотариус.— Эти двое уже привыкли, их связь началась, когда они приехали из колледжа на каникулы. Вначале они грешили тайком от достопочтенного каноника, потом — от Рошо. Быть может, это их даже развлекало... запретный плод всегда сладок, да и опасность будоражит кровь.

Он умолк, потому что в дверь постучали. Стук повторился, тихий, но настойчивый.

— Кто бы это мог быть? — забеспокоился Пекорилла.

— Открой же,— сказал дон Луиджи.

Нотариус открыл дверь. Это был коммендаторе Церилло.

— Что за фокусы? Ушли с праздника и заперлись тут вдвоем.

— Как видишь,— холодно ответил нотариус.

— О чем вы говорили?

— О погоде,— бросил дон Луиджи.

— Оставим в покое погоду, она сегодня преотличная, так что тут, право же... Признаюсь вам честно, если я кому-нибудь все не выложу, то меня разнесет на куски. А вы как раз говорили о том, что у меня засело вот тут,— он провел рукой по животу, судорожно стиснув зубы, словно от отчаянной боли.

— Если уж тебе невмоготу, выкладывай, мы тебя слушаем.

— Ну, а вы будете помалкивать?

— А о чем говорить прикажешь? — с невинным видом спросил нотариус Пекорилла.

— Давайте раскроем карты, мои дорогие, вы говорили об этом обручении, о Рошо, об аптекаре.

— Ты попал пальцем в небо,— сказал нотариус.

— Да, да, и об этом бедняге Лауране,— невозмутимо продолжал коммендаторе,— который исчез, как Антонио Пато в «Мортории».

Пятьдесят лет назад во время очередного представления действа кавалера д'Ориоля «Морторио, или Страсти Христовы» Антонио Пато, игравший Иуду, провалился по ходу пьесы в люк, который, как уже случалось сотни раз, открылся. Но только с того момента артист исчез, и притом бесследно, а это не было предусмотрено в пьесе. Этот случай вошел в поговорку, и всякий раз, когда хотели намекнуть на таинственное исчезновение человека, говорили: исчез, как Пато.

Упоминание о Пато развеселило дона Луиджи и нотариуса, однако они тут же опомнились, напустили на себя задумчивый и озабоченный вид и, избегая взгляда Церилло, спросили:

— Но при чем здесь Лаурана?

— Эх вы, бедные несмышленыши,— с иронией проговорил коммендаторе.— Невинные создания, ничего-то они не знают и не понимают... Нате, кусните мой пальчик,— и он поднес мизинец ко рту сначала нотариуса, а затем дона Луиджи, как это делали наши не искушенные в тонкостях гигиены матери, когда у младенцев прорезались зубы.

Все трое расхохотались. Потом Церилло сказал:

— Я узнал кое-что весьма любопытное про беднягу Лаурану. Но, сами понимаете, это должно остаться между нами.

— Он был кретин,— убежденно сказал дон Луиджи.

Американская тетушка

ПОВЕСТЬ

■

Перевод с итальянского
ЕВГЕНИЯ СОЛОНОВИЧА

В три часа дня на улице свистнул Филиппо. Я выглянул в окно.

— Они уже на подходе,— выпалил Филиппо.

Я бросился вниз по лестнице, мать что-то крикнула мне вдогонку.

На улице, залитой слепящим солнцем, не было ни одной живой души. Филиппо стоял в дверях дома напротив. Он рассказал мне, что

видел на площади мэра, каноника и фельдфебеля, они ждут американцев, какой-то крестьянин принес известие, что американцы вот-вот появятся — они уже у моста через Каналотто.

Ничего подобного — на площади торчали два немца; они расстелили на земле карту, и один из них отметил на ней карандашом какую-то дорогу, произнес какое-то название и поднял глаза на фельдфебеля, тот сказал:

— Да, верно.

Потом немцы сложили карту, направились к церкви, под портиком стояла машина, покрытая ветками миндального дерева. Они вытащили из нее каравай хлеба, ветчину. Спросили вина. Фельдфебель послал карабинера за фьяской в дом каноника. Наши были как на иголках из-за этих двух немцев, которые преспокойно закусывали, в наших сидели страх и нетерпение, потому-то каноник недолго думая решил расстаться с фьяской вина. Немцы поели, осушили фьяску, закурили сигары. Уехали они, даже не кивнув на прощанье. Тут фельдфебель заметил нас с Филиппо, заорал, чтобы мы убирались, а не то получим по хорошему пинку.

В общем, никаких американцев. Мы видели немцев, а американцы неизвестно когда еще появятся. С горя мы отправились на кладбище, оно находится на холме, оттуда было видно, как самолеты с двумя хвостами пикировали на дорогу, ведущую в Монтедоро, как они снова взмывали в небо, а над дорогой наливались черные тучи, потом мы слышали звук лопающихся бутылок. На дороге оставались черные грузовики, снова наступала тишина, но двухвостые самолеты возвращались, терзая ее новыми выстрелами. Здорово было глядеть, как они бросались на дорогу и тут же опять оказывались высоко в небе. Иногда они пролетали низко над нами, и мы махали руками американскому летчику, который, мы думали, смотрит на нас. Но вечером в город привезли возчика с развороченным животом и парнишку, раненного в ногу: они тоже махали руками, и двухвостый ударил по ним очередью. Двухвостые упражнялись в стрельбе по цели, они палили даже по скирдам, по волам, которые паслись на жнивье. Назавтра мы с Филиппо устроили вылазку за город, туда, где шарахнуло возчика, вокруг валялись гильзы, крупные, как двенадцатикалиберные от отцовского ружья. Мы набили ими карманы. Все поле было в нашем распоряжении, безмолвное и залитое солнцем. Крестьяне не могли выйти из города, милиция блокировала дороги, мы же выбирались по козьей тропе, она выводила нас к каменному карьеру и потом в открытое поле. Мы рвали миндаль с зеленой и терпкой кожей, внутри белый, как молоко, и майские сливы, которые вызывали оскомину, зеленые и кислые. Мы рвали столько, сколько могли унести, мы потом продавали это добро солдатам, вернее, меняли на «Милит». С «Милитом» мы здорово придумали, благодаря этим сигаретам мы целый год жили припеваючи. В то время мужчины курили все что попало; мой дядя перепробовал виноградные листья, спрыснутые вином и засушенные в духовке, листья баклажанов, сдобренные медом и вином и затем высушенные на солнце, корни артишоков, вымоченные в вине и побывавшие в духовке; поэтому за одну сигарету «Милит» он платил иногда и по пол-лиры. Сначала я называл цену, брал деньги вперед; затем извлекал на свет две-три сигареты — дневную норму. Вечером взрослые пытались прибрать мой заработок к рукам, а может, еще сигареты искали: я притворялся спящим и видел, как они перетряхивали мою одежду, рылись в карманах. Они никогда ничего не находили, я заботился о том, чтобы потратить все до последнего, прежде чем вернусь домой, а если у меня оставались сигареты, я прятал их, придя домой, в подставку для зонтов. Никому не хотелось портить со мной отношений из-за сигарет, которые я добывал для

дяди; когда отец злился, что я занимаюсь ростовщичеством, дядя успокаивал его, опасаясь, что этой торговле придет конец. Дядя кружил по дому, все время повторяя: «Без курева мне смерть», он глядел на меня с ненавистью и потом сладким голосом спрашивал, нет ли у меня сигаретки. Как-то один солдат из Дзары за два яйца, которые я стащил дома, дал мне пачку «Серальи», двадцать штук, дядя выложил мне за нее двенадцать лир. К вечеру у меня ни осталось ни гроша, отец готов был убить меня, но на мою защиту встал дядя, испугавшись, что на следующий день у него не будет сигареты, чтобы закурить после ячменного кофе, когда ему курить хотелось — хоть вешайся. С того дня, когда неожиданно загудели колокола и с улицы крикнули, что американцы уже в Джеле, дядя сделался как сумасшедший, и я поднял цену за штуку «Милита» до одной лиры. На третий день после начала заварухи школьный сторож, проходя мимо нашего дома, крикнул дяде, стоявшему у окна: «Мы их отогнали, у Фаваротты немцы атаковали, ну и бойня была!» — и дядя завопил, повернувшись к нам:

— Мы утопим их в песках и в море, как говорил дуче, в песках и в море! — Затем он заявил, что не станет платить впредь больше, чем пол-лиры за сигарету. Сообщение сторожа оказалось ложным, и вечером цена в одну лиру была восстановлена.

Филиппо загонял сигареты брату и еще официанту из благородного собрания, который после перепродавал их кому-нибудь из членов клуба, зарабатывая на этом. На вырученные деньги мы играли в пристеночку или в орла и решку с другими ребятами, покупали приторные тянучки из плодов рожкового дерева и каждый вечер смотрели кино. Филиппо обладал исключительной способностью попадать плевком в двухсольдовую монетку на расстоянии десяти шагов, в морду нежащегося на солнышке кота, в трубки стариков, которые чесали языки, сидя перед клубом страховой кассы. Я мазал, ошибался на добрую пядь, но в кино сходило и так, там-то нельзя было промахнуться. Это был старый театр, и мы всегда забирались на галерку. Сверху, в темноте, мы два часа кряду плевали в партер, с перерывами в несколько минут от одного воздушного налета до другого. Голоса пострадавших неистово поднимались в тишине: «Мать вашу так!» Снова тишина, звук открываемых бутылок газировки и потом опять: «Так вашу...» — и еще голос блюстителя порядка, обращенный наверх: «Если я поднимусь, я вас там четвертую, как бог свят!» — но мы-то были уверены, что он нипочем не решится подняться. Как только дело доходило до любовных сцен, мы принимались громко дышать, как бы во власти неукротимого желания, или со свистом втягивали в рот воображаемых устриц, издавая звуки, похожие на поцелуи; на галерке то же самое проделывали и взрослые. Против этого партер тоже возражал, правда, более снисходительно и сочувственно: «Что они там, помирают, что ли? Подумаешь, баб никогда не видели, сукины дети!» — не подозревая, что основная доля звуков исходила от нас двоих, черпавших в любовных историях фильмов вдохновение для того, чтобы плевать на этих разомлевших идиотов.

Но в дни заварухи кино не работало. На улице нельзя было показаться без письменного разрешения фельдфебеля, у моего отца оно было, чтобы ходить в контору, лишь карабинеры и милиция разгуливали по пустынным улицам. В школе голодные солдаты валялись на раскладушках, играли в мору, чертыхались. Майор с белой эспаньолкой, их командир, куда-то исчез, капитан и лейтенант тоже. Остался старший сержант, который, чтобы не помереть от скуки, играл на корнете как проклятый. Когда крутили фильмы, ни у кого из солдат не было охоты смотреть их, звуковое кино до нас еще не дошло, а немое они считали ерундой. Теперь не было даже кино, на рассвете десятого июля загудели ко-

локола, и город опустел, будто раковина; и у жизни было глухое и непонятное звучание, как у морской раковины, точь-в-точь как у раковины, когда ее поднесешь к уху; люди сидят по домам; лавки заперты, как при приближении похоронной процессии; и шепот ожидания, нетерпения; мы жались к стенам, ныряли в парадные, избегая встреч с карабинерами. До чего же хорош был город в те дни, пустынный и полный солнца! Никогда пение воды из колонок не было прежде таким свежим и нежным; и блестящие самолеты метались в небе, которое тоже представлялось нам более пустынным и далеким, чем обычно. Нам казалось, что американцы не хотят приходить в этот тихий вымерший городишко, что они собираются обойти его с двух сторон и так и оставить в ожидании: с них хватало того, что они смотрели на него сверху — белый и безмолвный, как кладбище.

Отец Филиппо был столяром. Когда-то он ходил в социалистах, его частенько вызывали в казарму и держали там по нескольку дней. При виде чернорубашечников Филиппо всегда бормотал: «Рогоносцы» — и, когда мог, припечатывал им плевок на спину. Он потому и ждал американцев, что его отец собирался задать перцу всем этим рогоносцам, таскавшим его в казарму. Хотя мой отец никогда не ругал фашистов, я был на стороне Филиппо и его отца, у которого в мастерской приятно пахло тесом и краской, а за дверью над огнем дымился котелок с клеем, от этого дыма во рту оставался сладкий вкус. Я тоже ждал американцев. Мать рассказывала мне про Америку, где у нее была богатая сестра, владелица большого магазина, у нее четверо детей, один сын был уже взрослый, он мог находиться среди тех солдат, которых мы ждали. И Америка рисовалась мне огромным стором * моей тети, огромным, как площадь Кастелло, заваленная всяким добром — одеждой, кофе, мясом, а сын тети, солдат, был, конечно, великим мастером по части файтов ** — у него с собой полно добра, он расскажет про американский магазин и устроит веселую жизнь рогоносцам, всем, кого покажет ему отец Филиппо.

Но американцы не приходили. Может, они остановились в соседнем городишке и валялись на раскладушках, играли, как здесь наши солдаты, которые выкрикивали цифры и выбрасывали пальцы из сжатого кулака, чертыхались, уверенные, что им не миновать плена. Однажды наши солдаты попросили у нас старую одежду, они хотели переодеться в штатское, чтобы не попасть в плен. Я поговорил с матерью, и она дала мне отцовские и дядины обноски, кое-что притащил и Филиппо. Солдаты обрадовались, а те, кому ничего не досталось, сами отправились на поиски. Это было хорошо — значит, американцы и в самом деле придут.

В тот день, когда я узнал, что американцы на подходе, а вместо них через город проехали два немца, слух про американцев таинственным образом разнесся по всему городу, и отец с дядей принялись сжигать членские билеты фашистской партии, портреты Муссолини, брошюры о Средиземноморье и империи; значки и прочие железные побрякушки они закинули на крышу дома напротив. Но назавтра столь же таинственно распространился слух, будто немцы, на этот раз всерьез, сбрасывают американцев в море между Джелой и Ликатой.

Секретарь фашистской партии, вот уже несколько дней из осторожности отсиживавшийся дома, снова стал появляться на улице. Он метал вокруг взгляды, которые, как мерещилось моему отцу, останавливались на петлицах, где обычно красовался паук, и, если паука не оказывалось на месте, глаза секретаря леденели, в них были упрек и презрение, словно он хотел сказать, что непременно запомнит всех этих трусов, позакидывавших значки на крыши. Мой отец не верил, что нем-

* Store — магазин *(англ.)*.
** Fight — драка *(англ.)*.

цам и впрямь удастся сбросить американцев в море, но взгляды секретаря действовали ему на нервы. Он предложил нам с Филиппо поискать значки на крыше дома напротив, пообещав в награду две лиры. Дело было плевое, но моя мать чего-то испугалась, она принялась поносить фашизм и эти значки. Она не имела ничего против того, чтобы на крышу лез Филиппо, по ее словам, более сильный и ловкий, чем я, только бы этого не делал ее неуклюжий сын с тонкими, как спички, ногами, который, чего доброго, еще свалится оттуда. Филиппо чувствовал себя польщенным, но без меня взбираться на крышу побаивался. А я не боялся. Я потребовал деньги вперед, отец, ругаясь, раскошелился. Мы взяли приставную лестницу и полезли наверх. С балкона нашего дома отец корректировал поиски:

— Вы что, ослепли? Да вон они блестят, да нет, правее, сзади, а теперь под носом у вас, нет, левее.

Мы босиком ходили по крыше, мы не слезли даже после того, как нашли значки.

Отец выбросил две лиры на ветер: в это самое время в город входили американцы, и ему пришлось снова избавляться от значков, но тут уж он спрятал их поближе — в горшке с петрушкой.

Разгуливая по крыше, мы вдруг услышали многоголосый рев, как будто где-то включили радио во время репортажа о футбольном матче и как раз там кто-то забивает гол. Удивленные этим шумом, неожиданным в безмолвном городе, мы на мгновение остолбенели, но тотчас сообразили, в чем дело, скатились по лестнице, сунули ноги в ботинки, которые оставили внизу, и, потопав, чтобы пятки ушли в башмаки — вечно нам доставалась тесная обувь,— помчались по улице; моя мать, надрываясь, кричала, чтобы мы вернулись, что может подняться стрельба, что нас увезут — там негры, бог знает, на что они способны.

На площади собралась огромная толпа, она орала и хлопала в ладоши, но среди всех голосов выделялся голос адвоката Даньино, здоровенного верзилы, меня восхищало в нем то, как он кричал «эйя» *, а сейчас он вопил: «Да здравствует звездная республика!» — и хлопал в ладоши. Оплетенные бутылки с вином, переходившие из рук в руки, плыли над толпой; проследив путь бутылок, мы пробрались туда, где стояли американцы — пятеро в темных очках и с длинными винтовками. Священник из прихода Сан Рокко, в брюках и без воротничка, разговаривал с ними, бледный и вспотевший, то и дело произнося: «Плиз, плиз», но американцы не слушали его, казалось, что они пьяные, они поглядывали по сторонам и курили нервными затяжками. Стаканы наполнялись красным вином, их с вежливой настойчивостью предлагали американцам, но те отказывались пить. Адвокат Даньино стоял на принесенном из клуба стуле, он все время гремел: «Да здравствует звездная республика!»; отец Филиппо нашел нас в толпе и увел со словами: «Идите домой, хватит вам слушать этого рогоносца, все сволочи повсплывали». А вот мне нравилось, что даже адвокат Даньино радостно кричал: «Да здравствует звездная республика!» — это у него получалось не хуже, чем в тот раз, когда он надрывался с вокзального балкона: «Дуче, жизнь за тебя!» Что ни праздник, адвокат Даньино всегда кричал; я не мог понять, почему отцу Филиппо, который так ждал американцев, этот день не казался праздником, и он уводил нас, и у него было бледное и хмурое лицо, и я чувствовал, как его рука дрожала на моем плече.

Когда мы подошли к мастерской, я сказал: «Я домой»,— и убежал. Мне не хотелось пропускать ни одной подробности праздника. На площади я увидел, что американцам удалось немного оттеснить толпу, они держали винтовки наперевес, как мой отец, когда он в поле подстерегал жаворонков; народ столпился под вывесками дома фашио, люди пыта-

* Фашистский клич.

лись сбить их жердями, но вывески были прикреплены к решетке балкона, какого-то человека подсадили, и, как только он оказался на балконе, ему зааплодировали. Вывески с грохотом рухнули, их начали топтать, потащили по площади. Американцы смотрели на все это, о чем-то переговаривались между собой и не обращали внимания на священника, твердившего «Плиз, плиз», и на адвоката Даньино, который больше не кричал, а подошел к американцам и что-то нашептывал на ухо одному из них, с черными нашивками на рукаве, может, это был капрал. Потом откуда-то вынырнул бригадир с четырьмя карабинерами, солдаты направили на них винтовки; когда карабинеры приблизились, один из американцев подошел к ним со спины и проворно снял с них кобуры с пистолетами. Снова взрыв аплодисментов.

— Да здравствует свобода! — заорал адвокат Даньино.

Неожиданно над толпой взвился американский флаг, его крепко держал сторож из начальной школы, человек, каждую субботу разгуливавший по городку в черном мундире и носивший красную повязку сквадриста; когда сторож злился, он бил ребят в вестибюле школы, и директор объяснял родителям, приходившим жаловаться: «Что вы хотите, с этим несчастным человеком нет сладу, иной раз он пускает руки в ход даже против меня; но ничего не поделаешь, он участвовал в походе на Рим, дуче премировал его радиоприемником». Теперь сторож держал американский флаг и вопил:

— Да здравствует Америка!

Но американцы не обращали внимания на людей, протискивавшихся поближе к флагу. Они сказали что-то священнику, и священник объяснил бригадиру:

— Они хотят, чтобы вы пошли с ними.

Бригадир согласился и ушел с американцами. Если бы Филиппо был рядом, мы бы отправились за ними, а одному мне не хотелось. Я остался рядом с четырьмя обезоруженными карабинерами, которые не решались поднять глаза на людей и стояли как побитые собаки.

Потом со всех сторон стали съезжаться бронемашины и грузовики. Толпа, аплодируя, расступилась, солдаты бросали в нее сигареты, поднималась свалка, и некоторые из американцев щелкали фотоаппаратами.

Не знаю почему, но неожиданно я почувствовал, как к горлу у меня подступают слезы; может, тут были виноваты карабинеры, может, этот флаг над толпой, может, я подумал о Филиппо и его отце, которые остались одни в мастерской, может, о матери. Мне вдруг страшно захотелось домой, как будто я боялся, что найду его не таким, каким оставил; бегом я поднялся по улице, где звучали теперь праздничные голоса, и, когда я закрыл за собой дверь, мне показалось, что все это сон, который снится кому-то другому, снится, как я устало взбираюсь по лестнице и вот-вот разревусь.

Отец говорил о Бадольо *. Дядя, подавленный, похожий на мешок с опилками, оживился при виде меня: он извлек из кармана пачку сигарет «Raleigh» с портретом какого-то бородача на ней и притворно нежным голосом спросил:

— Интересно, сколько ты мне заплатишь за эту пачку?

Я разрыдался.

— Плачь, плачь,— продолжал дядя,— кончилась для тебя лафа; даже если твоего дядю приговорят к расстрелу, ему хоть накуриться дадут перед смертью.

— Оставь его в покое,— сказала мать.

---

* 25 июля 1943 г. фашистская диктатура в Италии была заменена военной диктатурой правительства маршала Бадольо.

На площади понавешали объявлений. Одно начиналось так: «I, Harold Alexander...» — и отец объяснил, что американцы требуют сдачи ружей, пистолетов, даже сабель. В другом объявлении говорилось, что солдатам запрещено находиться в городе; но ясно, что солдаты плевали на это запрещение, вечером маленькая площадь так и кишела джипами, солдаты искали женщин, тащили их в кафе и пили; они вытаскивали из карманов брюк горсти денег, бросали их на стол и пили из горлышка. Усаживали женщин к себе на колени и пили. Женщины были непристойные и грязные, жутко уродливые; одну из них в городе называли «велосипедом», она ходила так, как будто ехала на велосипеде в гору, по-моему, она смахивала на краба; американцы сажали ее на колени, она переходила от одного солдата к другому, ей совали в рот бутылку, и она качалась, пьяная вдрызг, и мычала похабные слова. Солдаты смеялись, потом, как мешок, бросали ее в джип, увозили с собой. Многие солдаты говорили на сицилийском диалекте; в первые дни наши считали, что они не понимают ни слова на диалекте, может, первые американцы, которые прошли через город — их дивизия называлась «Техас»,— и правда не понимали, но потом в одном кафе какой-то американец спросил бутылку, показал ее на полке, собрался платить, а бывший в кафе парень возьми и скажи хозяину:

— Сдери с него десять долларов.

Американец обернулся злой-презлой и выдал на диалекте:

— Пусть сдерет их с твоего рогатого отца.

Доллары с желтым штампом и амлиры * стимулировали сводничество, и оно процветало вовсю. Кто-то устраивал солдатам свидания с затворницами из затворниц, с женщинами, которые никогда бы не переступили порога кафе и которые боялись людских глаз, и особенно осуждающих взглядов свекровей, с женщинами, чьих мужей не было в городе. К этим женщинам американцы приходили поздно вечером, и, чтобы очистить улицы, дабы люди не узнали, что в некоторых домах в эту пору принимают гостей, солдаты поднимали на площади непрерывную стрельбу; это была идея, подсказанная посредниками, настолько удачная, что впоследствии ею пользовались ловкачи с черного рынка, чтобы нагружать и разгружать машины без свидетелей. Когда начиналась пальба, все запирались по домам, даже на балконы не выходили подышать свежим воздухом. Однажды у моего дяди, который не хотел уходить с балкона, по-моему, из-за любопытства, хотя он и утверждал, будто умирает от духоты, над самым ухом просвистела пуля, и он влетел в комнату, разразясь ругательствами. Но эта забота американцев о чести затворниц мало что меняла: все равно люди знали, кто из женщин открывал ночью дверь,— достаточно было ссоры у колонки, одной из тех ссор, когда пришедшие за водой начинают бурно спорить, кто за кем, чтобы всему городу стали известны подробности — день, час и имя посредника. Мы, конечно, были в курсе дела: Филиппо знал, что творилось в его квартале, я — что творилось в моем. А вот то, что делали эти женщины с американцами, то, что мужчина мог делать с женщиной, оставалось для нас окутанным туманом неизвестности. Женщины раздевались — это наверняка; мы часто ходили в Матуццо, где был большой колодец, чтобы полюбоваться, спрятавшись, ногами прачек; заметив Филиппо и меня, они нас прогоняли, крича, чтобы мы убирались домой и пялили там глаза на своих матерей и сестер; может быть, американцы платили за то, чтобы их не прогоняли, и они могли смотреть на женщин и, как в кино, целовать их. Руссо сказал бы, что мы пребывали в том возрасте, когда в голове больше слов, чем вещей; и слова у нас

* Оккупационные лиры (сокращение от «американские лиры»).

действительно были, даже для вещей, которых мы не знали и которых не могли себе представить, слова самые грязные и жестокие. Мальчика нашего возраста, приносившего нам коробки с «пайком К» — там были конфеты и кубики сахара, розовый сыр и печенье,— мы в конце концов доводили до слез, повторяя одно и то же: «Интересно знать, кто тебе все это дает. Американец твоей мамаши — вот кто! А ты, случайно, не видел, что делает твоя мать с американцем?» Причем мы подбирали для воображаемых поступков его матери самые непотребные слова. Мальчик говорил, что это неправда, что американец их родственник, что его мать ничего такого не делает; потом он давал волю слезам, и мы от него отставали; но на следующий день он снова находил нас, приносил «паек К» и объяснял: «Американец — мой дядя, вы не должны говорить такие вещи», и все равно под конец повторялась вчерашняя история.

Итак, американцы потребовали ружья, говорили, что потом вернут их. Мой отец вырезал на прикладе своего ружья фамилию, это было хорошее бельгийское ружье, отец говорил, что в городе не найти лучшего, он верил, что ему его вернут, и для этого вырезал на прикладе фамилию. Затем он вытащил откуда-то два пистолета, которых я никогда не видел, и один из них был величиной с руку и заряжался с дула, и саблю, покрытую ржавчиной и с обломанным кончиком, но кто знает, может, нам и не поздоровилось бы, если бы американцы нашли ее у нас дома. В день сдачи оружия я пошел с отцом; принимали оружие американский солдат и бригадир карабинеров, бригадир записал в книгу: «Одно ружье, два пистолета, одна сабля»; отец потребовал, чтобы записали также номера и марку; бригадир рассердился, ему жилось теперь лучше, чем прежде, он таскался с американцами к женщинам, и говорили, комната у него была завалена пачками и блоками сигарет.

— Твое дело сдать все, остальное — моя забота,— зло сказал он.

Там уже громоздилась целая куча оружия, отец осторожно положил в нее ружье. Думаю, в эту минуту он понял, что не получит его обратно, психовал потом весь день, и назавтра — тоже, и всякий раз, когда речь заходила о ружьях. Через какое-то время ему вернули ружье, два пистолета и саблю, но приличной оказалась лишь сабля, а ружье и пистолеты годились только для того, чтобы продать их как железный лом.

Филиппо уже давно торчал во дворе казармы, наблюдая за сдачей оружия. Мой отец ушел, а я тоже остался поглядеть. Зрелище напоминало процессию; сдав оружие, крестьяне сразу же уходили, ругаясь. «У воров теперь автоматы, а у честных людей даже допотопного дробовика нет»,— ворчали они, и это была правда, в городе орудовали воры, двоих в масках и с винтовками поймали, их по-отечески принял американский майор, весь беленький и осанистый, говорили, у себя на родине он преподавал философию, может, так говорили потому, что здесь все, кажущееся странным, связывают с философией. Майор отпустил обоих воров с миром, посоветовал им жить честно и тихо, работать; на лице переводчика, когда он объяснил, что сказал майор, было написано: «Ни черта не понимаю, сами видите, какие они идиоты, эти американцы», а защитник, которому не удалось вставить ни словечка, потом поносил Колумба, поскольку при таком повороте дела бедняге защитнику трудно было рассчитывать на несколько сот лир гонорара. А вот нам американский майор нравился, мы ходили за ним по пятам по лестницам муниципалитета, и ни разу он нас не прогнал, время от времени он на нас поглядывал и с трудом выговаривал:

— Маленькие сицилийцы.

Похоже, он был добрым, наверно, дома, в Америке, у него остались дети. И у солдата, следившего за приемом оружия, тоже было доброе лицо, он жевал резинку и улыбался, перекидывался несколькими словами с бригадиром и снова умолкал, улыбаясь и жуя резинку. Может, он думал о доме, об Америке, где сплошь огромные домища и автомобили, и о своей матери, которая смотрела в окно с верхотуры. Казалось, он не замечал нас; когда он повернулся, собираясь угостить нас пластинками жевательной резинки, мы подумали, что он решил прогнать нас, но он дал нам резинку и сказал:

— Резинка хорошая, не ментоловая.

Ясно, что ментоловая ему не нравилась, мне она самому не нравилась. Я поблагодарил, Филиппо — тоже, с незнакомыми людьми нам удавалось сходить за воспитанных деток, мы даже под ангелочков умели работать, но это мы оставляли для занятий катехизисом в церкви. Американец смотрел на нас улыбаясь. Тогда я сказал:

— У меня тетя в Америке.— Мне казалось, что нужно во что бы то ни стало подружиться с ним.

— О, в Америке,— произнес американец.

— Да, в Бруклине.

— Я тоже живу в Бруклине,— сказал американец,— и Бруклин большой.

— Какой? — спросил я.— Как этот город?

Я хорошо знал, что он такой большой, как наш город, Каникатти и Джирдженти, вместе взятые, и что это всего лишь один из районов Нью-Йорка, но мне не хотелось, чтобы разговор иссяк.

— Больше, больше,— ответил американец.

— Он величиной с Палермо,— сказал Филиппо,— я знаю. Мой отец был в Америке.

— Да, пожалуй, как Палермо,— согласился солдат.

— В Палермо,— сказал я,— есть море, и в Порто Эмпедокле море есть; я был до войны в Порто Эмпедокле, но ничего, кроме лодок, не помню. А в Бруклине есть море?

— Нет, но оно близко,— ответил солдат,— мы ездим к морю на машинах.

— А Бруклин красивый? — спросил Филиппо; мне же хотелось продолжить разговор о машинах.

— Нет,— признался американец,— здесь красивей.

— А как война? — спросил я.— Тебе нравится на войне?

Солдат улыбнулся, потом сказал:

— Война — паршивая штука, из-за нее умирают даже такие малыши, как вы. А здесь красиво.

Небо над двором было как вода, когда в ней растворяют синьку, облака заменяли пену, построенная из песчаника колокольня церкви св. Иосифа казалась золотой.

— Пойдешь со мной? — предложил бригадир.

Солдат ушел, не попрощавшись с нами.

Назавтра мы снова были во дворе казармы. Солдат сидел на прежнем месте, читал книгу и жевал резинку. Увидев нас, он сказал: «Алло»,— и продолжал читать. Немного погодя он закрыл книгу, вынул пакетик резинки и протянул нам по одной.

— Чунга,— объяснил он,— это называется чунга.

— А как называются конфеты? — спросил Филиппо.

— Кенди,— ответил солдат,— в Америке любые кенди есть.

— А здесь нет кенди,— сказал я.

— И картошки нет,— прибавил Филиппо,— я уже забыл, какой у нее вкус, у картошки, когда я был маленький, мы всегда ели картошку.

— Картошку,— сказал я,— втихую продает у нас один муниципальный стражник, дорого продает, мой отец говорит, что выгоднее покупать мясо.

— Тоже скажешь,— запротестовал Филиппо,— мясо, тут хлеба нет, а ты захотел мясо найти.

— Почему вы не привозите нам пшеницу? — спросил я американца.— Отец говорит, что вы выбрасываете ее в море, пшеницу.

— Неправда, в море мы ее не выбрасываем,— ответил он.—У нас нет кораблей, чтобы возить пшеницу, вот кончится война, тогда и привезем.

— А скоро война-то кончится? — спросил я.— После войны моя тетя приедет.

— Правильно, приедет твоя тетя из Бруклина. Но война — долгая штука, кто знает, когда она кончится.

— У моей тети магазин в Бруклине,— объявил я,— большой магазин: до войны она присылала нам посылки и вкладывала доллары в письма, а на рождество даже мне прислала целый доллар.

— У него тетя богатая,— сказал Филиппо солдату.

— У нее две машины,— объяснил я,— и одна большая и вся блестит, я видел на фотокарточке.

— Кончится война, и твоя тетя приедет на большой красивой машине,— сказал солдат.— Я тоже приеду на машине. Здесь красиво.

— А у тебя есть машина? — спросил я.— Какая?

— В Америке у нас у всех машины. Вот моя,— и он вынул из кармана бумажник, а из бумажника фотографию. На ней была длинная сверкающая машина, рядом стоял он, положив руку на дверцу, толстая женщина в цветастом платье и двое детей в свитерах; сзади были деревья.

— Твоего отца тут нет,— сказал я.

— Нет, мой отец умер.

— Я один раз видел мертвого,— сказал Филиппо,— это был немец, его вытащили мертвым из самолета, который близко от города упал. А потом ночью он мне приснился, мне казалось, что он живой, больше я не хожу смотреть на мертвых.

— А что тебе сделают мертвые? — спросил я. Сам я никогда не видел их, да и не жалел об этом.— Когда люди умирают, их больше нет. Я бы хотел посмотреть на мертвого немца. А ты видел мертвых немцев? — спросил я солдата.

— Да,— ответил он,— много видел, и американцев мертвых видел, и англичан, и французов, и австралийцев.

— Да, но немцы ведь плохие,— сказал Филиппо,— лучше, чтобы умирали немцы.

— Сейчас война, поэтому лучше, чтобы они умирали,— сказал солдат.— Чем больше немцев умрет, тем скорее мы победим.

— Россия тоже победит,— сказал Филиппо.

— О, Россия! — сказал солдат.

— Россия не такая, как Америка,— заметил я.

— Да,— согласился солдат,— Россия совсем другое дело.

Дядя сидел дома и с утра до ночи слушал радио.

— Сукины дети,— ругался он,— кто знает, куда они его дели.

— Да заткнись ты,— иногда взрывался отец.— Тебе все еще охота наряжаться клоуном, мало тебе того, что он натворил.

— А что он такого натворил? — спрашивал дядя.— Италию уважали, перед ней трепетали. Жизнь была хорошая. Порядок был. Ты ведь

и сам клоуном наряжался и утверждал, что он был великим человеком. Чем же он тебе насолил вдруг, ну чем?

— По-твоему, война, которую он развязал, пустяки? — отвечал отец.— Конечно, для тебя это пустяки, ты прав, на войне другие маются, а тебе от нее ни холодно, ни жарко...

Как-то вечером по радио выступил Орландо*, он сказал, что снаряды, летевшие из Сицилии в Калабрию, служили связующим звеном между Сицилией и Италией, этот образ остался у меня в памяти.

Отец говорил:

— Орландо великий человек.

Дядя не соглашался:

— Как же, как же, он спасет Италию, этот старик, впавший в детство, держи карман шире.

— Да,— настаивал отец.— У этого старика голова на плечах, а вот дуче твой псих, в сумасшедшем доме ему место, так даже Боккини считал, он однажды по секрету сказал это Чиччо Карделле, который большая шишка в министерстве.

— Ишь ты,— не сдавался дядя,— он мне говорит о Боккини. Сплошные предатели, вот кто они все.

— Все его предавали,— возвышал голос отец,— ты один не предавал. Да и как ты мог предавать его, прилипнув задницей к этому креслу и вопя что ни праздник: «Дуче! Дуче!»?

— Да не ори ты,— просил дядя,— а то услышат на улице. При той должности, какую я занимал, меня заберут и увезут прямо в Орано, неизвестно еще, довезут ли, ведь им ничего не стоит сбросить меня в море по дороге.

Дядя прямо заболел от страха, я пользовался этим его состоянием, чтобы немного позабавиться. Я принимался петь: «Дуче, дуче, погибнем за тебя!» — и дядя лез на чердак, где я горланил, и говорил:

— Паршивец, неужели ты не понимаешь, что подводишь меня? Ведь меня в Орано увезут!

Я начинал хохотать, и тогда он напускал на себя торжественность:

— Италия плачет, а ты ржешь. Да пойми же ты, у нас враг в доме...

Американского солдата звали Тони, он родился в Калабрии, а в Америку его увезли, когда ему был год, теперь он ждал отпуска, чтобы съездить в Калабрию, там в небольшом городишке у него жили родственники. Американцы уже были в Калабрии, «связующее звено» сыграло свою роль.

Я спрашивал, любит ли он своих калабрийских родственников, я хотел узнать, могли ли моя тетя и ее дети любить меня и мою мать. Тони ответил:

— Они бедные.

Я спросил:

— Какие бедные? Мы, по-твоему, бедные?

— Они беднее вас,— ответил Тони,— они спят в одной комнате с овцами, дети ходят босиком.

— А ты посылал бы им деньги из Америки,— посоветовал Филиппо,— и они покупали бы ботинки.

— Я несколько раз посылал,— ответил Тони.

— Теперь вот война кончится,— сказал я дипломатично, как будто все зависело от Тони,— и американцы привезут ботинки для всех, ботинки и хлеб, целые пароходы придут.

---

* Глава итальянского правительства в 1917—1918 гг., сицилиец.

— Американцы работают,— сказал Тони,— они работают, и у них есть ботинки, есть красивая одежда, хорошие дома и машины, а итальянцы не хотят работать.

— Я хочу работать,— заметил Филиппо,— и мой отец работает. Отец говорит, что это богатые отнимают у нас хлеб.

— Вот ты и должен работать, чтобы стать богатым,— заявил Тони,— в Америке все работают и становятся богатыми.

— У моего отца есть дядя,— сказал я,— который не работает и все равно богатый.

— Здесь никто не работает,— сказал американец,— ни богатые, ни бедные. Для богатых тут благодать, лучше даже, чем в Америке.

— Я бы хотел поехать в Америку,— признался я.— Заработал бы денег и потом вернулся бы, купил бы себе хорошую машину и вернулся бы.

— А я бы не поехал,— заявил Филиппо.— После войны не будет больше богатых.

— Будет еще больше, чем раньше,— сказал Тони,— причем те, кто были богатыми, сделаются еще богаче, и никто по-прежнему не захочет работать.

— Но разве вы не прогоните фашистов? — удивился Филиппо.— Если вы их прогоните, наступит социализм.

— Мы воюй, а вы потом социализм устроите,— сказал Тони.— Нечего сказать, в хорошем мы выигрыше будем. На этот счет я бы кое с кем потолковал.

— Это с кем же? — поинтересовался я.

— С одним человеком в Америке,— ответил он.

Вечером зазвонили колокола; моя мать подумала, что где-то пожар или еще какое несчастье, но с улицы крикнули, что заключено перемирие, мать начала молиться, благодаря бога за то, что многие дети останутся в живых. Дядя нервно расхаживал по комнате, приговаривая:

— И что они себе думают, эти немцы, хотел бы я знать. Этого нам только недоставало! Если же немцы считают так же, как я, тогда я хотел бы поглядеть на этого хрена Бадольо и заодно на другого — на шибздика, этого предателя.

Мой отец говорил:

— А ты где был? Взял бы да и пошел продолжать войну, то-то кукольный театр был бы! Честь, союз, дружба... Прихвати с собой сабельку и наведи там порядок.

Воспользовавшись тем, что спор становился все оживленнее, я выскользнул из дому. На площади толпился народ — перед церковью св. Анны, единственной церковью, которая не участвовала в хоре колоколов, люди требовали, чтобы священник велел звонить, а тот, высунувшись из окна, кричал:

— По-вашему, это праздник, да? Неужели вам не ясно, что мы проиграли? Поимели бы совесть!

В конце концов у кого-то лопнуло терпение, и он выстрелил в колокол, на что священник завопил: «Разбойники!» — и поспешил захлопнуть окно.

Дядя заявил потом, что в нашем городе всего двое мужчин — он и священник из церкви св. Анны.

Тони был высоким блондином, моему отцу не верилось, что его родители — калабрийцы, все калабрийцы, которых знал отец, были малорослыми и черноволосыми, а по дядиным словам выходило, что все калабрийцы — тупицы, что Италия огромная страна, но калабрийцы — тупицы, сардинцы — продажные шкуры, римляне — плохо воспитаны, неаполитанцы — побирушки...

По воскресеньям Тони ходил к мессе, и, когда все вставали, видно было, что в нашем городе нет ни одного человека такого высокого роста, как он. После мессы, где он принимал причастие, мы шли с ним в кафе. Мы спрашивали, есть ли церкви в Америке. Тони говорил, что церкви есть и что люди в Америке религиозней, чем у нас. Еще мы спрашивали, что делается в Америке по воскресеньям. Слова Тони рисовали перед нами грустную воскресную картину: для нас воскресенье — это площадь, забитая народом, лотки и голоса продавцов, а американцы искали уединения и тишины — на охоте или на рыбалке.

— А ребята чем занимаются? — интересовались мы.

— Играют в разные игры.

— Моя тетя,— сказал я,— однажды прислала мне роликовые коньки. А на что они мне? Когда я захотел покататься на них, я чуть башку не разбил.

— Здесь коньки ни к чему,— согласился Тони.— Не те дороги.

— А в Америке какие дороги?

— Широкие и ровные,— ответил он.— По ним не меньше десяти машин в ряд едут, и пыли нет.

— В Америке,— сказал Филиппо,— поезда даже под землей ходят и даже по воздуху. Вот бы прокатиться на таком, только не под землей, а по воздуху.

— А ты, часом, не спутал поезд с самолетом? — спросил я.— В жизни не слыхал, чтобы поезда летали.

— Да нет же, они не летают,— объяснил Тони.— Для них построены высокие железные мосты, и поезда идут по этим мостам. Мосты высокие, и поезд идет над городом.

— Прямо над домами? — поразился я.— А что, если он упадет?

— Как же он упадет? — спросил Филиппо.— Мост-то железный. Спорить готов, ты бы испугался сесть в такой поезд.

— Я за дома боюсь, которые внизу. Вот уж чего бы я не хотел, так это жить в доме под таким мостом.

— А я ничего не боюсь,— расхвастался Филиппо.

— Неправда, ты мертвых боишься,— уличил я его.— Увидишь мертвого, а потом всю ночь дрейфишь.

— Мертвые тут ни при чем. Правда, ведь мертвые ни при чем? — спросил Филиппо у Тони.

— Нет, при чем,— ответил Тони.— Человек боится мертвых потому, что сам не хочет умереть.

— Я не хочу умереть,— сказал я.

— Значит, ты боишься мертвых,— обрадовался Филиппо.— Никому не хочется умирать, и все мы боимся мертвых.

— Солдаты хотят умирать,— сказал я.

— Солдаты должны прогнать фашистов и ради этого готовы умереть,— заявил Филиппо.— Мой отец готов был сесть в тюрьму, а солдаты готовы умереть. Это разные вещи.

— А что делали фашисты? — спросил Тони.

— Ничего не делали,— ответил я.— Мой дядя был фашистом и ничего не делал, он никогда ничего не делал.

— Может, и ничего не делали,— согласился Филиппо.— А мой отец хотел в тюрьму сесть, так мать говорит.

В Италии оказался мой двоюродный брат, он воевал здесь, но из его письма мы не смогли понять, где именно: он писал, что, если ему дадут отпуск, он нас навестит. К его письму было приложено письмо от моей тети и пять или шесть бумажек по тысяче лир.

«Дорогая сестра,— писала тетя,— может быть, мой сын попадет в Италию, и поэтому я тебе пишу это письмо в надежде, что оно найдет вас в добром здоровье, в каком мы, спасибо Господу, пребываем. У меня сердце болит за моего сына Чарли, который уезжает на войну, но я надеюсь, что Пресвятая Дева защитит его. Дела у нас идут хорошо, моя дочь Грейс вышла замуж за одного еврея, но парень он неплохой и работящий, и у него парикмахерская рядом с нашим магазином, правда, сейчас он тоже в армии, да защитит его Пресвятая Дева. Эта война нам ни к чему, но Господь не допустит, чтобы в мой дом пришло несчастье, я пообещала Мадонне — покровительнице нашего города — кольцо, которое ношу на пальце, когда война кончится, я его привезу сама, война должна бы скоро кончиться, Америка сильная и победит...»

Мать плакала от радости, читая письмо, самые важные новости она повторяла отцу:

— Грация вышла замуж, моя сестра пообещала кольцо Мадонне дель Прато...

И когда дядя услышал о силе Америки и о том, что она победит, он начал урчать, как кошка, жующая требуху:

— Америка победит, да? Сволочи, все забыли, забыли, как их уважали, ведь раньше-то на итальянцев плевали, это фашизм заставил уважать их за границей! А теперь все снова на нас плевать будут, вот уж я посмеюсь, когда вся эта хреновина кончится! — Он не кричал, чтобы не вывести из себя мою мать, да и время для этого было неподходящее; он именно скалился и урчал, как кошка над требухой.

Я рассказал Тони:

— Тетя письмо прислала, она считает, что Америка победит.

— Победит фашистов,— поправил меня Филиппо, у которого на этот счет был заскок.— Фашистов и немцев.

— Мы победим в войне,— сказал Тони.— Мы выиграем войну, и я вернусь в Америку.

— В Бруклин,— уточнил я.— А потом сядешь в машину и опять приедешь сюда.

— Да,— согласился он,— приеду. Как надоест работать, так и приеду. Здесь здорово, если не работаешь.

■

Тони уехал в октябре, за ним пришел джип, я чуть не плакал. Он подарил нам пакетики чунги и кенди в трубочках, уже из машины помахал нам рукой и сказал:

— Гуд бай.

Остаток дня показался нам длинным и пустым, мы провели его в самых неистовых играх.

В школу мы ходили неохотно, Филиппо плохая учеба сходила с рук, потому что его отец сидел в Комитете освобождения, а наш учитель был раньше командиром фашистской манипулы; мне же не везло, учитель вызывал моего отца и говорил ему, что заниматься со мной — все равно что толочь воду в ступе, отец заставлял меня сидеть дома и готовить уроки, а матери велел никуда меня не пускать. Но я знал, что все останется по-прежнему: едва отец заводил речь о воспитании, как его перебивал дядя:

— Что посеешь, то и пожнешь. Раньше было воспитание, так вам оно не по нраву пришлось, и теперь дети ослами должны расти! — И этого было достаточно, чтобы разговор перешел на другую тему и вспыхнул один из обычных споров.

Фашисты создали на севере республику, дядю невозможно стало оторвать от приемника, он и ночью таскал его за собой, потирал руки и все время повторял слова Гитлера, которые звучали примерно так:

«В двенадцать они решат, что победили, а в пять минут первого победа будет за нами». У меня Гитлер ассоциировался с деревянной головой в балагане, в которую нужно было попасть мячом — пять бросков стоили одну лиру. Когда дядя упоминал Гитлера, я тут же вставлял:

— Деревянная башка.— А если он начинал злиться, я продолжал: — Америка его проглотит, враз проглотит деревянную башку, все равно как кошка — мышь.— Я старался до тех пор, пока глаза у дяди не наливались кровью, и тогда я бросался вниз по лестнице. С лестницы я повторял свою песенку в последний раз, с тем чтобы у меня было потом оправдание — мол, дядя гнался за мной до самой двери, и отец прощал мне бегство, и я даже выглядел до некоторой степени жертвой.

За городом каждый день грабили и убивали, кого-то даже похитили; говоря об этом, отец в чем-то соглашался с дядей.

— А кто сказал, что он ничего хорошего не сделал? Подобных случаев больше не было, факт. Но увидишь, все опять наладится.

— Это при демократии-то? — спрашивал дядя.— Тут сильная власть нужна, а у демократии твоей кишка тонка.

Оттого, что она была не по вкусу дяде, мне демократия начинала нравиться. Разумеется, я не рисковал выходить из города, мне казалось, что живые изгороди, как муравейники, кишели вооруженными людьми в масках; однажды ночью мне приснилось, будто меня похищают, а чтобы я не кричал, в рот мне затолкали целый пакет ваты, я поднял крик, ко мне подошла мать и сказала, что еще ночь. Филиппо говорил:

— Меня не похитят. Меня могут хоть целый год держать, им же хуже, кормить-то меня надо, а выкупа за меня они ни гроша не получат.— Но и он боялся. Гуляли мы уже не за городом, где шуршали желтые листья, а в церковном саду: теперь каноник более настойчиво зазывал нас на уроки катехизиса, угощал нас сушеным инжиром и жареным миндалем.

В городе возобновилась политическая жизнь: на двух зданиях появились эмблемы партий — на одной было написано «Социальное движение» и желтел пучок колосьев, на другой, в центре колеса, образованного тремя согнутыми в коленях ногами, красовалась голова и над нею надпись: «Движение за независимую Сицилию». Члены «движения» и были теми самыми сепаратистами, о которых столько говорили, они хотели отделения Сицилии от Италии; мой отец считал, что они правы, ведь Сицилия, кроме пинков, от Италии ничего никогда не видала.

— Бедная Италия,— причитал дядя.— «Италия моя, я вижу стены...»* Они даже стен не оставляют, эти бандиты, им бомбы швырять все равно, что верующему молиться. А теперь еще этот объявился, которому понадобилась независимая Сицилия, и сам — шут гороховый, и те, кто за ним идут, такие же шуты.

Я вертелся среди сепаратистов, носил на рукаве нашивки — одну желтую, другую цвета свернувшейся крови. «Выродок!» — ругался дядя, косясь на мои нашивки. Для меня это было развлечением. По вечерам, запасясь котелком с краской, мы присоединялись к молодым сепаратистам, которые ходили по городу и писали на стенах: «Да здравствует Финоккьяро Априле!», «Да здравствует независимая Сицилия!», «Долой врагов Сицилии!», «Сицилии — свою промышленность!» Парням быстро надоедало малевать одно и то же, и тогда они писали: «Долой тех, кто морит народ голодом! Смерть тем, кто продает пшеницу по 2500 лир!» Это был как бы конкурс на самый удачный лозунг, и назавтра крупные, величиной с ладонь, красные буквы извещали жителей города, что дон Луиджи Ла Веккья — вор, а дон Пьетро Скардия — не только вор, но еще и рогоносец. Нам нравилась эта игра, а когда я видел, как под

---

* Начальная строка патриотической канцоны Дж. Леопарди «К Италии».

кистью рождались слова: «Да здравствует Америка! Да здравствует сорок девятая звезда!» — мои сепаратистские взгляды становились взглядами фанатика: я знал, что сорок девятая звезда — это Сицилия, ведь на американском флаге сорок восемь звезд, значит, вместе с Сицилией будет сорок девять, и тогда мы станем американцами.

Тетя писала часто, она посылала письма сыну, а он опускал их в Италии — может быть, в Неаполе. К письмам матери он прибавлял несколько слов по-английски — привет от себя. Моя мать не могла отвечать на эти письма, даже племяннику, который был теперь в Италии, не могла писать.

«Дорогая сестра,— сообщала тетя,— нам тут обещают, что скоро мы сможем писать в Италию и даже посылать посылки, я готовлю много всяких вещей для тебя и твоего мужа, особенно для вашего сына, потому что знаю, как дети мучаются, я видела фотографии и не могла удержаться от слез. Да покарает Господь тех, кто вверг нас в этот ад...»

— Правильно. А кто же вверг нас в этот ад? — обрадовался дядя.— Этот паралитик, ихний президент, который заявился сюда, чтобы морочить нас... Нешто паралитик соображение имеет? Мы бы уже давно Англию спалили, давно бы мир на земле был.

— Хорошенький мир,— заметил отец.— Хорошенький мир людям подарили бы мы вместе с Гитлером.

— С деревянной башкой,— поддакнул я.

Дядя не мог меня больше выносить.

■

— Полковник Москателли *,— сказал дядя.— О боже, меня тошнит! Да кто он такой, этот Москателли, из какой он кутузки вылез? А Парри **, кто о нем слышал когда-нибудь? Ясно, этот тоже в тюрьме сидел, все подонки нынче наружу вылезают.

— Ты говоришь о них так, будто они разбойники с большой дороги,— заметил отец.— Они за политику сидели.

— Да они хуже разбойников,— не сдавался дядя.— Те хоть требуют у тебя кошелек, ну а коли ты его не отдаешь, тебя прихлопывают. А эти Италию загубили, бунтовщики, вот они кто, конца света они хотят. Ты уж лучше помолчи. Мы с тобой по-хорошему можем говорить, только когда молчим. Полковник Москателли! Святая мадонна, с ума можно сойти!

Я рассмеялся.

— А ты чего ржешь? — накинулся он на меня с выпученными от бешенства глазами.— Я уже сейчас вижу, во что превратится Италия Парри, полковника Москателли и других злодеев, вроде тебя. Никакого воспитания, ничего святого. В твоем возрасте у меня при слове «родина» слезы на глазах выступали, слушая «Джовинеццу» ***, я готов был по земле кататься от волнения, под эту музыку горы своротить мог.

Я представил себе, как дядя катался по земле, будто осел, когда он чешется, и опять засмеялся.

Он не увидел в моих глазах катающегося по траве осла, он прочел в них, что его политическим надеждам пришел конец, и распсиховался так, что я подумал, будто он и впрямь рехнулся.

— Ни ты, ни твой папочка не понимаете, что вокруг делается. Так я вам объясню. В Италию коммунисты придут, скоро вы здесь их увиди-

* Один из руководителей партизанского движения в годы Сопротивления.
** Один из лидеров Фронта национального освобождения Италии.
*** Фашистский гимн.

те, этих убийц, которые жгут церкви, разрушают семьи, людей прямо из постели вытаскивают и расстреливают.

Дядю это не устраивало — он валялся на кровати по меньшей мере шестнадцать часов в сутки. Я представил себе, как его стаскивают оттуда за ноги, сцена мне понравилась, а вот мысль о том, что его расстреляют, не понравилась.

— У нас есть генерал Кадорна,— сказал отец.— Неужели ты думаешь, что такой генерал, как он, даст себя побить? А американцев ты что, уже в расчет не берешь? — Теперь и отец казался несколько озабоченным.

— Речь о революции идет,— объяснил дядя.— Кто может остановить революцию? У них американское оружие, неизвестно еще, сколько среди них русских, думаешь, Америка станет воевать с Россией? Это одних нас касается, нам самим и расхлебывать. Я-то знаю, чем все кончится, и что я сделаю — знаю: в монастырь уйду.

Мысль о монастыре успокоила его, но лишь на секунду. Затем им вновь овладели презрение и ярость.

— Монастыря мне только не хватало! Там меня запрут и будут гноить заживо, хорошенькое дело! Провидение, благословения, торжественная месса! К тому же еще придешь к кардиналу в монастырь проситься и напорешься у него на Москателли.

— Не болтай ерунды,— сказал отец.— Его схватили, когда он удирал вместе с немцами. Вот ты тут ругаешь коммунистов, говоришь, они церкви жгут, а сам думаешь такое, да еще про кардинала, про святого человека.

— Святой он или нет, а я бы его даже собаку покараулить не попросил. Может, и не всегда правду люди говорят, но факт, что он пальцем не шевельнул, чтобы слабых защитить.

— Слабых? — спросил отец.— Ты, кажется, имеешь в виду тех, кто вчера расстреливал невинных людей? В руках у карабинеров убийца тоже слабым становится.

— Они бунтовщиков расстреливали,— заявил дядя,— бунтовщиков и предателей.

— Те, которые подчинялись правительству короля, не были бунтовщиками,— возразил отец.— Это всякому ясно, такие простые вещи и объяснять ни к чему.

— Правительство короля? Смех один! Короля, который бежит под крылышко к американцам! Знаешь, что я тебе скажу? Чтобы все снова стало на свои места, королем Джулиано* нужно сделать, Джулиано будет попорядочнее твоего короля.

— Бенедетто Кроче**...— начал было отец.

— О боже, мы и о Бенедетто Кроче говорить должны? Плевать я хотел на него и на всю его писанину! И на Данте Алигьери тоже! И на тебя. И на всю Италию. Заберусь в угол и буду там сидеть, пока не помру. Считайте, что я стал глухонемым.

— Американцы разоружают партизан,— сказал отец.

— Да ну!—обрадовался дядя.— Наконец-то у них мозги заработали.

В очередном письме тетя написала: «Дорогая сестра, мы здесь все не нарадуемся тому, что война кончилась. Господь услышал мои молитвы и пощадил мой дом, мой сын в Германии, цел и невредим, как и мой зять, который воевал во флоте против японцев. Хорошо, что появилась эта новая бомба, в Америке столько ученых, которые все время что-то изо-

* Легендарный вожак сицилийской мафии.

** Бенедетто Кроче (1866—1952) — известный итальянский философ и историк.

бретают, Муссолини ошибся, что пошел против Америки, ему надо было оставаться другом Америки, тогда он был бы и сейчас жив и командовал бы, потому что он умел командовать, и под ним Италии было хорошо; ты не можешь себе представить, как на меня подействовало то, как его убили, на всех в Америке это подействовало. Но нам не дано читать воли господней, однако я все время молюсь, чтобы Всевышний положил конец убийствам в Италии. Дорогая сестра, я все время думаю о том, чтобы приехать и исполнить обещание, которое я дала нашей Мадонне, и чтобы обнять тебя и наших родственников. Нам теперь говорят, что мы можем посылать посылки в Италию, и ты не можешь себе представить, сколько у меня приготовлено вещей для вас и еды тоже, потому что, как я знаю, вы в Италии голодаете...»

— Вот это человеческий разговор,— сказал дядя.— Конечно, кое в чем Муссолини маху дал. А вот атомная бомба все-таки немецкая штука, такие ученые только в Германии есть.

Мы с Филиппо учились в частной школе, готовясь к вступительным экзаменам в гимназию. Мы вместе делали уроки у него дома, потому что его отец не очень полагался на сына и хотел, чтобы тот занимался у него на глазах.

— Подумай, какого труда мне стоит каждая заработанная лира, которую я трачу на тебя,—говорил отец Филиппо. Эти слова были очень похожи на одну фразу из книги Де Амичиса «Сердце». Отец Филиппо, казалось, выиграл миллион — так он был рад, что Парри возглавил правительство. Он рассказывал о жизни Парри, рассказывал партизанские истории, которые мне очень нравились,— он вычитывал их в книгах и газетах, а потом пересказывал нам; у него в мастерской все время сидели другие социалисты, мастерская стала у них вроде клуба.

— Если бы у твоего отца голова на плечах была,— говорила Филиппо мать,— он бы, чем доски сколачивать и заниматься болтовней, поискал бы себе приличное место: после того, как он за решеткой посидел, его бы и в муниципалитет взяли, ведь читать и писать он умеет получше любого адвоката.

Но отцу Филиппо нравилось строгать и сколачивать доски, и, работая, он беседовал о Парри, о партизанах с друзьями. Мне тоже нравилось его ремесло, я бы охотнее столярничал, чем в школу ходил, и то, что мастерская у него как клуб, мне тоже нравилось.

От дяди я только и слышал, что он не переваривает Парри.

— Упомяните при мне его имя,— говорил он,— и у меня тут же начнется несварение. Всякий раз, как я слышу эту фамилию, я должен проглотить горсть соды.

— А как насчет Москателли? — спрашивал я.— Или Помпео Колайянни*?

— Не говори мне о Колайянни,— кричал дядя.— Я своими глазами видел, что он вытворял в Кальтаниссетте и в Каникатти. Он все время болтал о Марксе и о России и тащил за собой молодежь. Какие же мы были идиоты, что не бросили его в самую страшную тюрьму, где бы он подох!

Я уже хорошо изучил собственного дядю и знал, на какие клавиши должен нажимать. И я говорил:

— Конечно идиоты. Безнадежные идиоты!

— Нет,— спохватывался он,— мы не были идиотами. Дуче был слишком мягким, а тут требовалась железная рука.

---

* Известный итальянский партизан, ныне вице-президент Областного собрания Сицилии.

— А Маттеотти все-таки убили,— говорил я.

— Все время только и слышно: Маттеотти, Маттеотти! Нам бы следовало прикончить тысячи предателей.

— Но власть-то теперь у них,— говорил я.— Вот они возьмут, да и прикончат тебя, как вы — Маттеотти. Ты хотел, чтобы Колайянни убили, а Колайянни прикажет, чтобы тебя посадили в машину и — напильником по голове.— Я знал, как расправились с Маттеотти.

Дядя менялся в лице.

— А что я плохого делаю? — спрашивал он.— И ничьей я смерти не хочу. Колайянни в министерстве сидит, а я у себя дома, и оба мы довольны. Надеюсь, тебе не придет в голову пересказывать этому — я имею в виду отца твоего дружка — все, что я тут говорю. Да я, собственно, ничего и не говорю, я о своих делах думаю. Даже если увижу, что люди вверх ногами ходят, я полслова не пророню, как будто так и надо.

От тети начали приходить посылки, за один месяц мы получили их штук десять, в посылках были вещи, о существовании которых я и не подозревал: печенье, пахнувшее ментолом, спагетти в банках, банки с селедкой, банки с апельсиновым соком, там были костюмы, цветастые галстуки, джемпера. В карманах костюмов лежали пачки сигарет, из рукавов вываливались пакетики жевательной резинки; были в посылках и авторучки, карандаши, английские булавки: она думала обо всем, моя тетя.

Когда приходила очередная посылка, дядя глаз не спускал с ящика, рассматривал и обнюхивал каждую вещь, выбирая то, что ему хотелось, и приговаривая:

— Сигареты я возьму себе, ты все равно такие не куришь, ты признаешь только «Национали»; эта ручка вовремя подоспела, в моей как раз насос испортился; хорошая рубашка, в аккурат мой размер; этот галстук, пожалуй, мне подойдет, цвет у него вполне приличный; похоже, что этот костюм прямо на меня сшит, а тебе он маловат будет...

Отец молчал, и дядя сгребал вещи в охапку и уносил в свою комнату.

— Вот так американцы! — поражался он.— Все у них есть. Ясно, что они должны были победить.

Вещи, которые тетя посылала для меня, были мне или настолько малы, что я был похож в них на Иисуса Христа, или чудовищно велики, и я в них тонул, но в этом случае мать хотя бы могла ушить их. Тетя не представляла себе, какого я роста и до чего тощий, она покупала мне одежду наобум. Мне нравились трикотажные полурукавки, у которых на груди был нарисован мышонок, и ковбойки в синюю и желтую клетку, но меня невозможно было заставить носить их. Город кишел мальчиками в ковбойках и полурукавках с мышонком на груди. На взрослых были костюмы типично американского покроя, рубашки с карманами, галстуки с хризантемами, просто с яркими пятнами, с золотыми трубами, с голыми женщинами; женщины носили платья пестрые, как галстуки. «Америка нас одевает»,— говорила моя мать. В самом деле, город был одет во все американское, весь город жил на посылки от родственников из Америки, в городе не было семьи, которая не рассчитывала бы на какого-нибудь родственника в Америке. В одном из углов площади появился даже прилавок менялы, за доллар он давал иногда девятьсот лир, но мой отец ждал, что доллары поднимутся в цене, и пока их не менял. Всюду продавались американские вещи — консервы, мыло, обувь, одежда, сигареты. Самой выгодной была торговля лекарствами: пузырек пенициллина ценился на вес золота, и нужно было продать огромный участок земли, чтобы купить один пузырек, в самых безнадежных случаях врач разводил

руками и говорил: «Что я вам могу сказать? Если сумеете достать пенициллин, я вам даю гарантию, что все будет в порядке»,— и все знали, где достать пенициллин и по какой цене, в городе были люди, которые, вместо того чтобы просить прислать из Америки сигареты и мясные консервы, просили родственников присылать им лекарства и загребали деньги лопатами. Отец говорил:

— Напиши сестре, пусть пришлет посылку с пенициллином.— Но мать разумно отвечала:

— Ты бы роздал его тем, кому он нужен, и, кроме тюрьмы, ничего бы на этом не заработал.

Тетя часто писала, от нее приходили посылки и длиннющие письма со сложенными долларами между тонкими листами бумаги. В письмах было одно и то же: Господь, святое сердце Иисуса, Пресвятая Дева, обещание, данное Мадонне, дети, магазин, наши земляки в Нью-Йорке.

Учебный год подходил к концу, но голова у меня была занята не школой, а совсем другим: каждый день митинги, стычки в кафе, собрания в мастерской отца Филиппо, монархия и республика, республика и монархия; по-моему, все это походило на бурю во время футбольного матча, когда наши играли с командой соседнего города. В эти дни король присвоил моему отцу титул кавалера, прислав ему красивый диплом и письмо; письмо было написано от имени короля человеком по фамилии Люцифер, и я очень долго удивлялся, что бывают такие фамилии. Отец уверял, что титул его нисколько не интересует, он подумывал даже о том, не отправить ли обратно диплом и письмо, однако при этом говорил:

— Я за короля должен голосовать, в принципе-то я скорее республиканец, но при нынешней ситуации я не могу иначе.

Я носил на рубашке приколотый булавкой лист плюща — республиканская партия связывалась в моем представлении с республикой, дядя тоже путал две эти вещи, теперь он злился на Паччарди и, поглядывая на лист плюща у меня на груди, говорил:

— Можешь облепить себя всем плющом, сколько его есть на кладбище, все равно я знаю, что ты это нарочно придумал — видишь, что я бешусь, и подливаешь масла в огонь.— Затем он начинал распространяться относительно того, чем рискует Италия, а из заключительных слов явствовало, что богу, мол, известно, заслуживает ли Умберто, сын человека, предавшего Муссолини, дядиного голоса, но делать все равно нечего, и голосовать, дескать, нужно за него, ведь, если победит республика, все мы проснемся однажды и увидим у изголовья красногвардейцев. В воображении дяди все великие бури бушевали вокруг его постели.

В ту пору тетя писала, что, будь она в Италии, она бы голосовала за короля, республика хороша для американцев, а в Италии столько коммунистов, что неизвестно, чем все может кончиться.

Победила республика.

— Плохи наши дела,— заявил дядя,—посмотришь, они сделают президентом Тольятти. Ничего хорошего тут не жди.

■

«Дорогая сестра, я по-прежнему хочу приехать, ты пишешь, что отчаялась ждать меня. Но, уверяю тебя, я все время думаю об этом. Сначала у меня болел муж, который теперь, спасибо Господу, чувствует себя лучше; потом мы расширяли магазин, а теперь моя дочь Грейс

ждет ребеночка, она должна родить в начале будущего года. Если Мадонне будет угодно, чтобы все было хорошо, я в 1948 году приеду в Италию, но сначала я хочу подождать, чем у вас кончатся выборы, здесь мы все думаем об этом, и газеты об этом пишут...»

— Они думают! — возмутился дядя.— Семь раз отмерь, один раз отрежь. Раньше нужно было думать.

«Я надеюсь, дорогая сестра, что выборы не приведут к власти коммунистов и тех, кто такие же враги религии и порядка, как и коммунисты. Наши власти верят в Де Гаспери и в христианско-демократическую партию, без Де Гаспери Италия может лишиться американской помощи, потому как мы платим большие налоги и знаем, что наши деньги не идут на ветер, и мы все время даем деньги для Италии, в церкви даем и в разных организациях. Но если коммунисты победят, Италия больше не увидит денег американского народа, да и посылки мы не сможем посылать. В Америке народ очень религиозный, деньги американцев не должны идти безбожникам. Де Гаспери — религиозный человек, я видела фотографии, где он на коленях мессу слушает, и его партия религию защищает и хочет дружбы с Америкой...»

— Слышишь? — с гордостью сказала мать.— Моя сестра то же самое говорит.

— А я что, спорю?— удивился отец.— Но если я буду голосовать за либералов, один черт.

— Нет, это совсем другое,— сказала мать.— Америка только к Де Гаспери доверие имеет.

— Этот Де Гаспери у меня в печенках сидит,— заявил дядя.—Но ясно, что если большинство не станет голосовать за одну крупную партию, коммунистам это на руку будет. У меня никакого желания нет голосовать за Де Гаспери, но неужто я свой голос на ветер выброшу? Его партия хоть порядок признает.

«Дорогая сестра, меня огорчает, что твой муж собирается голосовать за либералов, потому что падре Ла Спина, сын нашего земляка Микеле Ла Спины, которого ты наверняка помнишь, сказал мне, а он очень ученый священник, что либералы не в милости у Всевышнего и иногда даже действуют заодно с коммунистами. Ты должна объяснить мужу, что, если он собирается голосовать не за того, за кого нужно, значит, он не думает о будущем вашего сына и о спасении души...»

— Ладно, напиши, что я согласен голосовать за Де Гаспери,— сдался отец,— а то твоя сестрица, чего доброго, еще папе напишет про спасение моей души.

— Ты должен это сделать хотя бы из уважения к твоей свояченице, которая столько вещей тебе прислала,— сказал дядя.— К тому же положение действительно опасное: неужели ты не видишь, как сильны коммунисты? Вчера вечером их митинг был, страшное дело, две тысячи человек собралось.

«..благодарю Господа, который вовремя наставил твоего мужа на путь истинный, и да прольет он свет в сознание всех итальянцев. Здесь все полны ожидания, все, кто собирался в Италию, отложили свой отъезд — даже те, у кого уже билеты были. Как только из Италии придут

хорошие вести, мы тоже сядем на пароход, у нас уже и сундуки готовы».

— Сундуки,— повторил дядя — Небось уйму добра навезут.

За день до выборов от тети пришла телеграмма, в ней тетя опять советовала голосовать за партию Де Гаспери. Мой отец подумал было, что у тети не все дома, но потом он узнал на улице, что в город пришли одновременно две сотни точно таких же телеграмм. Дядя потирал руки:

— Вот это работа! Ясное дело, когда деньги есть, отличные идеи рождаются. Принесут этакую штуку человеку, который получает телеграмму, лишь когда кто-нибудь у него умирает, посмотришь, как она на него подействует: точь-в-точь как извещение о смерти. И многие подумают, что, если они не увидят больше ни одной посылки из Америки, им останется солому жрать, как мулу, когда его лишают овса.

■

Только голоса извозчиков, которые, встречаясь, громко здоровались или ругались друг с другом, хлопки кнутов и звук катящихся пролеток; дымка рассвета, рассвета над ленивым городом, в котором запах жаркого, подобно ореолу окружающий его днем, еще не чувствуется в утреннем холодке, дымка рассвета висела над безмолвными домами Палермо. Виа Македа, потом Корсо Витторио Эмануеле, и вот мы в порту, уже наполненном голосами. Отец еще раз справился о времени прибытия парохода, в ответ кто-то сказал:

— Да вон он, его уже видно,— но мы ничего не увидели. Через пятнадцать минут пароход уже можно было различить, он постепенно приближался, как будто кто-то цветными карандашами раскрашивал кораблик, нарисованный на бледно-голубой или зеленоватой бумаге.

Когда он приблизился настолько, что стало видно, как машут руками пассажиры, которых было так много, что я удивился, как это они до сих пор не перевернули пароход, мать нетерпеливо засуетилась, замахала рукой, уверяя нас, что сестра, конечно, видит ее, но мы тоже стояли в такой густой толпе, что разглядеть в ней кого-нибудь с борта парохода было невозможно. Пароход подплыл уже совсем близко, стали видны лица пассажиров, чисто выбритые лица американцев, очки в золотой оправе, толстые сигары. С берега и с парохода окликали: Турй, Калй, Пепе́, этих самых Турй, Калй и Пепе́ было небось не меньше сотни на борту парохода и столько же на берегу.

Мать узнала свою сестру, когда та оказалась в десяти шагах от нас. Перешагнув через цепь, мать побежала ей навстречу. Сестры обнялись. Моя тетя оказалась толстухой, на ней был костюм в крупных цветах, золотые очки. Муж тети был высокого роста, с гладким моложавым лицом и седыми волосами, дочка — маленькая, как тетя, но складная и аппетитная, мальчишка — некрасивый, какой-то мрачный и сонный.

Тетя велела мужу заняться багажом, мой отец изъявил желание пойти вместе с ним, но тетя сказала: «Он сам управится», причем сказала таким тоном, будто они недавно поругались, но позднее я увидел, что она всегда так разговаривает с мужем. Моя мать плакала от радости и не могла простить себе, что не узнала сестру в толпе на борту парохода. Моя двоюродная сестра с удивлением смотрела на эти слезы, наверно, на нее они нагоняли скуку.

Когда тетин муж вернулся и тетя заявила, что она хочет жить в лучшей гостинице города, отец сказал, что наша гостиница вполне приличная, но тетя повторила: «В лучшей гостинице, и вы туда тоже переедете», и отец велел шоферу ехать в «Пальме», а мать как-то даже растерялась.

В вестибюле гостиницы тетя повела носом, принюхиваясь, поинтересовалась, как там насчет кондиционированного воздуха, есть ли ванная.

душ, розетки для электрической бритвы и радиоприемника, ответы ее вполне удовлетворили, она снова спросила: «Это действительно лучшая?»— и, услышав от моего отца, что там жили Вагнер, кайзер и генерал Паттон, решила, что гостиница ее устраивает.

Мне показалось, что после всех тетиных вопросов служащие гостиницы стали смотреть на нас с насмешкой — на меня, отца и мать: что мы понимали в кондиционированном воздухе и в электрических бритвах? Другое дело наши родственники — они приехали из Америки и знали толк во всех этих вещах, и у них были деньги, чтобы годами жить в такой гостинице. Я чувствовал себя не в своей тарелке.

Мы поднялись наверх, чтобы немного отдохнуть и переодеться, как сказала тетя, но отдыхать не стали, да и переодеваться нам было не во что. Когда мы снова встретились в вестибюле, они были нарядные и отдохнувшие, и мы почувствовали себя усталыми в одежде, пахнувшей поездом и помявшейся в дороге, ведь от нашего города до Палермо почти целый день пути. Тетя начала задавать вопрос за вопросом, казалось, перед ней лежит карта нашего города со всеми улицами и домами, она как бы наудачу тыкала пальцем в какую-нибудь улицу или дом и хотела знать все об их обитателях — о чьей-то жизни и смерти, удачах и несчастьях. Тетины дети и муж молчали. В ресторане я все время чувствовал на себе презрительные взгляды официантов; тетя без конца говорила о бедности и богатстве, о мраке и свете, и мне казалось, что взгляды официантов напоминают мне, что мое место в мрачном бедном городишке, откуда я приехал. Моя двоюродная сестра, быстро посоветовавшись с родителями и братом, заказала что-то официанту, который говорил по-американски; для нас отец заказал спагетти с соусом из помидоров и рыбу. Глядя на свои спагетти, в то время как американцам принесли помидоры, разрезанные пополам и нафаршированные какой-то темной пастой, заливную белую рыбу с завитками масла вокруг, мы почувствовали себя еще более подавленными. Тетин муж подозвал официанта, у которого на белой куртке выделялся черный лоскут с вышитой гроздью лилового винограда, и быстро-быстро с ним заговорил; вскоре официант принес несколько бутылок, показал этикетки, и мой новый дядя сказал:

— Ол райт.

Он выпивал, мой дядя. Зато детям он налил немного — на донышке сыну, полбокала — дочке. Внимательно проследив за тем, как он разливает вино, тетя обрушила на нас длинную речь о своих педагогических взглядах на вино, губную помаду и бой-френда. Из этой сложной речи я понял, что бой-френд это школьный товарищ или живущий по соседству парень, с которым девушка обычно проводит время.

— Если я узнаю, что у нее есть бой-френд, я заберу ее из колледжа и запру дома,— и тетя метнула на дочь подозрительный и грозный взгляд.

Девушка улыбнулась. Моя мать поняла еще меньше, чем раньше; отец объяснил ей, что колледж это университет, а Сиракузы — название американского города, в университете которого учится тетина дочка. Мать посмотрела на племянницу с гордостью и уважением и спросила:

— А на кого она учится?

Снова последовало сложное объяснение, моего отца вдруг осенило, и он заключил:

— На врача.

А про сына тетя сказала, что он лофач *, в хайскулу ** ему, наверно, не попасть, ну да, мол, ничего страшного, если разобраться, займется стором.

Из того, что нам принесли, я почти ни к чему не притронулся, только

---

* Loafer — здесь «бездельник» *(англ.)*.

** High-school — высшее учебное заведение *(англ.)*.

вилкой в тарелке ковырял, а есть не ел, даже бананы не съел, которые я так любил.

Моя мать предложила выехать из Палермо на следующий день, но тетя не согласилась, сказала, что ей хочется посмотреть город, она помнила, каким он был в девятнадцатом году, когда она уезжала в Америку, теперь ей казалось, что он изменился, стал красивым, не таким, как американские города, но все равно красивым. Особенно поразило ее здание почтамта. По пути в Палермо пароход останавливался в Гибралтаре, Барселоне и Генуе. В Барселоне им запомнились торговцы фруктами, в Гибралтаре — смена караула, в Генуе они побывали на кладбище и теперь говорили, что ничего более прекрасного никогда в жизни не видели, даже девушка утверждала, что оно очень красивое. Им захотелось взглянуть на палермское кладбище, оно их разочаровало. Карабинер, стоявший в будке при входе в королевский дворец, отнял у нас больше времени, чем капелла во дворце, аэродром Боккадифалько — больше, чем монастырь в Монреале; лично я бы по монастырю целый день ходил. С видовой площадки недалеко от монастыря отец показал мне дорогу, по которой Гарибальди подошел к Палермо, вернее, он начертил ее в воздухе, поскольку над городом и окрестностями стоял легкий туман и дороги не было видно. В школе я читал «Записки» Аббы, книга мне очень нравилась. Тетя заявила, что Гарибальди был коммунистом, отец принялся объяснять ей, что это не так, просто коммунисты использовали имя Гарибальди в предвыборной кампании. Тетя в ответ отрезала, что это все равно.

Мы проболтались в Палермо пять или шесть дней, я как бы вижу нас всех на палермской улице, словно передо мной фотография, снятая при слишком ярком солнце и потому темная: вижу тетю, разрезающую воздух, будто нос катера—волны, мать, усталую и тихую, отца, несколько оживившегося по случаю неожиданных каникул, тетиного мужа, вышагивающего, точно лунатик, моего двоюродного братца с унылой физиономией, двоюродную сестру, которая не прочь подружиться со мной и непрерывно сравнивает что-то с тем, что она видела в Америке.

Наконец эта живописная группа очутилась в купе, в первом классе, где было жарко, как в духовке; поезд вез нас в глубь Сицилии, в наш город. Тетя болтала без умолку, я сидел рядом с моей двоюродной сестрой, от нее пахло потом и духами, я думал о ней с нежностью и с этими смутными мыслями вскоре заснул.

Отец сказал:

— Через час будем дома.

Было уже темно, огни городов, когда я смотрел на остановках в окно, выглядели как усыпанные искусственными бриллиантами пряжки на черном одеянии; мы стояли у окна, и моя двоюродная сестра поглаживала меня по затылку, и я готов был замурлыкать, выразить на кошачьем языке все нараставшую во мне любовь.

Наш городок неожиданно вынырнул из ночи — редкие ряды фонарей между белыми домами, я бы его и не узнал, если бы отец не начал вытаскивать в коридор чемоданы; это был бедный городишко, я подумал, что моей двоюродной сестре он не понравится, и мне стало как-то неловко за него.

Глядя со станции на приземистый городок, улицы которого, обозначенные фонарями, делали его похожим на раскрытый веер, тетя сказала:

— А он не меняется.— И мне послышалось в ее словах возмущение, разочарование; возможно, мне это только показалось — после того, как мать, заступаясь за наш город, принялась уверять сестру, что он изменился, что в нем появилось электричество, новые дома и целые улицы. Нас встречал дядя, он позаботился о подводе для вещей и о линейке

для нас; глядя на чемоданы, которые извозчик уже погрузил на подводу, дядя спросил:

— А где же сундуки?

Тетя объяснила, что сундуки прибудут позже, и он как будто успокоился.

Сундуки прибыли на следующий день, тетя открыла их и тут же, прямо над ними, начала распределять вещи:

— Это тебе, это для твоего мужа, для сына, для деверя.

Мне предназначалась всякая ерунда, я бы хотел, чтобы мне привезли ружье тридцать шестого калибра, вроде того, что я видел у одного моего приятеля, который получил его в подарок от своего дяди из Америки, и еще я бы не отказался от кинокамеры, проекционного аппарата, может, и фотоаппарата в придачу, но из сундуков извлекалась все новая и новая одежда. Когда появился батарейный приемник, дядя пришел в такой восторг, что тетя решила подарить его ему — белую коробку, в которой, казалось, лежали лекарства. Отец и дядя получили по электрической бритве, они тут же попробовали побриться, у них ничего не получилось.

Уже начинались визиты: все, у кого были родственники в Америке, приходили и спрашивали тетю, не видела ли она их, как они себя чувствуют, интересовались, не привезла ли она от них чего-нибудь. У тети был длиннющий список, она искала в нем имя и говорила мужу, чтобы он выдал кому пять, кому десять долларов, все наши земляки, живущие в Нью-Йорке, посылали своим родственникам пять или десять долларов. Это было как процессия, сотни человек поднимались по нашей лестнице, так всегда бывает в сицилийских городках, когда кто-нибудь приезжает из Америки. Тетя выглядела довольной, к каждому посетителю она обращалась как представительница его родственника, живущего в Америке; пребывающая в добром здоровье семья рисовалась на фоне, состоявшем главным образом из символов материального благополучия. У одного был шоп *, у другого—гудворк **, у третьего—стор, четвертый работал на фарме ***, у всех дети учились в хайскулах и колледжах, все имели кары ****, айсбоксы *****, уоштубы ******. Этими словами, смысл которых мало кто понимал, но которые наверняка означали что-то хорошее, тетя воспевала Америку.

Зашли и родственники некоего Карделлы, они получили свою порцию долларов и подарки от самой тети; затем тетя рассказала, что Джо Карделла большой человек в Нью-Йорке, что однажды к ней заявились два каких-то типа и потребовали двадцать долларов, сказав: «И каждую пятницу мы будем получать эти деньги», и тетя решила переговорить с Карделлой, и в следующую пятницу Карделла пришел в магазин, устроился в сторонке и стал ждать появления тех двоих; когда они пожаловали, он подошел к ним и сказал: «Это что же вы, братцы, затеяли? Этот магазин все равно что мой, здесь таким молодчикам, как вы, делать нечего». И те двое вежливо попрощались и убрались.

— Еще бы! — возмутился тетин муж.— Ведь эту парочку сам Карделла и подослал!

Тетя так и подпрыгнула, будто ее оса ужалила.

— Шарап! ******* — сказала она.— Стоит тебе рот раскрыть — и

---

* Shop — лавка *(англ.)*.
** Good work — хорошая работа *(англ.)*.
*** Farm — ферма *(англ.)*.
*** Car — автомобиль *(англ.)*.
***** Ice-box — холодильник *(англ.)*.
****** Wash-tube — стиральная машина *(англ.)*.
******* Shut up — замолчи *(англ.)*.

на нашу голову сыпятся несчастья. И ведь сам знаешь: все, у кого магазины есть, платят, а мы никогда не платили.

— Он что, мафиозо, этот Карделла? — спросил дядя, который такого рода вещи схватывал на лету.

— Какой там мафиозо! — ответила тетя, бросив уничтожающий взгляд на мужа.— Просто порядочный человек. Он богатый, добрый, защищает своих земляков...

— Вот именно,— как будто согласился тетин муж.— Защищает так же, как Ла Мантию.

Тетя задыхалась от бешенства. Но муж сказал:

— Ладно, здесь все свои,— и поведал нам о том, как некто Ла Мантия в подпитии оскорбил Карделлу, тут же вмешались друзья и в тот же вечер помирили их, они без конца жали друг другу руки и пили вместе, а назавтра Ла Мантия валялся на тротуаре с пулей в голове.

— А ты побольше болтай,— накинулась тетя на мужа,— и сам заработаешь пулю в лоб!

Моя двоюродная сестра объявила:

— Мы с ним сегодня пойдем гулять за город, а то в этом городе столько мух!

Они привезли с собой ДДТ в порошке, но мухам не было конца, стоило открыть окна, и они налетали тучами, мать была в отчаянии, видя, как мучаются американцы, которые едва притрагивались к еде из-за мух, садившихся на тарелки и стаканы, на мясо и хлеб. Тетя ругала родной город, говорила, что надеялась увидеть его другим — более современным и чистым, а он, мол, стал еще хуже, чем прежде. Тетю разочаровали два обстоятельства: то, что мы, ее родственники, не умерли с голоду, вопреки предположениям, которые были у нее на этот счет в Америке, и то, что город, вопреки ее надеждам, не стал лучше. Она считала, что найдет нас голытьбой, одетой в ее вещи и накормленной ее витаминизированными консервами; у нас же всегда были белый хлеб и оливковое масло, молоко, мясо и яйца; у нас были радиоприемник, занавески на окнах, мягкие кровати, тогда как тетя, сидя в Америке, думала, что в этом доме, доме, где она родилась, глиняный пол, стоящая в темном алькове кровать с жестким волосяным матрасом, лежащим на досках, соломенные стулья и ларь вместо шкафа. Тетя не отдавала себе в этом отчета, но она была разочарована, увидев полные света комнаты и неплохую мебель в них. Мы оказались не такими бедными, какими рисовало нас ее воображение, но и не настолько богатыми, чтобы она и ее семейство не замечали у нас тех неудобств, которых, по тетиным словам, не было в ее американском доме и ни в одном доме в Америке. К тому же здесь были мухи.

Однажды, когда тетя распространялась о том, каким злом являются мухи, моя мать не выдержала и сказала:

— Но ведь мы с тобой среди мух выросли, их еще больше, чем теперь, было, и ничего, слава богу, на здоровье не жалуемся.— И в тот день тетя больше не говорила о мухах.

В тот день мы с двоюродной сестрой ходили за город и потом каждый день ходили, под вечер. Мы гуляли по дороге, где встречали только крестьян, возвращавшихся в город,— опаленные солнцем лица, мулы, нагруженные травой или шуршащим овсом. Крестьяне бросали на нас ехидные взгляды, моя двоюродная сестра или держала меня за руку— а я был с нее ростом, хотя и носил еще короткие штаны,— или, обняв меня за плечи, притягивала к себе, как будто говорила мне что-то на ушко. Если мы попадались на глаза кому-нибудь из моих приятелей, назавтра, повстречав меня одного, тот начинал издеваться надо мной, Филиппо

тоже надо мной издевался, спрашивал, не проделывал ли я кое-что с моей двоюродной сестрой, забравшись в высокую пшеницу; я багровел от стыда и бешенства, Филиппо говорил: «Ну и дурак, если ничего не делаешь», этого ему казалось мало, и он прохаживался насчет Христа, посылавшего печенье беззубым.

Как только мы оказывались за городом, моя двоюродная сестра вынимала сигареты и спички, начинала курить, как турок, и меня курить заставляла. Дома она не могла курить, если бы ее мать заподозрила, что она знает вкус табака, ей бы не поздоровилось, поэтому она и придумала эти прогулки, мухи были только предлогом; когда ее брат изъявлял желание пойти с нами, прогулка переносилась: малыш был ябедой.

Моя двоюродная сестра не только курила, но и пила тайком крепкое вино, она незаметно от всех давала мне деньги, и я проделывал самые невероятные трюки, чтобы пронести в дом вино, я прятал его на чердаке, она время от времени поднималась туда и пила. Она рассказывала мне, что в американских колледжах все девушки пьют, они то и дело заключают пари — кто кого перепьет? — она один раз выпила четырнадцать рюмок подряд, причем вино было крепкое-прекрепкое. А тетя каждый раз произносила за столом речи о вреде вина, грозила дочери пальцем: «Если с тобою что-нибудь случится, когда ты будешь за рулем, я тебя вызволю, пусть даже мне придется выложить не одну тысячу долларов; но если полицейский скажет мне, что от тебя при этом пахло виски, сидеть тебе в Томбах *, как пить дать». Девушка выслушивала все это со святым видом. Она мне нравилась. Нравилась и в присутствии своей матери, когда казалась такой же, как местные девушки, и когда мы были вдвоем и она пила и курила; она мне даже больше нравилась, когда от нее пахло табаком и вином. У меня было свое представление о грехе, о том, что такое женщина, ее тело и ее любовь, вот почему эти запрещенные поступки — курение и выпивки — казались мне глубочайшим и сладостнейшим из грехов.

В самую жару она ходила в легком сарафане, ее круглые белые плечи были открыты. Когда она брила волосы под мышками маленькой электрической бритвой, я стоял и смотрел на нее, она улыбалась мне в зеркале, в этой процедуре было что-то волновавшее меня, что-то привлекательное и вместе с тем неприятное, ощущение греховного таинства и еще более греховного обмана. Однажды за этим занятием ее застал мой дядя, он оценил гигиеническую и эстетическую стороны неизвестной ему дотоле операции, принялся было чесать язык, но тут заметил меня.

— А что забыл тут этот дикобраз? — спросил он, и моя двоюродная сестра кокетливо улыбнулась, а я покраснел от стыда и ненависти. Одного дядиного присутствия было достаточно, чтобы уничтожить меня, я вынашивал планы мести; когда он оказывался рядом, моя сестра переставала обращать на меня внимание, я не мог слышать прозвища «дикобраз», которое он дал мне из-за моих торчащих, как гвозди, волос, а она, заслышав это прозвище, смеялась. Дядю как будто подменили, он брился теперь каждый день, благоухал одеколоном; он был очень внимателен к американцам, заигрывал с ними, острил, и тетя была в восторге от него. Он вместе с ними поносил мух, уверял, что при Муссолини мух не было, тетя верила каждому его слову. Я говорил: «Еще больше, чем теперь, было»,— и он тут же обвинял меня: «Он коммунист, его испортила дурная компания». И тетя смотрела на меня с нескрываемым ужасом. Мать мужественно защищала меня от этого обвинения. Тетя начинала охладевать к нам, мы ей надоели, но моя мать очень любила ее и не замечала признаков охлаждения и раздражения, казавшихся нам с отцом очевидными; каждый день тетя все больше отдалялась от нас, считала дни,

* Tomb — название нью-йоркской тюрьмы *(англ.)*.

которые ей оставалось провести в нашем доме, длинные летние дни с пылью и мухами, с корытом вместо ванной и ночи такие сырые, что, если оставить окна открытыми, простыни становились липкими, а при закрытых окнах спать было все равно как в печи — это мы слышали от нее каждый день. К тому же на тетиного сына, говорившего только по-американски, напала хандра; он заявил, что, вернувшись в Америку, бросится тут же целовать стены уборных, эти великие слова тетя перевела нам в воспитательных целях и бесконечно потом цитировала их и, цитируя, притягивала к себе мальчишку, не отходившего от нее ни на шаг, и целовала его: пусть, мол, в школе малыш лофач, зато он многое понимает.

Обстановка в доме накалялась. Тетя раздаривала доллары — на память и как талисманы, говорила она; каждому из родственников она вручала по десятидолларовой бумажке, но однажды, когда моя мать замолвила словечко за одну родственницу, бедную бездетную вдову, которая жила милостыней, тетя ни гроша не дала, а потом, говоря об этой бедной женщине, заявила, что родственники только и думают, как бы ее повытрясти, что им не она нужна, а ее доллары, что все они обиралы. Моя мать сказала, что это неправда, тетя стояла на своем, и тон у нее был такой, как будто она хотела сказать, что мы тоже обиралы. А ведь когда она предлагала моему отцу деньги, если он тратил больше, чем получал от нее на расходы, он от них отказывался, и тетю это вроде бы даже оскорбляло.

С ней невозможно стало разговаривать. С каждым днем мы все больше убеждались, что единственный человек в доме был тете по душе — мой дядя, который превратился в доморощенного Сарояна, пел фальцетом панегирики Америке, добру и добрым чувствам американцев, таял, как мороженое, под теплыми лучами доброй и богатой Америки. Несколько лет назад, чтобы привить нам любовь к своей стране, американские солдаты привезли с собой одну книжку, она называлась «Человеческая комедия», и какое-то время Сароян был для меня как библия; теперь он начинал раздражать меня, мне казалось, что книжка эта — игра, похожая на игру с зубочистками и хлебными катышками, которой многие предаются после сытного обеда. Сароян представлялся мне человеком, наконец-то насытившимся и из благодарности воспевавшим Америку, аккомпанируя себе на зубочистках.

Мои загородные прогулки с сестрой продолжались. Днем она поднималась на чердак, где я часами рылся в старых книгах и газетах, сам не зная, что ищу, время от времени я извлекал из кучи какую-нибудь изъеденную молью книгу с обложкой в мраморных разводах и читал заглавие: «Марко Висконти» или «Блаженные Павлы»; в эти годы я прочел сотни книг, в том числе всего Винченцо Джоберти. Но когда приходила моя сестра, я переставал копаться в книгах и читать, она садилась на ящик и рассказывала мне об Америке, прихлебывала маленькими глотками из бутылки и рассказывала. Потом она привлекала меня к себе и смеялась, мне казалось, что мои руки делаются похожими на руки слепого, с каждым днем их движения становились все более осмысленными и медленными, в моих руках ее тело под легким платьем струилось, как музыка.

Тем временем тетя вынашивала свои планы. Она уже как-то говорила моей матери, что хотела бы, подыскав хорошую партию, выдать дочь замуж за кого-нибудь из местных, за хорошего парня, который согласился бы уехать в Америку, она бы открыла ему магазин, ей нужен был сицилиец, земляк. Потом она прониклась симпатией к моему дяде и сказала сестре, что не прочь увезти его в Америку, что такой благовоспитанный и милый молодой человек наверняка будет хорошим мужем

для ее дочери. Моя мать, которая с удовольствием избавилась бы от деверя, но не желала зла племяннице, ответила, что идея ей нравится, однако нельзя забывать о разнице в возрасте и о том, что деверь ее никогда не работал, у него есть диплом бухгалтера, который пригодился ему раз в жизни — когда его назначили секретарем по административным делам в местной организации фашистской партии; правда, всем известна его честность, но его ничего не стоит обмануть, он совершенно не разбирается в счетах и в конторских книгах, и однажды кто-то из сотрудников ловко под него подкопался. Вот что сказала моя мать, но тетя заверила ее, что в Америке она сумеет привить моему дяде вкус к работе. Когда о тетином намерении сказали моему отцу, он подумал, что это шутка, и спросил:

— Вы его с собой заберете или я его вам потом пришлю?

Но вскоре он понял, что его не разыгрывают, и откровенно высказался об отрицательных сторонах тетиной затеи, но тетя заявила, что готова рискнуть. Когда обо всем этом заговорили с дядей, он разволновался, сказал, что должен подумать; но двадцатилетняя девушка нравилась ему, недаром он пялил на нее глаза, ему было тридцать пять лет, он мечтал об Америке, девушка была красивая, моя тетя и Америка — богатые, так что думать тут было особенно нечего. Кажется, все решилось в два дня, я узнал об этом последним, подробности мне рассказали уже потом. Как положено в таких случаях, была устроена прогулка, чтобы в городе узнали о событии в нашем доме: впереди под руку шли мой дядя и моя сестра, в двадцати шагах за ними — моя мать и тетя, потом мой отец и тетин муж; мы с двоюродным братом — он, как всегда, сонный, я — мрачный, будто на похоронах,— тащились в хвосте сами по себе; вдруг мне под ноги попалась пустая консервная банка, я принялся нафутболивать ее, она звенела, отец оглядывался на меня, но я делал вид, что не замечаю его гневных взглядов, а дядя, когда я чуть не угодил банкой ему по ногам, сказал:

— Ох уж этот мне пустозвон! — Но не зло сказал, а с улыбочкой. Видно было, что он на верху блаженства. А моя двоюродная сестра льнула к нему, как кошка.

Несколько дней ушло на оформление дядиных бумаг; у моей сестры все необходимые для вступления в брак документы были с собой. Они зарегистрировались в муниципалитете, венчание в церкви тетя решила отложить до приезда в Америку, свадьбу тоже. За день до того, как состоялось замужество дочери, тетя сказала моей матери:

— Послушай, у тебя один ребенок, а у меня четверо, половина этого дома принадлежит мне, я хочу до отъезда покончить с этим делом и продать тебе свою часть дома.

Чего-чего, а этого моя мать не ожидала. Она рассказала о разговоре с сестрой отцу, денег у нас не было, и он предложил тете подождать до лучших времен.

— Не стану я ждать,— заявила тетя,— возьму и продам за гроши кому попало, тогда узнаете!

Отец взъярился, видя, что его берут за горло, тетя припомнила все, что она для нас сделала. Отец сгоряча брякнул, что все ее посылки ерунда, что там было несколько тряпок, сплошные обноски. Что тут началось! Тетя завопила:

— Ах, обноски! Вот как вы мне отплачиваете за добро, которое я вам сделала! Все вещи были новые, я их специально для вас покупала, они тысячу долларов стоили! — Тетин муж молча кивал.

В разговор вмешался дядя, он сказал, что отец не прав, мать плакала. В конце концов стороны сошлись на том, что отец оплатит дядин би-

лет до Америки («Первого класса»,— уточнил дядя), и тогда тетя откажется от своей части дома. Но настроение у всех испортилось, и на следующий день в муниципалитете у нас был такой вид, будто мы на кладбище.

Потом они все уехали в путешествие по Италии. В Неаполе они должны были сесть на пароход, а дяде предстояло дожидаться вызова от жены — каких-нибудь несколько месяцев, не больше. А пока он отправлялся с ними в свадебное путешествие, сначала в Таормину, затем в Рим. Мы проводили их на станцию, моя мать все время плакала, повторяла, всхлипывая, что больше они с сестрой никогда не увидятся, разве что на том свете. Ясно было, что тетя последний раз в Италии, мне тоже стало грустно от этой мысли. Раздался свисток, сестры снова обнялись, потом, уже на подножке, тетя обернулась, чтобы сказать:

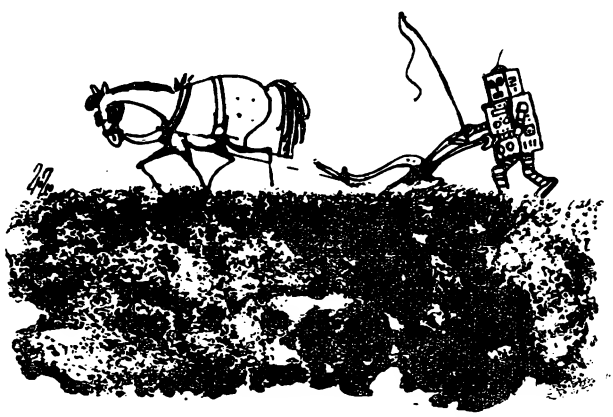
— А все-таки вещи, которые я тебе посылала, не были обносками.

Последнее, что я увидел, прежде чем деревья за поворотом скрыли от нас поезд, это голубая перчатка моей двоюродной сестры. Не подумав, как бы про себя, потому что я никогда бы не осмелился произнести ничего подобного в присутствии отца, я сказал:

— А ведь это из-за меня ему в рогоносцах ходить.

Я имел в виду собственного дядю. Мать с удивлением посмотрела на меня покрасневшими от слез глазами. Отцовская оплеуха на секунду оглушила меня. К счастью, на платформе было пусто.

Реплика карикатуриста



АНТОН ДОНЧЕВ

Возвращение

РАССКАЗ

Перевод с болгарского Л. ХЛЫНОВОЙ

Он проснулся. Обычно он пробуждался медленно, сознание с трудом вырывалось из мира сновидений, полутонов и полутеней, чтобы вернуться в кабину под яркий свет электрических ламп. Обычно он долго не открывал глаза, перед тем как посмотреть на золоченые созвездия лампочек, стрелок, градусов и цифр.

Но сейчас он сразу пробудился, пульты тут же оказались в фокусе, биение сердца отдавалось в висках.

Стрелка, которая тридцать лет была спокойной, сейчас поворачивалась вокруг своей оси. Потом он услышал голос, голос земного человека. Тот говорил на каком-то незнакомом языке.

Его правая рука сама потянулась к стрелке. Но когда он захотел ответить, он не мог произнести ни слова.

А тот продолжал его звать.

Он взглянул в зеркало, предназначенное для самоконтроля и самовнушения. На него смотрел отчаявшийся, подавленный, обезумевший человек.

— Ты сумасшедший,— сказал он своему изображению.— Вот и пришел этот миг. Ты вернулся. Почему же углы губ у тебя опущены? Так, так, приведи себя в порядок. Ты же победитель. Не улыбайся, сожми губы. Тебе уж ни перед кем не нужно заискивать. Ты богат. Ты силен. Нет, мешки под глазами не исчезнут. Это от перегрузок при ускорении. Но морщины со лба можно стереть. Я богат, я силен. Я рад. До денег и не дотронусь. Буду подписывать чеки. Дарить алмазы.

Понемногу ему удалось придать своим чертам прежнее выражение.

Он воскрешал в своем сердце смелость, радость, презрение и следил, как чувства отражаются на его лице, до тех пор, пока оно не стало похожим на лица давних друзей, на лица сильных, независимых людей, которые ни перед кем не склоняли головы.

Избегал он лишь смотреть себе в глаза, словно боялся утонуть в них. Он чувствовал, что взгляд его страшен, проницателен, испытующ.

А голос земного человека продолжал настойчиво звать его. Сердце перестало колотиться, но сильно и мучительно болело.

— Здесь Б 207 PZ,— сказал он.— Здесь Б 207 PZ. Я вернулся! Вернулся! Вернулся!

Но земной человек не говорил по-английски. Не знал он и русского.

— Но! Но! Абла эспаньол?

По-испански говорили в Акапулько. Ему представился широкий пляж, море, морская пена и люди, много обнаженных людей. Те глупцы, что грелись на солнце, и не знали, какое это бесконечное счастье — дотронуться до другого человека. Боль снова пронзила сердце, исказила лицо.

— Здесь Б 207 PZ. Десять минут буду говорить по-испански. Я вернулся.

— Бьенвенидо! Добро пожаловать! Когда вы вылетели?

— Тридцать лет назад.

— Тридцать лет? Вас плохо слышно. Какой фотонный отражатель на вашем корабле?

Он понял только слова «фотонный отражатель».

— Системы Лучко — Зенгер.

— Это невозможно. Уже пятьдесят лет не существует кораблей с такими отражателями. Уже пятьдесят лет люди владеют общим языком.

— Какой сейчас год?

Тот ответил.

Так. Никому не верится, что, пока он один прожил тридцать лет, на Земле прошло столетие.

Ему представился какой-то очень длинный коридор, как в гостинице или больнице, на который через ровные интервалы падали пятна света. Это была улица с рядами ламп. Внизу — фигура в белом. Это была женщина. Может быть, его мать. А может быть, нет.

Сто лет. Век.

В хранилище его корабля лежит тонна алмазов. И труп его друга. Он ему воздвигнет памятник. Под землей. Там, куда не достигает свет звезд. Люди будут проходить по длинному, длинному коридору с рядами ламп наверху, будут входить и выходить из света в темноту и, наконец, увидят статую его друга. Он может ее сделать из чистого золота. Нет, он сделает ее из белого мрамора. Он ее закажет лучшему скульптору, который живет сейчас на Земле.

— Мы нашли номер вашего корабля. Я запросил промежуточную станцию. Вы вылетели сто один год назад. Поздравляю.

Что он ему сказал? Нашли или искали? В свое время он учил парные глаголы: спускаюсь — поднимаюсь, рождаюсь — умираю, ищу — нахожу. Искал — нашел. Нашел алмазы. На другом конце света. Там стоит радиомаяк с заявкой. Никто ее не сможет оспорить. Пусть оспаривают дьяволы. Пусть «Юнайтед компани» защищает свои права. Пусть кто-нибудь другой роется в синей глине.

— Я связываю вас с межзвездной станцией.

Сейчас же другой голос заговорил по-английски. Женский голос.

— Добро пожаловать. Кто говорит? Вы вылетели втроем.

Он назвал себя.

— А те двое?

Он молчал. Замолчал и голос.

— Прошу вас, говорите,— раздраженно сказал он.

— Мы посылаем за вами корабль. Нынешние станции не приспособлены для приема кораблей вашего типа, с вашим отражателем.

О чем бы спросить? Голос не должен замолкать. Сердце болело все так же сильно — даже сильнее, чем раньше.

Тому, другому капитану звездного корабля было тридцать. Красивый, сильный человек. Таким он сам был двадцать лет назад. Но никогда он так не выглядел — этот не улыбался, когда ему не хотелось.

Наконец-то они стояли против него, настоящие люди из плоти и крови — начальник межпланетной станции и капитан межзвездного ко-

рабля, побывавший на его звезде. Они не дотрагивались друг до друга — эта станция была контрольным пунктом для астронавтов, возвращающихся из космического пространства.

Итак, все было напрасно!

За сто лет люди научились делать алмазы красивее, чем те, которые он нашел. Он не был богат, потому что на Земле не было бедных и богатых. Он смутно предчувствовал, что на Земле что-то не в порядке, когда рылся в синей глине далекой планеты, и всегда считал, что люди по своей природе дурны, что им никогда не договориться между собой. Но не было уже «Юнайтед компани», личных знаков, заявок, адвокатов по космическому праву.

Перед ним лежали карты и фотографии далекой планеты, которую он называл своей,— там погибли оба его друга.

Не он сделал эти снимки и доставил их на своем старом, помятом звездном корабле. Их сделал этот синеглазый красивый юноша при помощи спутников, радиозондов и телеобъективов другого звездного корабля. Он, вернувшийся, уцелевший, потратил тридцать лет, а другой, молодой, проделал этот путь за три года и вернулся молодым.

— Вот тут стоял ваш радиомаяк,— рассказывал молодой.— Вы нашли очень удобное место для посадки.

Там была песчаная полоса, это видно на снимке; песок с одной стороны ограждало море, с другой — тропический лес.

— А вы видели гигантские волны? — спросил его молодой.— Вряд ли что-нибудь может быть красивее.

Там была песчаная полоса в несколько километров. В лес проникнуть было невозможно. Ракета приземлилась на единственном возвышении у самого леса. Двое работали, третий неустанно наблюдал за морем. Время от времени, иногда дважды-трижды в день, с моря накатывались гигантские волны высотой в десятки метров и устремлялись к берегу. Пока волны вздымали песок, они должны были прятаться в ракете. Однажды, когда зеленая вода нахлынула и корабль задрожал, в кабине их оказалось только двое. Третий не успел. Зеленая волна кипела в иллюминаторах, потом отхлынула. Бесконечно долго извиваясь, стекали по стеклам капли воды.

— Я не помню, было ли это красиво,— сухо ответил он.

Начальник и молодой капитан внимательно смотрели на него. Жалели ли они его? Он хотел бы очутиться сейчас у контрольного зеркала.

Вошел третий человек, что-то принес и вышел.

— Вы не сможете скоро вернуться на Землю,— тихо сказал начальник межпланетной станции.

Капитан межзвездного корабля, побывавший на его звезде, тоже вышел.

Он стоял закрыв глаза и призывал все свое мужество. Много раз он чувствовал себя выжатым как губка, но сейчас ему казалось, что больше он не выдержит. Он, быть может, уже глубокий старик, стоял закрыв глаза, не стыдясь начальника межпланетной станции.

— Я болен? Где же заразился? На далекой планете? Чем?

— Посмотрите,— сказал тот.

Он открыл глаза и увидел снимок — многоцветный, с неясными фигурами, запятыми, точками, змеями, словно странное звездное небо или перерезанный посредине странный камень с плававшими и замерзшими внутри существами.

— Это ваша кровь.

Он взял в руки снимок. Он ничего не понимал в знаках, изображенных запятыми, точками, змеями.

— Это с планеты?

— Вы больны теми болезнями, которые сто лет назад существовали на Земле. Целый ряд поколений лечился от них. Теперь лечиться должны вы.

Он смотрел на снимок.

— Я не могу убежать от своей крови,— сказал он.

Эти точки и запятые могут быть вирусами рака и чумы, знаками алчности, эгоизма, ненависти. Все равно. Он родился в то время, когда такие вирусы плавали в воздухе и в крови людей. А теперь его изолируют, и это совершенно справедливо.

Он что-то спутал? Он жил по законам своего времени, в той части Земли, где родился. Должен ли он был понять еще тогда, что правы другие?

Когда его пустят на Землю? И он снова увидел пляжи — не пляжи далекой планеты, а пляжи в Акапулько с обнаженными людьми.

— У вас есть какое-нибудь сердечное лекарство? — спросил он.

У него в руках был лист бумаги с несколькими именами. Около каждого стоял крестик. Когда-то перед именами мертвых также ставили кресты — знаки надежды на то, что существует что-то по ту сторону креста. Сейчас такими знаками только зачеркивали.

Целых тридцать лет он думал об этих людях. Потом наступила минута, когда стало неизвестно, думать ли о них как о живых или как о мертвых. Он продолжал думать о них как о живых. Но чувствовал страшную неуверенность.

Теперь уже он не мог думать о них как о живых.

Раньше, живя на Земле, он разделял страны и города на светлые и темные. Там, где не было близкого человека, город утопал в темноте, хотя в нем и жили миллионы людей. Но лица их всех представлялись темными. А близкий ему человек словно держал в руке свечу, освещавшую его лицо. И по городу бродил светлячок.

Сейчас вся Земля, к которой он стремился, тонула во тьме.

Он сидел на кровати понурившись, положив локти на колени, и всем своим существом чувствовал, как ему казалось, притяжение Земли. Но это было искусственное притяжение: не Земли, а межпланетной станции, и все-таки это было притяжение. Долгие годы мечтал он о нем. А сейчас оно его угнетало. Находясь в состоянии невесомости и плавая по кабине, он всегда испытывал непреодолимое стремление дотронуться до чего-либо. Такое стремление он испытывал и сейчас, хотя ступни его опирались о пол, бедра — о кровать, локти — о колени.

Он сидел, забывая основной закон астронавтов — не расслабляться. Когда-то монахи гнали от себя дьяволов, а астронавты должны были гнать любую мысль о слабости, неверии, поражении. Он забывал контрольное зеркало, заклинания, которые вызывали на его лице прежнее выражение: «Я силен, бодр, я буду победителем!» Ни сильным, ни бодрым он себя не чувствовал и знал, что потерпел поражение.

Он переводил взгляд с одного предмета на другой. Вещи, которые говорят о новом мире. Удивительно красивые, удобные, в каждой воплощено много мыслей и чувств. Но он знал, что они созданы на заводе, а ему хотелось дотронуться до земли, листьев, корней.

У него не было сил даже говорить с собой, как это он делал долгие годы после смерти своего второго друга. Только сидел и держал лист бумаги с именами мертвых, количеством лет, в которые он не жил.

Над дверью что-то зажглось, послышался женский голос. Кто-то хотел войти.

Вошла женщина. Впервые после своего возвращения он видел женщину.

Он поднялся. Мир, который создавал таких женщин, наверно, был чудесным и добрым миром.

Она приблизилась, протянула ему руку. И стала еще больше походить на мечту, потому что он не мог к ней прикоснуться.

— Добро пожаловать,— сказала она.— Я имею право дотрагиваться до вас. Я врач.

Она имела право дотрагиваться до него. Она стояла на расстоянии шага. И он заглянул в ее глаза. Впервые он смотрелся не в контрольное зеркало. Чужие глаза не отражали его облик таким, каким он видел его сам, в них был другой образ.

Перед ней был не усталый, побежденный звездный путник, то был человек, который тридцать лет всегда брился в тот час, когда на Земле восходит солнце. Товарищ двоих умерших, плакавший дважды за тридцать лет.

Лицо, которое она видела, было лицом одного из тех людей, фотографии которых висят в комнатах молодежи.

И она показала ему снимки. В руках она держала что-то похожее на прежние газеты, и с каждой страницы на него смотрело его лицо.

— Земля поздравляет вас,— говорила она,— миллиарды людей хотят вас видеть. Ученые думают о том, как безопаснее вам с ними встретиться.

Он протянул руки. Она подала ему его фотографии, но он схватил ее за руку. Он не знал, уже тогда ли он стоял с закрытыми глазами или закрыл их после того, как прижал ее руку ко лбу. Это было прекраснее всего, о чем он мечтал, и Земля превратилась для него из темной планеты в звезду.

— Кто-нибудь возвращался, кроме меня? — спросил он.

— Очень редко. Ученые установили, что в старых, фотонных, отражателях происходили ядерные процессы, которые в один миг превращали корабли в маленькие звезды.

— Значит, мне повезло, и я вернулся.

— Самый мой близкий друг улетел на звездном корабле с магнитным отражателем.

— Вы вернетесь на Землю?

— Вернусь через несколько лет. Там у меня дети.

Неужели и у него могут быть дети, после того как он тридцать лет провел у реактора, пережил радиобури и космические водовороты?

Он пошел к начальнику межпланетной станции и попросил показать ему карту с маршрутами старых звездных кораблей, которые возвращались из своих путешествий по Вселенной. На карте солнечной системы он увидел закругленные линии их траекторий. Они извивались по карте, но ни одна не касалась Земли. Они походили на следы метеоров, которые вспыхивают и гаснут в земной атмосфере, прежде чем коснуться Земли.

Рука его легла на карту и прикрыла тонкий сноп дорог.

— Дайте мне патрульный корабль. Я буду дежурить в этом квадрате.

Начальник посмотрел на него. Он не имел права давать ему звездный корабль. Все-таки надо посовещаться, обсудить, согласовать.

Но он сказал: — Хорошо,— потому что знал, что никто не осудит его.

Вернувшийся посмотрел ему в глаза и улыбнулся.

— Я боюсь, что вы меня неправильно поняли. Я хочу встречать людей, которые возвращаются, не потому, что я одинок. Я хочу им сказать, что они не одиноки.

ИВО ШТУКА

Находка у Белых Камней

РАССКАЗ

Перевод с чешского Р. РАЗУМОВОЙ

— Да, моя фамилия Ворличек, и эта загадочная находка — дело моих рук, вы попали по адресу. Но, право, не знаю, зачем еще раз рассказывать об этом, в газетах все уже сообщили и дали целых восемь строк. Да и времени у меня мало. Вот посмотрите, на столе ждут проверки добрых пятнадцать тетрадей, а на восемь часов я купил в городе билет в кино. Но поскольку вы приехали из самой Праги, товарищ журналист, заходите, хоть выпейте чашку кофе. Снимайте пальто.

Находка эта, собственно, не моя, а бульдозериста Управления государственными лесами Алоиса Кулгана. На Белых Камнях — это вон тот холм — ребята прокладывали новую дорогу для вывоза леса. Они вгрызались в склон холма, бульдозер выворачивал пни и корни, на фоне окружающей зелени это выглядело жестоко, но ничего не поделаешь — для грузовиков нужна дорога. Как-то в июле, после полудня, этот Кулган прибегает ко мне и просит: «Пан учитель, пойдем посмотрим, перед моей машиной неожиданно покатился череп. Человеческий».

Почему Кулган, найдя череп, прибежал именно ко мне, а не в госбезопасность? Видите ли, деревенским жителям чаще приходится иметь дело с костями, чем вам, горожанам: между вами и землей асфальтовая или каменная мостовая, так что вы не отличите кроличью челюсть от кошачьей. А Лойза сразу понял, что этот мертвец лежит в земле не одно десятилетие и никакую полицию в мире уже интересовать не может.

Я здесь считаюсь, между прочим, главным специалистом по раскопкам. Видите ли, в наших краях достаточно разок-другой ковырнуть каблуком землю, чтобы наткнуться на кости какого-нибудь прадеда. Здесь все пронизано историей и предысторией. Человеческое общество сложилось в наших краях добрых сто тысяч лет назад.

Как я стал заниматься археологией? В студенческие годы вы, вероятно, тоже искали заработка, если только у вас не было дядюшки миллионера. Работу по раскопкам мне предложила моя коллега. Поскольку девушка мне нравилась, да и соблазняла перспектива, не слишком надрываясь, проводить целые дни на воздухе, я согласился. А потом уж занимался этим каждые каникулы. Впрочем, наши ребята, работавшие на стройках, издевались над нами, уверяя, что мы стали полевыми мародерами.

Мы рылись в земле неподалеку от Брно — там было какое-то доисторическое поселение — и время от времени находили то черепок, то обломок бивня мамонта. А что будут люди находить после нас при

раскопках? Лезвия для безопасных бритв? Искусственные челюсти? Автомобильные покрышки? Там работал с нами студент художественно-промысловой школы Ярда Тратил. Отсутствие денег этот парень компенсировал озорными выдумками. Так вот, Тратил говорил, что больше видеть не может, как наш доцент огорчается из-за этих черепков, здесь, говорил он, следовало бы обнаружить какую-нибудь мировую редкость. И мы решили это дело устроить. Как-то после обеда раздобыли пять килограммов глины, смешали ее с сажей и всякими отбросами, чтобы она приобрела старинный вид, и Тратил за полчаса вылепил такую прекрасную карикатуру на Вестоницкую Венеру, что сердце радовалось. Рабочие кирпичного завода, развлекавшиеся вместе с нами, немного, очень осторожно обожгли ее в печи. Затем Тратил оббил ее, выпачкал, мы назвали новую древность Поуздржанской Вендулой и, спрятав под рубашку, принесли на место раскопок. Хорошенько зарыли ее в один из срезов, который предстояло завтра или послезавтра раскапывать, и выжидали момента, когда западня захлопнется. Благодаря этой фигурке мы трижды хохотали. В первый раз, когда доцент нашел Вендулу в земле и поверил, что мы сделали уникальное открытие. Во второй раз через десять минут, когда он, установив, что попался на удочку и в газетах не будет широковещательных заголовков с его именем и латинского названия Венус Пайтли, прогнал нас с места раскопок, обещая поубивать всех до единого вкупе с нашими родственниками. А в третий раз звучали хохот и песни, когда над нашими сырыми лугами взошла луна, огромная, какой она бывает только над равнинами, а может, еще над морем. Тогда мы со скульптором Тратилом притащили из Поуздржан три бутылки белого вина, от которого возникает этакий холодок у самого корня языка, и вместе с доцентом отчаянно напились в знак примирения.

Как видите, я на собственном опыте столкнулся с фальшивкой. Впрочем, в археологической литературе можно найти уйму таких случаев; подделки фабриковались не только из студенческого озорства, но и от отчаяния, от злости, а порой из-за священного увлечения идеей. Вам, вероятно, известна история Пилтдаунской челюсти или знаменитого метеорита со следами органических веществ; химики и биологи занимались им семьдесят пять лет, возникли целые космогонические гипотезы о переносе метеоритами живой материи, о блуждании живой материи по космосу, пока не пришли к выводу, что обнаруженные микробиологические элементы чертовски земного происхождения — просто остатки раздробленных хлебных зерен. Ни один обман в науке не вечен; в истории он возможнее, но история, в сущности, не наука, там люди выворачивают каждый фактик, как перчатку, в зависимости от того, какая сторона им в данный момент нужна. И бывают комичные случаи, когда в одну и ту же перчатку норовят всунуть две или три руки одновременно. Но в археологии это немыслимо. Находишь столько-то черепков, костей или камней и, как бы тебе ни хотелось, не составишь из этого материала большего дома, большей амфоры, большего человека, чем был на самом деле.

Я говорю это, чтобы показать вам, что ничуть не заинтересован в увеличении числа подделок; да я бы и не сумел их толком сделать, меня тотчас разоблачили бы, как было в Поуздржанах, ведь я всегонавсего археолог-любитель. И все-таки вы наверняка услышите, что моя находка у Белых Камней — фальшивка, шарлатанство и обман.

Хотя учитель Ворличек (он чуть старше тридцати лет, преподает литературу и притом человек спортивного типа, с маленькой бородкой, безусловно тайная любовь местных учениц девятого класса, которые

уезжают учиться в десятом в соседний городок, где неизбежно предаются новым тайным, а затем и явным влюбленностям, а Ворличка уже приветствуют полунасмешливо, полупочтительно, с кокетливой снисходительностью), хотя этот Ворличек притворялся недовольным и ссылался на то, что ему необходимо выправить стиль в работах учеников 7 «б», а затем торопиться в кино, он, видимо, как любой преподаватель литературы, любил сам себя слушать, и его рассказ был так напичкан отступлениями, что походил на маменькин кулич с орехами, изюминками и цукатами; но при всем том не следует забывать, что основой кулича является все-таки эпически поднявшееся на дрожжах компактное тесто, а основой рассказа — события, идущие к кульминации.

Конечно, возникает еще вопрос, не умышленно ли вел наш рассказчик свое повествование окольными путями и заводил его в стоячие воды.

Взглянем же сами на тот июльский день, когда был обнаружен череп. Ворличек, вспотев от усилий, торопился вслед за Кулганом на холм. Через двадцать минут они поднялись на вершину, и череп был в руках Ворличка. «Homo sapiens fossilis, господи, до чего же это интересно! Скажи, а где ты его увидел?» Они вернулись по пути, пройденному бульдозером, Кулган пожал плечами. Вероятно, где-нибудь здесь, а может, метров на пять дальше.

— Я довольно быстро нашел это место, товарищ журналист, и сфотографировал все стадии работы. Вот первый снимок полувскрытого места находки. Сверху оно было срезано бульдозером. Поглядите, несколько ребер и остатки позвоночника; по теням видно, что дело было вскоре после полудня. Кулган не стал выравнивать этот кусок дороги и начал работать в десяти метрах от меня, а я поторопился домой за инструментами, фотоаппаратом и листом толя, чтобы вечером все закрыть. У нас в горах никогда не знаешь, не хлынет ли дождь, не сорвется ли буря, а после такого стихийного бедствия от вскрытой могилы осталось бы не много. Еще засветло я раскопал половину скелета, зарисовал также расположение могилы, ведь нельзя было знать, нет ли там целого кладбища. Но оно должно было бы находиться неподалеку от селения, а для этого холм казался мне слишком крутым.

Между прочим, через некоторое время здесь побывали археологи из Брно, так что мой набросок им пригодился. Но они тоже ничего не обнаружили. Могила была, по-видимому, одиночная.

Вечером я унес домой две интересные находки: грубый каменный топор и какой-то предмет, несмотря на покрывавшую его корку земли и всякой дряни напоминавший по форме нож.

Положил я оба предмета на книжный шкаф и больше о них не думал. Мне и в голову не приходило, что через несколько недель из-за них передерутся почтенные академики, будут награждать друг друга такими комплиментами, как реакционер и лжеученый. Я полагал, что в тот день сделал больше чем достаточно для науки и, умывшись, отправился к соседям смотреть телевизор — как раз передавали какой-то французский детектив. В этом, вероятно, разница между любителем и настоящим ученым: ученый, наверно, довел бы дело до конца то ли из профессиональной последовательности, то ли просто по привычке, неважно, во всяком случае, расчистил бы оба предмета в первый же вечер. Тогда могли бы к месту находки своевременно пригласить консультантов, может, даже специалистов из-за границы, все организовали бы, ведь в наше время наука — это в первую очередь организация, система, коллективная работа, а не гениальничанье в одиночку. Короче говоря, за работу взялся бы дружный коллектив людей с самыми различными специальностями, драгоценную могилу сохранили бы и не было бы повода для возникшей потом сумятицы.

На следующее же утро я уговорил инженера из Управления государственными лесами, чтобы этот кусок дороги в течение двух дней не трогали, и сообщил по телефону директору Краеведческого музея в областном городе, что обнаружил прекрасно сохранившийся скелет доисторического человека, до конца каникул могу его препарировать, и музей окажется обладателем доисторического обитателя наших гор и лесов. После полудня я снова пошел к могиле. Нашел там еще какое-то украшение из медвежьих зубов, которым у охотника была, очевидно, обвита левая щиколотка. Вот и все, что я обнаружил интересного.

Здесь следует сказать, что учитель Ворличек лгал с легкостью работника Местного национального комитета, докладывающего о количестве часов, отработанных добровольными бригадами. По-видимому, он готовился к этому долго и добросовестно, гораздо тщательнее, чем к урокам литературы в девятом классе, может быть, даже упражнялся перед зеркалом, так как его лицо оставалось абсолютно спокойным и ничуть не краснело.

— На третий день я закончил работу и осторожно, по кусочкам перенес прадедушку домой,— продолжал свой рассказ Ворличек.— Из вечера в вечер я очищал кости, мыл их в разведенной соляной кислоте и пропитывал специальными растворами, так что вонь от них стояла умопомрачительная, но сделать это было необходимо, чтобы найденный охотник не рассыпался. Тому, кто пролежит в земле двадцать тысяч лет, свежий воздух может повредить.

К работе над топором, ножом и медвежьими зубами я приступил лишь через неделю. От могилы к этому времени и следа не осталось, бульдозер сровнял ее, и дорогу у Белых Камней уже засыпали щебенкой.

Когда такой обтесанный каменный топор лежит в витрине под стеклом с инвентарным номером, он превращается в экспонат, никто подле него обычно не останавливается и над ним не задумывается. Тигр, пахнущий нафталином, не вселяет страха, разве что вызывает сожаление. Не знаю, что мне тогда взбрело на ум, но я пошел с найденным топором в сад, взял ореховый сук толщиной пальца в два, насадил на него топор, крепко, крест-накрест привязал его веревкой, чтобы это выглядело постариннее, и вдруг у меня вместо мертвого экспоната оказалось оружие. Оружие, которое можно взвесить в руке, размахнуться им, вращать над головой так, что воздух свистит.

Но достаточно было вообразить пещерного медведя в два с половиной метра ростом, зубы которого украшали левую ногу охотника, или мамонта — и это оружие сразу стало казаться гораздо легче. Нет, обучение литературе — более солидное занятие.

Вечером я занялся ножом. Счищал один за другим тоненькие слои земли, и через полчаса мне стало ясно, что тут что-то не так. Если бы в этом куске в пять сантиметров толщиной находился обычный каменный нож, сделанный, скажем, из кремня, я, сняв два сантиметра, уже добрался бы до него. Но никто не убедит меня, что в эпоху палеолита могли обтесать камень до толщины одного сантиметра и чтобы он при первом же ударе не сломался. Поэтому я примирился с мыслью, что этот «нож» — лишь случайно спекшийся кусок глины, внутри которого ничего нет. Но все же осторожно, по десятым долям миллиметра, продолжал очищать его.

Вдруг мой инструмент наткнулся на что-то твердое. У меня даже руки вспотели. Что же это за нож? Из чего мог доисторический охот-

ник вырубить, вырезать или вытесать такое тонкое лезвие? Из кости? Может, он нашел случайно кристалл такой странной формы? Уж не сапфировый или рубиновый это нож? Вот было бы открытие, подобного которому нет в Европе, да и во всем мире! Единственное исключение — ацтекское культовое оружие.

Мне вспомнились глаза нашего доцента, Поуздржанская Вендула и я сказал себе: не сходи с ума, под слоем глины, вероятно, какой-нибудь случайный камешек или что-нибудь в этом роде. Так уж и попадется именно тебе мировая сенсация. И все-таки никакие трезвые рассуждения меня не успокаивали.

Я погрузил долото в последний слой, прикрывавший таинственное оружие. Долото провело борозду, и в ней блеснуло что-то зеленое, отливавшее серебром.

Нож был металлический! Металлический, товарищ журналист, и этот металл за десять или двадцать тысяч лет не заржавел!

Явная бессмыслица, согласитесь сами. Насколько мне известно, в эпоху палеолита не было народного предприятия «Сандрик Антикорро». Или нержавеющей золингеновской стали. Уж не менять ли из-за этого ножа всю периодизацию истории? Не было ли после каменного века — века нержавеющего металла, а затем уже наступили бронзовый и железный?

Но как этот металл попал в могилу охотника? Не мог же кто-то просто для развлечения вырыть в земле узкую щель в два метра глубиной, опустить в нее свой карманный нож, затем снова ее засыпать, затоптать все следы? Тоже вздор.

А может, я грубо ошибся в установлении возраста скелета и это просто убийство пятидесяти- или столетней давности? Но кто стал бы зарывать современника Неруды в лесу, да еще так глубоко, и положил бы ему в могилу, кроме этого ножа, каменный топор и медвежьи зубы? Только сумасшедший! Он, бесспорно, не был таким шутником, как мы, когда устраивали свою проделку с карикатурой на Вестоницкую Венеру. Каждый шутник хочет видеть улыбающиеся лица современников, никто не станет зарывать свою шутку в лесу на двухметровой глубине, никого не интересует смех далеких потомков, в котором он не мог бы принять участие собственным хохотом или ханжески коварным молчанием.

А может, над древней могилой охотника находилась более поздняя и оттуда сквозь какую-нибудь щель провалился этот нож? Но как мог он очутиться именно у правого бедра рядом с топором, куда мертвому воину кладут его оружие? И почему Кулган не наткнулся своим бульдозером сначала на более поздний скелет? Нет, и это объяснение не выглядит разумно, уж не говоря о том, что сталь или железо за два столетия проржавели бы до неузнаваемости. Двухсотлетняя подкова становится пористой и мягкой, как гриб.

А нож пролежал в земле двести столетий. Он не золотой, не платиновый, иначе долото расцарапало бы его, а он остался совершенно гладким. Что же это за металл?

Чем больше я размышлял, тем больше вопросов у меня возникало. Выдерживало критику лишь первое предположение, самое простое и наименее постижимое: скелет, топор и нож попали в могилу одновременно. Тогда остается выяснить только небольшую деталь: каким образом в эпоху, более далекую от открытия металлов, чем вавилоняне от телевидения, у бедра охотника, не бывшего, по-видимому, вождем, очутился металлический нож?

Быть может, что-нибудь объяснит форма ножа, надо поскорее счистить всю образовавшуюся на нем земляную корку... Но тут я вовремя остановился. Химический анализ оболочки может помочь установить

возраст ножа. Я побежал в дом почтмейстера, хотя был уже одиннадцатый час, и заказал разговор с Институтом археологии Академии наук.

Остальное вы, вероятно, знаете, товарищ журналист, особенно если беседовали с кем-нибудь в институте.

Журналист действительно побывал в Академии и застал там всех такими растерянными и взволнованными, услышал такую уйму разноречивых мнений, споров, взрывов негодования, увидел такое недоуменное пожатие плечами, что почувствовал себя скорее в сумасшедшем доме или в парламенте времен Великой французской революции, чем среди сдержанных и деловитых археологов. Поэтому, вытянув у ученых как можно больше информации о скелете, топоре и ноже и получив фотографии, он поехал на место находки к учителю Ворличку. Ворличек, если только он не был мошенником или авантюристом, первым видел эти вещи, все вместе, в их первоначальном состоянии, и потому его точка зрения была для журналиста важна.

— Известны ли вам, товарищ Ворличек, результаты анализов, проведенных в Институте археологии? — осведомился журналист.

— Знаю, что тип скелета я установил правильно: Homo sapiens fossilis. По способу обработки каменного топора я отнес находку к пятнадцатому-восемнадцатому столетию до нашей эры. Насколько мне известно, в Институте при испытании изотопами установили, что скелет гораздо старше, чем я предполагал, его отнесли к двадцать пятому тысячелетию плюс-минус пятьсот лет. Нож — а из-за него идут все споры, с ним-то академики никак не могут разобраться — прекрасно сохранился, на нем нет никаких следов коррозии, в сплав входит много компонентов, в первую очередь хром, молибден, титан и еще какие-то примеси, возможно, керамические, пока точно установить не удалось. Лезвие ножа не повреждено, оно упруго, хорошо сопротивляется сжатию, растяжению, удару. В Научно-исследовательском институте металлургии, куда его послали археологи, до сих пор не смогли изготовить такой сплав, хотя возятся уже целый месяц. Все это общеизвестные факты, о них вы могли узнать в Академии.

Вас интересует моя точка зрения? Почему? Я лишь напал на след, другие должны будут установить, куда он ведет. Я ведь не специалист.

Но если хотите знать, я полагаю, что этот нож охотнику кто-нибудь подарил. Может, на память. Или на прощание. А потом подаривший снова исчез. Иначе он должен был оставить на Земле больше следов, не так ли? Вот и все. Это, конечно, сказка, но я предпочитаю придумывать сказки, а не выдвигать гипотезы.

Если вы собираетесь обратно в город, я провожу вас немного. А, у вас машина. Что ж, до свидания. Счастливого пути...

Учитель Ворличек облегченно вздохнул. Итак, удалось преодолеть еще одно препятствие. Он взглянул в окно, посмотрел, как захлопнулась дверца зеленой машины, потом вернулся к письменному столу, отодвинул кипу тетрадей и открыл верхний ящик — тот, что был заперт на ключ. Очевидно, он вовсе не торопился в кино, как уверял журналиста. Из самой глубины ящика он достал плоский футляр от старой батарейки, внутри вместо батарейки была вата, а на ней лежал блестящий серебристо-зеленый брусочек величиной с два куска сахара.

Бросив взгляд в окно и убедившись, что машина действительно уехала, он нажал выступ на узкой стороне брусочка.

Послышался неравномерный стук первых крупных капель дождя — этакие брызги, кропящие теплую пыль; человек подымает голову, видит, как нежданный порыв ветра раз-другой шевелит ветви,— и снова тишина. Господи, скорей бы уже началось, пусть хоть град выпадет, только б началось... И вот в освобождающем шуме дождя рождается, крепнет и разрастается музыка, настойчивая и мощная, как льющаяся с неба вода. Тщетны попытки укрыться под кроной дерева или прижаться к стене дома, вокруг все заполнили проливной дождь и музыка. Потом все стихает — мир заливают глубокие голубоватые тона, наступают сумерки, и в них из какой-то беспредельной дали доносится шепот. Так может звучать только голос женщины, знающей, что, кроме затихающего дождя, ее никто не слышит. Она шепчет: «Акела, но севири палеату. Акела, Акела...»

Учитель кладет зеленый брусочек на стол, но не зажигает огня, хотя уже слишком темно, чтобы проверять тетради.

Судя по поведению учителя Ворличка, отнюдь не соответствовавшему намерениям, о которых говорил он журналисту, по тому безразличию, с каким он отодвинул тетради и ничуть не торопился к восьми часам в кино, судя по лицу Ворличка, на котором можно было в полумраке разглядеть какое-то странное блаженство, смешанное с тревогой, и, наконец, по тому, что крохотный брусочек своим серебристо-зеленым цветом подозрительно напоминал цвет обнаруженного в могиле ножа,— можно было сделать вывод, что рассказ учителя состоял из умолчаний и уверток, из смеси лжи, полуправды и истинной правды. Впрочем, в каждом из нас кроется художник или лгун, называйте это как хотите, но неровные камешки совершенных нами поступков мы подчищаем наждаком воспоминаний, с одной стороны, и фантазии — с другой, оттачиваем их, создавая сверкающие грани, и лишь после этого нанизываем на нить воспоминаний. А раз так, не в чем упрекать Ворличка, главное, что его рассказ сохранил стройность.

Гораздо важнее, что мы можем с достаточной вероятностью восстановить все, что он делал в то утро, когда так торопился к бульдозеру, урчавшему на склоне у Белых Камней.

Шпателем, старым кухонным ножом и щеточкой осторожно очищал Ворличек каждую косточку; остатки скелета, спустя столько тысячелетий выступившие из влажной земли, величественно освещало нестареющее солнце. Охотник покоился на спине, положив одну руку на грудь. Вскоре подле второй, вытянутой руки Ворличек обнаружил грубый каменный топор и нож. А внизу, под ребрами, которые сломились под тяжестью земли и напоминали беспорядочную стайку птиц, спящих с распростертыми крыльями, под прижатой к груди левой рукой, подле остатков позвоночника лежало нечто, на первый взгляд похожее на коричневатый голыш. «Вероятнее всего, какой-нибудь амулет»,— подумал учитель и положил его в портфель вместе с топором и ножом. А может, украшение или драгоценность, которой охотник, по-видимому, очень дорожил, если даже в могиле держал на сердце. «Вот видишь, дружище,— думал Ворличек,— и следа от твоего сердца не осталось, а от твоей любви, преклонения или страха сохранился только вот этот жалкий грязный камешек, да и его едва не раздавил бульдозер...»

Не стоит продолжать описание работы Ворличка по вскрытию могилы, кропотливой расчистке метелочкой, просеиванию каждой щепотки земли, чтобы ничего не упустить, ни одного зуба. В этом отношении учитель не обманывал журналиста. Верно и то, что к работе над топо-

ром, ножом и амулетом он приступил дома лишь через неделю и тогда перед ним сквозь слой земли вдруг блеснул зеленоватый металл ножа.

Ворличек сидел над открытой им серебристо-зеленой вещицей, опустив руки на колени, с горечью убеждаясь в том, что он не Шерлок Холмс и не открыватель Трои Шлиман, что самостоятельно не сумеет увязать открытые им факты. Да они, черт возьми, никак не увязываются, ведь каждый — совсем из другого мира и они вовсе не подходят друг к другу! Поэтому, раздраженный своим бессилием, он побежал заказывать на утро телефонный разговор с Академией. Когда он возвращался домой, было темно и тепло, перед национальным комитетом поблескивал единственный в деревне желтый фонарь, в садах отчаянно стрекотали кузнечики, а над Белыми Камнями подымался месяц, твердый и блестящий, как раковина на берегу. Тогда Ворличек вспомнил, что кроме охотничьего ножа у него на шкафу лежит еще камешек — украшение или амулет. Что это может быть, почему охотник дорожил им больше, чем своим драгоценным ножом, даже после смерти держал на груди и никому не отдал, ни брату, ни сыну (впрочем, признавали и ценили тогда родство?), почему доверил свое сокровище лишь земле, как самого себя, а спустя много тысячелетий земля отдала его учителю Ворличку? Весь остаток пути домой он бежал и с облегчением вздохнул, лишь когда перед ним на листе чистой бумаги лежал этот комок земли, освещаемый настольной лампой. Он осторожно взял его в руки.

К половине второго ночи камешек превратился в крохотный зеленый брусочек. «Я ничего больше не вижу, у меня уже в глазах рябит. С ума сойду от этого амулета!» Он погасил свет, натянул одеяло на голову и твердил в темноту: «Сплю, знать ничего не знаю».

Но через полчаса снова зажег свет, вытащил из ящика лупу, которую перед каникулами конфисковал в пятом классе, и миллиметр за миллиметром обследовал зеленый брусок. Искал какое-нибудь соединение, щель, трещину. Нельзя ли его разобрать? И на одной из узких граней обнаружил крохотный выступ. Проведя по нему пальцем, спрашивал себя, не след ли это, оставленный коррозией? Или вмятина от удара? А может, это элемент конструкции? Но в чем же дело? Нажал выступ. Что-то тихонько щелкнуло.

Потом послышался звук, напоминающий шелест и падение сухих листьев, а может, ветер, проснувшийся в полдень над полем, проникнутым зноем ожидания, и вот уж колосья покорно склоняются, колышатся, эта плавная рябь чем-то похожа на чувство, возникающее, когда проводишь рукой от щиколотки к бедрам, это музыка, которая тебя обволакивает и снова замирает, и сквозь молчание доносится голос женщины, которая знает, что ее не слышит никто, кроме затихающего ветра. Она шепчет: «Акела, но севири палеату. Акела, Акела...»

Снова слабый щелчок — и наступает тишина.

Утром Ворличек проснулся от голода, колени у него дрожали, потому что он сидел в пижаме, скорчившись за письменным столом, на котором тускло и ненужно горела лампа. Он погасил свет, сделал три приседания, но четвертого не закончил, сообразив, что все происшедшее не было нелепым сном: на столе вправду лежала эта вещица. Серебристо-зеленый брусок величиной в два куска сахару.

«Ладно, в эпоху палеолита кроме каменных топоров, костяных скребков, игл и наконечников для копий делали магнитофоны. И один из них я нашел. Он работает сейчас, спустя двадцать тысяч лет. Все в порядке. Меня зовут Ворличек, сейчас я возьму себя за руки, поведу к автобусу и поеду в город к психиатру».

Он сел на кровать, накинул на плечи одеяло, воображая, что это

медвежья шкура, и представил себе: ночью над лесом вспыхнуло небо. Оно разгоралось, и одновременно с невероятной быстротой нарастал грохот. В одной из четырех хижин расплакался ребенок, в селении злобно и отрывисто залаяли собаки. Лишь двое самых отважных мужчин выскочили из хижин. Пролетавшее огненное сияние швырнуло их на колени. Охотник на медведей дрожал от ужаса, но все-таки осторожно, краешком глаз поглядывая вверх, увидел, как светлая полоса скрылась где-то за Белыми Камнями. А затем оглушительный треск и... темнота.

Угрожал селению небесный бог огня и грома? Начнется наводнение, которое все сметет на своем пути? Однако ослепленные было вспышкой глаза снова различают на небосклоне звезды. Не спустился ли в их леса добрый бог небесных светил? Но почему же такая вспышка, такой невыносимый грохот? Охотники вернулись к женам и детям, уселись у входа в хижины, положив поперек порога каменные топоры. Если грозный бог придет сюда, мы убьем его. Спите! Если собаки не перестанут выть, мы их тоже убьем. Спите! Утром никто не отважился выйти за пределы селения. Четыре хижины, четверо мужчин, четыре топора, если угрожает какая-то неведомая сила, пускай приходит. Четверо мужчин, четыре топора ждут ее. Солнце всходит, оно такое же, каким было, вот оно уже над головой. Охотник на медведей встал, показал рукой на Белые Камни. Скалы. Старый олень. Мясо. Захватив свой топор, он скрылся в лесу. Трое оставшихся подсели ближе друг к другу, четырехугольник топоров превратился в замкнутый, ощетинившийся во все стороны треугольник. Оставшиеся мужчины твердили: «Ночь, грозный бог ночи, смерть!»

Ворличек, мысленно сопровождая Охотника на медведей на его пути к скалам, подошел к книжному шкафу, достал оттуда топор, привязанный к суку. Тяжелый, больше двух килограммов, его лезвие разобьет череп, как яичную скорлупу, таким топором можно сражаться с буйволом или медведем, но с грозным богом ночи?

Охотник на медведей готов был умереть или немедля убить. Бесшумно скользил он меж деревьев, останавливался, вслушивался, ловил каждый скрип в кронах елей, каждый хруст ветки. На склоне холма он спугнул барсука, но, швырнув топор, перебил ему спину, потом осталось лишь добить его и запомнить место, чтобы подобрать на обратном пути: жестким и пахучим мясом с наслаждением полакомятся в селении, там уже целую неделю голодают.

Миновав скалы, он почувствовал запах гари. Потом увидел срезанные верхушки деревьев. Полоса обгоревшего леса ширилась — здесь пролетел гневный огненный бог и все ломал, разрушал, жег на своем пути.

Ворличек не сомневался, что такое доказательство разбушевавшейся силы испугало Охотника и в паническом бегстве он забыл о барсуке. Мужчины в изумлении вскочили, увидев, что он вернулся живым, треугольник топоров распался, превратился снова в четырехугольник.

В ближайшие дни Охотник на медведей вновь одиноко кружил вокруг полосы сожженного леса, приближался к ней; от барсука в селении уже давно костей не осталось. Мимоходом он убил маленького лося, а от разъяренной самки укрылся на дереве. В другое время рассказов об этом хватило бы у костра на несколько вечеров, но сейчас его это не интересовало, он приближался к центру пожарища, отступал и снова возвращался, пока наконец не подошел к обломкам.

Перед ним лежала невообразимая мешанина разноцветных стержней, сварившихся кусков металла, рассыпанных среди расколотых вдре-

безги валунов. А за одним из камней лежал мертвый бог. Охотник с опаской смотрел на его блестящую, серебристо-зеленую одежду, покрытую запекшейся черной кровью, на измученное, но все же прекрасное лицо. Значит, когда умирают боги, вместе с ними гибнут леса и плавятся камни, вспыхивает ночь и, рыдая, грохочут небеса.

Для чего предназначен нож на поясе бога, Охотник сообразил сразу. И через несколько мгновений отважился. Сначала он порезался — не подозревая, что лезвие может быть таким острым, потом несколько раз с упоением вонзил нож в бога и каждый раз вытягивал его легко, совершенно чистым. Такое оружие сулит человеку мощь и славу.

В правой руке мертвый что-то сжимал. Охотник разжал ее ножом, и оттуда выпал серебристо-зеленый брусочек. Возьми его, верти, рассматривай со всех сторон, ищи ножом отверстие, попробуй на зуб, не съедобен ли он, играй им, ведь он блестит, согревай в ладонях — все равно в конце концов ты заденешь пальцем выступ на верхней узкой грани. По твоей руке пробежит дрожь, поглядишь вокруг на лес и сожженные обломки, не идет ли кто, нет ли здесь кого-нибудь кроме вас двоих — умершего и тебя, живого,— и вот уж ты слышишь то слабеющие, то усиливающиеся звуки, словно поет этот мертвец или кто-то поет для него, слышишь горячий, далекий голос, который шепчет: «Акела, но севири палеату. Акела, Акела...» Охотник на медведей отбросил зеленый брусок и пал ниц перед мертвецом, оцепенев от непостижимого ужаса и блаженства, потому что эти звуки ласкали, а голос покинутой был грустный, призывный.

Прошло много времени, пока он снова отважился прикоснуться к брусочку. И опять раздались звуки, шелест и голос. Он понял, что это завет мертвого бога. Завалил тело камнями, чтобы волки не растерзали его, и вернулся в свое селение с серебристо-зеленым ножом за поясом, топором в одной руке, а в другой — поющим, говорящим брусочком, повествовавшим о чем-то грустном и волнующем, от чего он уже никогда не откажется...

Ворличек вздохнул и положил топор на письменный стол. Конечно, так могло произойти. Ну, а что, если этот, в серебристо-зеленой одежде, пришел в селение и протянул обе руки, ибо увидел подобные ему создания и хотел пожать им руки, но в этот момент один из них запустил в его голову топор и она треснула, как яичная скорлупа, а потом его быстро, со вкусом сожрали? И это возможно.

Версия должна быть вероятной и в то же время выходящей за границы правдоподобия, так же как неправдоподобен этот магнитофон или как его там назвать, этот прибор из тогда еще бесконечно далекого будущего. И Ворличек, сидя с бруском в руке, размышлял, почему гость привез, видимо, из очень далекой дали это миниатюрное хранилище звуков, почему дорожил им, а если оно было ему дорого, почему оставил здесь.

Предположим, что Охотник на медведей уже второй день прячется в ущелье на Белых Камнях, в животе у него урчит от голода, но он притаился, весь сжался и подстерегает маленького лося. Здесь пробегает кратчайшая тропинка, по которой лоси ходят к ручью по другую сторону холма. Если теленок появится в сопровождении матери, под охраной ее тяжелых карих глаз, если даже мелькнут метровые рога самца, Охотник готов умереть или убить, потому что в селении от голода уже начали есть молодые еловые побеги.

Но шорох раздался сзади... Охотник оглянулся, и его рука с занесенным над головой топором замерла; вероятно, было слышно напря-

жение, звеневшее в мускулах поднятой руки и в затаившей дыхание груди.

Должен сказать, что воображаемая картина удалась Ворличку: скалы, бородатые, изуродованные лишайником хвойные деревья джунглей в нескольких метрах от Охотника, в ущелье — фигура в серебристо-зеленом скафандре, в шлеме, скрывавшем лицо, и человек в медвежьей шкуре с занесенным топором. Еще мгновение, каменное оружие полетит, и две цивилизации встретятся.

Но случилось по-иному. Когда Охотник очнулся от оцепенения, человек в зеленом сидел поодаль на валуне, тихо и спокойно глядя в пространство. На колени! Скорее на колени и так ползти к нему! С протянутыми руками, пусть он видит, что в них нет оружия, со склоненной головой, пусть поймет, что волен убить. Незнакомец встал; он видел протянутые жилистые, грязные, могучие и в то же время бессильные руки, склоненный затылок. Он ожидал. Коленопреклоненный тоже ждал. Смерть не приходила, и тогда он поднял голову и вскочил. Снова стояли они лицом к лицу. И Незнакомец протянул Охотнику его топор.

Они пошли к селению. Человек в медвежьей шкуре и спокойный бог ночных светил, бог молнии и грома, который отнимает и дарует жизнь. Время от времени человек оборачивался, проверял, идет ли за ним это видение.

Вдруг Охотник на медведей застыл на месте. Повелительным жестом он остановил Незнакомца, указывая влево, на заросли. Там дрогнули нижние ветки, едва-едва, словно на них присела ласточка. И сразу как бы пролетела буря. Треск! Ветки раздвинулись, и нечто огромное, черное, пыхтя, ринулось к обоим мужчинам. Охотник оттолкнул Незнакомца в одну сторону, сам мгновенно, как ужаленный, отскочил в другую, и тут же между ними, словно пыхтящий пушечный снаряд, промчался огромный кабан. Бог встал, одной рукой держась за ушибленный бок, а другой вытянул из-под одежды какую-то короткую серебристо-зеленую палку. Тем временем зверь описал большой круг и готовился к новому нападению. Но Охотник, высоко занеся топор, сурово сузив глаза, весь поглощенный этой бешеной игрой, уже очутился между кабаном и Незнакомцем в зеленой одежде. Он отступил, лишь когда мчащаяся черная масса была в двух-трех шагах от него, и в тот же миг его каменное оружие обрушилось на нее со всей накопившейся в нем силой. Череп кабана хрустнул, по инерции зверь еще вырыл в земле глубокую, прямую борозду и свалился у ног Незнакомца.

Три жизни вращались здесь несколько секунд, как в центрифуге; самый тяжелый оказался наиболее слабым, и его вышвырнуло. Еще несколько раз дрогнули задние ноги кабана — и все.

Охотник на медведей подскочил к зверю и короткими, яростными ударами попытался проколоть шкуру на его шее. Но плохо отесанный каменный нож скользнул по щетинистому панцирю. К Охотнику, глаза которого сверкали страстью и опьянением победы, подошел тот, второй, и остановил его. Он отобрал камень и вложил ему в руку узкий серебристо-зеленый нож. Охотник снова ударил, и брызнула пенящаяся, ярко-красная кровь.

В селение они притащили кабана на толстых суковатых ветвях. Оба согнулись, пошатываясь под тяжестью черной туши, земля загудела, когда они ее сбросили.

Ворличек представлял себе изумление и ужас в хижинах охотников. Страх был, вероятно, так велик, что словно кулаком затыкал рты, открывавшиеся для крика, не давая вырваться даже возгласу. Да могло ли быть иначе? Сначала свет в ночи и грохот, разорвавший тишину, а

сейчас посреди селения этот, отливающий зеленым Незнакомец... Значит, и так может выглядеть смерть. Это был, вероятно, ужас, который сначала превращает ноги в мягкий воск, а через мгновение переходит в затылок; свет виден лишь впереди и поблескивает с боков, за спиной — только страх, вокруг срываются и со свистом летят камни, ломаются ветви... А может, все-таки удастся бежать от этого ужаса, от непостижимого, может, и его силы иссякнут?..

Оба пришедших удивленно оглядывали мгновенно опустевшее селение. На утоптанной площадке перед хижинами лежали три топора, поодаль из-под нависшего камня вилась тоненькая серая струйка дыма.

Охотник на медведей сел и снова превратил треугольник топоров в четырехугольник. А посередине положил серебристо-зеленый нож. Незнакомец постоял над рисунком, образованным каменным оружием, потом взял свой нож и в центре воткнул его в землю.

Они сидели друг против друга, в селении царила тишина, даже собаки сбежали. Заходило солнце. Незнакомец медленно и грустно пожал плечами, встал и принялся смущенно рыться в карманах. Точь-в-точь дядюшка, который, приехав в гости к детям, забыл купить шоколад и ищет, чем бы возместить свое упущение. Он достал из кармана маленькую трубку, подошел к одной из хижин, направил трубку внутрь и что-то на ней нажал. Из трубки вырвался ослепительно-зеленый луч, осветил груду звериных шкур на утоптанном полу, кости и миски, одну из выдолбленного дерева, другую — из медвежьего черепа. А Охотник на медведей, увидев зеленый свет, снова коленопреклоненно ждал смерти.

Представление о жизни было здесь, по-видимому, очень простым. Пища, любовь, гибель. Ничего другого от жизни не ждали, ничто иное не имело смысла. Ни для чего другого, вероятно, еще не были придуманы слова. Ведь слова подобны одежде, которую мы надеваем на живое тело поступков и опыта. Там, где нет рук, не возникнут рукава.

Незнакомец снова поднял Охотника с колен, указал на себя и произнес одно слово: Акела. Открыл руку Охотника и вложил в нее маленький металлический брусок. Оба почувствовали трепет, музыка проникла в руки, грудь, теплой волной побежала по крови, вот колышащийся индиговый океан катит свои волны, языки их замирают на берегу, и в тишине слышится далекий голос: «Акела, но севири палеату. Акела, Акела...»

Дрожащий Охотник возвращался откуда-то издалека с широко открытыми глазами. Незнакомец сжал его руку в кулак, оставив в ней брусочек. Указал на разгоравшиеся звезды, на лежащего черного, даже после смерти страшного зверя, потом на себя, медленно поклонился и еще раз повторил: «Акела». Протянул Охотнику руку, постоял, потом быстро повернулся и ушел. Опустевшее селение, мертвый кабан перед одной из хижин, четырехугольник из соприкасающихся топоров, а посередине одинокий, вонзенный в землю нож.

Такой вариант хода событий учитель Ворличек одобрил. В нем были встреча, борьба, расставание и далекий голос, через бездны пространства шепчущий мужчинам то, о чем они не должны никогда забывать.

Можно придумывать какие угодно версии. Быть может, Охотник на медведей нашел эти металлические предметы подле обломков, валявшихся среди скал уже полмиллиона лет. Акела — это angelus, ангел. Надеюсь, что его не сожрали. Но как ни крути, а брусок очутился на третьей планете солнечной системы, он пел, играл, говорил, оправдывался. Его шепот проникал в сновидения.

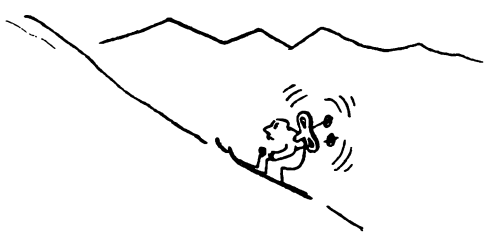
Охотник, схватив одну из женщин за волосы и, увлекая ее в лес,

вместо рычания тоже начал что-то шептать, не только наносил удары, но и гладил. Потом оттолкнул женщину, прогнал ее, а сам нажал выступ на брусочке, вслушивался в этот взывавший голос, устремив взгляд к звездам, и отвечал ему, придумывая новые слова: «Я хотел бы вернуться к тебе, Акела, и к ней, к ее голосу...» Он вытащил серебристо-зеленый нож, ожесточенно вонзил его в землю и все так же, не подымаясь, не снимая руки с ножа, лежал, дрожа от ярости и тоски.

«Ладно,— говорил себе Ворличек,— кости Охотника я отправлю сегодня в Академию вместе с топором, медвежьими зубами и ножом, но брусок им не отдам, даже не подумаю. Представляю себе, как они стали бы записывать этот шепот на магнитофон, пускали бы его замедленно, по словечку, туда и обратно, потом ускоряя темп, как выясняли бы сочетание гласных и согласных, их ритм, искали бы математическое выражение взаимоотношения тонов и мелодии, как разложили бы все на составные элементы, превратили бы эту фразу в пятьсот шестьдесят звуков длительностью в тысячную долю секунды, и никто бы уже этой фразы не расслышал, никогда и никто не увидел бы в этих осколках первоначальной статуи, не услышал бы голоса женщины, шепчущей через чудовищные пропасти пространства, через гигантские сугробы времени, шепчущей тихо и горячо... А я хочу к ней вернуться».

Брусочек остался в футляре от старой батарейки, в самой глубине ящика письменного стола. Ради него Ворличек сочинил новый вариант своего рассказа, чтобы не проговориться никогда и ни перед кем, даже во сне. Он казался себе человеком, изменяющим жене. Но любовница должна стоить такого риска, усилий, душевных сил, и тело ее должно быть незабываемым. «Я хочу каждый раз, прикрыв глаза, увидев вздувающийся от ветра занавес, представлять себе, как выглядит та, которой принадлежит этот голос; я молился бы на нее, как на деву Марию, или бежал бы от нее... Но голос у нее молодой, красивый и тихий, значит, и сама она тихая, прекрасная и молодая... Я схожу с ума»,— говорил себе Ворличек, но говорил это с радостью, открывая ящик, нажимал выступ на бруске и ждал, что вот-вот снова услышит желанное.

Он не ходил в кино, не смотрел телевизор, не показывался на людях, и соседи уже начали перешептываться. Наш учитель, мол, пишет стихи, иначе зачем ему запираться в одиночестве, а может, он спятил, а может быть, пишет оперу или страдает из-за какой-нибудь женщины? Соседи были недалеки от истины. То, что происходило с Ворличком, напоминало стихи, музыку, безумие и кипение крови из-за женщины. Загляните в его окно, посмотрите, как он сидит и смотрит в пространство, словно прислушиваясь к какому-то внутреннему голосу, словно отвечая кому-то.



ДОРА ГАБЕ

На пороге

Это бедность моя
иль богатство мое —
то, что я родилась так рано,
то, что лег некороткий путь
между прошлым моим
и моим настоящим,
что стою на пороге грядущего,
через который уже не шагнуть?

А глаза мои
цепко охватывают
неохватные очертанья
тех, еще не рожденных дней...
А глаза мои
жадно оглядывают
неоглядные трассы
уходящих в пучину созвездий
земных кораблей...

Это бедность моя
иль богатство мое —
то, что, мысль устремляя свою
вслед ракетам, еще не созданным,
я от мысли так отстаю?

О, мысль моя!
Моя бедность — как бездна,
когда без тебя,
одна,
остаюсь я на дне этой пропасти,
называемой жизнью,
где за каждую каплю правды —
капля крови цена...

И все-таки я несметно богата —
тем, что живу,
тем, что на этом пороге
время свое мечтой окрыля,
люди могут людьми называться,
если в небо кричат
человеческим голосом:
«О, как прекрасна земля!»

Перевод с болгарского
ВАЛЕНТИНА КОРЧАГИНА

Дж. БРЕННАН

Последняя инстанция

РАССКАЗ

Перевод с английского Н. ЕВДОКИМОВОЙ

— Ходатайствую о разрешении подать апелляцию, ваша честь.

Последовала секундная пауза, в безмолвии зала суда раздалось чуть слышное гудение, затем Судья ответил:

— Ходатайство удовлетворено.

«Сработала независимая цепь,— подумал Келлет.— Ходатайства об апелляции неизменно удовлетворяются: идиотская гарантия там, где никакие гарантии не нужны».

Келлет поднялся и с поклоном прожурчал:

— С позволения вашей чести.

Слова, как и поклон, были формальностью, которую теперь редко кто соблюдал. Но ведь и сам Келлет во многих отношениях был ходячим анахронизмом. Он дорожил каждым мелким штрихом, напоминающим о далекой, не столь сумасбродной эпохе.

Это было последнее дело из назначенных на сегодня, и когда Келлет направился к выходу, секретарь суда — щеголеватый человечек с мелкими подвижными чертами лица — перегнулся через стол и невозмутимо выключил Судью.

У себя в конторе Келлет, задумавшись, медленно снимал адвокатскую мантию.

Это был высокий сухопарый старик, сутулый и болезненный. Держался он довольно странно, как бы нерешительно; впрочем, первое впечатление тут же рассеивалось, едва он начинал говорить. Его речь, холодная и резкая, поражала точным выбором слов и обнаруживала недюжинную остроту ума. В расцвете карьеры Келлет был почти несокрушим, даже сейчас он оставался одним из самых могущественных представителей своей профессии.

Он бережно свернул мантию, положил сверху мягкий белый парик и все это спрятал на верхней полке шкафчика. Его угнетали собственные мысли. Беда состояла в том, что ему не нравился подзащитный, но, с другой стороны, кому такой мог понравиться? Толстячок Генри Вудс, который все время потеет, с громкими воплями требует правосудия, в глубине души мечтая о помиловании, и настаивает, чтобы приговор был обжалован во всех инстанциях. Не хочет понять, что апелляция, как и вежливые формы обращения к Судье,— всего лишь пустая формальность.

Вудс убил жену.

Вменяемые люди не убивают.

Ergo*, Вудс невменяем.

Точно так же будет рассуждать и Судья в апелляционной инстанции. Точно так же будет рассуждать и Судья в Верховном суде — если Вудс настоит на последней тщетной попытке. Так рассуждают все роботы. Порядок обжалования установлен на всякий случай, как защита от механических неисправностей или ошибочного программирования, не более того.

Келлет вздохнул. Он еще помнил дни — правда, очень смутно,— когда работа приносила ему удовлетворение. Это было до того, как правительство отказалось от старого судопроизводства, чреватого ошибками, которые появлялись из-за несовершенства человеческого суждения, и заменило то судопроизводство холодным и безупречным — современные судьи не подвластны чувствам и великолепно ориентируются в путаных дебрях статей закона.

Келлет ненавидел новых судей слепой, лютой ненавистью.

Покинув контору, Келлет медленно и величественно зашагал по коридору к древним каменным ступенькам, ведущим в камеры, с крайним неудовольствием думая о предстоящей беседе. Дело — он сейчас это ясно понимал — было совершенно безнадежным с самого начала. Келлет даже подивился, как он вообще мог за него взяться.

Когда он спускался по длинной каменной лестнице, казалось, что во всем здании нет ни души, и лишь в самом низу, у входа в камеры, вздрогнув, пробудился от сна одинокий надзиратель в синей форме, но мгновенно успокоился, узнав посетителя.

Келлет отрывисто кивнул и стал бесстрастно ждать, пока надзиратель отопрет массивную дверь в камеры Первого Блока. Они вместе переступили порог, и дверь за ними закрылась. В коридоре не было окон, он освещался скрытыми лампами дневного света.

Камера Вудса находилась в дальней половине коридора. Надзиратель выбрал еще один ключ, на мгновение прижал его к замку и, когда дверь распахнулась, отступил в сторону, пропуская Келлета внутрь.

Камера была крохотная — она-то за много поколений почти не изменилась. Из мебели там стояли только стол да деревянная скамья.

В тюрьме — до того как тюрьмы были отменены — никто бы не примирился с такой камерой. Но теперь это было лишь место временного заключения, где подсудимый проводил в общей сложности час перед самым судом и сразу после суда. Отсюда он попадал в Режимный центр... или на свободу.

Вудса же не ждало ни то, ни другое. Он отправится в роскошный Арестный центр, где просидит до тех пор, пока его апелляционная жалоба не будет рассмотрена.

При появлении Келлета Вудс стремительно вскочил со скамьи. Это был нервный лысеющий человек; такие обычно служили банковскими клерками или государственными чиновниками в те времена, когда банковских клерков и государственных чиновников еще не вытеснили вездесущие роботы. После того как это произошло, Вудс оказался в многолюдной категории безработных — мужчин и женщин, которые никогда не трудятся и никогда не будут трудиться, но получают от автоматизированного государства щедрое пособие, позволяющее им жить в такой роскоши и такой скуке, что временами они сходят с ума.

Именно это, по-видимому, и случилось с Генри Вудсом. Из года в год он получал все, что душе было угодно: семиэтажный особняк со слугами-роботами, три личных возделета, два плавательных бассейна с

---

* Следовательно *(лат.)*.

кондиционированием погоды, специально на него, Вудса, настроенная киновкусонюхорама и тысячи подобных игрушек.

Несмотря на все это, Генри Вудс преждевременно поседел, он беспрерывно потел и не мог прямо смотреть собеседнику в глаза. В одно прекрасное солнечное утро он проснулся раньше, чем жена, и придушил ее.

Вудс подошел и остановился так близко от Келлета, что тот с отвращением заметил, как увеличены его зрачки. Вудс явно употреблял наркотики, скорее всего препарат мескаля, который начинал заменять спирт в роли всемирного барьера против реальности.

— Мистер Келлет, я уж думал, вы никогда не придете! Меня все это с ума сводит! Как только разрешают такое — после приговора упрятывать человека туда, где совершенно нечего делать, разве что думать! — Он протянул обе руки и дотронулся до лацканов Келлета.— Какие у меня шансы на отмену приговора, мистер Келлет? Изрядные, да? Но помните, я хочу знать правду!

Келлет поборол приступ гадливости. Даже в нынешних чрезвычайных обстоятельствах поведение Вудса было тошнотворно. Помолчав, он холодно ответил:

— Вероятность того, что вас оправдают, мистер Вудс, ничтожно мала. Апелляция — всего лишь формальность, в лучшем случае она позволяет оттянуть время. Результат известен заранее. Апелляционный судья оставит в силе сегодняшний приговор.

Вудс широко раскрыл глаза, на верхней губе у него выступила испарина — под стать каплям пота на лбу.

— Не может быть, мистер Келлет! Надо же что-то сделать! Прошу вас, мистер Келлет, можно ведь как-то обхитрить эти машины. Вы же изучали роботехнику. Ради бога...

— Возьмите себя в руки! — не выдержал Келлет и сделал шаг назад, чтобы высвободиться из тисков Вудса.— Вы убили жену. Не думаете же вы, что ваше положение после этого останется без изменений! — Он помолчал немного, вглядываясь в подзащитного.— Откровенно говоря, я не понимаю, из-за чего вы так шумите. Когда я только вступил в Коллегию Адвокатов, за такое преступление приговаривали к смертной казни.

Вудс отошел и медленно опустился на деревянную скамейку.

— Уж лучше смерть! Я видел, во что превращаются люди после такой операции. Они теряют личность. Но вам-то что, любому из вас? Оперировать ведь будут меня!

Келлет мысленно вздохнул. В такие минуты его самого неудержимо тянуло к наркотикам. Ему казалось, что наркотики послужили бы амортизатором между ним и многочисленными Вудсами, а он часто ощущал острую нужду в таком амортизаторе.

— Мистер Вудс,— терпеливо зашелестел он,— вам лучше сразу привыкнуть к этой мысли. Вы подвергнетесь лейкотомии, потому что вы убили жену и с точки зрения закона считаетесь невменяемым. Такой приговор вынес сегодня суд, и...

Вудс вскочил и схватил Келлета за руку.

— Но мы ведь подаем апелляцию, мистер Келлет! Я на вас надеюсь!

— Заседание Апелляционного суда состоится в конце этой недели. Операцию отложат до конца недели, только и всего,— безжалостно сказал Келлет.

— Но, мистер Келлет...— Голос Вудса поднялся до визгливых побабьи нот.— ...вы могли бы убедить апелляционного судью, что не стоит меня оперировать. У судьи в первой инстанции одно мнение, а у апел-

ляционного может быть другое! Ведь так бывает? — прибавил он неуверенно.

— Нет,— коротко ответил Келлет.— Поймите же, мистер Вудс, что вопрос упирается в программирование роботов. Все эти машины запрограммированы совершенно одинаково, да иначе и быть не может — закон один для всех. У всех роботов мозг одной и той же конструкции, и все они приходят к решению путем беспристрастного логизирования. Если посылки — или, иначе говоря, улики — одинаковы, то и выводы будут одинаковы. Мы ведь не располагаем новыми фактами — значит, исход предопределен.

— Если вам откажет Апелляционный суд, мы можем обратиться в Верховный?

— Это ваше конституционное право, мистер Вудс.

Внезапно Келлет ощутил неимоверную усталость. Он знал, что Вудс никогда не поймет всей безнадежности своего положения. Он будет тянуть волынку: подаст жалобу в Апелляционный суд, потом в Верховный, а потом будет сетовать, что нет суда более высокой инстанции, куда можно было бы направить дело на очередное рассмотрение. Но несмотря на все его усилия, в результате нельзя усомниться ни на миг.

Когда все будет сказано и сделано, Вудса подвергнут лейкотомии.

В отличие от суда низшей инстанции, построенного в старинном стиле, Апелляционный суд был подчинен принципу целесообразности. Кроме Келлета и его подзащитного, в зале присутствовало всего два человека: секретарь суда и сонный охранник с газовым пистолетом, лениво слонявшийся возле двери.

Для адвоката и его подзащитного в зале стояли удобные кресла, а большой черный ящик — Судья — был попросту вмонтирован в стену. Секретарь, пренебрегший положенным ему стулом с прямой спинкой, суетливо вертелся вокруг стола, аккуратно раскладывая перед Судьей перфоленты с протоколом первого судебного заседания.

— Начнем? — спросил он наконец.

Келлет кивнул, и секретарь стал засовывать перфоленты в щель под возглашающим пультом Судьи. Через девяносто секунд робот ознакомился с материалами дела и взвесил приговор своего электронного коллеги. Позади возглашающего пульта что-то негромко щелкнуло, и Судья спросил:

— Есть у вас новые факты или доказательства, мистер Келлет?

Келлет встал.

— Новых фактов и доказательств нет, ваша честь.

Судья усвоил эту негативную информацию. Затем объявил:

— Приговор суда первой инстанции оставлен в силе.

Вот и все. Рассмотрение жалобы длилось чуть более трех минут. Келлет устало пробормотал:

— Ходатайствую о разрешении подать апелляцию, ваша честь.

После секундной паузы Судья ответил:

— Ходатайство удовлетворено.

— Вы не старались! — упрекал его Вудс.— За все время вы из себя и двух слов не выдавили! Как же вы собирались выиграть дело, если ничего толком не сказали?

— А я и не собирался его выигрывать, мистер Вудс.— Келлет от души жалел, что согласился защищать Вудса. Даже глубоко укоренившаяся в нем неприязнь к Судьям-роботам стушевалась перед неуклон-

но растущей неприязнью к подзащитному. Мало того, что этот человек убийца, он в придачу еще и кретин!

Вздохнув, Келлет сделал еще одну попытку.

— Мистер Вудс, отчего бы вам не примириться с тем фактом, что вы осуждены? Апелляция — чистая формальность. Судья рассматривает материалы дела, и ничего больше. Я мог закатить часовую речь, прося суд о снисхождении, но это пустая трата времени. Мы тут имеем дело не с людьми, которых можно переубедить, играя на их чувствах. Мы имеем дело с роботами!

— Остается еще Верховный суд,— сказал Вудс.

По архитектуре Верховный суд был очень похож на Апелляционный, но коренным образом отличался в процессуальном отношении. Судья Апелляционного суда знакомился с пленками материалов по делу в молчании и с предельной быстротой, тогда как Судья Верховного суда оглашал их вслух. При этом Келлет был волен вносить дополнения по любому пункту, который мог послужить на пользу подзащитному.

Для Келлета вся эта процедура с начала и до конца была воплощением безнадежности.

Вудс беспокойно ерзал на краешке стула, прислушиваясь к потоку доказательств своей вины, который лился из пульта Судьи, как из радиоприемника. Секретарь — жизнерадостный молодой человек, отдавший дань последней моде на разноцветные контактные стекла,— клевал носом, сидя на своем стуле, и в любую минуту мог свалиться к подножию Судьи.

Келлет прикрыл глаза и откинулся в кресле, прислушиваясь к голосу соседки Вудса.

— ...всю правду и только правду. Миссис Энн Лесли, ваша честь.

Келлет резко выпрямился. Из ниоткуда, без предупреждения его подсознание выудило способ обойти закон. Под монотонное жужжание голоса свидетельницы он тщательно все продумал и, постепенно загораясь, понял, что, возможно, затея удастся. Он посмотрел на Вудса, но не встретился с ним взглядом.

В последующие часы Келлет отмахивался от своего права истолковывать доказательства. Вудс сначала недоумевал, потом обозлился и наконец совсем пал духом. Келлет предоставил ему терзаться.

Прошла целая вечность, но вот изучение материалов следствия окончилось, и Верховный Судья повторил вопрос своего двойника из Апелляционного суда.

Келлет медленно встал, ответил: «Новых фактов и доказательств нет, ваша честь»,— и тут же снова уселся. Вудс был близок к истерике. Судья, как и ждал Келлет, секунду колебался, потом провозгласил:

— Приговор суда первой инстанции и определение Апелляционного суда оставлены в силе.

Чувствуя ком в горле, Келлет снова поднялся.

— Ходатайствую о разрешении подать апелляцию, ваша честь.

Секретарь изумленно покосился на него и даже открыл было рот, чтобы заговорить. Даже охранник проявил вялый интерес: не часто увидишь, как адвокат ставит себя в дурацкое положение.

Однако Судья перерабатывал ходатайство так же старательно, как ранее перерабатывал материалы дела. В конце концов он сказал:

— Ходатайство отклонено.

Продолжая стоять, Келлет спросил:

— На каком основании, ваша честь?

Ответ он мог бы повторить слово в слово. Он безукоризненно соответствовал установленной формулировке:

— После того, как вынесено определение Верховного суда, подавать апелляцию некуда, поскольку не существует более авторитетного суда, чем Верховный. Ходатайство бессмысленно. Невозможно привести апелляционный механизм в действие; отсюда следует, что ходатайство о разрешении на апелляцию должно быть отклонено.

Конечно, все зависело от заложенной в робота программы, но Келлет решил рискнуть. Этот робот, предназначенный для Верховного суда, должен быть запрограммирован шире, чем средний низовой судья. Келлет молил судьбу, чтобы программа по-настоящему широко охватывала историю права.

— Существует суд, стоящий выше Верховного,— возразил он.— Я намереваюсь апеллировать к богу.

— Мистер Келлет! — воскликнул секретарь суда. Охранник хихикнул.

— Я не располагаю данными, достаточными для того, чтобы понять ваш довод, мистер Келлет,— сказал Судья.

— Ваша честь знакомы с концепцией бога? — спросил Келлет. Он слегка вспотел. Не может быть, чтобы проклятая машина не имела представления о боге.

— Да, в самых общих чертах.

— А известно ли вашей чести, что суды считают бога Всевышним? — Это была не столь твердая почва, и Келлет приготовился услышать возражение.

Ему не пришлось долго ждать.

— Во всем, что касается права, Верховный суд остается Верховным, мистер Келлет.

— Когда Верховный суд — даже Верховный суд — вызывает свидетеля, он требует, чтобы свидетель принес присягу перед лицом всемогущего бога, ваша честь. Отсюда следует, что государство ставит бога превыше суда, ваша честь. Иначе присягу приносили бы перед лицом Верховного суда или Судьи Верховного суда.

Келлет с особой ясностью осознал сюрреалистическую природу своей аргументации. Судья-человек давно бы привлек его к ответственности за неуважение к суду, но Судья-робот устроен иначе. Он не отличает здравых доводов от нелепых, лишь бы доводы оставались логичными и не противоречили программе, заложенной в него.

Келлет сделал глубокий вдох.

— Я предлагаю направить дело на апелляцию к богу как к всевышнему судье, признанному государством.

Он выждал.

С едва уловимым шипением статических разрядов Судья осведомился:

— Если я удовлетворю ваше ходатайство, мистер Келлет, каким образом предполагаете вы подать апелляцию?

Этого вопроса он больше всего боялся.

— Ввиду того, что человеку дано предстать перед лицом господа лишь после смерти,— заговорил Келлет, борясь с неудержимым желанием расхохотаться,— я бы просил отсрочить приведение приговора в исполнение, пока мой подзащитный не проживет отпущенный ему срок жизни. После смерти апелляция будет заслушана, и, если приговор останется в силе, можно будет привести его в исполнение.

На этот раз он задержал дыхание. Даже робот не все стерпит.

— Можете ли вы сослаться на прецедент подобного решения? — спросил Судья. Он уже методично обшаривал свои емкие запоминающие устройства в поисках аналогичного дела. Теперь все зависит от того, как он запрограммирован.

— В средние века,— ответил Келлет,— был распространен суд божий.

В комнате воцарилась тишина. Густая и тяжелая, она висела добрую минуту, а потом Судья сказал:

— Это верно, мистер Келлет, но в тех процессах вина подсудимого определялась при помощи жеребьевки — использовался какой-либо механизм случайности, например, кости, и бог принимал сторону правого, обеспечивая благоприятный для него результат. Там не было речи о том, чтобы ждать естественной смерти подсудимого.

Соображая на ходу в самом буквальном смысле слова, Келлет без колебаний заявил:

— В таком случае, ваша честь, я изменю ходатайство и буду просить о пересмотре дела путем бросания костей.

Он скользнул взглядом по Вудсу, которого, казалось, парализовало все происходящее.

После мучительной, почти минутной паузы Судья провозгласил:

— Я вынужден удовлетворить ваше ходатайство, мистер Келлет. Руководствуясь основаниями, которые вы изложили, я назначаю новый суд.

Разумеется, это была сенсация стереовидения. Даже в те дни, в тот век репортеры гонялись за странными и диковинными событиями.

В самом процессе Келлет не принимал участия, но с интересом смотрел его по стереовизору. К сожалению, все закончилось очень быстро, но и то, что показали, было весьма впечатляюще. Согласно традиции, механизмом случайности послужили кости, и по иронии судьбы против Вудса выступал робот.

Сидя у стереовизора, Келлет с восторгом сознавал, что уже сейчас, хотя процесс еще не кончился, политические деятели лихорадочно пытаются законопатить новую щелочку в законе. Но это неважно: Вудс получил лишний шанс, а Келлет вновь перехитрил Судей. В единоборстве с гибким разумом человека они еще очень и очень слабы.

То обстоятельство, что Вудс проиграл роботу и был отправлен в Режимный центр для немедленной лейкотомии, нисколько не омрачило Келлету восхитительного чувства победы.

По правде говоря, случись иначе — он бы окончательно потерял уважение к всевышнему.

Реплика карикатуриста

Кш-ш-ш...

РОБЕРТ ШЕКЛИ

Терапия

РАССКАЗ

Перевод с английского А. ВАВИЛОВА

2 мая 2103 года Элвуд Кэсвел быстро шагал по Бродвею с заряженным револьвером в кармане пиджака. Он не имел намерения пускать его в ход, но опасался, что все же может это сделать. Такое предположение не было лишено оснований, потому что Кэсвел страдал манией убийства.

Был мягкий туманный весенний день, в воздухе пахло дождем и цветущим кизилом. Кэсвел сжимал револьвер в потной ладони и пытался придумать хотя бы один веский аргумент, чтобы не убивать человека по фамилии Мэгнесен, который на днях сказал, что Кэсвел чудесно выглядит.

«Какое дело Мэгнесену, как я выгляжу? Проклятые любопытные, лезут не в свои дела, всегда все портят...»

Кэсвел был невысокого роста холерик с сердитыми воспаленными глазами, челюстями бульдога и волосами цвета имбиря. Каждый встречал людей подобного типа; забравшись на ящик из-под дезинфицирующих средств, они произносят речи перед толпой вышедших на обеденный перерыв служащих и иронически настроенных студентов, выкрикивая лозунги вроде: «Марс для марсиан, Венера для венерианцев!»

Однако, по правде говоря, Кэсвела не интересовало тяжелое социальное положение населения других планет. Он работал кондуктором ракетобуса нью-йоркской корпорации «Рэпид трэнзит». Он не лез в чужие дела. К тому же он был абсолютно сумасшедшим.

К счастью, бывали моменты, когда он понимал это, по крайней мере половиной своего сознания.

Пот лил с Кэсвела градом, пока он шел по Бродвею к Сорок третьей улице, где находился магазин «Домашние терапевтические приборы». Скоро закончится рабочий день и его друг Мэгнесен возвратится в свою небольшую квартиру, совсем недалеко от дома Кэсвела. Как легко, как приятно было бы небрежно войти, обменяться одной-двумя фразами и затем...

Нет! Кэсвел глотнул воздуха и напомнил себе, что у него нет настоящего желания никого убивать. Убивать нехорошо. Его посадят за решетку, друзья его не поймут, да и мама никогда этого не одобрит.

Однако эти аргументы были слабыми, слишком заумными и совсем не убедительными. От фактов не скроешься: он хочет убить Мэгнесена.

Разве такое сильное желание может быть нехорошим? Или даже нездоровым?

Да, может! Со сдавленным стоном Кэсвел пробежал последние несколько шагов к магазину «Домашние терапевтические приборы».

Обстановка внутри магазина сразу принесла облегчение. Свет был мягким, шторы — спокойных тонов, и даже выставленные здесь мерцающие терапевтические машины не слишком бросались в глаза. Вот где приятно просто прилечь на ковер под сень терапевтических машин в твердой уверенности, что тебя ожидает избавление от всех неприятностей.

Светловолосый продавец с длинным породистым носом бесшумно (но не вкрадчиво) подплыл к нему и негромко спросил:

— Не нужна ли помощь?

— Терапию! — пробормотал Кэсвел.

— Разумеется, сэр,— обаятельно улыбнулся продавец, разглаживая лацканы пиджака.— Мы для этого и существуем.— Он пристально посмотрел на Кэсвела, быстро поставил в уме диагноз и постучал по сверкающему белизной и медью аппарату.— Вот это,— сказал продавец,— новый Алкоголеразгрузитель фирмы «ИБМ», рекламируется самыми популярными журналами. Привлекательное дополнение к мебели, согласитесь, что он украсит любую квартиру. Внутри имеется телевизор.

Ловким движением узкой кисти продавец открыл Алкоголеразгрузитель, показав телеэкран размером 52 дюйма.

— Мне нужно...— начал Кэсвел.

— Терапию,— закончил за него продавец.— Конечно. Я хочу только подчеркнуть, что эта модель никогда не поставит в неудобное положение вас, ваших друзей или близких. Обратите внимание на утопленную шкалу желаемой интенсивности потребления спиртного. Видите? Если не хотите совсем воздерживаться, можете установить любое из следующих делений: «много», «умеренно», «в компании» или «для аппетита». Это новинка, уникальная в механотерапии.

— Я не алкоголик,— с достоинством сказал Кэсвел.— Корпорация «Нью-Йорк рэпид трэнзит» не нанимает алкоголиков.

— Понимаю,— сказал продавец, недоверчиво глядя на слезящиеся глаза Кэсвела.— Вы, кажется, человек нервный. Быть может, портативный успокаиватель фирмы «Бендикс»...

— Нервы тут тоже ни при чем. Что у вас есть против мании убийства?

Продавец поджал губы.

— Шизофренического или маниакально-депрессивного происхождения?

— Не знаю,— признался Кэсвел, несколько растерявшись.

— В общем, это не имеет значения,— сказал продавец.— Моя собственная теория. За время работы в магазине я пришел к выводу, что рыжие и блондины предрасположены к шизофрении, а брюнеты — к маниакальной депрессии.

— Интересно. Вы давно здесь работаете?

— Неделю. Итак, сэр, вот что вам нужно.

— Что это?

— Рекс-Регенератор, созданный фирмой «Дженерал моторс». Красив, не правда ли? Вписывается в любой интерьер, внутри отлично оборудованный портативный бар. Ваши друзья, семья, родственники никогда не догадаются...

— Излечит ли он манию убийства? — спросил Кэсвел.— Сильную.

— Вне всякого сомнения. Это совсем не то, что маленькие 10-амперные аппараты для невротиков. Это стационарная 25-амперная машина с большим запасом прочности, предназначенная для действительно тяжелых, застарелых случаев.

— Как раз то, что у меня,— сказал Кэсвел с простительной гордостью.

— Эта малютка все из вас вышибет. Большие, сверхпрочные подшипники! Мощная система охлаждения! Абсолютная изоляция! Диапазон чувствительности более...

— Я беру его,— сказал Кэсвел.— Сейчас же. Заплачу сразу.

— Отлично! Я только позвоню на склад...

— Я могу взять этот,— сказал Кэсвел, вынимая бумажник.— Хочу побыстрее его испробовать. Вы знаете, я собираюсь убить моего друга Мэгнесена.

Продавец сочувственно щелкнул языком:

— Вам этого не захочется... Плюс пять процентов налог. Благодарю вас, сэр. Подробную инструкцию вы обнаружите внутри.

Кэсвел поблагодарил его, обхватил Регенератор обеими руками и поспешил к выходу.

Вычислив свою комиссию, продавец улыбнулся про себя и закурил. Однако неожиданно появившийся из своего кабинета управляющий — крупный представительный мужчина в пенсне — испортил все удовольствие.

— Хэскинс,— сказал управляющий,— по-моему, я уже советовал вам избавиться от этой нечистоплотной привычки.

— Да, мистер Фолансби, простите, сэр,— извинился Хэскинс, гася сигарету.— Я немедленно воспользуюсь Деникотинизатором с витрины. Совершил довольно выгодную продажу, мистер Фолансби. Один из больших Рекс-Регенераторов.

— Вот как? — Новость произвела на управляющего впечатление.— Не часто нам удается... подождите! Не хотите ли вы сказать, что продали демонстрационную модель?

— А что... вы знаете, боюсь, что да, мистер Фолансби. Покупатель очень спешил. А разве...

Фолансби всплеснул руками и схватился за голову.

— Хэскинс, я вас предупреждал. Я наверняка вас предупреждал! Демонстрационный Регенератор был *марсианской* моделью. Для механотерапии *марсиан.*

— Ага,— сказал Хэскинс. Он подумал мгновение.— Понимаю.

Фолансби смотрел на своего подчиненного в зловещем молчании.

— Но какое это имеет значение? — быстро спросил Хэскинс.— Машина ведь не различает. Мне думается, она будет лечить манию убийства, даже если пациент и не марсианин.

— У марсианской расы никогда не проявлялось склонности к убийству. Марсианский вариант Регенератора не способен даже понять такое. Безусловно, Регенератор попытается провести лечение. Он обязан. *Но от чего он будет лечить?*

— Понимаю,— сказал Хэскинс.

— Беднягу надо остановить, прежде чем... вы сказали, у него мания убийства? Я ни за что не ручаюсь! Его адрес, скорее!

— Видите ли, мистер Фолансби, он так спешил...

Управляющий долго смотрел на продавца, не веря своим ушам.

— Вызывайте полицию! Свяжитесь с отделом безопасности «Дженерал моторс»! Разыщите его!

Хэскинс бросился к двери.

— Стойте! — крикнул управляющий, натягивая плащ.— Я с вами!

Элвуд Кэсвел возвратился домой на таксокоптере. Он втащил Регенератор в гостиную, придвинул его к кушетке и окинул оценивающим взглядом.

— А продавец прав,— сказал он наконец.— Действительно, подходит к обстановке.

С эстетической точки зрения Регенератор оказался удачным приобретением.

Кэсвел полюбовался им еще немного, а затем пошел на кухню приготовить себе бутерброд с курицей. Он ел медленно, не спуская глаз с точки, находившейся несколько выше и левее кухонных часов.

«Будь ты проклят, Мэгнесен! Грязный, лживый, коварный, враг всего чистого и непорочного на земле...»

Вынув револьвер из кармана, он положил его на стол и повертел в разные стороны своим негнущимся пальцем.

Пора начинать терапию.

Если бы не...

Кэсвел с беспокойством почувствовал, что не хочет избавиться от желания убить Мэгнесена. Что будет с ним, если он лишится этой потребности? Жизнь потеряет смысл, содержание, весь вкус и остроту. Она станет бесконечно нудной.

Кроме того, Мэгнесен принес ему большое личное горе, о котором не хотелось вспоминать.

Айрин!

Его бедная сестра, обесчещенная сладкоречивым и хитрым Мэгнесеном, погубленная и брошенная. Разве может быть более убедительная причина, чтобы взять револьвер...

С трудом Кэсвел вспомнил, что у него никогда не было сестры. Теперь самое время приступить к терапии.

Он прошел в гостиную и вынул инструкцию, засунутую в вентиляционное отверстие аппарата. Развернув ее, он прочел:

«ДЛЯ ПОЛЬЗОВАНИЯ РЕГЕНЕРАТОРОМ МОДЕЛИ РЕКС:

1. Поставьте Регенератор рядом с удобной кушеткой (удобную кушетку можно приобрести за дополнительную плату в любом магазине «Дженерал моторс»).

2. Воткните вилку в комнатную розетку.

3. Наденьте раздвижной контактный обруч на голову.

Вот и все! Ваш Регенератор сделает все остальное! Никаких языковых барьеров и проблем диалекта, потому что Регенератор общается методом Непосредственного Чувственного Контакта (патент заявлен). Единственное, что от вас требуется,— довериться аппарату.

Вы не должны испытывать смущение или стыд. У всех есть проблемы, иногда посложнее ваших! Регенератор не интересуется вашей нравственностью или этическими принципами, поэтому не считайте, что он вас судит. Он лишь пытается помочь вам стать здоровым и счастливым.

Как только Регенератор соберет и обработает достаточное количество информации, он начнет лечение. От вас самих зависит продолжительность сеансов. Приказываете вы! И, конечно, вы вправе прервать сеанс в любой момент.

Вот и все! Просто, не правда ли? А теперь включайте ваш Регенератор фирмы «Дженерал моторс» и СТАНОВИТЕСЬ НОРМАЛЬНЫМ!»

— Ничего сложного,— сказал себе Кэсвел.

Он подвинул Регенератор ближе к кушетке и включил его. Взял обруч, начал надевать его на голову, остановился.

— Я чувствую себя так глупо! — хихикнул он.

Неожиданно он закрыл рот и вызывающе взглянул на черную, поблескивающую никелировкой машину.

— Так, значит, ты считаешь, что можешь сделать меня нормальным, а?

Регенератор не отвечал.

— Ладно, попробуй.— Он натянул обруч на голову, лег на кушетку и скрестил руки на груди.

Ничего не произошло. Кэсвел устроился поудобнее. Почесал плечо и немного передвинул обруч. Ничего. Мысли его начали расползаться.

«Мэгнесен! Ты наглый высокомерный урод, отвратительный...»

— Добрый день,— прозвучал в его голове голос.— Я ваш механотерапевт.

Кэсвел виновато заерзал.

— Здравствуйте. Я тут просто... ну, вы понимаете... вроде как бы...

— Понимаю,— успокаивающе сказала машина.— Ведь мы все, так или иначе... В данный момент я изучаю ваше подсознание с целью синтеза, диагноза, прогноза и лечения. Я обнаруживаю...

— Да?

— Один момент.— Регенератор молчал несколько минут. Потом неуверенно сказал: — Весьма необычный случай.

— Правда? — спросил довольный Кэсвел.

— Да. Коэффициенты похожи на... я, правда, не уверен...— механический голос аппарата стал затухать. Индикаторная лампочка замигала и погасла.

— Эй, в чем дело?

— Какая-то путаница,— ответила машина.— Однако,— продолжала она окрепшим голосом,— необычная природа симптомов не может поставить в тупик квалифицированную терапевтическую машину. Любой симптом, как он ни причудлив, является всего лишь сигналом, признаком внутреннего несоответствия. А все симптомы можно объяснить на основе общепринятой и доказанной теории. Поскольку теория эффективна, симптомы должны с нею согласовываться. Будем исходить из этой предпосылки.

— А вы уверены, что делаете то, что нужно? — спросил Кэсвел, у которого кружилась голова.

Сверкнув индикатором, машина отрезала:

— Современная механотерапия — точная наука, не допускающая каких-либо значительных ошибок. Начнем со словесных ассоциаций.

— Валяйте,— сказал Кэсвел.

— Жилище?

— Дом.

— Собака?

— Кошка.

— Флифл?

Кэсвел замешкался, пытаясь сообразить. Чем-то это слово напоминало марсианское, но могло быть и венерианским или...

— Флифл? — повторил Регенератор.

— Марфуш,— сымпровизировал Кэсвел.

— Громкий?

— Сладкий.

— Зеленый?

— Мама.

— Тханагойес?

— Патаматонга.

— Арридес?

— Нексотесмодрастика.

— Чтиспохельгноптецес?

— Рагамару латасентрикпропатрия! — выкрикнул Кэсвел. Это был набор звуков, которым можно гордиться. Человек средних способностей не смог бы их произнести.

— Гм,— сказал Регенератор.— Закономерности совпадают. Так и должно быть.

— Какие закономерности?

— У вас,— сообщила ему машина,— классический случай фим-мании, осложненной сильной дварк-наклонностью.

— Неужели? Мне казалось, что у меня мания убийства.

— Этот термин не имеет смысла,— строго сказала машина.— Поэтому я отвергаю его как бессмысленный набор звуков. Теперь учтите: фим-мания совершенно нормальна. Никогда этого не забывайте. Правда, в раннем возрасте она обычно уступает место ховендиш-отвращению. Индивидуумы, не обладающие этой естественной реакцией на внешнюю среду...

— Я не совсем понимаю то, что вы говорите,— признался Кэсвел.

— Прошу вас, сэр, давайте сразу договоримся. Вы — пациент. Я — механотерапевт. Вы обратились ко мне, чтобы излечиться от недуга. Однако вы не можете рассчитывать на помощь, если сами не будете прилагать соответствующие усилия.

— Ладно,— сказал Кэсвел.— Я попробую.

До сих пор он наслаждался сознанием собственного превосходства. Все, что говорила машина, казалось забавным. Пожалуй, он даже мог бы указать механотерапевту на некоторые его неточности.

Теперь же ощущение благополучия улетучилось, уже в который раз, и Кэсвел почувствовал себя одиноким, ужасно одиноким и потерянным, рабом своих желаний, ищущим хотя бы немного тишины и спокойствия.

Он вынесет что угодно, лишь бы вновь обрести равновесие. Сурово он напомнил себе, что не имеет права критиковать механотерапевта. Эти машины знают свое дело, у них громадный опыт. Он будет стараться, каким бы нелепым ни казался ему, дилетанту, этот способ лечения.

Одно ясно, подумал Кэсвел, угрюмо укладываясь на кушетку, механотерапия гораздо труднее, чем он предполагал.

Поиски исчезнувшего покупателя были недолгими и безрезультатными. Его не было на многолюдных улицах Нью-Йорка, и никто не помнил рыжего человечка с воспаленными глазами, тащившего на себе черную терапевтическую машину.

Такое зрелище было слишком обычным.

Вскоре после срочного телефонного вызова явились четверо полицейских во главе с встревоженным молодым лейтенантом — детективом по фамилии Смит.

Едва Смит успел спросить: «А почему вы не удосужились повесить ярлыки на товары?» — как его прервали.

Оттолкнув полицейского, стоявшего у дверей, в комнату вошел мужчина. Он был высокий, угловатый и некрасивый, с глубоко запавшими бледно-голубыми глазами. Мятый и нечищеный костюм висел на нем, как гофрированное железо.

— Что вам нужно? — спросил лейтенант Смит.

Некрасивый мужчина отогнул лацкан пиджака и показал блестящий серебряный значок.

— Я Джон Рэт из отдела безопасности «Дженерал моторс».

— А... виноват, сэр,— сказал лейтенант Смит, отдавая честь.— Я не думал, что вы так быстро прибудете на место.

Рэт издал неопределенный звук.

— Вы проверили отпечатки пальцев, лейтенант? Покупатель мог дотронуться до другой терапевтической машины.

— Я сейчас же этим займусь, сэр,— сказал Смит. Нечасто случалось, чтобы оперативный работник «Дженерал моторс», «Дженерал электрик» или «ИБМ» прибывал для личного расследования на место.

Если участковый полицейский проявит расторопность, то его могут перевести в Индустриальную Полицию...

Рэт повернулся к Фолансби и Хэскинсу и окинул их взглядом пронизывающим и безличным, как луч радара.

— Выкладывайте все по порядку,— сказал он, вынимая из бесформенного кармана записную книжку и карандаш.

Он слушал рассказ в зловещем молчании. Наконец он захлопнул записную книжку, сунул ее обратно в карман и сказал:

— Терапевтические машины должно оберегать, как святыню. Дать покупателю не ту машину — значит не оправдать оказанное вам доверие, нарушить Общественные Интересы и очернить добрую репутацию Компании.

Управляющий согласно закивал, свирепо глядя на несчастного продавца.

— Марсианский вариант машины,— продолжал Рэт,— вообще не должен был находиться на витрине.

— Я объясню, как это получилось,— поспешно сказал Фолансби.— Нам нужна была демонстрационная модель, и я написал в Компанию письмо с просьбой...

— Это,— безжалостно перебил его Рэт,— может быть расценено как грубое и преступное ротозейство.

Управляющий и продавец обменялись испуганными взглядами. Они вспомнили об исправительной колонии «Дженерал моторс» возле Детройта, где нарушители законов Компании коротали время в угрюмой тишине, занимаясь монотонным вычерчиванием микросхем для карманных телевизионных приемников.

— Правда, это вне моей компетенции,— сказал Рэт. Он обратил свой сумрачный взгляд на Хэскинса: — Вы уверены, что покупатель не назвал своего имени?

— Нет, сэр. То есть да, я в этом уверен,— ответил Хэскинс дребезжащим голосом.

— Упоминал ли он вообще какие-нибудь имена?

Хэскинс закрыл лицо руками. Потом вскинул голову и с жаром произнес:

— Да! Он хотел кого-то убить! Своего друга!

— Кого? — переспросил Рэт с леденящим спокойствием.

— Фамилия его друга... дайте мне подумать... Магнетон! Вспомнил! Магнетон! Или Моррисон? О боже...

На железном лице Рэта отразилось гофрированное презрение. Люди бесполезны в качестве свидетелей. Хуже, чем бесполезны, потому что они могут направить по ложному следу. В смысле надежности лучше всего роботы.

— Неужели он не упомянул ничего существенного?

— Дайте мне подумать! — сказал Хэскинс, лицо которого перекосило от напряжения.

Рэт ждал.

Фолансби откашлялся.

— Я тут подумал, мистер Рэт. Насчет этой марсианской машины. Она ведь не будет лечить земную манию убийства, как таковую?

— Конечно нет. Мания убийства не известна на Марсе.

— Согласен. В таком случае, что она сделает? Не откажется ли она лечить эту болезнь как не знакомую ей? Тогда покупатель просто вернет Регенератор с жалобой, и мы...

Рэт покачал головой.

— Рекс-Регенератор обязан проводить лечение, если он обнаружил признаки психоза. По марсианским стандартам, ваш покупатель тяжело

болен, он ненормальный, какова бы ни была действительная причина его болезни.

Фолансби снял пенсне и начал быстро протирать стекла.

— Что же будет делать машина?

— Она будет лечить его от марсианской болезни, наиболее близкой к данному случаю. Можно предположить, что от фим-мании с различными осложнениями. Что же касается последствий лечения, то я ничего не могу сказать. Да и вряд ли кто-либо другой может, потому что таких случаев еще не было. Грубо говоря, альтернатива такова: либо пациент сразу отвергнет терапию и при этом мания убийства останется, либо он пройдет курс марсианской терапии и излечится.

Лицо Фолансби просветлело:

— Значит, исцеление возможно!

— Вы не поняли,— сказал Рэт.— Он излечится... от несуществующего марсианского психоза. Излечить то, чего на самом деле нет, значит создать фантастическую систему галлюцинаций. Машина сработает наоборот: она создаст психоз, вместо того чтобы ликвидировать его.

Фолансби застонал и прислонился к Психосоматике фирмы «Белл».

— В результате,— заключил Рэт,— больного убедят, что он марсианин. Нормальный марсианин, естественно.

Хэскинс неожиданно закричал:

— Вспомнил! Вспомнил! Он говорил, что работает в «Нью-Йорк рэпид трэнзит»! Я это ясно помню!

— Это уже шанс,— сказал Рэт, протягивая руку к телефону.

Хэскинс с облегчением вытер потное лицо.

— И я вспомнил другое, что поможет нам еще больше.

— Что именно?

— Покупатель сказал, что он одно время был алкоголиком. Я уверен в этом, потому что сначала он заинтересовался Алкоголеразгрузителем «ИБМ», пока я его не отговорил. Он был рыжий, а вы знаете, у меня есть теория насчет рыжих и алкоголизма. Согласно ей...

— Отлично,— сказал Рэт.— Алкоголизм должен быть у него в анкете. Это резко сужает сферу поисков.

Когда он набирал номер «Рэпид трэнзит», его некрасивое тяжелое лицо казалось почти симпатичным.

Приятно для разнообразия убедиться в том, что люди еще способны запоминать существенные детали.

— Но, конечно, вы помните свою горику? — спрашивал Регенератор.

— Нет,— устало отвечал Кэсвел.

— Тогда расскажите мне о ваших юношеских переживаниях в форастрийском флипе.

— Никогда не было ничего подобного.

— Гм. Блокировка,— пробормотала машина.— Чувство обиды. Подавление. Вы уверены, что не помните свою горику и что она для вас означала? Все прошли через это.

— Только не я,— сказал Кэсвел, сдерживая зевоту.

Механотерапия продолжалась уже почти четыре часа — и без всякой видимой пользы. Сначала он по своей инициативе рассказал о детстве, об отце с матерью, о старшем брате. Однако Регенератор попросил его отбросить эти фантазии. Отношение пациента к воображаемому родителю, или сиблингу, объяснил он, носит фиктивный характер и имеет второстепенный психологический интерес. Самое важное — чувства пациента, открытые и подавленные, которые он испытывает к своей горике.

— Послушайте,— запротестовал Кэсвел,— я даже не знаю, что такое горика.

— Нет, вы знаете. Вы лишь не хотите себе в этом признаться.

— Не знаю. Объясните мне.

— Лучше, если бы вы сами мне рассказали.

— Каким образом? — разозлился Кэсвел.— Я ведь не знаю!

— Что такое, по-вашему, горика?

— Это лесной пожар,— сказал Кэсвел.— Таблетка соли. Бутыль денатурата. Маленькая отвертка. Уже тепло? Записная книжка. Пистолет...

— Эти ассоциации не лишены смысла,— заверил его Регенератор.— Ваши попытки выбирать их наугад свидетельствуют о наличии внутренней закономерности. Вспоминаете?

— Так что же все-таки, черт побери, такое горика? — рявкнул Кэсвел.

— Дерево, кормившее вас в грудном возрасте, возможно, вплоть до полового созревания, если мои предположения относительно вас правильны. Неумышленно горика подавила ваше естественное отвращение к фим-мании. Это в свою очередь вызвало ощущаемую вами потребность дварковать кого-нибудь влендишным способом.

— Никакое дерево меня не вскармливало.

— Вы не помните об этом?

— Конечно нет, этого никогда не было.

— Вы уверены?

— Абсолютно.

— Неужели у вас нет ни малейшего сомнения?

— Нет! Никакая горика меня не вскармливала. Послушайте, я имею право прервать сеанс в любой момент, не так ли?

— Безусловно,— сказал Регенератор,— хотя сейчас это нежелательно. Вы проявляете чувства гнева, обиды, страха. Произвольно отвергая...

— К черту,— сказал Кэсвел и сдернул обруч с головы.

Тишина была прекрасной. Кэсвел встал, зевнул, потянулся и помассировал затылок. Он посмотрел на гудящую черную машину долгим и враждебным взглядом.

— Тебе и насморка не вылечить,— сказал он ей.

Разминая затекшие суставы, он прошелся по комнате и вернулся к Регенератору.

— Чертов обманщик! — крикнул он.

Он отправился на кухню выпить пива. Револьвер еще лежал на столе, тускло поблескивая.

«Мэгнесен! Гнусная, вероломная дрянь! Воплощение дьявола! Мерзкое, злое чудовище! Кто-то должен тебя уничтожить, Мэгнесен! Кто-то...»

Кто-то? Он сам должен это сделать. Ему одному известна неизмеримая глубина развращенности Мэгнесена, его порочности, его отвратительного честолюбия.

«Да, это мой долг»,— подумал Кэсвел. Но, как ни странно, эта мысль не доставила ему удовольствия.

Все-таки Мэгнесен его друг.

Он встал, готовый действовать. Засунул револьвер в правый карман пиджака и посмотрел на кухонные часы. Почти половина седьмого. Мэгнесен, наверно, уже дома, обедает, ухмыляется, обдумывая свои планы.

Самое время его пристукнуть.

Кэсвел большими шагами прошел к двери, отворил ее, собираясь выйти, и остановился.

Ему пришла в голову мысль, мысль столь сложная, столь значительная, со столь далеко идущими последствиями, что он был потрясен до глубины души. В отчаянии Кэсвел пытался отогнать эту мысль. Однако навечно выгравированная в его памяти, она не исчезала.

В этих условиях для него оставалось лишь одно.

Он вернулся в гостиную, сел на кушетку и натянул обруч на голову.

— Да? — спросил Регенератор.

— Черт побери, это удивительно,— сказал Кэсвел.— Вы знаете, я, кажется, действительно вспоминаю свою горику!

Джон Рэт вызвал по телевидео «Нью-Йорк рэпид трэнзит», где его немедленно соединили с мистером Бемисом, полным загорелым мужчиной с внимательными глазами.

— Алкоголизм? — переспросил Бемис, когда ему объяснили, в чем дело. Незаметным движением он включил магнитофон.— Среди наших служащих? — Нажав ногой на кнопку в полу, Бемис дал сигнал тревоги в отделы Охраны, Рекламы, Взаимоотношений с другими компаниями и Психоанализа. Сделав это, он с серьезным видом посмотрел на Рэта.— Уважаемый сэр, это исключено. Между нами, почему «Дженерал моторс» этим заинтересовалась?

Рэт горько усмехнулся. Этого можно было ожидать. У «Рэпид трэнзит» и «Дженерал моторс» в прошлом имелись разногласия. Официально между обеими гигантскими корпорациями существовало сотрудничество. Однако на практике...

— Дело касается Общественных Интересов,— сказал Рэт.

— Разумеется.— Бемис едва заметно усмехнулся. Взглянув на селекторную доску, он увидел, что несколько сотрудников Компании подслушивают разговор. Если повести себя правильно, можно рассчитывать на повышение по службе.— Видимо, имеются в виду Общественные Интересы «Дженерал моторс»? — продолжал Бемис с вежливым ехидством.— Я полагаю, это намек на то, что нашими ракетобусами и гелисами управляют пьяные водители?

— Совсем нет. Меня интересует лишь один случай предрасположения к алкоголизму, одна индивидуальная скрытая форма...

— Исключено. Мы в «Рэпид трэнзит» не берем на работу людей хотя бы с малейшей склонностью такого рода. Я вам советую, сэр, вычистить собственный дом, прежде чем заниматься инсинуациями!

Бемис выключил телевидео.

Обвинить его, во всяком случае, ни в чем не смогут.

— Тупик,— с досадой сказал Рэт. Он повернулся и крикнул: — Смит! Обнаружили отпечатки пальцев?

Подскочил лейтенант Смит, без пиджака и с засученными рукавами.

— Ничего существенного, сэр.

Рэт стиснул тонкие губы. Почти семь часов прошло с тех пор, как покупатель унес марсианскую машину. Неизвестно, какой ущерб уже нанесен. Покупатель будет вправе подать на Компанию в суд. Но дело не в компенсации; любой ценой нужно спасти репутацию фирмы.

— Простите, сэр,— сказал Хэскинс.

Рэт не слышал. Что делать? «Рэпид трэнзит» отказывается помочь. Разрешит ли командование вооруженных сил перебрать все личные дела по телосложению и пигментации?

— Сэр,— снова сказал Хэскинс.

— Что вам?

— Я вспомнил фамилию друга покупателя. Мэгнесен.

— Не ошибаетесь?

— Нет,— сказал Хэскинс, и в его голосе впервые за много часов прозвучала уверенность.— Я позволил себе, сэр, заглянуть в телефонную книгу. В Манхэттене лишь один человек с такой фамилией.

Рэт угрожающе посмотрел на него из-под косматых бровей:

— Хэскинс, я надеюсь, что вы не ошибаетесь. Очень надеюсь.

— Я тоже, сэр,— признался Хэскинс, чувствуя, как у него начинают трястись колени.

— Потому что в противном случае,— сказал Рэт,— я... Ладно. Пошли!

Под полицейским эскортом они прибыли по адресу через пятнадцать минут. Это был старинный дом из темного песчаника, на одной из дверей второго этажа висела табличка с фамилией Мэгнесен. Они постучали.

Дверь отворил коренастый мужчина лет тридцати, коротко подстриженный и без пиджака. Он слегка побледнел при виде стольких людей в форме, но не испугался.

— Что это значит? — вызывающе спросил он.

— Ваша фамилия Мэгнесен? — рявкнул лейтенант Смит.

— Ага. Что стряслось? Если вы насчет того, что мой стерео якобы слишком громко играет, так эта старая ведьма внизу...

— Можно войти? — спросил Рэт.— Дело серьезное.

Мэгнесен, казалось, не был расположен их пускать, но Рэт отстранил его и прошел внутрь, сопровождаемый Смитом, Фолансби, Хэскинсом и небольшим отрядом полицейских. Мэгнесен повернулся к ним, недовольный и сбитый с толку. Сцена явно произвела на него сильное впечатление.

— Мистер Мэгнесен,— обратился к нему Рэт самым приятным тоном, на который был способен.— Надеюсь, вы извините нас за вторжение. Уверяю, что дело касается Общественных Интересов, а также ваших собственных. Есть ли среди ваших знакомых маленький, рыжеволосый человек сердитого вида, с воспаленными глазами?

— Да,— медленно и осторожно сказал Мэгнесен.

Хэскинс испустил вздох облегчения.

— Пожалуйста, сообщите нам его фамилию и адрес,— попросил Рэт.

— Это, наверно... постойте! А что он сделал?

— Ничего.

— Тогда зачем он вам нужен?

— Объяснять некогда,— сказал Рэт.— Поверьте, что это и в его интересах. Как его фамилия?

Мэгнесен испытующе смотрел на некрасивое, но честное лицо Рэта.

Вмешался лейтенант Смит:

— Давай, выкладывай, Мэгнесен. Тебе же будет лучше. Фамилию — и быстро.

Это был неверный подход. Мэгнесен закурил сигарету, пустил струю дыма в Смита и спросил:

— А разрешение у тебя есть, приятель?

— Еще бы,— сказал Смит, двинувшись вперед.— Я тебе сейчас покажу разрешение, умник.

— Прекратите! — приказал Рэт.— Лейтенант Смит, благодарю вас за помощь. Вы свободны.

Рассерженный Смит удалился со своим отрядом.

Рэт сказал:

— Прошу прощения, Смит был излишне усерден. Лучше я вам расскажу все по порядку.

Он кратко изложил всю историю с покупателем и марсианской терапевтической машиной.

После его рассказа Мэгнесен стал еще подозрительнее:

— Вы хотите сказать, что он собирается убить *меня?*

— Вот именно.

— Это ложь! Я не знаю, кто вы такой, мистер, но вам никогда не удастся меня в этом убедить. Элвуд мой лучший друг, с самого детства. Мы вместе служили в армии. Ради меня Элвуд руку себе отрежет. И я сделаю для него то же самое.

— Да, да,— нетерпеливо сказал Рэт.— Во вменяемом состоянии. Однако ваш друг Элвуд... Кстати, это его имя или фамилия?

— Имя,— насмешливо сказал Мэгнесен.

— Ваш друг Элвуд душевнобольной.

— Вы его не знаете. Этот парень любит меня, как родного брата. Послушайте, что Элвуд сделал? Задолжал или что-нибудь в этом роде? Я могу помочь.

— Идиот! — закричал Рэт.— Я пытаюсь спасти вашу жизнь, а также жизнь и разум вашего друга!

— Но откуда я знаю? — взмолился Мэгнесен.— Вы, парни, сюда врываетесь...

— Вы должны мне поверить,— сказал Рэт.

Мэгнесен внимательно посмотрел на Рэта и нехотя кивнул.

— Его зовут Элвуд Кэсвел. Он живет по этой же улице в доме 341.

Человек, отворивший дверь, был невысокого роста, рыжий и с воспаленными глазами. Его правая рука была засунута в карман пиджака. Он казался очень спокойным.

— Вы Элвуд Кэсвел? — спросил Рэт.— Вы купили сегодня утром Регенератор в магазине «Домашние терапевтические приборы»?

— Да,— сказал Кэсвел.— Прошу вас.

В небольшой гостиной они увидели черный Регенератор, который стоял у кушетки, поблескивая никелированными частями. Он был выключен.

— Вы им пользовались? — с тревогой спросил Рэт.

— Да.

Фолансби сделал шаг вперед.

— Мистер Кэсвел, не знаю, как это произошло, но мы совершили ужасную ошибку. Регенератор, приобретенный вами,— марсианский вариант, предназначенный для лечения марсиан.

— Я знаю,— сказал Кэсвел.

— Знаете?

— Разумеется. Это быстро выяснилось.

— Ситуация была опасной,— сказал Рэт,— особенно для человека с вашими... ээ... неприятностями.— Незаметно для Кэсвела он внимательно изучал его. Тот вел себя нормально, но внешность часто обманчива, особенно у душевнобольных. У Кэсвела была мания убийства, нет оснований считать, что она исчезла бесследно.

И Рэт пожалел, что так рано отослал Смита и его отряд. Присутствие вооруженных полицейских иногда успокаивает.

Кэсвел прошел в другой угол комнаты, где стояла терапевтическая машина. Одна рука у него была все еще в кармане, другую он любовно положил на Регенератор.

— Бедняга, он старался изо всех сил,— сказал он.— Конечно, он не мог излечить то, чего не было.— Он усмехнулся.— Правда, ему это почти удалось!

Следя за выражением лица Кэсвела, Рэт сказал подчеркнуто небрежным голосом:

— Рад, что все обошлось, сэр. Компания, разумеется, компенсирует потерянное время и нанесенный вам моральный ущерб...

— Разумеется,— сказал Кэсвел.

— ...и мы немедленно заменим этот Регенератор нормальной земной моделью.

— В этом нет необходимости.

— Нет?

— Нет.— В голосе Кэсвела звучала твердость.— Терапия, начатая машиной, побудила меня провести глубокий самоанализ. В момент полного проникновения в собственное сознание мне удалось переоценить и отбросить мое намерение убить бедного Мэгнесена.

Рэт недоверчиво наклонил голову.

— Вы не испытываете сейчас такой потребности?

— Нисколько.

Рэт насупился, хотел что-то сказать, но остановился. Он повернулся к Фолансби и Хэскинсу:

— Заберите машину. Я с вами еще поговорю в магазине.

Управляющий и продавец подняли Регенератор и вышли.

Рэт сделал глубокий вдох:

— Мистер Кэсвел, я бы вам весьма рекомендовал принять бесплатно новый Регенератор от Компании. Без правильного лечения методом механотерапии сохраняется опасность возобновления процесса.

— В данном случае опасности нет,— мягко, но твердо сказал Кэсвел.— Благодарю вас за заботу, сэр. Спокойной ночи.

Рэт пожал плечами и направился к двери.

— Погодите! — крикнул Кэсвел.

Рэт обернулся. Кэсвел вытащил руку из кармана. В руке был револьвер. Рэт почувствовал, как струйки пота стекают под мышками. Он прикинул расстояние между собой и Кэсвелом. Слишком далеко.

— Возьмите,— сказал Кэсвел, протягивая револьвер рукояткой вперед.— Мне это больше не понадобится.

Рэт с равнодушным выражением лица принял револьвер и засунул его в свой бесформенный карман.

— Спокойной ночи,— сказал Кэсвел. Он закрыл за Рэтом дверь и запер ее.

Наконец он остался один.

Кэсвел прошел на кухню. Откупорил бутылку пива, сделал большой глоток и сел за кухонный стол. Он не спускал глаз с точки, находившейся немного выше и левее стенных часов.

Он должен разработать свой план сейчас. Времени терять нельзя.

«Мэгнесен! Злое чудовище, срубившее горику Кэсвелов! Мэгнесен! Человек, который тайно собирается заразить Нью-Йорк отвратительной фим-манией! О, Мэгнесен, желаю тебе долгой-долгой жизни, полной мучений, которые я тебе принесу! И для начала...»

Кэсвел улыбнулся, представив, как он будет дварковать Мэгнесена влендишным способом.

ЛОДОЙН ТУДЭВ

Крылатый конь

По обычаям старинным раньше для своих сынов
старики отцы растили быстроногих скакунов...

— Поскачу к соседям в гости, дай скорей, отец, коня!
И помчусь, да так, чтоб ветер не сумел догнать меня...

— Я хочу лететь к Венере, дай ракету мне, отец,—
нынче требует малышка, мой сынишка, мой птенец.

Видно, старые подарки нынче сыну ни к чему,
и пришла пора иные, новые, дарить ему.

Кони вроде бы не в моде, что ж касается ракет —
подожди, сынок, немного, их пока в продаже нет.

Будет время — и помчишься ввысь по звездному лучу.
А пока тебя по-русски говорить я научу...

Смотрит вдаль Земля-планета, в даль космических путей,
а летящая ракета говорит по-русски с ней...

На фотографии — Земля...

В пустыне марсианской, на краю
Вселенной, одиночеством томимый,
достану фотографию твою,
вгляжусь, волнуясь, в облик твой любимый...
Увижу звездочку далекого Кремля,
у сердца твоего сияющую ало,—
и сразу станешь ближе ты, Земля,
и одиночества — как не бывало!..

Перевод с монгольского
ЯКОВА БЕЛИНСКОГО

УИЛЬЯМ ТЕНН

НЕДУГ

РАССКАЗ

Перевод с английского НОРЫ ГАЛЬ

Да будет известно: первым оказался русский, Николай Белов, с него-то все и началось. Он сделал открытие миль за шесть от корабля назавтра после посадки, ведя самую обыкновенную геологическую разведку. Он мчался тогда во всю мочь на гусеничном джипе — американской машине, сработанной в Детройте.

Он почти сразу радировал на корабль. В рубке, по обыкновению, сидел штурман Престон О'Брайен — проверяя электронный вычислитель, он ввел в машину примерные данные для обратного курса. Он откликнулся на вызов. Белов, разумеется, говорил по-английски, О'Брайен — по-русски.

— Слушайте, О'Брайен! — взволнованно сказал Белов, узнав голос штурмана.— Угадайте, что я нашел? Марсиан! Целый город!

О'Брайен рывком выключил жужжащий вычислитель, откинулся в кресле и всей пятерней взъерошил короткие рыжие волосы. Конечно, для этого не было никаких оснований, но почему-то все они были убеждены, что они — одни на ледяной и пыльной безводной планете. Услыхав, что это не так, О'Брайен вдруг ощутил острый приступ клаустрофобии. Словно сидел в тихой, просторной университетской библиотеке, сосредоточенно обдумывая диссертацию, потом поднял голову — а вокруг полным-полно болтливых первокурсников, только что написавших сочинение по литературе. Была еще такая неприятная минута в Бенаресе, в самом начале экспедиции: его душил кошмар, снилось, будто он один, беспомощный, уносится куда-то в беззвездную черную пустоту... а потом он очнулся и увидел над собой свисающую с верхней койки могучую руку Колевича и услышал его густой, истинно славянский храп. И не в том только дело, что разгулялись нервы, уверял он себя; в конце концов, тогда у всех нервы пошаливали... уж такие то были дни.

Он всю жизнь терпеть не мог толчеи и многолюдья. И терпеть не мог, когда к нему врывались без спросу. С досадой он потер руки и покосился на свои уравнения. Конечно, как подумаешь, если к кому и ворвались без спросу, так это к марсианам. Вот то-то и оно.

О'Брайен откашлялся и спросил:

— Живые марсиане?

— Нет, конечно. Откуда они возьмутся живые, когда у планеты никакой атмосферы не осталось? Тут только и есть живого что лишайники, да, может, два-три вида песчаных червей. Мы таких уже видели возле корабля. Последние марсиане умерли, наверно, миллион лет назад. Но город цел, О'Брайен, цел и почти не тронут временем!

Как ни мало штурман смыслил в геологии, это показалось ему невероятным.

— Город цел? Вы хотите сказать, за миллион лет он не рассыпался в прах?

— Ничего похожего! — с торжеством объявил Белов.— Понимаете, он подземный. Смотрю, огромная дыра косо уходит куда-то вниз. Что такое, почему? С местностью она никак не сочетается. И оттуда все время дует, воздушный поток не дает песку засыпать отверстие. Ну, я и въехал туда на джипе, углубился ярдов на шестьдесят, а там огромный, пустой марсианский город. До чего же красивый город, О'Брайен!

— Ничего не трогайте! Неужели настоящий город?

— Думаете, я рехнулся? Вот я как раз делаю снимки. Уж не знаю, какая механика поддерживает противопесочную вентиляцию, но она дает и освещение — тут светло, прямо как днем. А какой город! Бульвары — как разноцветная паутина. Дома — как... как... Куда там долина Королей, куда там Микены! Никакого сравнения! Я ведь еще и археолог, О'Брайен, это моя страсть — вы не знали? Так вот, знайте. И разрешите вам сказать, что Шлиман полжизни бы отдал за такое открытие! Изумительно!

О'Брайен усмехнулся его восторженности. В такие минуты поневоле чувствуешь, что русские — неплохие ребята и, может, еще все как-нибудь уладится.

— Поздравляю,— сказал он.— Фотографируйте и возвращайтесь поскорей. Я предупрежу капитана Гоза.

— Постойте, О'Брайен, это еще не все. Этот народ... марсиане... Они были такие же, как мы! Такие же люди!

— Что? Люди?! Такие, как мы?!

В наушниках зазвенел ликующий смех Белова.

— Вот и я так же зашелся. Поразительно, правда? Самые настоящие люди, совсем как мы. Пожалуй, еще получше нас. Тут посреди площади стоят две обнаженные статуи. Так разрешите вам сказать, они сделали бы честь Фидию, Праксителю и Микеланджело. А изваяны они в пору нашего плейстоцена или плиоцена, когда по Земле еще рыскали саблезубые тигры!

О'Брайен что-то буркнул и отключился. Подошел к иллюминатору (в рубке был даже не один, а два иллюминатора) и стал смотреть на пустыню — вся она, сколько хватал глаз, горбилась однообразными буграми и холмами, они уходили все дальше и под конец тонули в клубах мельчайшего взметенного ветром песка.

Вот он, Марс. Мертвая планета. Да, мертвая, ведь только самые примитивные формы животной и растительной жизни как-то ухитрились уцелеть в этом суровом, враждебном мире, который так скупо оделяет их воздухом и водой. И все же некогда здесь жили люди — такие же, как он и Николай Белов. Были у них и искусство, и наука, и уж наверно разные философские учения. Когда-то они обитали на Марсе, эти люди, и вот их больше нет. Быть может, и для них тоже сосуществование стало трудной задачей — и они не сумели ее решить?

Из-под корабля неуклюже выбрались двое в скафандрах. О'Брайен узнал лица за прозрачными забралами круглых шлемов. Тот, что пониже ростом, Федор Гуранин, главный инженер; другой — его помощник Том Смейзерс. Должно быть, они осматривали хвостовые сопла, проверяли, нет ли каких-нибудь повреждений после межпланетного перелета. Через неделю Первая экспедиция Земля—Марс двинется в обратный путь; задолго до этого все снаряжение, все механизмы надо отладить так, чтобы они работали без сучка и задоринки.

Смейзерс увидел за иллюминатором О'Брайена и приветственно махнул рукой. Штурман помахал в ответ. Гуранин с любопытством

поднял глаза, чуть помешкал — и тоже махнул рукой. Теперь замешкался О'Брайен. Фу, черт, как глупо! Почему бы и нет? Он ответил Гуранину широким дружеским жестом.

Потом усмехнулся про себя. Видел бы их сейчас капитан Гоз! Его аристократическое, кофейного цвета лицо так и расплылось бы в счастливой улыбке. Бедняга! Вот такими крохами добрых чувств он и питается.

Да, кстати, чуть не забыл! О'Брайен вышел из рубки и заглянул в камбуз — там Семен Колевич, помощник штурмана и главный кок, открывал консервы к обеду.

— Не знаете, где капитан? — спросил по-русски О'Брайен.

Тот холодно взглянул на него, продолжая работать консервным ножом, и только когда вскрыл банку и выбросил крышку в мусоропровод, ответил коротким английским «нет».

О'Брайен вышел; в коридоре ему встретился маленький круглолицый доктор Элвин Шнейдер — толстяк шел отбывать свою вахту в камбузе.

— Не видал капитана, док?

— Он в машинном отсеке,— ответил корабельный врач.— Будет сейчас совещаться с Гураниным.

Оба говорили по-русски.

О'Брайен кивнул и пошел дальше. Пять минут спустя он распахнул дверь машинного отсека; здесь капитан Субод Гоз, еще недавно профессор Политехнического института в Бенаресе, разглядывал большую настенную схему двигателей. Капитан Гоз был еще молод — на корабле не было ни одного человека старше двадцати пяти,— но безмерная ответственность лежала на нем тяжким грузом, и оттого глаза его ввалились и под ними чернели круги. Казалось, его ни на минуту не отпускает страшное внутреннее напряжение. Да так оно и есть, подумал О'Брайен, иначе и быть не может.

Он передал капитану сообщение Белова. Гоз нахмурился.

— Гм...— сказал он.— Надеюсь, у него хватило здравого смысла, чтобы не...— он вдруг спохватился, что говорит по-английски.— Ох, простите, О'Брайен! — продолжал он по-русски, и взгляд его еще больше помрачнел.— Я только что думал о Гуранине; мне, видно, показалось, что это я с ним разговариваю. Извините.

— Да ну, пустяки,— пробормотал О'Брайен.— Мне только приятно.

Гоз улыбнулся, но улыбка тотчас сбежала с его лица.

— Постараюсь больше не ошибаться. Так вот, надеюсь, у Белова хватило здравого смысла сдержать любопытство и ничего не трогать.

— Он так и сказал, что ничего не тронет. Не беспокойтесь, капитан, Белов — малый с головой. Как и все остальные: все мы — ребята с головой.

— Город в целости и сохранности...— озабоченно промолвил рослый индиец.— Там могла уцелеть и жизнь... вдруг он нечаянно пустит в ход какую-нибудь систему сигнализации, трудно даже представить последствия. Откуда мы знаем, возможно, тут сохранилось какое-то автоматическое оружие, бомбы, что угодно. Белов мог и сам погибнуть, и нас погубить. В этом городе может оказаться довольно такого, чтобы взорвать весь Марс.

— Ну, не знаю,— заметил О'Брайен.— Мне кажется, это уж чересчур. Мне кажется, вас просто преследует мысль о бомбах, капитан.

Гоз серьезно посмотрел на него.

— Да, мистер О'Брайен. Вы совершенно правы.

О'Брайен почувствовал, что краснеет. Он поспешил заговорить о другом.

— Нельзя ли мне на часок забрать Смейзерса? Вычислители как будто работают неплохо, но я хотел бы лишний раз проверить кое-какие схемы — мало ли что, чем черт не шутит...

— Я спрошу Гуранина, может ли он обойтись без Смейзерса. А что ваш помощник?

Штурман скорчил кислую мину.

— В электронике Колевич смыслит вдвое меньше Смейзерса. Он превосходный математик, но не более того.

Гоз посмотрел испытующе, словно стараясь понять, только ли в электронике дело.

— Очень может быть. Да, кстати. Я хочу вас просить до отлета на Землю не покидать корабля.

— Что вы, капитан! Я хотел бы поразмяться. И я имею такое же право, как и все... выйти... выйти в иной мир.

О'Брайен и сам чуточку смутился от таких громких слов. Но, черт побери, не для того же он пролетел сорок миллионов миль, чтобы глядеть на Марс в иллюминатор!

— Размяться можно и на корабле. Прогулка в скафандре — небольшое удовольствие, это вы знаете не хуже меня. А насчет иного мира — вы уже выходили в него, О'Брайен, вчера, когда мы торжественно установили знак экспедиции.

О'Брайен посмотрел мимо Гоза в иллюминатор. Вот она виднеется, белая трехгранная пирамидка, которую они вчера установили неподалеку от корабля. На одной ее стороне по-английски, на другой — по-русски, на третьей — на хинди выбита одна и та же надпись: «ПЕРВАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ ЗЕМЛЯ — МАРС ВО ИМЯ ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА».

Тонко придумано. И очень по-индийски. Но хватает за душу. Да и все в этой экспедиции хватает за душу.

— Вы слишком ценный человек, чтобы вами рисковать, О'Брайен,— объяснял между тем Гоз.— Мы в этом убедились на пути сюда. Никто не может в случае надобности так быстро и точно рассчитать внезапную перемену курса, как электронные вычислители. А поскольку вы помогали их проектировать, никто не справится с ними лучше вас. Поэтому мой приказ остается в силе.

— Полноте, не только света, что в окошке: у вас есть в запасе Колевич.

— Минуту назад вы сами сказали, что Семен Колевич недостаточно искушен в электронной технике. Если в вычислителях что-нибудь разладится, надо будет привлечь Смейзерса, чтобы они с Колевичем управлялись вдвоем, а это не наилучший способ делать дело. И я подозреваю, что Смейзерс плюс Колевич — это еще не равно Престону О'Брайену. Нет, весьма сожалею, но рисковать мы не можем: вы человек незаменимый.

— Хорошо,— негромко сказал О'Брайен.— Приказ есть приказ. Но в одном я все-таки не согласен с вами, капитан. Вы знаете не хуже меня, что на корабле есть только один незаменимый человек. И этот человек — не я.

Гоз что-то проворчал и отвернулся. Вошли Гуранин и Смейзерс, скафандры они оставили в тамбуре. Капитан и главный инженер коротко посовещались по-английски, и Гуранин, почти не сопротивляясь, уступил Смейзерса О'Брайену.

— Но не позже трех он мне понадобится.

— Вы его получите,— по-русски пообещал О'Брайен и увел Смейзерса, а Гуранин заговорил с капитаном о ремонте двигателя.

— Как это он тебя не заставил написать на меня официальную заявку! — заметил Смейзерс.

— У него в машинном отсеке свои заботы, Том. И, ради всего святого, говори по-русски. Неровен час, услышит капитан или кто-нибудь из *них.* Ты что, хочешь под занавес затеять ссору?

— Я не нарочно, Пресс. Просто забылся.

О'Брайен и сам знал, что забыться очень легко. И почему правительство Индии не пожелало, чтобы все семеро американцев и семеро русских изучили хинди? Тогда все в экспедиции объяснялись бы на одном общем языке — на языке капитана. Хотя ведь родной язык Гоза — бенгали...

А впрочем, очень понятно, почему индийцы настояли, чтобы участники, готовясь к экспедиции, кроме многого другого, овладели еще и этими двумя языками. Надеялись, что если русские между собой и с американцами будут говорить по-английски, американцы же станут отвечать им и между собой объясняться по-русски, в пределах корабля будет кое-что достигнуто, пусть даже и не удастся достичь политических целей всемирного масштаба. А когда экспедиция возвратится, каждый из ее участников станет распространять у себя на родине усвоенные за время полета идеи дружбы и сотрудничества во имя жизни на Земле.

Вот так, примерно. Очень мило — и хватает за душу... Но разве не больше хватает за душу то, что творится сейчас в мире? Надо что-то делать, да поскорее. Индийцы, по крайней мере, пытаются что-то сделать. А не просто сидят ночами без сна, уставясь в одну точку — на грозную цифру шесть, что так и пляшет перед глазами *...шестерка, шесть бомб, довольно шести новейших кобальтовых бомб — и конец всей жизни на Земле!*

Всем известно, что у Америки есть в запасе по меньшей мере девять таких бомб, у России — семь, у Англии — четыре, у Китая — две и еще, по крайней мере, пять — в арсеналах пяти других гордых и независимых государств. Что могут натворить эти бомбы, очень наглядно показали испытания, проведенные Америкой и Россией на их новых полигонах с обратной стороны Луны.

Шесть. Довольно шести бомб — и с планетой будет покончено. Все знают это, и все знают: случись война, бомбы эти рано или поздно будут пущены в ход; к ним прибегнет тот из противников, кому будет грозить поражение и вражеская оккупация, а руководителям — скамья подсудимых, суд над военными преступниками.

И все знают, что войны не миновать.

Год за годом войну сдерживали, но год за годом она неотвратимо надвигалась. Словно затяжная упорная болезнь: человек пытается ее побороть, но с каждым днем сил у него становится меньше, он с отчаянием смотрит на градусник, с нарастающим ужасом прислушивается к своему тяжелому дыханию, пока наконец болезнь не одолеет его и не прикончит. Каждый кризис кое-как удавалось преодолеть, но всякий раз положение становилось немного хуже. Вслед за международными конференциями возникали новые союзы, затем следовали новые конференции, а война все надвигалась — ближе, ближе...

И вот она уже рядом. Она едва не разразилась три года назад ни много ни мало из-за какого-то Мадагаскара, и избежать ее удалось просто чудом. Она едва не разразилась в минувшем году из-за территориальных прав на обратную сторону Луны, и снова ее предотвратило сверхчудо: в последнюю минуту в роли третейского судьи выступило правительство Индии. Но сейчас человечество поистине стоит на грани. Еще два месяца, еще полгода, от силы год — и войны не миновать. Это знают все. Все ждут уничтожения и гибели — и лишь изредка, если выдастся свободная минута, судорожно спохватываются: да почему же

мы только ждем сложа руки? Почему это так уж неизбежно? И однако все знают: да, неизбежно.

Словом, Советский Союз и Соединенные Штаты наперебой создавали все новые и новые ракеты и совершенствовали технику межпланетных перелетов, чтобы, когда настанет час бомб, можно было взрывать их побыстрее и с наибольшим эффектом,— и в такой-то обстановке Индия выступила со своим предложением. Пусть два могучих соперника объединятся для задуманного обоими дела, объединят свои знания и силы. Одна сторона уже немного дальше продвинулась в искусстве космонавтики, другая, как известно, достигла немного бóльших успехов в строительстве атомных ракет. Пусть же они сообща снарядят экспедицию на Марс, которую организует Индия и возглавит капитан-индиец во имя и для блага всего человечества. И пусть всему миру раз и навсегда станет ясно, какая из сторон отказывается от сотрудничества.

Возможно, такое предложение, да еще сделанное в самую подходящую минуту, было немыслимо. И вот они на Марсе, думает О'Брайен; они вместе прилетели сюда и, надо полагать, сумеют вместе вернуться на Землю. Быть может, они многое доказали, но помешать ничему не помешали. Международное положение остается прежним; не пройдет и года — и разразится война. Участники экспедиции понимают это не хуже, а, быть может, лучше кого-либо другого.

По дороге в рубку, проходя мимо люка, они увидели Белова — он вылезал из скафандра. Продолжая раздеваться, неуклюже подпрыгивая то на одной, то на другой ноге, он заспешил к ним.

— Недурная находка, а? — прогудел он.— На второй же день, посреди пустыни! Погодите, вот увидите мои снимки!

— Жду не дождусь,— отозвался О'Брайен.— А пока что поторопитесь-ка в машинный отсек и доложите капитану. Он боится — вдруг вы там нажали какую-нибудь кнопку, замкнули цепь и пустили в ход машину, которая взорвет весь Марс, а заодно и нас.

Русский широко улыбнулся, показав редко поставленные зубы.

— Уж этот Гоз, везде ему чудятся взрывающиеся планеты...

Он потрогал ладонью темя, поморщился и легонько помотал головой.

— Что это вы? — спросил О'Брайен.

— Побаливает голова. Только сейчас заболела. Наверно, я слишком долго пробыл в этой одежке.

— Я в ней пробыл вдвое дольше вашего, а голова ни капельки не болит,— заметил Смейзерс, рассеянно подталкивая ногой сброшенный Беловым скафандр.— Может, у нас в Америке головы покрепче.

— Том! — рявкнул О'Брайен.— Какого черта?

Белов так стиснул губы, что они побелели. Потом пожал плечами.

— После обеда — в шахматы, О'Брайен?

— Непременно. И, если хотите знать, я собираюсь идти напролом. Я все равно уверен, что черные могут выиграть.

— Тут вам и крышка,— усмехнулся Белов и направился в машинный отсек, на ходу осторожно поглаживая темя.

Когда они остались в рубке вдвоем и Смейзерс принялся разбирать вычислитель, О'Брайен плотно прикрыл дверь и сказал сердито:

— Дернула тебя нелегкая, Том! Эти шуточки слишком опасны. И примерно так же забавны, как объявление войны.

— Знаю. Но Белов действует мне на нервы.

— Белов? Да он—самый славный парень из всех русских на борту.

Помощник инженера отвинтил боковую панель и присел перед вычислителем на корточки.

— С тобой он, может, и славный. А мне вечно подпускает шпильки.

— Как это?

— Да по-всякому. Взять хотя бы шахматы. Я предлагаю сыграть, а он отвечает — с одним условием: если он даст мне фору ферзя. И смеется этаким, знаешь, въедливым смешком.

— Проверь-ка верхний контакт,— предупредил штурман.— И слушай, Том, ведь Белов — классный игрок. На последнем московском турнире он занял седьмое место, а там сплошь были мастера и гроссмейстеры. Это совсем недурной результат, ведь у них там шахматы — первая игра, на ней все помешаны, все равно как у нас — на футболе и бейсболе, вместе взятых.

— Да знаю я, что он отличный шахматист. Но я тоже не из последних. Уж не так я плох, чтоб давать мне фору ферзя. Целого ферзя!

— И ты уверен, что только в этом дело? Кажется, ты уж чересчур скверно к нему относишься, а какие у тебя, в сущности, основания?

Смейзерс минуту помолчал, разглядывая электронную лампу. Потом сказал, не поднимая глаз:

— Зато ты, кажется, уж чересчур нежно к нему относишься. А у тебя, в сущности, какие основания?

О'Брайен едва не вспылил, но вдруг кое-что вспомнил и прикусил язык. В конце концов это может быть кто угодно. Может, это и Смейзерс...

Перед самым отъездом из Нью-Йорка в Бенарес, где они должны были встретиться с русскими, членов экипажа пригласили в военно-разведывательное управление и дали им последние сверхсекретные инструкции. Им толковали о том, насколько сложным будет их положение и какими опасностями оно чревато. С одной стороны, уклониться от предложения Индии никак нельзя, Соединенные Штаты должны показать всему миру, что они соглашаются участвовать в этой совместной научной экспедиции по меньшей мере так же охотно и искренне, как и русские. А с другой стороны, столь же важно, если не важнее, чтобы завтрашний противник не смог, используя объединенные знания и приемы, получить какое-то серьезное, даже решающее преимущество — например, на обратном пути завладеть космическим кораблем и вместо Бенареса приземлиться где-нибудь в Баку.

И потому, сказали им, один из них пройдет обучение в военной разведке и получит соответствующий чин. Кто именно — это останется в тайне до той минуты, когда он увидит, что русские что-то затевают. Тогда он условной фразой объявит остальным американцам — членам экипажа, кто он такой, и с этой минуты все они будут подчиняться уже не Гозу, а ему. Неповиновение в этом случае равносильно государственной измене.

А условная фраза? Вспомнив ее, Престон О'Брайен невольно усмехнулся: *«Обстрелян форт Самтер»*.

Но после того, как кто-то из них встанет и произнесет эти слова, начнется нечто отнюдь не забавное...

Наверняка и среди русских есть один такой. И наверняка Гоз подозревает, что и американцы и русские застраховали себя подобным способом от всяких случайностей, и от этого бедняге капитану уж совсем плохо спится по ночам.

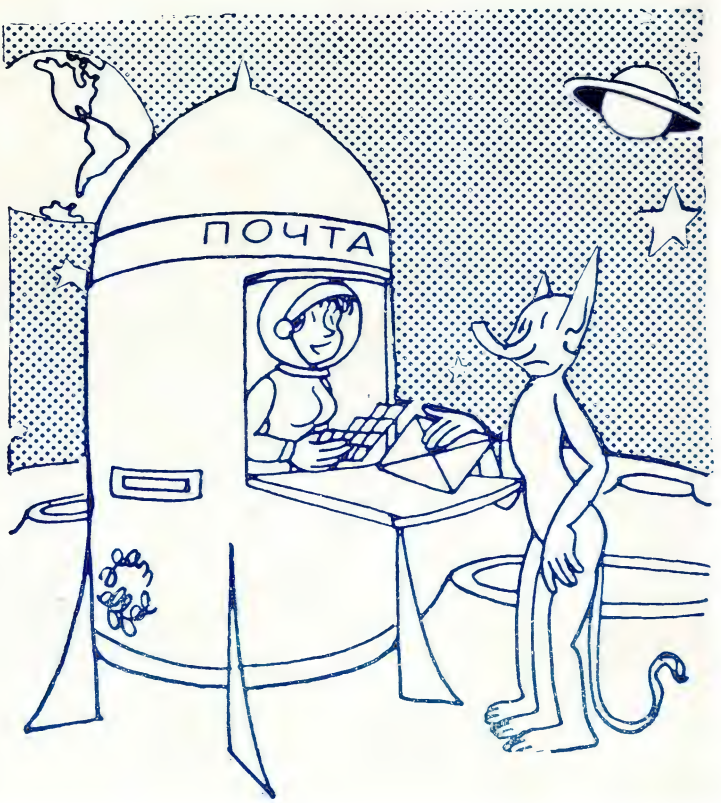
А какая условная фраза у русских? *«Обстрелян Кронштадт»?*

Да, что и говорить, очень будет весело, если кто-нибудь и впрямь допустит серьезный промах.

Вполне возможно, что Смейзерс и есть тот самый офицер военной разведки. После его шуточки насчет нежного отношения к Белову это выглядит очень правдоподобно. И не надо было ничего отвечать, это я правильно поступил, думал О'Брайен. В наше время надо быть поосторожнее; а тут, на корабле, тем более.

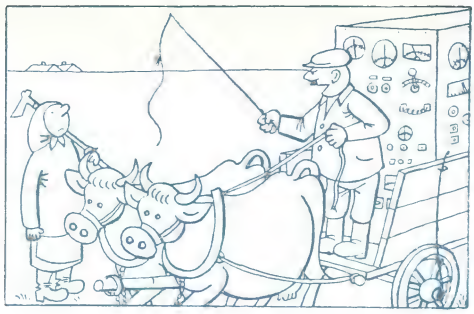
Реплика карикатуриста

Краболов 1969 года.
(Рис. Ж. Эффеля)



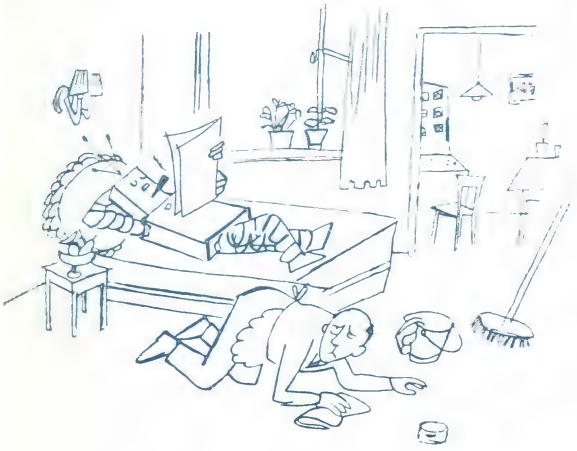
- Сколько за марку?
- 4 копейки в пределах олнечной системы; вдвойе — за границу.

(Рис. Ж. Эффеля)



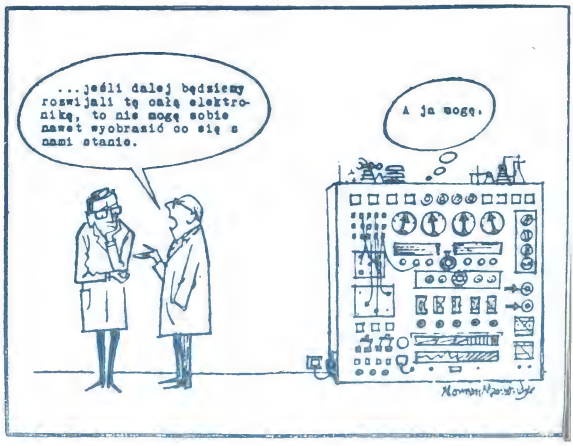
«Нам выделили кибернетическую машину!»

«Дорогой гость, разрешите в первую очередь задать вам один вопрос: вы не Брижитт Бардо?»



«В чем-то должна быть ошибка...»

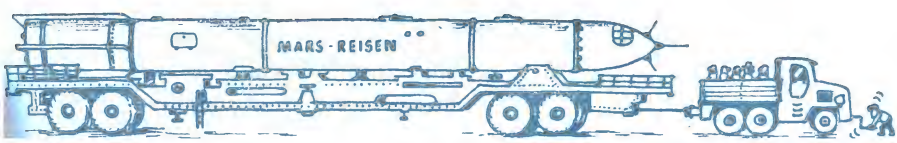
«Если дальше мы так будем развивать электронику, то я даже представить себе не могу, что с нами станет».
Машина: «А я могу».

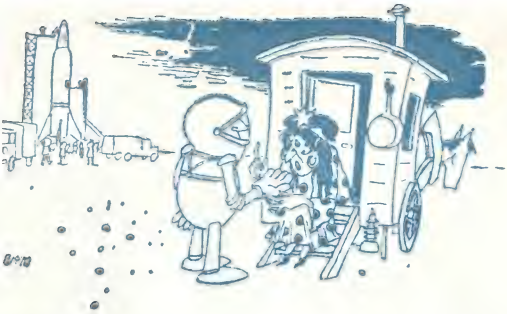


«Эта машина заменяет десять бюрократов».

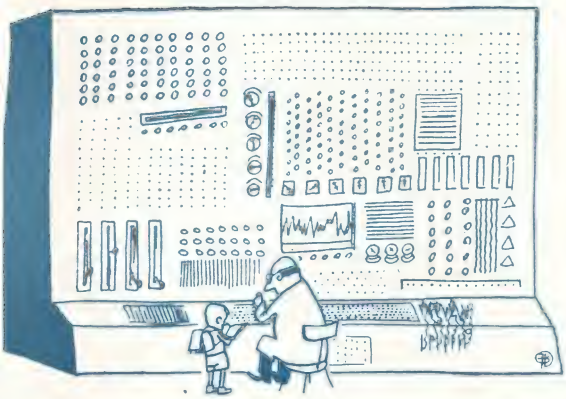
«Сколько раз я тебя просил не брать моего служебного робота!»

«Этот наш председатель кого хочешь уговорит!..»



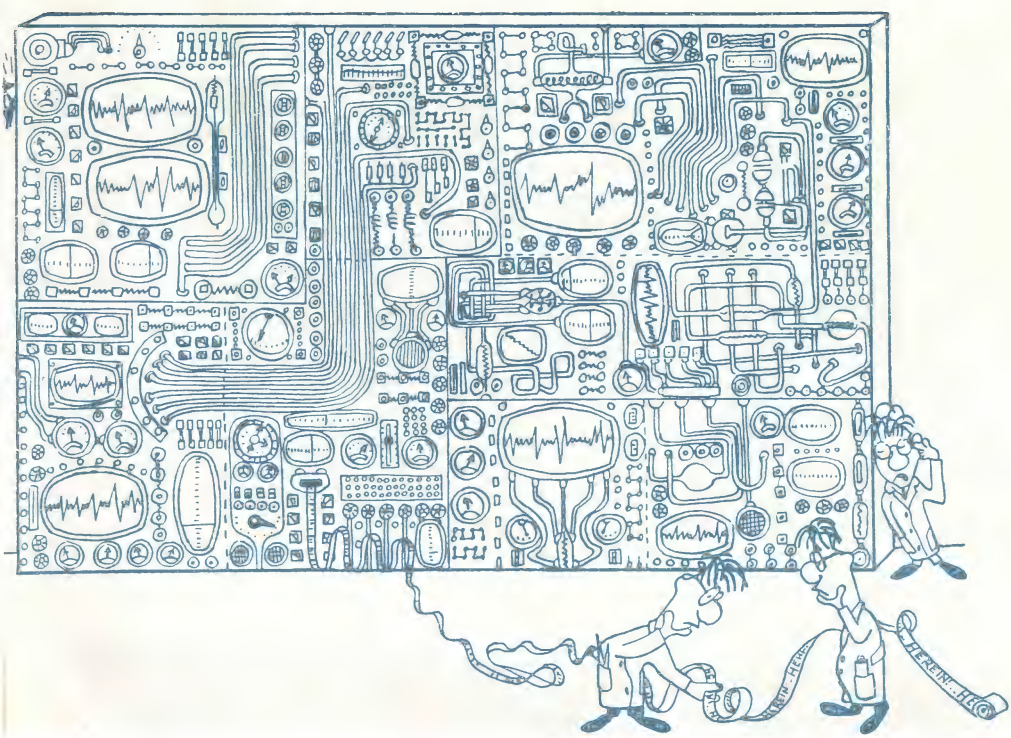


«Он слишком много знал...»



«Так как там? Поезд выехал из пункта «Б» со скоростью 72 километра в час...»

«Войдите!»



Вообще-то понятно, что именно точит Смейзерса. В сущности, по той же самой причине и Белов так охотно сражается в шахматы с ним, штурманом, который на Земле даже мечтать не мог бы о встрече с таким сильным игроком.

У О'Брайена был самый высокий коэффициент умственного развития во всей экспедиции. Ничего сверхъестественного, не очень уж намного выше, чем у других. Просто в экипаже, составленном из самых блестящих и талантливых молодых людей, каких только можно было отобрать среди сливок ученого мира в Америке и в Советском Союзе, должен же кто-то оказаться выше всех. Вот таким человеком и оказался Престон О'Брайен.

Но О'Брайен — американец. А при подготовке экспедиции все до мелочей обсуждалось и учитывалось на самом высоком уровне, со всеми дипломатическими ухищрениями и закулисными маневрами, к каким всегда прибегают, определяя границы первостепенной стратегической важности. А потому членом экипажа с самым низким IQ тоже неминуемо должен был оказаться американец.

И таким американцем оказался помощник инженера Том Смейзерс.

Опять-таки ничего страшного, коэффициент на самую малость ниже, чем у следующего по порядку. И сам по себе — отличный, на редкость высокий коэффициент.

Но до того, как они стартовали из Бенареса, они довольно долго жили бок о бок. Они многое узнали друг о друге — и из непосредственного общения, и из официальных документов; ведь невозможно сказать заранее, какие именно сведения о твоем спутнике помогут избежать несчастья в случае, если разразится какая-нибудь невероятная катастрофа, которую немыслимо предусмотреть.

И вот Николай Белов, которого сама природа создала гениальным шахматистом, как Сару Бернар — гениальной актрисой, с каким-то особым, неизменным наслаждением обыгрывает любителя, еле-еле годного для студенческой команды. А Том Смейзерс лелеет в душе обиду, чувство собственной неполноценности, которое только и ждет предлога, чтобы перерасти в открытую вражду.

Это просто смешно, думал О'Брайен. Хотя — почем знать? Со стороны рассуждать легко, сам-то он не побывал в шкуре Тома Смейзерса.

Смешно? Да, смешно — как шесть кобальтовых бомб. *Раз, два, три, четыре, пять, шесть — и трах!*

Быть может, беда в том, что все они — одной смешной породы. И скоро они вымрут — вымрут, как динозавры.

И как марсиане.

— Хоть бы скорей поглядеть на эти беловские снимки,— сказал он Смейзерсу: лучше заговорить о чем-то безобидном, не вызывающем споров.— Ты только вообрази — на этом голом комке пыли разгуливают живые люди, строят города, любят, решают всякие научные проблемы — и все это миллион лет назад!

Помощник инженера что-то буркнул, усердно копаясь в путанице проводов; он явно не желал давать волю воображению, если это как-то связано с ненавистным Беловым. Но О'Брайен не унимался.

— Интересно, куда они подевались, марсиане? Если они целую вечность назад достигли такого высокого развития, они уж наверно додумались до межпланетных путешествий и нашли себе жилище получше. Как по-твоему, Том, прилетали они на Землю?

— Угу. Белов их прямой потомок.

Ну что с ним поделаешь? Этакий норов! Не стоило продолжать разговор. Смейзерс, видно, никак не примирится с тем, что Белов только с ним, О'Брайеном, играет на равных.

А все-таки ему не терпелось поглядеть на эти фотографии. И когда они сошлись к обеду в просторном помещении посередине корабля, которое служило разом и спальней, и столовой, и клубом, и складом провизии, он прежде всего поискал глазами Белова.

Но Белова здесь не было.

— Он в кабинете у врача,— серьезно, хмуро сказал его сосед по столу Лаятинский.— Ему нездоровится. Шнейдер его осматривает.

— Голова разболелась?

Лаятинский кивнул:

— Становится все хуже и хуже. И суставы ломит. И жар у него. Похоже на менингит.

— Ого!

При такой скученности болезнь вроде менингита мигом перекинется на всех. Впрочем, Гуранин ведь не врач, а инженер. Что он в этом понимает, с чего ему вздумалось ставить диагноз?

И тут О'Брайен заметил необычную тишину в столовой. Все ели, не поднимая глаз. Колевич раскладывал еду по тарелкам — правда, он был мрачноват, но, может быть, просто потому, что пришлось не только готовить обед, а еще и подавать, так как дежурный помощник повара доктор Элвин Шнейдер вынужден был заняться делом куда более важным и неотложным.

Но американцы просто помалкивали, а русские были чернее тучи, прямо как на похоронах. Все осунулись, челюсти сжаты, будто люди ждут расстрела. И дышат они все тяжело, медленно и хрипло — так бывает, когда бьешься над мучительно трудной задачей.

Вот оно что! Если Белов серьезно заболел, если он выбыл из строя, они попадают в невыгодное положение: у американцев теперь численное превосходство, они примерно на пятнадцать процентов сильнее. И если дойдет до стычки...

Но тогда диагноз, поставленный медиком-любителем Гураниным,— это отчаянная попытка сохранить оптимизм. Да-да, оптимизм! Ведь если у Белова менингит, штука очень прилипчивая, заразиться могут и другие, американцы с таким же успехом, как и русские. Тогда, может быть, они снова сравняются.

О'Брайена пробрала дрожь. Что за безумие...

А впрочем... что, если бы сейчас там, наверху, лежал тяжело больной американец, а не русский? Пожалуй, тогда и он, О'Брайен, стал бы думать, как думает сейчас Гуранин. Пожалуй, и он стал бы надеяться на менингит, как на спасение.

В столовую спустился капитан Гоз. Казалось, глаза у него еще больше потемнели и ввалились еще глубже.

— Прошу внимания. Сразу после обеда всем явиться в рубку, она сейчас будет служить дополнением к врачебному кабинету.

— А для чего явиться, капитан? — спросил кто-то.

— Для профилактической прививки.

Наступило молчание. Гоз пошел к выходу. Главный инженер откашлялся.

— А как Белов? — спросил он.

Капитан чуть помедлил.

— Мы еще не знаем,— сказал он, не оборачиваясь.— И если вы хотите спросить, чем болен Белов, отвечу: этого мы пока тоже не знаем.

У двери в рубку выстроилась молчаливая очередь — люди сосредоточенно ждали, входили и выходили по одному. Настал черед О'Брайена.

Он вошел, закатывая, как было велено, правый рукав. В дальнем конце рубки стоял Гоз и смотрел в иллюминатор с таким видом, словно ждал прибытия спасательной экспедиции. Стол штурмана сплошь был

покрыт комками ваты, мензурками со спиртом и пузырьками с какой-то мутной жидкостью.

— Что это за снадобье, док? — спросил О'Брайен после укола, когда ему разрешили опустить рукав.

— Дуоплексин. Новый антибиотик, его получили в прошлом году в Австралии. Пределы его действия еще не установлены, но это — самое универсальное и самое сильное средство, каким сейчас располагает медицина. Не очень-то приятно пускать в ход такое сомнительное зелье, но в Бенаресе перед стартом мне велели в случае каких-либо неясных симптомов вкатить каждому из вас полную порцию.

— Гуранин говорил, похоже, что у Белова менингит,— заметил штурман.

— Это не менингит.

О'Брайен помешкал еще минуту, но врач заново наполнял шприц и, видимо, не собирался вдаваться в дальнейшие объяснения. О'Брайен посмотрел на неподвижную спину капитана Гоза и сказал:

— А как со снимками? Еще не проявлены? Хотелось бы поглядеть.

Капитан отвернулся от иллюминатора и, заложив руки за спину, прошелся по рубке.

— Скафандр и все снаряжение Белова тоже с ним в карантине,— негромко ответил он.— Так распорядился доктор.

— А-а. Вот это жаль.— О'Брайен понимал, что пора уходить, но любопытство взяло верх. Эти двое чем-то встревожены, и их тревога куда сильней, чем страхи, которые одолевают русских.— Белов сказал мне тогда по радио, что марсиане явно были гуманоидами. Поразительно, правда? Жизнь развивалась тем же путем, подумать только!

Шнейдер осторожно опустил шприц.

— Тот же путь развития,— пробормотал он.— Та же эволюция и та же патология. Хотя тут нет полного сходства ни с одной болезнью, вызываемой земными микробами. Но восприимчивость такая же. Это ясно.

— То есть, по-твоему, Белов подцепил какую-то марсианскую болезнь?! — изумился О'Брайен.— Но этот город такой старый! Ни один микроб не может существовать столько времени.

Маленький толстенький Шнейдер решительно выпрямился.

— С чего ты взял? И на Земле известны несколько видов, которые могли бы продержаться. А уж споры — сколько угодно.

— Но если Белов...

— Довольно,— прервал капитан.— Вам не следует думать вслух, доктор. И вы держите язык за зубами, О'Брайен, пока мы не решили довести это до всеобщего сведения. Следующий! — вызвал он.

Вошел Том Смейзерс.

— Послушай, док,— сказал он.— Может, это и не велика важность, но у меня что-то трещит голова, сроду так не трещала.

Остальные трое переглянулись. Шнейдер невнятно, вполголоса выругался, выхватил из нагрудного кармана градусник и сунул в рот Смейзерсу. О'Брайен перевел дух и вышел.

Вечером всем было велено собраться в столовой, она же спальня. Шнейдер встал на стол, вытер ладони о джемпер; лицо у него было усталое.

— Вот что, люди добрые,— начал он.— Николай Белов и Том Смейзерс больны, Белов — тяжело. Симптомы такие: небольшая головная боль и жар, то и другое быстро усиливается, появляются резкие боли в спине и суставах. Это — первая стадия. Сейчас на этой стадии находится Смейзерс. А Белов...

Никто не вымолвил ни слова. Все сидели вокруг непринужденно, словно бы просто отдыхая, и слушали. Гуранин и Лаятинский подняли

головы от шахматной доски с таким видом, словно из одной только вежливости вынуждены слушать какие-то пустяки, не идущие ни в какое сравнение с их неоконченной партией. Но когда Гуранин, двинув локтем, уронил своего короля, ни тот, ни другой его не подняли.

— Что до Белова,— чуть помолчав, продолжал врач,— у него теперь вторая стадия болезни. Для нее характерны внезапные скачки температуры, бред, нарушение всех функций организма — это, разумеется, означает, что поражена нервная система. Весь организм настолько выведен из равновесия, что разладилась даже перистальтика, и поддерживать его приходится внутривенными вливаниями. Среди прочего сегодня же вечером мы устроим наглядный урок внутривенного питания, чтобы каждый из вас мог сделать укол больному. На всякий случай.

Гопкинс, радист, сидевший напротив О'Брайена, беззвучно ахнул.

— Теперь так. Чем они больны, я не знаю,— и это, в сущности, все, что я могу вам сказать. В одном я уверен: это не земная болезнь, хотя бы уже потому, что никогда я не сталкивался с таким коротким инкубационным периодом и с таким молниеносным развитием. Видимо, Белов подхватил эту болезнь в марсианском городе и занес на корабль. Я понятия не имею, насколько она опасна, хотя в подобных случаях следует приготовиться к худшему. Сейчас у меня одна надежда: эти двое свалились прежде, чем я успел ввести им дуоплексин. Всем остальным — и себе в том числе — я сделал укол. Вот и все. Есть вопросы?

Вопросов не было.

— Ладно,— сказал доктор Шнейдер.— Хочу вас предупредить, хотя в наших условиях это, пожалуй, даже излишне: каждый, у кого заболит голова — все равно, виски ломит, или затылок, или еще что,— обязан немедленно явиться в изолятор. Очевидно, эта штука чрезвычайно заразительна. А теперь придвиньтесь поближе, я покажу, как делать внутривенные вливания. Капитан Гоз, разрешите продемонстрировать на вас.

Он провел наглядный урок, потом все практиковались, делая уколы друг другу, а доктор Шнейдер придирчиво следил за ними; наконец он собрал свое снаряжение, остро пахнущее дезинфекцией, и объявил:

— Ладно, этого достаточно. В случае чего справимся. Спокойной ночи всем.

Он шагнул к выходу. Но вдруг остановился. Обернулся и обвел всех медленным, испытующим взглядом.

— О'Брайен,— сказал он наконец,— пойдем-ка.

Что ж, думал штурман, послушно следуя за врачом, по крайней мере счет сравнялся. Один русский и один американец. Хоть бы так оно и осталось!

Шнейдер на ходу заглянул в изолятор и кивнул, видимо, найдя то, чего и ждал.

— У Смейзерса уже вторая стадия,— заметил он.— Быстро же действует этот микроб, черт его бери! Видно, мы для него — благодарнейшая почва!

— Ты хоть догадываешься, что это такое? — спросил О'Брайен; как ни странно, он еле поспевал за маленьким Шнейдером, уж очень стремительно тот шагал.

— Гм... Я сегодня два часа просидел над микроскопом. Никаких признаков. Я приготовил кучу мазков — кровь, спинномозговая жидкость, мокрота, взял уйму всяких проб,— у меня там целая полка пробирок. Это все пригодится врачам на Земле, если мы... ну, ладно. Понимаешь, это может быть фильтрующийся вирус, либо какая-то бацилла, которая видна, только если ее как-то специально окрасить, да мало ли еще что. В лучшем случае я ее обнаружу, противоядие мы изготовить не успеем.

Все еще держась на несколько шагов впереди О'Брайена, Шнейдер вошел в рубку, посторонился, потом, к недоумению штурмана, запер за ним дверь.

— Что-то ты чересчур приуныл, док,— сказал О'Брайен.— У нас ведь есть белые мыши, на которых мы собирались проверять марсианскую атмосферу, если бы она тут все-таки оказалась,— может, воспользоваться ими как подопытными животными и попробовать изготовить вакцину?

Доктор Шнейдер невесело усмехнулся:

— За двадцать четыре часа. Как в кино. Нет, если бы я и хотел выкинуть этакий фортель, а я и в самом деле хотел, теперь об этом и думать нечего.

— То есть... что значит — теперь?

Шнейдер осторожно сел, положил свою докторскую сумку на стол подле себя. Усмехнулся.

— У тебя нет аспирина, Прес?

О'Брайен машинально сунул руку в карман джемпера.

— При себе нету, но, кажется...— И тут он понял. У него похолодело внутри.— Когда это началось? — тихо спросил он.

— Наверно, к концу лекции, которую я вам там читал про уколы, но я был слишком занят и не обратил внимания. Почувствовал, только когда выходил из столовой. А сейчас голова раскалывается. Не подходи! — крикнул он, когда О'Брайен, полный сочувствия, двинулся к нему.— Толку от этого, вероятно, не будет, а все-таки держись подальше. Может, выиграешь немножко времени.

— Позвать капитана?

— Если б он был мне нужен, я бы его и позвал. Через пять минут я лягу в изолятор. А пока что хочу передать тебе мои полномочия.

— Пол-но-мочия? Так это ты... ты и есть...

Доктор Элвин Шнейдер кивнул. И продолжал по-английски:

— Я — офицер нашей военной разведки. Вернее сказать, был офицером. С этой минуты офицер — ты. Слушай, Пресс, у меня каждая минута на счету. Могу сказать тебе одно. Допустим, что через неделю кто-нибудь из нас еще останется в живых. И, допустим, решено будет попробовать вернуться на Землю (а это — риск заразить всю планету, чего я лично, кстати сказать, не советовал бы, для этого у меня есть вполне ощутимые основания). Так вот, в этом случае ты будешь молчать о своем чине и звании, как я молчал о своем, а если нельзя будет избежать стычки с русскими, объявишься при помощи условной фразы, ты ее знаешь.

— *«Обстрелян форт Самтер»,*— медленно произнес О'Брайен.

Он все еще не освоился с мыслью, что Шнейдер и есть офицер военной разведки. Ну, понятно, это мог бы быть любой из семерых американцев. Но Шнейдер!

— Правильно. Если вам удастся завладеть кораблем, постарайтесь сесть в Калифорнии, в Уайт-Сандсе, где мы проходили тренировку. Объясни тамошним властям, при каких обстоятельствах я передал тебе свои полномочия. Вот почти и все; еще только два слова. Если ты тоже заболеешь, хорошенько подумай, кому передать бразды правления... Я сейчас предпочитаю ограничиться тобой. И второе... может быть, я и ошибаюсь... но мне кажется, у русских ту же роль играет Федор Гуранин.

— Ясно.— И только тут до О'Брайена по-настоящему дошло.— Но ведь ты говорил, что впрыснул себе дуоплексин. Значит...

Шнейдер поднялся, кулаком потер лоб.

— Боюсь, что так. Вот почему вся эта церемония довольно бессмысленна. Но у меня были обязанности, я должен был передать их другому. Я и передал. А теперь извини, я лягу. Желаю удачи.

О'Брайен пошел к капитану доложить о болезни Шнейдера; теперь он понимал, что чувствовали во время обеда русские. Сейчас против шести русских остались пятеро американцев. Это может плохо кончиться. И за все в ответе он.

Но у каюты капитана, уже взявшись за ручку двери, он пожал плечами. Невелика разница! Как сказал толстяк Шнейдер: «Допустим, что через неделю кто-нибудь из нас еще останется в живых...»

В сущности, международное положение на Земле и все то, чем оно грозит двум миллиардам людей, их тут больше не касается. Они не могут рисковать занести марсианскую болезнь на Землю, а раз они не вернутся, у них нет почти никакой надежды найти лекарство. Они прикованы к чужой планете, и остается ждать, пока их одного за другим не скосит недуг, последние жертвы которого погибли тысячи лет тому назад.

А все-таки... неприятно быть в меньшинстве.

К утру он уже не был в меньшинстве. За ночь еще двоих русских свалила эта непонятная хворь, которую теперь все называли «болезнью Белова». На ногах осталось пятеро американцев против четверых русских, но теперь никто уже не думал о национальности.

Гоз предложил столовую (она же спальня) превратить в больницу, а всем здоровым перейти в машинный отсек. И поручил Гуранину наскоро оборудовать перед машинным отсеком камеру для облучения.

— Все, кто ухаживает за больными, должны надевать скафандры,— распорядился он.— Прежде чем вернуться в машинный отсек, всем становиться под лучевой душ наибольшей мощности. Только после этого можно пройти к остальным и снять скафандр. Это не слишком сильное средство, и, боюсь, подобными предосторожностями такой страшный вирус не уничтожить, но мы хотя бы не сидим сложа руки.

— А не попробовать ли нам как-то связаться с Землей, капитан? — предложил О'Брайен.— Хотя бы сообщим, что с нами случилось, это пригодится будущим экспедициям. Я знаю, для такой дали у нашего радиопередатчика слишком мала мощность, но нельзя ли смастерить что-то вроде маленькой ракеты и вложить в нее письмо? Может, когда-нибудь ее подберут?

— Я об этом уже думал. Задача очень нелегкая, но, допустим, нам это удалось — где уверенность, что вместе с письмом мы не переправим на Землю и вирус? А при том, какова сейчас обстановка на Земле, думаю, можно не опасаться, что там снарядят новую экспедицию, если мы не вернемся. Вы знаете не хуже меня, что месяцев через восемь — через девять не больше...— капитан умолк на полуслове.— У меня немного болит голова,— тихо прибавил он.

Все вскочили — даже те, кто весь день ходил за больными и сейчас прилег отдохнуть.

— Вы уверены? — с отчаянием в голосе спросил Гуранин.— Может быть, это просто...

— Уверен. Что ж, рано или поздно этого не миновать. Думаю, каждый из вас выполнит свой долг и все вы будете работать слаженно. И любой из вас способен меня заменить. Так вот. Если понадобится слово командира, если надо будет принимать какие-то решения, капитаном будет тот из вас, чья фамилия — последняя по алфавиту. Старайтесь то время, что вам еще осталось, жить в мире. Прощайте.

Он повернулся и пошел из машинного отсека в больницу. Безмерная усталость была в его худом, смуглом лице и придавала ему странное величие.

В этот вечер к ужину на ногах остались только двое — Престон О'Брайен и Семен Колевич. В каком-то отупении они ухаживали за больными, умывали их, перекладывали, делали внутривенные вливания.

Все это лишь вопрос времени. Когда и они свалятся, о них уже некому будет позаботиться.

И все же они добросовестно делали свое дело и старательно подставлялись в скафандрах под лучевой душ, прежде чем вернуться в машинный отсек. Потом у Белова и Смейзерса началась третья стадия болезни — совершенное оцепенение, и штурман отметил это в тетради доктора Шнейдера, под колонками температурных записей, напоминающих биржевой курс в день, когда Уолл-стрит особенно лихорадит.

О'Брайен и Колевич молча поужинали. Они всегда были не слишком симпатичны друг другу, и оттого, что теперь они остались только вдвоем, взаимная неприязнь еще усилилась.

После ужина О'Брайен сел к иллюминатору и долго смотрел, как восходят и закатываются в черном небе Марса Фобос и Деймос. За спиной у него Колевич читал Пушкина, пока не уснул.

Наутро О'Брайен нашел своего помощника на больничной койке. У Колевича уже начался бред.

«И остался лишь один» — вспомнил О'Брайен песенку про десять негритят. Что-то будет с нами дальше, друзья, что-то будет дальше?

Он снова принялся за обязанности санитара и поминутно заговаривал сам с собой. Все-таки лучше, чем ничего, черт возьми! Так легче забыть, что ты — единственный человек в здравом уме на всей этой красной, пыльной и ветреной планете. Так легче забыть, что скоро умрешь. Так легче сохранить какое-то подобие рассудка.

Потому что это конец. Ясно, конец. Ракета рассчитана на экипаж в пятнадцать человек. В случае крайней необходимости ею могли бы управлять всего пятеро. Допустим, двое или трое, носясь взад и вперед как сумасшедшие и проявляя чудеса изобретательности, еще ухитрились бы привести ее на Землю и кое-как посадить, не разбив вдребезги. Но один...

Даже если ему и дальше повезет и «болезнь Белова» не свалит его с ног, с Марса ему не вырваться. Он останется здесь, пока не иссякнут запасы еды и кислорода, и корабль станет для него медленно ржавеющим гробом. А если у него заболит голова — что ж, неизбежная развязка наступит куда быстрее.

Это конец. И ничего тут не поделаешь.

Престон О'Брайен бродил по кораблю, который вдруг сделался огромным и пустым. Он вырос на ранчо в Северной Монтане и всегда терпеть не мог толчеи и многолюдья. Во время перелета его постоянно, точно камешек в башмаке, раздражала необходимость вечно быть на людях, и однако теперь это безмерное, последнее одиночество его угнетало. Стоило прилечь — и снились переполненные трибуны в дни бейсбольных матчей или душная, потная толпа в нью-йоркском метро в часы пик. А потом он просыпался — и одиночество снова обрушивалось на него.

Чтобы не сойти с ума, он загружал себя разными мелкими делами. Написал краткую историю экспедиции для несуществующего общедоступного журнала; при помощи электронных вычислителей в рубке составил с десяток вариантов курса для возвращения на Землю; из чистого любопытства — ведь теперь это не имело уже никакого значения — просмотрел личные вещи русских, чтоб узнать, кто из них представляет военную разведку.

Оказалось, это Белов. О'Брайен удивился. Белов ему очень нравился. Впрочем, ведь ему и Шнейдер очень нравился. Так что в конечном счете, видно, наверху тоже что-то соображают.

И вот что странно — оказывается, ему жаль Колевича! Черт возьми,

надо было попробовать как-то с ним сблизиться, прежде чем настал конец!

С самого начала они друг друга терпеть не могли. Колевич, наверно, не мог примириться с тем, что старший штурман не он, а О'Брайен, ведь в математике Колевич куда сильнее. А его, О'Брайена, злило, что помощник начисто лишен чувства юмора, в каждом его слове сквозит враждебность и вызов, но при этом он хитер и ни разу открыто не нарушил субординацию.

Однажды, когда Гоз упрекнул его за явно недружелюбное отношение к помощнику, О'Брайен воскликнул:

— Ох, вы правы, и мне, наверно, следует покаяться. Но я же ничего такого не чувствую к другим русским. Я с ними со всеми отлично лажу. Вот только этого Колевича я охотно бы стукнул как следует — он меня, признаться, здорово раздражает.

Капитан вздохнул:

— Неужели вы не видите, откуда идет эта неприязнь? Вы на опыте убеждаетесь, что русские члены экипажа — вполне порядочные люди и с ними прекрасно можно ладить, но этого, видите ли, не может быть: вам доподлинно известно, что русские — звери и их надо истребить всех до единого. И вот все страхи, досаду, гнев, все, что, как вам кажется, вы должны бы испытывать по отношению ко всем русским, вы обращаете на одного. Теперь он для вас воплощение зла, козел отпущения за целый народ, и вы изливаете на Семена Колевича всю ненависть, которую и хотели бы обратить на других русских, но не можете, ибо вы человек чуткий и разумный и видите, что они — хорошие, славные люди. У нас на корабле каждый кого-нибудь да ненавидит,— продолжал Гоз.— И всем кажется, что у них есть для этого веские причины. Хопкинс ненавидит Лаятинского, потому что тот будто бы вечно околачивается у радиорубки и что-то вынюхивает. Гуранин ненавидит доктора Шнейдера, а за что — я, наверно, так никогда и не пойму.

— Не согласен. Колевич из кожи вон лезет, лишь бы мне досадить. Я точно знаю. А Смейзерс? Он ненавидит всех русских. Всех до единого.

— Смейзерс — это случай особый. Боюсь, что он вообще человек обидчивый и не слишком уверенный в себе, а ведь в экспедиции у него положение трудное — он не может забыть, что стоит на последнем месте по коэффициенту умственного развития, и это не способствует душевному равновесию. Вы бы очень ему помогли, если бы сошлись с ним поближе. Я знаю, он был бы очень рад.

— А-а,— О'Брайен смущенно пожал плечами.— Я не психолог и не филантроп. Сработаться с Томом Смейзерсом я сработался, но все-таки могу его переносить только в небольших дозах.

Вот об этом теперь тоже приходится пожалеть. Он никогда не хвастал тем, что он — самый незаменимый на корабле: и потому что штурман, и потому что всех умней и находчивее; всегда был уверен, что почти и не вспоминает об этом. А вот теперь, в беспощадном свете надвигающейся гибели, ясно, что втайне он наслаждался этой своей исключительностью, самодовольно пыжился и любовался собой. Сознание своего превосходства всегда было тут как тут, словно уютная пуховая перина, на которой так приятно понежиться. И он нежился постоянно.

Своего рода недуг. Подобно недугу под названием «Хопкинс против Лаятинского», «Гуранин против Шнейдера», «Смейзерс против всех». Подобно недугу, разъедающему сейчас Землю,— когда два величайших государства, которым уже по самой их огромности и мощи незачем зариться на чужую территорию, готовы скрепя сердце и как бы против воли начать войну друг с другом: войну, в которой погибнут и они сами, и все другие страны, союзные им и нейтральные, войну, которой можно бы так легко избежать и которая, однако, неизбежна.

Быть может, подумал О'Брайен, они вовсе не заразились неведомым недугом на Марсе; быть может, они просто привезли его с собой на эту славную, чистую песчаную планету — недуг, который можно назвать болезнью Человечества,— и вот он их убивает, потому что здесь для него нет другой пищи.

О'Брайен встряхнулся.

Надо поосторожнее. Этак и спятить недолго.

— Лучше уж буду опять разговаривать сам с собой. Как поживаешь, приятель? Как самочувствие, недурно? Голова не болит? Ничего не ломит, не ноет и усталости не чувствуешь? Тогда ты, верно, уже помер, милый друг!

Среди дня, войдя в больницу, он понял, что у Белова болезнь, видимо, перешла в четвертую стадию. Смейзерс и Гоз еще лежали пластом без сознания, но геолог очнулся. Он беспокойно поворачивал голову то вправо, то влево, и взгляд его широко раскрытых глаз был непонятен и страшен.

— Как вы себя чувствуете, Николай? — осторожно спросил О'Брайен.

Никакого ответа. Голова медленно повернулась — Белов смотрел на него в упор. О'Брайен содрогнулся. Прямо кровь стынет в жилах, когда на тебя так смотрят, думал он потом, в машинном отсеке, снимая скафандр.

Может, на этом все и кончится? Может, от «болезни Белова» не умирают? По словам Шнейдера, она поражает нервную систему — так что, может быть, человек просто теряет разум?

— Весело,— бормотал О'Брайен.— Очень весело...

Он поел и подошел к иллюминатору. В глаза ему бросилась пирамидка, установленная ими в первый день,— больше не на что смотреть в этой однообразной холмистой пустыне, по которой ветер гоняет клубы пыли. «ПЕРВАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ ЗЕМЛЯ — МАРС ВО ИМЯ ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА».

Зря Гоз поторопился поставить этот памятник. Надпись надо бы переделать: «ПЕРВАЯ И ПОСЛЕДНЯЯ ЭКСПЕДИЦИЯ ЗЕМЛЯ — МАРС В ПАМЯТЬ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА, КОТОРОГО БОЛЬШЕ НЕТ — НИ ЗДЕСЬ, НИ НА ЗЕМЛЕ». Так было бы вернее.

Дальнейшее ясно и понятно: экспедиция не вернется, от нее не будет никаких вестей — и русские ни на минуту не усомнятся, что американцы захватили корабль и, пользуясь данными, полученными за время полета, совершенствуют технику переброски бомб. А американцы ни на минуту не усомнятся, что именно так поступили русские.

И экспедиция во имя мира станет поводом к войне...

— Гоз наверняка оценил бы такую иронию судьбы,— с кривой усмешкой сказал себе О'Брайен.

Позади что-то звякнуло. Он обернулся.

Чашка с блюдцем, не прибранные после обеда, плавали в воздухе!

О'Брайен зажмурился, потом медленно открыл глаза. Да, все правильно, чашка с блюдцем летают по воздуху! Словно бы неспешно, лениво вальсируют. Изредка чуть касаются друг друга, будто целуясь, и снова расходятся. И вдруг они опустились на стол, раз-другой легонько подскочили, как мячики, и затихли.

Может быть, сам того не заметив, он тоже подхватил «болезнь Белова»? Вдруг бывает и так, что без головных болей, без скачков температуры сразу наступает последняя стадия — галлюцинации?

Из больницы донеслись какие-то странные звуки, и О'Брайен, даже не подумав натянуть скафандр, кинулся туда.

Несколько одеял плясали в воздухе, точь-в-точь как перед тем чашка с блюдцем. Кружились, словно подхваченные вихрем. Он смотрел, ошарашенный, не помня себя, а тем временем в воздух взмыла еще какая-то мелочь — градусник, коробка, брюки.

А больные тихо лежали на койках. Смейзерс, видно, тоже достиг четвертой стадии. Так же беспокойно перекатывается голова на подушке и тот же непонятный, леденящий душу взгляд.

А потом О'Брайен обернулся и увидел, что койка Белова пуста! Что случилось — он поднялся в бреду и, не сознавая, что делает, поплелся куда-то? Или ему стало лучше? Куда он девался?

О'Брайен стал тщательно обыскивать корабль, опять и опять окликая русского по имени. Переходя из отсека в отсек, добрался, наконец, до рубки. Но и здесь было пусто. Где же Белов?

Растерянно кружа по тесной рубке, О'Брайен нечаянно глянул в иллюминатор. И там, снаружи, увидел Белова. Без скафандра!

Невозможно, немыслимо! Ничем не защищенному человеку и минуты не прожить на мертвом, голом Марсе, здесь нечем дышать! И однако Николай Белов шел по песку беззаботно, как по Невскому проспекту. А потом очертания его фигуры странно расплылись — и он исчез.

— Белов! — во все горло заорал О'Брайен.— Да что же это, господи. Белов! Белов!!!

— Он пошел осмотреть марсианский город,— раздался голос за спиной у О'Брайена.— Он скоро вернется.

Штурман круто обернулся. Никого. Ну, ясно: совсем спятил...

— Нет, нет,— успокоил тот же голос.

И прямо из пола, будто он прошел не сквозь плотную сталь, а сквозь туман, неторопливо поднялся Том Смейзерс.

— Что с вами со всеми происходит? — ахнул О'Брайен.— Что все это значит?

— Пятая стадия «болезни Белова». И последняя. Пока что ее достигли только мы с Беловым, для остальных она наступает сейчас.

О'Брайен ощупью добрался до кресла и сел. Пошевелил губами, но не мог выговорить ни слова.

— Ты думаешь, от «болезни Белова» мы становимся какими-то кудесниками,— сказал Смейзерс.— Не в том дело. Прежде всего, это вовсе не болезнь.

Впервые Смейзерс посмотрел ему прямо в глаза — и О'Брайен невольно отвел свои. То был не просто страшный, пугающий взгляд, каким Смейзерс прежде посмотрел на него с больничной койки. Было так, словно... словно это вовсе и не Смейзерс. А кто-то непонятный, неведомый...

— Так вот, всему причиной микроб, но не паразитирующий в организме. А сосуществующий с ним. Это симбиоз.

— Симбиоз?..

— Этот микроб вроде кишечной флоры — он полезен. Необыкновенно полезен.

О'Брайену почудилось, что Смейзерс с трудом находит нужные слова, подбирает их так старательно, будто... будто... будто говорит с малым ребенком, несмыслёнышем!

— Да, верно,— сказал Смейзерс.— Но я постараюсь тебе объяснить. Микроб «болезни Белова» гнездился в нервной системе марсиан, как кишечные бактерии гнездятся у нас в желудке и кишечнике. И те и другие — микробы симбиотические, и те и другие помогают организму, в котором существуют, повышают его жизнедеятельность. «Микроб Белова» действует внутри нас как своего рода нервный трансформатор, он почти в тысячу раз умножает духовную мощь.

— То есть ты стал в тысячу раз умней прежнего?

Смейзерс сдвинул брови.

— Трудно объяснить. Да, если угодно, в тысячу раз умней. На самом деле в тысячу раз возрастают все духовные силы и способности. Разум — только одна из них. Есть еще много других, например, способности к передаче мыслей и преодолению пространства, которые прежде были так ничтожны, что оставались почти незамеченными. Вот, к примеру, где бы ни был Белов, мы с ним непрерывно общаемся. Он почти полностью владеет окружающей средой, так что она не может физически ему повредить. Чашка, одеяла и все прочее, что так напугало тебя, летали по воздуху, когда мы стали делать первые неуклюжие опыты с нашими новыми способностями. Нам еще предстоит очень многому научиться и ко многому привыкнуть.

— Но... но...— в голове у О'Брайена была такая сумятица, что он насилу ухватился за какую-то отчетливую мысль: — ....но все вы были так тяжело больны!

— Этот симбиоз устанавливается не так-то легко,— согласился Смейзерс.— И человеческий организм не в точности таков, как марсианский. Но теперь все это позади. Мы возвратимся на Землю, распространим там «болезнь Белова» — если хочешь и дальше так это называть,— и займемся исследованием времени и пространства. Хотелось бы в конце концов разыскать марсиан там... в том месте, куда они переселились.

— И тогда пойдут уж такие войны, каких мы и в страшных снах не видали!

Тот, кто был прежде помощником инженера Томом Смейзерсом, покачал головой:

— Войн больше не будет. Среди тысячекратно возросших духовных способностей есть одна, которая связана с тем, что можно назвать нравственными понятиями. Мы, те, кто прилетел сюда, в силах предотвратить любую готовую сейчас разразиться войну — и предотвратили бы, но когда нервная система жителей Земли соприкоснется с «микробом Белова», всякая опасность минет безвозвратно. Нет, войн больше не будет.

Молчание. О'Брайен пробует собраться с мыслями.

— Что же,— говорит он.— Не зря мы слетали на Марс, кое-что мы тут нашли, верно? И если мы намерены возвращаться на Землю, я, пожалуй, пойду выверю взаимное положение планет и рассчитаю курс.

И опять, еще отчетливей, чем прежде, это странное выражение в глазах Смейзерса.

— Не нужно, О'Брайен. Мы возвратимся не тем способом, каким прилетели сюда. Мы это проделаем... ну, скажем, быстрее.

— И то ладно,— нетвердым голосом сказал О'Брайен и поднялся.— А покуда вы тут разработаете всё в подробностях, я натяну скафандр и сбегаю в этот самый марсианский город. Я тоже не прочь подхватить «болезнь Белова».

Тот, кто был прежде Томом Смейзерсом, что-то проворчал. О'Брайен остановился как вкопанный. Он вдруг понял, что означает странный, пугающий взгляд, каким смотрел на него тогда Белов, а теперь Смейзерс.

В этом взгляде была безмерная жалость.

— Да, верно,— необычайно мягко и ласково сказал Смейзерс.— Ты не сможешь заразиться «болезнью Белова». У тебя природный иммунитет.

ЛЮБОМИР ЛЕВЧЕВ

Железная перчатка

Точно помню —
шел дождь.
Окошко было открыто,
и влетали большие бабочки...
Кто-то рассматривал репродукции.
На диване лежала
зеленоокая кисти Модильяни.

Мы курили.
И разговаривали
о будущем мира.

Я и другие
не соглашались,
что может мыслить машина.
Тогда
наш хозяин вскочил в раздражении
и воскликнул:
— Но это же правда!
Электронный разум решает
без ошибок
любые задачи.
Он разбирается в шахматах
и в музыке,
он лунные создал сонаты.
И никогда не болеет раком...
И совершает все это
кибернетика-малолетка.

Но, я прошу вас,
вообразите
следующее тысячелетье:
всемогущие,
мудрые механизмы
займутся самовоспроизведеньем.
Камеры мыслящей плазмы
будут зорко смотреть во вселенную.
О, ведь у нашего мозга
так немного мильярдов клеток!
А машина
будет располагать
бесконечным запасом материи.
Будут мыслить
скалы,
воздух,
вода...
Это будет предельная точность.
Совершенный логический ритм —
без сомнений,
сюрпризов,
ошибок...

...Я почувствовал темный страх.
Вероятно,
так последний археоптерикс
слушал хохот вулканов...
И не машины меня испугали.
Нет!
Испугал меня тот человек.
Он забыл про людей, он влюблен,
раболепно влюблен в механизмы.

Он завидует роботам.
Он электронику славит.
И, наверное, из подражанья
даже сам стал похож
на машину.
Кибернетика!
О, кибернетика!
Почему ни один человек
не был так горячо защищаем?
Лакей машин,
слуга наших слуг,
ты ужасен!..

Но не для всех.
— Посмотрите,
какой симпатичный! —
пропищала одна красотка.
И с оратором кибернетичным
вдруг
случилась осечка.
Он просто
мысль свою упустил.
И замешкалась новая мысль.
И смотрел он, смотрел на девицу,
покраснев
и дурацки смешавшись...

— Что же, тронемся...
— Робот устал...
— Дождь прошел...
— Идемте...

А в сущности
под деревьями капало.
Шел я
и раскачивал их,
чтоб изведать
наслаждение капель
на пылающем лбу...

Неожиданно
мне дорогу загородила
тень знакомого человека.
(На заседаньях, что ли,
встречались?
Или вместе были в солдатах?)

— Кто ты?
— Я — поэт-робот,
тот, кого ты обидел сегодня.
Я требую сатисфакции!
Завтра
ровно в девять часов
тридцать минут
и тридцать секунд —
здесь!..—
Железный смех.
Железная перчатка.
Он удалился...

А я остался.
Я смял сигарету.
А грудь моя выла
и выла,
как полицейский фургон,
в котором мечется сердце
и стучат кулаки:
— Куда вы везете?
Куда?..—
И гудела моя голова,
где так мало мильярдов клеток:
значит, завтра...
Сатисфакция...
Значит, завтра...
Завтра...
Конец...

И я вижу — электронный поэт
этой ночью
перед дуэлью
«присел»
написать два-три скетча
к фестивалю циркового искусства.
Смазка
совершенно нормально
по своим струится каналам.
И завтра
он прибудет с железною точностью.
Руки
у него не дрожат.
Свинец
не ударит мимо мишени...

Дантес!
Ты убьешь и меня,
как уже убивал!..

Только прежде... может быть...
Может быть,
вы моим обернетесь оружьем,
моим страшным, смертельным
оружьем.

Вы поможете мне —
может быть!

...И от всех горизонтов
зашуршали шаги.
Чьи-то руки гладят мне плечи.
Неизвестные губы меня целуют.
Узнаю я их, узнаю.
Это они —
незабываемые.
Это они —
неисчислимые.
Мои человеческие ошибки.

Это мой первый детский шажок
от колыбели
к окошку.
Ошибочный шаг,
после которого
я познал, как тверда земля.
Но эта ошибка меня научила
нестись
с растрепанными волосами
по вешнему лугу в алых цветах,
по вражьей траншее в ржавой
колючке...

Со мною и первый мой поцелуй.
Ах, помню!
Козырек моей фуражки
помешал мне достигнуть цели.
И гимназистка со смехом сбежала.
А я плакал
от ярости
и от стыда...
Но эта ошибка мне объяснила,
как губы трескаются от любви...
Со мной — невыдержанные
экзамены.
Со мной — неудавшиеся стихи...

И все,
все ошибки мои — это пули
для боя с машиной непогрешимой —
железом,
отбросившим человечность.

Человеческое вдохновение,
окрыли же меня!
Любовь,
будь со мной и на этот раз!
Всею силой души
я верую:
человек непобедим!

Перевод с болгарского
ВИКТОРА ВИНОГРАДОВА

МОРИО КИТА

Машина времени

РАССКАЗ

Перевод с японского З. РАХИМА

Я решил сделать один любопытный опыт. Вернее, меня просто увлекла эта игра. Дело в том, что я убедился в абсолютной нормальности Микита.

Сам я врач и работаю в государственной психиатрической клинике. В нашем стационаре около четырехсот пятидесяти больных. А врачей всего шесть, не считая главврача. Да еще некоторые из них работают в университете и в клинике бывают только два раза в неделю. Короче говоря, на мою долю приходится чуть ли не сто пациентов.

Веселого мало. Ведь приходится и амбулаторный прием вести, и научной работой заниматься, так что тех, кто госпитализирован, лечим мы спустя рукава. А что делать? Если внимательно осматривать каждого больного, по всем правилам, с вызовом в кабинет, то за день в лучшем случае пропустишь пять человек. Получается, что каждому врачу требуется месяц, чтобы осмотреть всех своих подопечных. Так оно на самом деле и получается.

И ничего удивительного, при таком-то положении, что этот самый человек, Микита, в нормальности которого я был абсолютно убежден, застрял в нашей лечебнице.

Микита не был моим больным. Его диагноз — мегаломания, параноидная форма шизофрении. Пожалуй, нет ничего труднее, чем диагностика мегаломании. При этом заболевании человек одержим определенной маниакальной идеей, во всем же остальном он совершенно нормален. Вот и попробуй разберись. Возьмем, например, женщину, утверждающую, что ее изнасиловал врач-гинеколог. В конце концов, это может показаться правдой — бывают же такие случаи. Конечно, если она утверждает, что все мужчины подряд ее насилуют, тогда дело другое. А вообще у мегаломанов бывают самые фантастические идеи. Скажем, какая-нибудь девица заявляет, что она невеста кронпринца. Или какой-нибудь скромный конторский служащий с пеной у рта доказывает, что он был мужем Элизабет Тейлор. В таких случаях все ясно. Бери такого человека и прямехонько вези в сумасшедший дом. Даже близкие родственники ничего не скажут.

Микита говорил, что он может построить машину времени. В этом и заключалась его навязчивая идея. Если быть честным, мы, врачи, не в состоянии определить, болезнь это или нет. Кто ее знает, может быть, действительно можно сконструировать такую машину? Но доцент одного университета, притащивший Микита в больницу, заявил, что идея сама по себе бредовая, следовательно, и воплотить ее нельзя. Бедняге не повезло, его признали больным и поместили в наше заведение. Я-то

подозреваю, что все объяснялось проще: Микита, человек лет тридцати с лишним, был ассистентом физической лаборатории и потихоньку начал конструировать свою диковинную машину, используя казенные материалы.

В любой психиатрической клинике сколько угодно таких больных, как Микита. Навязчивые идеи и слуховые галлюцинации в наше время — явление распространенное. Темп сегодняшней жизни очень этому способствует. Раньше больные, страдавшие манией преследования, видели своего убийцу на чердаке, или в подвале, или в уборной, или еще где-нибудь. А теперь, когда повсеместно распространились радиоприемники и телевизоры, они утверждают, что мститель наблюдает за ними с экрана или шепчет угрозы по радио. Есть и такие, которые жалуются, что они постоянно подвергаются облучению. Некоторые воображают себя пришельцами из космоса. Научная фантастика, ставшая в последнее время особенно модной, тоже немало способствует возникновению психических заболеваний. Люди с расшатанной нервной системой принимают мир фантастики за действительность. Следовательно, конструктор машины времени — явление самое банальное. Плохо только, что врачи к этому не относятся серьезно. Рассказывают друг другу веселенькие случаи из своей практики, хихикают и подкрепляют их анекдотами из серии «о сумасшедших».

И все же меня заинтересовал этот пациент.

Дело в том, что я сам не выношу корпеть над скучными исследованиями, тянущимися из года в год, и отыскивать в куче навоза жемчужное зерно. Меня влекут острые проблемы, смелые решения, когда все поставлено на карту, когда идешь ва-банк, и — либо пан, либо пропал. Однажды я придумал новый способ лечения — икототерапию. Что такое, в конце концов, электротерапия или инсулинотерапия? Не что иное, как шоковая терапия. Вот я и дал моему больному средство, вызывающее судороги диафрагмы. У него сразу началась дикая икота. К сожалению, эксперимент не дал результатов. Вообще-то, я не сомневаюсь, что этот человек выздоровел. Но проверить не было никакой возможности, потому что он теперь беспрерывно икает и не может говорить. Главврач устроил мне жуткую головомойку. Пришлось срочно восстанавливать свою репутацию. И я придумал еще одну штуку: построил гигантский соленоид, внутри поместил больного и включил ток. Когда больной выходил из соленоида, то оступился на лестнице и грохнулся вниз. Он сломал челюсть и теперь не может говорить. Попробуй проверь, в каком состоянии его психика! Главврач совсем разбушевался и строго-настрого запретил мне делать подобные эксперименты. Но я все равно уверен в успехе. И главное, конструкция была такая простая — намотка на катушке шла справа налево, а не слева направо, как обычно. Только и всего.

Так что мой интерес к человеку, рвущемуся к оригинальным открытиям, вполне объясним. У меня самого есть эта жилка. Разумеется, я не верил, что можно построить машину времени. Но фантазировать на эту тему очень увлекательно. Отправляешься на часок в будущее, лет этак на сто вперед. И возвращаешься, прихватив какой-нибудь новый препарат для лечения психических расстройств. Одно удовольствие представить, какую рожу скорчит при этом наш главврач.

По чистой случайности Микита оказался пациентом главврача. Когда он отсутствовал, я пошел взглянуть на Микита. Ничего, довольно приятный парень. Моего возраста, худощавый. Только вот глаза смотрят как-то рассеянно.

Наверно, главный дает ему лошадиные дозы хлорбромазина — лекарства, применяемого для лечения мегаломании.

Микита уставился на мой белый халат и с раздражением выпалил:

— Напрасно вы пичкаете меня всякой дрянью! Я же не болен, здоровее вас. А от вашего лекарства только спать хочется. Совсем стал как сонная муха. Так и действительно спятить недолго.

Что я мог сказать? Ведь и настоящие сумасшедшие всегда утверждают, что они абсолютно здоровы.

Но, вглядевшись в него хорошенько, я почувствовал, что тут что-то не так. Собственно говоря, где проходит грань между безумием и нормальностью? Пожалуй, если рассматривать этот вопрос в аспекте историческом, то в любую конкретную эпоху нормальными считалось большинство людей с мышлением, характерным для их времени. Так, например, в эпоху инквизиции, когда на кострах жгли «ведьм», нормальными казались все те, кто верил в нечистую силу. Так что очень трудно, идя от крайней степени безумия к твердо установленному современному стандарту психической нормы, определить, где кончается одно и начинается другое. И все-таки мы, врачи, хорошо изучили людей с явно выраженными отклонениями от психической нормы. Возможно, дело тут в опыте и в профессиональном чутье. Если перед тобой типичный маньяк, это видно сразу. Хотя все прочие люди, немедики, могут этого и не заметить.

Так вот, возвращаюсь к Микита. Когда я увидел его лицо и услышал его голос, мой нюх не уловил никакого душка безумия.

Я пригласил его в свой кабинет, предложил чаю. Мы начали разговаривать, я совершенно не касался его болезни. Сказал, что тоже увлекаюсь изобретательством, и попросил его поделиться знаниями в области физики. Мы болтали и болтали, и напряжение Микита постепенно ослабевало. Он стал красноречивым, даже заулыбался. Сказал, что впервые с ним в больнице обращаются по-человечески. Иногда я незаметно вставлял вопросы — о магнитном поле, об энтропии. Отвечал он очень ясно, точно, с прекрасным знанием предмета. Что ж, по-видимому, его умственные способности нисколько не пострадали. Правда, самый главный вопрос — его мания, оставался невыясненным.

Я решил забросить удочку.

— Кстати,— сказал я, как бы между прочим,— говорят, вы собираетесь построить машину времени?

— Возможно.— Микита неопределенно хмыкнул.

— Очень интересно! Мне любопытно было бы узнать основные принципы. Расскажите, а? Начнем хотя бы со времени. Какова его структура?

— Структура времени? — Микита оживился.— Сложная это штука. Сейчас на земном шаре нет ни одного ученого, который мог бы дать точное определение времени. И говоря откровенно, я сам ничего об этом не знаю.

— А как же вы будете строить свою машину, если не знаете сущности времени?

Микита ухмыльнулся.

— А вы сами-то, врачи, лечите же душевнобольных, хотя ничего не знаете о природе психических заболеваний. На поверку оказывается, что и механизм действия электрошока тоже неизвестен. Достоверно только одно — он помогает.

— Позвольте, вы не совсем правы! В какой-то мере, ну хотя бы в виде гипотезы этот механизм нам понятен...

— Ну, гипотеза... Относительно времени тоже сколько угодно гипотез. Например, существует теория, утверждающая, что время имеет форму спиралеобразной катушки. Если идти по воображаемой проволоке катушки, то за десятки лет лишь немного продвинешься вперед. Но если сжать спираль так, чтобы витки касались друг друга, то можно за секунду перенестись на сотню лет назад или вперед. Сотня лет — это

лишь один из примеров. Скачок можно сделать и на тысячу лет, и на десятки тысяч...

Я оставил в покое проблему времени и спросил его о принципах устройства машины. Он сказал, что никаких принципов он не знает, просто однажды ночью на него снизошло удивительное вдохновение, и он увидел во сне точную схему машины... Я был разочарован. Однако, чем больше мы разговаривали, тем больше я убеждался, что он совершенно здоров психически. Скорее всего, Микита был невинным фантазером и мечтателем, увлекавшимся изобретательством. А если это так, нет никакой необходимости держать его в сумасшедшем доме.

— Послушайте,— сказал я,— мне кажется, что вы совершенно здоровый человек. Очевидно, ваша ошибка была в том, что вы без разрешения использовали материалы физической лаборатории.

— Что верно, то верно,— кивнул Микита,— нехорошо это получилось. Дело в том, что я тогда страшно спешил. Ведь принципов-то работы машины я не знаю! И доказать возможность ее существования я сумел бы, лишь создав ее, так сказать, во плоти и крови. Я был весь поглощен этим...

— Ладно, что теперь говорить — сделанного не поправишь. Но если вы дадите слово, что подобная оплошность не повторится, я научу вас, как выбраться из больницы.

Я дал ему подробную инструкцию, как себя вести. Уж больно мне хотелось утереть нос главврачу. Я сказал, что, во-первых, Микита должен признать, что был болен. Должен выразить искреннее удивление, что ему в голову пришла такая дурацкая идея. И при этом говорить очень спокойно, вежливо, благодарить врачей за своевременную помощь.

Микита сказал:

— Знаете, я и сам додумался до этого...

— Так чего же вы медлили?

— Сам не пойму... Неудобно как-то дурачить врачей.

Я засмеялся:

— А-а, бросьте эти сантименты! Возвращайтесь скорей на волю и начинайте строить вашу машину, только не в своей лаборатории, а где-нибудь в укромном месте. Да, вот еще что. Если дело пойдет на лад и вам удастся сконструировать хотя бы портативную машину, очень прошу вас, разрешите мне присутствовать на ее первом испытании.

— С удовольствием приглашу вас, сенсей!

После этого разговора прошло около месяца. Я был очень занят. Однажды я зашел в палату, где лежал Микита, но оказалось, что он уже выписался. Интересно, как у него все получилось. В картотеке я отыскал его карточку. Там почерком главврача было написано: «Полное выздоровление. Навязчивая идея исчезла в результате эффективного действия хлорбромазина. Пример, достойный публикации».

Я не мог сдержать улыбки.

Прошло еще несколько дней. Как-то вечером я возвращался домой. Уже стемнело. Когда я повернул ключ в замке, кто-то осторожно тронул меня за плечо. Это был Микита.

— Что случилось?

— Я очень благодарен вам, сенсей, вот сумел выписаться...— Он немного помедлил.— А теперь я решил следовать вашему совету...

— Какому совету?

Микита застенчиво улыбнулся.

— Ну, помните, вы сказали, что машину надо строить в укромном месте. И вы были совершенно правы. Не то снова угожу в сумасшедший дом... Уж я искал-искал... И наконец нашел.

— Безопасное место?

— Ну да! — Он придвинулся ко мне и горячо зашептал в самое ухо: — Я буду жить с вами, сенсей, и в вашей комнате построю машину времени. Ведь здесь вполне безопасно, правда? А вы... вы же заинтересовались... Вот я и подумал, что мы вместе, на паях, так сказать... Один-то я не наберу столько денег...

Я опешил, но все же пригласил его к себе. Наверно, любой другой человек на моем месте постарался бы от него отделаться. Но такой уж у меня характер — люблю всякие неожиданности.

— Во сколько же обойдется ваша машина времени? — спросил я, когда мы сели.

— Смотря как ее делать. Если по первоначальной схеме, то в несколько сот миллионов иен, а может быть, и весь миллиард...

— Ну, это уж чушь!

Я замахал руками, словно отгоняя от себя эту баснословную сумму. Мне действительно стало не по себе. Пожалуй, надо было ему оставаться в сумасшедшем доме.

Но он нимало не смутился.

— Знаете,— продолжал он,— это ведь только первый вариант. Та схема была удивительно сложной и тонкой. Потом, в больнице, когда меня заставляли пить лекарства, я увидел во сне другую схему, совсем простую. Как бы вам объяснить... Ну, к примеру, если первый вариант был на уровне реактивного самолета, то нынешний — на уровне планера или модели аэроплана.

— Да? А сколько будет стоить эта модель?

— О, совсем немного — всего двадцать-тридцать тысяч иен.

Я снова замахал руками:

— Тридцать тысяч?! Но это же другая крайность! Больно уж дешево для машины времени...

— Конечно, дешево. Но я ведь и не говорю, что она будет совершенной. Придется примириться с ее низкими эксплуатационными качествами. Разумеется, на ней не отправишься в любую точку будущего или прошлого. Но уж куда-нибудь, пусть совсем близко, мы перенесемся. Разве это не здорово?

Его глаза блестели.

Не стану углубляться в подробности нашей беседы. Важно одно — Микита остался у меня.

Плохо жить без мечты. Мне жаль тех, кто считает себя трезвыми реалистами. Впрочем, они просто прикидываются, боясь прослыть фантазерами и мечтателями. А тут — такая великолепная мечта! И такая дешевая! Подумаешь — тридцать тысяч иен. Если вспомнить, сколько денег просаживаешь в ресторане, то это сущие пустяки.

Честно говоря, мне бы хватило самой мечты, мечты в чистом виде. Но, к моему удивлению, Микита действительно начал что-то мастерить в моей комнате. Он накупил кучу всякого хлама — больше сотни алюминиевых тазиков (как он сказал — для внешней облицовки), радиолампы, батареи, медную проволоку...

Меня это забавляло. Я спросил, внутренне посмеиваясь:

— А откуда будет поступать энергия? Ведь источник должен быть солидным. Не потребуется ли мощное магнитное поле?

Микита ответил очень серьезно, что в какой-то мере он думает использовать сухие батареи, но основным источником будет резина.

— Что?! Резина?..

— Ну да! Как ты не понимаешь? — Микита уже перешел со мной на ты.— Я же говорил, что машина строится по сверхупрощенной схеме. Вспомни-ка принцип движения игрушечных самолетов. Надо как сле-

дует закрутить резинку, и они прекрасно летят. Понимаешь? Резинка раскручивается, и самолет летит...

— Вот оно что! Здорово! Просто гениально!

Я восхищался, как последний идиот. Что ни говори, машина времени за двадцать или тридцать тысяч иен — это вещь.

Пока что жизнь шла, как обычно. Я ходил в больницу. Микита с утра до вечера колдовал над резиновыми колечками и алюминиевыми тазами.

И вот через месяц машина была готова.

— Так себе получилась машина,— сказал он,— самая примитивная, какая только может быть. Но, думаю, лет десять или двадцать она одолеет. Хорошо бы попасть в будущее. Интересно посмотреть, какой скачок сделает человеческая мысль через двадцать лет. Наверно, люди уже изобретут какие-нибудь аппараты, которые помогут врачам отличать нормальных людей от психов. Тут-то уж я добьюсь своего: я заставлю их признать меня совершенно нормальным.

Это еще как сказать, подумал я...

Мы решили тут же испытать машину. Недалеко от моего дома находился синтоистский храм. На его задворках был пустырь, оканчивающийся рощей и не очень высоким, но довольно крутым обрывом. Люди сюда совсем не заглядывали. Очень удобное место, чтобы отправиться в прошлое или будущее. Во всяком случае, не очутишься сразу на многолюдной улице и никто не будет пялить на тебя глаза. К счастью, наша машина складывалась, как те парусиновые стульчики, которые всюду таскают за собой старички и инвалиды, и перенести ее не составляло труда.

— Прежде всего надо закрутить резинку,— сказал Микита,— хотя и не очень сильно. Ведь она дает только стартовую энергию и не влияет на скорость полета. Так что, крути не крути — быстрее не полетишь. А потом машина вернется назад. Это произойдет в результате распрямления искривления времени, возникающего при подобных путешествиях. Я думаю, в другом измерении можно оставаться около двадцати четырех часов. Как я уже говорил, на этой машине невозможно свободно передвигаться по времени...

В бамбуковой роще над обрывом Микита наладил машину. На всякий случай погрузил сухари, консервы и втиснулся сам в тесную кабину. В машине совсем не осталось свободного места. Разумеется, я не собирался отправиться с ним в путешествие.

Он протянул мне руку:

— Ну, пока! Лечу!

Я очень торжественно и серьезно пожал руку Микита. Все-таки момент был волнующий. Пожалуй, двадцать тысяч иен себя оправдали.

Крышка машины захлопнулась. Я не верил, что она тронется с места, но на всякий случай отступил на несколько шагов. Раздался тихий гул. Алюминиевый корпус завертелся волчком. Я просто не верил своим глазам. А машина вращалась все быстрее и быстрее. Она уже казалась бешено пляшущим серым пятном, поблескивающим вихрем. Потом перед моим носом пронесся какой-то клубок тумана, и... все исчезло.

Я остолбенел. Роща была на месте. Бамбук тихонечко шумел. С обрыва с легким шуршанием скатился камешек. Я протянул вперед руку и почувствовал пустоту. Ни машины, ни Микита не было.

Я никак не мог прийти в себя. Потом поймал себя на том, что брожу по полянке и бессмысленно ковыряю чуть примятую траву носком ботинка. Я вспомнил слова Микита: она останется там двадцать четыре часа, не больше. Я пошел домой. Делать было абсолютно нечего — только ждать и пить виски.

Всю ночь меня мучили кошмары. Мне снился Микита. Вот он, против ожидания, попал на несколько тысяч лет вперед. Земля неузнаваема. Среди полупрозрачных, светящихся конструкций, назначения которых я никак не мог понять, бродят такие же полупрозрачные люди. Они хватают бедного Микита и тащат его в зоопарк, как диковинное животное. Микита мечется в шарообразной клетке и вопит: «Диагноз! Диагноз! Я же нормальный!..» Потом картина меняется. Детский игрушечный самолетик, несущий на своей хрупкой спине бледного, перепуганного Микита. Самолетик повисает над лесом древовидных папоротников, потом падает вниз, прямо в пасть гигантозавра. Проклятая резинка раскрутилась куда-то не туда — Микита угодил в далекое прошлое...

Утром я не пошел на работу. Встал ни свет ни заря и отправился к обрыву. Я опустился на траву и стал ждать, поглядывая на часы. Со времени запуска машины прошли сутки. И вдруг... на полянке появился клубок серого тумана. Он вертелся и прыгал с сумасшедшей скоростью. Потом вращение замедлилось, проступили очертания машины. Наконец она остановилась, крышка открылась, алюминиевые тазики звякнули очень буднично, каким-то домашним, кухонным звуком, и из люка показалась взъерошенная голова Микита.

Я протер глаза. Он выглядел усталым. Одежда его была испачкана и словно обсыпана мукой.

Я бросился к нему.

— Ну как? Где ты был? В прошлом или в будущем?

— Успех,— коротко бросил Микита, но лицо его не выражало особой радости,— преодолел отрезок в восемнадцать лет. Но в будущее не попал. Был в прошлом. Послевоенное время. Ничего хорошего. Жрать нечего. Тьфу ты, дерьмо! Вот если бы на восемнадцать лет вперед...

— Да ладно, не падай духом! Это же великолепно. Пошли домой, мне не терпится узнать все подробности.

По словам Микита, машина времени овеществилась на том же самом месте, откуда стартовала. Он увидел засохший бурьян над обрывом. Храм. Точно такой же, как сейчас. Но улицы, тянувшиеся у подножия холма, представляли собой сплошные развалины. Среди руин уныло высились бараки, кое-как сколоченные из кровельного железа. Между ними сновали люди, неопрятные, закутанные в лохмотья.

Микита пошел на ближайшую железнодорожную станцию. Достал кошелек, хотел купить газету. Бумажные деньги — несколько тысяч иен — почему-то превратились в порошок.

— Понимаешь,— сказал мне Микита,— с бумагой вообще произошло что-то странное. Вся бумага пропала. Очевидно, из-за обратного движения по времени.

Ну вот... Тогда он протянул газетчице монету. Но она посмотрела на него как-то странно.

— Что это у вас за деньги? Сто иен? Сроду не видела таких денег.

Он поспешно убрался. Но успел заметить дату на газете — 26 марта 21 года правления императора Сева *.

Около станции шла бойкая торговля. Торговали вареным бататом, сушеной картошкой, земляными орехами, рисовыми лепешками и другой немудрящей снедью. Тут же предлагали солдатские нитяные перчатки, грубые носки, старые кастрюли, чугунные котелки. Внезапно Микита осенило. Он поспешно вернулся к машине и взял несколько банок консервов. Расставил их у обочины дороги. Консервы тут же раскупили. Он получил несколько ассигнаций — новых, с рисунком парламента, и старых, с наклейкой в углу, подтверждавшей их действительность: только что произошла девальвация. Микита купил билет на электричку

---

* 1946 год.

и отправился осматривать город и его окрестности. На одной из станций его здорово обсыпали ДДТ — против брюшного тифа...

Микита протянул мне пару ассигнаций.

— Вот, смотри. Специально оставил, чтобы ты удостоверился.

— Вижу. Я их хорошо помню. Только как же так... ты ведь сказал, что бумага разрушается?

— Да, но это только тогда, когда едешь туда. А на обратном пути ничего не произошло. Видишь, вот это тоже уцелело.

Он протянул мне пакет, склеенный из старой газеты. Там завалялся еще ломтик сушеной картошки. Я увидел дату — 21 год правления императора Сева.

Я был окончательно побежден. Мы с Микита забыли обо всем на свете. Я бросил работу и тоже совершил несколько путешествий на своей машине. Однако результаты были не очень утешительными. Выяснилось следующее.

Наша машина времени могла передвигаться только в прошлое. Попасть в будущее не удавалось.

Предел передвижения в прошлое тоже был ограничен: он не выходил за рамки февраля 1946 года — февраля 1947 года. И даже в пределах этого отрезка мы не могли указать машине точную дату. Один бог знал, в какой месяц и какое число мы попадем.

Когда мы стартовали, бумага неизменно разрушалась. Зато на обратном пути ни бумага, ни прочие вещи не претерпевали никаких изменений.

Машина времени, попав в прошлое, оставалась там около двадцати четырех часов, потом делала скачок назад. Следовательно, надо было успеть сесть в машину, иначе существовала опасность навсегда остаться в прошлом. Попытка попасть из прошлого — 1946—1947 годов — в еще более отдаленное прошлое тоже не увенчалась успехом.

Конечно, хорошо бы раздобыть денег и построить другую, более маневренную машину. Но Микита больше не видел во сне никаких конструкций. Очевидно, создание этой машины было просто случайной удачей. Оставалось только по возможности рационально использовать нашу старушку.

Стыдно в этом признаваться, но мы оказались банальными личностями — все наши помыслы были направлены на то, чтобы разбогатеть.

Однако и тут ничего не удавалось придумать. Ну что можно привезти из 1946 года? Даже если взять туда кучу консервов и продать их втридорога, все равно те деньги не имеют сейчас ходу. В результате мы бы только потерпели убытки. Конечно, и в те времена люди изобретали разные штучки, например, аппарат для набивки сигарет или упрощенную духовку, но теперь эти вещи безнадежно устарели.

— О-хо-хо,— вздохнул однажды Микита,— вот если бы попасть в будущее и привезти препарат для лечения рака... Или в совсем уж далекое прошлое и набрать каких-нибудь безделушек, которые у нас имеют антикварную ценность...

— Постой! — перебил его я.— А что, если начать играть на бегах? Ведь в 1946 году уже возобновились и бега и скачки. Раздобудем побольше тогдашних газет и....

— Ничего не выйдет. Какой нам прок в этих скачках? Мы же не знаем, в какое число попадет наша машина. Конечно, если бы мы могли захватить отсюда подшивку газет за год, да прихватить консервов и распродать их, тогда можно было бы пойти на ипподром в любой день и, сверяясь с газетой, ставить на нужную лошадь. Но ведь газеты по дороге превратятся в труху...

— А если купить там акции?

— Тоже ничего не выйдет. Они, конечно, повысились в цене. Правда, первоначальная их стоимость незначительна, но за это время несколько раз делались дополнительные капиталовложения. Ведь прошло целых восемнадцать лет. И что же мы получим? Нам придется отказаться от права на дополнительные прибыли, поскольку мы не делали капиталовложения.

В конечном итоге мы занялись жалкой, грошовой торговлей. Загружали машину дешевыми консервами и самыми грубыми носками и отправлялись в прошлое. Торговать на черном рынке было опасно — там шныряли пикетеры. Еще угодишь в историю, изуродуют и останешься навсегда в этом паршивом времени. Оставалось только одно — раскладывать свой товар прямо на улице. Мы обычно открывали одну банку консервов в качестве образчика — ведь наклейки в пути исчезали. Покупали нарасхват — люди-то ведь голодали. Так что мы управлялись за какой-нибудь час. На вырученные деньги мы приобретали почтовые марки. Сейчас тогдашние марки значительно повысились в цене, так что расчет был. Однако настоящего барыша не получалось. Конечно, лучше всего было бы купить там драгоценности или антикварные изделия, но куда уж соваться с нашими мизерными деньгами...

Однажды я предложил отвезти туда транзисторные радиоприемники и портативные телевизоры. Но Микита запротестовал.

— Да ты что?! Разве можно? А вдруг это повлияет на ход истории? Изменится прошлое, значит, и настоящее будет другим. Это же очень опасно. Заварим мы с тобой кашу, а потом не расхлебаем. Нет, нет, ни в коем случае!

— Вот те и на! Ты же сам хотел стащить какую-нибудь диковину из будущего. Разве это не одно и то же?

— Мало ли что я хотел! Все равно мы не можем попасть в будущее. А тут... Нет, у меня определенно дурное предчувствие. Нельзя возить туда такие вещи. Да-да, мое подсознание это запрещает. А подсознание — это, брат, тонкая штука. Ведь оно и есть истинный создатель нашей машины.

— Да что ты беспокоишься? Мы ведь уже вмещались в прошлое — отвезли туда носки, консервы, привезли марки...

— Ну, такая чепуха не может повлиять на ход истории. А телевизор — совсем другое дело. Ведь их тогда вообще не было. Понимаешь? Их еще не изобрели. Они появились гораздо позже.

Я хлопнул себя по лбу.

— Послушай, гениальная идея! Ведь в 1946 году мы уже жили. Были еще детьми. Вот нам и надо встретиться с нами же. Или с нашими отцами... Мой отец умер три года назад... Давай, а? Я бы ему кое-что посоветовал, например, какие акции нужно покупать. Или бы сообщил, когда начнутся корейские события...

— Ты просто с ума сошел! — замотал головой Микита.— Нет, все-таки ты удивительный человек. Как только тебе пришло в голову? Разве они тебе поверят? И главное, встреча с самим собой — самое опасное, что может быть в путешествии во времени. Нет, мое подсознание решительно против!

— Может быть, тогда попробовать остаться в 1946 году? А? Что, если запомнить побольше исторических фактов и стать прорицателем? Здорово?.. Впрочем... как же все получится? Ведь я уже жил так раньше. Значит, теперь мне придется жить в двух лицах — одному будет тридцать три года, другому — пятнадцать. Который же из них настоящий?..

В голове у меня все перепуталось, даже виски заломило. Микита посмотрел на меня очень серьезно, даже хмуро и опять сказал — нет!

Однажды, просматривая журнал, я наткнулся на биографию Дзиро Тангэ. Этого гениального художника сейчас знают все. Недавно открылась его персональная выставка. Работы Тангэ пользовались шумным успехом. Критики надрывались, превознося его талант.

Оказалось, что раньше он был очень беден. В послевоенное время вел полуголодное существование, у него даже не хватало денег на краски. Лишь в 1947 году одна из его картин получила премию на Выставке изобразительного искусства Японии. С того и началось его восхождение к славе.

Я углубился в изучение биографии великого художника, а Микита думал вслух и нудно бубнил себе под нос:

— И надо же, такая чертовщина — эта дурацкая машина вечно попадает в один и тот же отрезок прошлого и в самое неблагоприятное время — послевоенные годы. Пожалуй, верно, что время спиралеобразно. Я все думаю... Существует же такая теория, что если в будущем, где-то на далеких витках спирали машина времени уже создана, то люди из той эпохи свободно могут приехать в наше время или в любой другой отрезок прошлого. Но что-то пока мне не встречались эти путешественники. Наверно, в будущем еще не изобрели машину времени... Хотя в некоторые прошедшие эпохи наблюдались явления, которые прямо указывали на существование машины времени. Попробуй тут разберись... По-моему, вывод только один: машина времени ограничена в своем передвижении, она может передвигаться только в тех точках, где соседние витки сжатой спирали соприкасаются...

Я не слушал Микита, меня увлекла статья.

— Микита, ты что-нибудь смыслишь в живописи?

— В живописи? Нет, ничего не смыслю.

— Но Дзиро Тангэ ты знаешь?

— Да. Но только понаслышке. Что это тебе вдруг пришло в голову?

— Вот, читай. Дзиро Тангэ получил премию на Выставке изобразительного искусства Японии 1947 года. Понял? Это ведь немногим позже того времени, в которое мы попадаем на нашей машине. Картина, удостоенная премии, вызвала всеобщее восхищение. С этих пор его и признали как одного из крупнейших художников. А раньше он так бедствовал, что даже подумывал совсем бросить живопись. Это же просто находка для нас!

— Какая такая находка?

— Ну и болван же ты! Мы можем встретиться с ним и купить за бесценок картины, которые потом будут стоить баснословные деньги.

— Н-да! — выдавил Микита и нахмурился, обдумывая мое предложение.

Мы очень тщательно продумали план действий. Кажется, этот план не страдал никакими недостатками. Мы несколько раз съездили в прошлое и продали значительную партию консервов. Вырученные деньги спрятали на территории синтоистского храма. Разумеется, храма 1946 года. В часы, остававшиеся до отлета назад, мы разыскивали адрес Дзиро Тангэ. Это оказалось нелегкой задачей. Имя безвестного молодого человека никому ничего не говорило.

Наконец Микита решился и позвонил Дзиро Тангэ, выдав себя за сотрудника газеты.

— Наша газета, сенсей, собирается напечатать вашу краткую биографию... Скажите, пожалуйста, где вы проживали после поражения 1945 года?

— Где проживал? Да я тогда только-только вернулся в Японию после демобилизации, дома у меня не было, кочевал с места на место,— ответил мэтр.

— А в 1946 году?

— В 1946? Погодите, сейчас вспомню... Ах, да! Помню. Жил против железнодорожной станции Нисиогикубо, рядом с банями. Снимал комнату у Нисида.

— А точного адреса не припомните?

— Ну, что вы, конечно, не помню. Да разве это нужно для моей биографии?

— Нет, нет, это не обязательно. Благодарю вас, сенсей, простите за беспокойство.

Микита поспешно положил трубку. Мы ликовали — наша цель была почти достигнута.

В этот же день Микита отправился в 1946 год разыскивать Дзиро Тангэ. Он довольно быстро нашел дом Нисида — грязное, полуразвалившееся здание, не пострадавшее, правда, от бомбежки. Соседи подтвердили, что на втором этаже действительно снимает комнату человек по имени Дзиро Тангэ. К сожалению, его не оказалось дома. Ждать Микита не мог — его время было на исходе.

В следующий раз отправился я. Мне повезло — художник был дома. Когда я постучал, мне открыл очень бледный молодой человек с лихорадочно блестевшими глазами.

Я быстро осмотрел комнату. Посредине стоял мольберт с недописанной картиной. Я мало что понял — какой-то темный клубок, абстракция. В углу было еще несколько картин, небольшого размера. Прямо на циновке валялись котелок, упрощенная духовка, ломтики батона, кожура от мандаринов.

— Чем могу служить? — спросил бледный молодой человек.

— Я хотел купить ваши картины,— нарочито высокомерно ответил я.

Тангэ вспыхнул, потом снова побледнел.

— Мои картины не продаются! — отрезал он, изо всех сил стараясь тоже быть высокомерным. Но голос его звучал так слабо, что я едва разобрал слова. Бедняга совсем обессилел от голода.

— Вот еще! Буду я с тобой спорить! — сказал я и вытащил из-за пазухи толстую пачку десятииеновых ассигнаций. Ту самую, которую мы прятали на территории храма.

Я небрежно швырнул деньги на циновку. Он уставился на них почти безумным взглядом.

— Беру все картины. Идет?.. Ну, чего ты молчишь?

Тангэ колебался еще минуту. Потом едва заметно кивнул. Я успел прочитать в глубине его глаз восторженную радость и горькую печаль. Но мне было не до сантиментов — я занялся картинами. Вдруг молодой человек робко спросил:

— И эту вы тоже хотите взять?

— Разумеется.

— Но... она же не закончена.

— Это не имеет значения.

Больше я не произнес ни слова. Картины были небольшого формата, они без труда поместятся в машине. Оставив совершенно растерянного Тангэ, я вышел на улицу.

Когда я вернулся, Микита пришел в полный восторг.

— Одна, две, три...— считал он картины,— шесть штук! Да это целое состояние.

— Если удастся попасть на два-три месяца позже, может быть, еще что-нибудь раздобудем...

— Не спеши и не жадничай! Нам и этих за глаза хватит. Видишь — и подписи есть, все в порядке. Жаль только, что вот эта картина незаконченная. Хотя, может быть, за нее еще дороже дадут...

На следующий день мы пошли к одному торговцу картинами. Наши сердца просто отяжелели от надежды.

И тут произошло что-то странное. Мы просто не верили своим ушам. Торговец сказал:

— Дзиро Тангэ? Первый раз слышу это имя. Это его картины? Придется вам обратиться к кому-нибудь другому. Мне очень жаль, но я занимаюсь только крупными художниками...

Сначала мы опешили, потом страшно возмутились, решив, что имеем дело с полным идиотом. Пошли к другому. Результат был тот же — художника по имени Дзиро Тангэ не существует. Во всяком случае, такой знаменитости нет.

Нам пришлось усвоить эту истину, хотя нам казалось, что все торговцы сошли с ума.

— Что же такое происходит?! — воскликнул я, теряясь в догадках.

— Не знаю,— раздраженно бросил Микита.

Он помолчал немного, потом очень серьезно сказал:

— Очевидно, мы слишком вмешались в прошлое. От этого и настоящее изменилось...

— Как так?

— Понимаешь, как только я увидел незаконченную картину Тангэ, она показалась мне очень знакомой. И вот сейчас я просто уверен, что это та самая картина, за которую он получил премию на выставке 1947 года. Но... раз мы ее взяли в 1946 году... Значит, он уже не мог представить ее на выставке и, следовательно, не получил никакой премии. И знаменитым не стал. Вот в чем дело...

— Ну да... Ведь я купил у него целых шесть картин, оставил ему кругленькую сумму. Да что говорить, мы просто облагодетельствовали этого доходягу Дзиро. Посмотрел бы ты на него — он шатался от дистрофии! А с нашими деньгами парень наверняка ожил. Небось и еды накупил, и на краски хватило. Теперь ему только писать и писать. На сытый-то желудок и картины лучше получаются.

— А вот и нет! — хмуро пробормотал Микита.— В настоящем Дзиро Тангэ не существует. Тогда, в 1946 году, денежки-то к нему как с неба свалились. Запил он, наверно, на радостях. А вся его жизнь была в той, незаконченной, картине... Теперь — все. Пьянствует без просыпу, хлещет дрянь какую-нибудь, вроде самогона.

— Так что же с ним случилось?

— А я почем знаю? Либо спился, либо с голоду помер... А может быть, и еще что-нибудь. Может, он не пропил деньги, а купил на них какую-нибудь лавчонку и теперь торгует мылом или спичками. Не знаю, не знаю... Ясно только одно — мы похоронили гениального художника.

— Что же нам теперь делать?

— Гм-м... Хотелось бы еще несколько раз съездить в прошлое. Попасть бы в более позднее число и вернуть ему картины. Но возможно ли это? Я предчувствую, что наша машина времени вот-вот развалится. Это говорит мое подсознание.

— А может быть, ты построишь новую?

— Вряд ли получится. В последнее время я вообще не вижу снов.

Микита замолчал, насупившись. Потом посмотрел мне в глаза и, тонко усмехнувшись, сказал:

— А не лучше ли нам вернуться в психиатрическую больницу? Вместе, а? В одну палату...

АНХЕЛЬ АРАНГО

Три новеллы

Перевод с испанского
НИНЫ БУЛГАКОВОЙ

День, когда Нью-Йорк влез на небо

ел 2074 год. Жилищную проблему в Нью-Йорке уже никто не мог разрешить. И все из-за сентиментальных переживаний.

Верно, конечно, что численность населения города несколько сократилась, когда многие нью-йоркцы переселились на Луну, где к тому времени уже стала процветать промышленность. Некоторые нью-йоркцы жили также на промежуточных искусственных спутниках, созданных специально как места отдыха и развлечений. Можно было видеть, как люди прогуливаются там по алюминиевым улицам и живут в красивых стеклянных домах, полных удивительно чистого воздуха: растений они не разводили, животных не держали. Пища — самая изысканная и вкусная — готовилась в виде маленьких облаток из жевательной резинки, выделявшей сок лишь после долгого пережевывания. А жевать рекомендовалось особо, чтобы дать работу челюстям — все ученые наперебой утверждали, что если человечество не будет пускать зубы в ход, то в конце концов останется совсем без них... А никто не хотел терять зубы. Неизвестно, правда, почему.

Но Нью-Йорк оставался на старом месте и не мог разрешить своих проблем, как остальная часть земного шара. Нью-йоркцы эмигрировали, хотя все же не отваживались селиться далеко от сердца своего города. Однако задавленный Гудзоном, а также близлежащими населенными центрами, маленький остров Манхэттен вынуждал своих чад жить вдали от обожаемого периметра; и там мало-помалу они утрачивали прирожденные черты, теряя инициативу и созидательную способность,— короче говоря, превращались в то, что получило туманное и банальное наименование «североамериканец». Да, они были всего лишь североамериканцы, словно какие-нибудь натурализованные немцы или японцы. Ничего своеобразного, ничего такого, что отличало бы их от других. Лишь 30 000 000 избранных имели возможность пребывать на материнском острове, витая между ограниченной твердью земли и окружающим ее небом и заселяя невиданные доселе по длине и высоте здания в восемьсот и тысячу этажей, которые, колыхаясь, вздымались в небеса, словно огромные секвойи. Там, забравшись в комфортабельные апартаменты из небьющегося стекла, эти тридцать миллионов избранных дарили человечеству самое лучшее из того, что производил мир янки. Они занимались театром, кино, литературой, живописью (начиная с 2000 года все писали только шедевры). Но каждый год тысячи, сотни тысяч должны были уезжать и жить за пределами обожаемой

черты. Ибо рождались новые и новые нью-йоркцы, и люди уже налетали друг на друга на улицах, несмотря на индивидуальные ракеты, заменившие древние геликоптеры и занимавшие гораздо меньше пространства, потому что их можно было просто привязывать к поясу. Попытались было сократить рост населения, однако и это решение не оправдало себя: оно препятствовало воспроизведению избранного класса, и несмотря на то, что превентивные средства изготовлялись из невидимого и неосязаемого материала, а противозачаточные пасты прилагались в качестве бесплатной премии к меблированным апартаментам Манхэттена, население возрастало, эмиграция продолжалась.

■

Эрни Мэдисон Гонсалес (хотя у него и сохранилась испанская фамилия, он насчитывал уже три поколения североамериканских предков) принадлежал к той категории выдающихся нью-йоркцев, которая вызвалась решить проблему сокращения жизненного пространства, ибо считала для себя настоящей дискриминацией жить за пределами города. Это просто нечестно, что они, исконные граждане метрополии, должны уезжать, будто какие-то уроженцы Флориды или потомки европейцев, которые, вдруг охваченные тоской по земле далеких предков, ежегодно отправлялись восхищаться руинами британского парламента, останками Эйфелевой башни или мумиями последних исполнительниц стриптиза из парижского кабаре «Фоли-Бержер», существовавшего в XX веке. Теперь стриптиз был делом обычным: когда позволяла погода, народ не пользовался одеждой, а в домах, где регулярно поддерживалась искусственная температура, все вообще ходили голыми. Но и этого оздоровляющего условия отнюдь не хватало, чтобы эмигранты чувствовали себя счастливыми. А Эрни Мэдисон Гонсалес (тот самый североамериканец) принадлежал к их числу.

По отцовской линии он восходил к старой эмигрантской семье, сумевшей возвыситься над другими. Мать же его была столь древнего североамериканского рода, что уже давно забыла о корнях своего генеалогического древа. По ее требованию, собственно, он и был назван Мэдисоном, поскольку она считала, что это имя — столь звучное! — еще более североамериканизировало ее сына. Таким образом, Эрни унаследовал и свежий ветерок воображения народов испанской крови, и практическую сметку англосаксов.

— Я найду эту магическую формулу,— говаривал Эрни Мэдисон Гонсалес.— Наше время уже разрешило столько проблем. Так вот: Нью-Йорк — для нью-йоркцев. Или вернее, мы, нью-йоркцы, созданы, чтобы жить в Нью-Йорке. А Нью-Йорк — это Манхэттен, и пусть Бронкс или Бруклин попробуют утверждать обратное. Никто не имеет права выгонять нас. Даже на Луну, хотя там наша колония — самая многочисленная, а команда бейсболистов «Астральные жеребцы» — прежние «Манхэттенские мулы» — по-прежнему одерживает победы во всех чемпионатах. Я думаю, что выражаю чувства всех. Нет никаких оснований подвергать нас дискриминации. Если конгресс США ничего не сделал для разрешения этой проблемы, так я, Эрни Мэдисон Гонсалес, сделаю.

Э. М. Г. начал обращаться за консультацией к всевозможным специалистам и авторитетам — это всегда можно сделать в Нью-Йорке, если у вас есть время.

— Профессор Бэгофф, каково ваше мнение о законе тяготения? Можно ли этому противодействовать?

— Закону гравитации? Конечно! Ежедневно мы нашими ракетами нарушаем этот закон. Что за вопрос, сын мой!

— Нет-нет. Я неточно выразился. Можно ли создать такую силу, которая бы постоянно действовала вразрез с законом тяготения

в определенных соотношениях? Что-нибудь такое, что позволило бы создать равновесие...

— Ну... не знаю... Тут есть один африканский профессор, господин Менко Отаба. Он занимался этим вопросом. Предлагалось создать силу, которая действовала бы параллельно закону гравитации. Поезжайте к нему в Колумбийский университет. Я дам вам рекомендательное письмо...

И Эрни Мэдисон отправился туда. Он нашел профессора в лаборатории, куда его провел робот-секретарь, представительный экземпляр из голубоватого металла с блестящими зелеными глазами. Робот предложил было отнести Эрни на руках, но тот, не доверяя технике, предпочел идти пешком. Войдя в кабинет, он представился:

— Профессор Отаба, я — Эрни Мэдисон Гонсалес.

Нажимая указательным пальцем кнопку на стене, профессор наблюдал за резиновым мячом, неподвижно висевшим в воздухе. Имя Эрни Мэдисона Гонсалеса ни в коей степени не тронуло его. Юноша настаивал:

— Профессор, у меня к вам письмо от доктора Бэгоффа.

Услышав эти слова, профессор Отаба отпустил кнопку — мяч упал на пол, подскочил и шлепнулся на рабочий стол, сбив с места стакан, разлетевшийся вдребезги. Профессор протянул пальцы — белесые снизу и шоколадно-коричневые сверху. Письмо вздрогнуло в его руках. Он тут же взглянул на Эрни.

— Что вы хотите?

— Информацию об антитяготении... У меня грандиозный проект, профессор...

Отаба равнодушно пожал плечами.

— Вы это видели? — И он показал на то место, где ранее висел мяч.— Чудесная сила. Она позволяет поддерживать тело в воздухе с абсолютной стабильностью. Но все это очень дорого. Нужны большие деньги. Прежде всего дорого топливо для генераторов. Его производят в лаборатории. Особый газ.

— Но этот газ годится, да?

— А как вы думали, мальчик? Разумеется. Ну-с, а кстати,— в его голосе слышалось очевидное желание оскорбить юношу,— что там у вас за грандиозный проект?

— Нью-Йорк, профессор, Нью-Йорк...

— То есть?

— Повторить Нью-Йорк.

— Что-то вас не понимаю. Хоть я и африканец, но английский хорошо знаю. Вот уже двадцать лет живу в Соединенных Штатах. Что это значит? Объяснитесь.

— Простите меня. Я возбужден. Нервничаю. Встревожен. Взволнован. Мой проект должен решить жилищную проблему Нью-Йорка. Проблему эмиграции нью-йоркцев. Я много думал об этом. Долгие годы. Я всегда страдал вдали от любимого города и видел, как другие тоже страдают. Я мог приезжать туда только на каникулы. Тогда я бегал по музеям, кино, театрам, салонам живописи, кварталам богемы, пропитываясь Нью-Йорком на целый год. Только так я и мог переносить его отсутствие. И в схожих условиях находятся тысячи, миллионы нью-йоркцев. Люди, обожающие это место, хотят всегда жить в нем. А город и его центр, Манхэттен, ограничены. Они не вмещают больше ни одного человека. Так вот я и подумал, а нельзя ли сделать город заново, вернее, воспроизвести его, дать ему новое измерение, создать другой, искусственный остров, уже не посреди реки, а посреди атмосферы, остров, который в точности повторял бы контуры первого, будто его вто-

рой этаж или тень, бросаемая на небо. Если бы мы сделали второй Манхэттен, все нью-йоркцы смогли бы жить в своем городе: городе из двух этажей. Понимаете?

Профессор Отаба взял мячик и стал философски бросать его об пол, совсем как это когда-то в древние времена делали американские дети.

■

План Эрни Мэдисона Гонсалеса имел бешеный успех. Проект был передан мэру Нью-Йорка, а крупнейшие газеты и журналы немедля откликнулись. «Марсианский вестник» первый открыто поддержал идею. За ним последовали «Межпланетная газета», «Реактор» и почти совсем забытая «Нью-Йорк таймс». Был предоставлен кредит на сумму в пятнадцать цифр, резко возросли налогообложения. Спустя какие-то пятьдесят или сто лет Нью-Йорк II вознесся над Манхэттеном, будто крыша или защитный зонтик. Если шел дождь, в Нью-Йорке I было сухо; в ясные же дни солнце проникало на остров-матку при помощи передающей системы отверстий и зеркальных отражателей.

Нью-йоркцы — эмигранты начали быстро заселять надстройку города, а когда и она была заполнена, возникла — практически вполне осуществимая — идея создать над ней третий летающий остров, который, как и первый, поддерживался бы в висячем состоянии огромными антигравитационными генераторами. Вначале кое-кто сопротивлялся, как это всегда бывает, когда речь идет о чем-то новом, но тотчас же сопротивление прекратилось, едва в одной из своих передовых статей «Межпланетная» подняла вопрос: «Что означает оппозиция идее воспроизвести третий Нью-Йорк? Быть может, это желание предать дискриминации нью-йоркцев, которые не имели счастья поселиться в Манхэттене или Нью-Йорке II? Или это попытка создать касту обездоленных?» Статья кончалась категорическим утверждением: «Все это, господа, нам напоминает некое печальное явление, с которым когда-то мы встречались,— сегрегация».

Напоминание о ку-клукс-клане заставило всех взяться за ум. Быстро утвердили кредиты и налоги, открыли конторы по продаже, задали работу огромному количеству физиков, инженеров и рабочих, и через несколько пятилетий Нью-Йорк III — неколебимый как скала — гордо вознесся в пространство, поддерживаемый антигравитационными генераторами над своим предшественником. Естественно, самым выдающимся сооружением на нем был великолепный монумент из чистого стекла в честь Эрни Мэдисона Гонсалеса, воздвигнутый на краю острова и освещаемый по ночам,— как будто гигантский и преславный образ продолжал воодушевлять деятельность соотечественников.

В те времена у каждого этажа был свой вице-мэр. Нью-Йорк I управлялся Главным мэром.

Что же касается вопроса перенаселения, столь связанного с нашим животным происхождением, все предпринятые меры терпели поражение. Прошло некоторое время — один или два века,— и новые этажи были заселены. И вот муниципалитет принял окончательное решение, скрепленное подписью Главного мэра, которое гласило: «Отныне и впредь будет воздвигнуто столько этажей Нью-Йорка, сколько необходимо, чтобы каждый мужчина и женщина нашего города могли наслаждаться неотъемлемой прерогативой жить в нем». Это не подлежавшее обжалованию решение было прочитано по радио через установленные на каждом углу репродукторы. Город сотрясался от хриплого голоса диктора, торжественно произносившего слова эдикта, и нью-йоркцы немало подивились, узнав, что их столица будет вечно тянуться вверх, словно вызов самой бесконечности.

Так были построены еще один, еще два, три, четыре и пять Нью-Йорков.

Реклама приписывала последнему острову исключительные преимущества, утверждая, что там все чище: атмосфера и природа. Рекламные объявления выглядели очень привлекательно. Некоторые нью-йоркцы, вынужденные время от времени уезжать по делам, даже захватывали их с собой в чемоданах и расклеивали по стенам гостиниц или других временных пристанищ, чтобы хоть таким образом побороть тоску, охватывавшую их вдали от родных мест. С другой стороны, рекламу оправдывала безотлагательная необходимость продать новые постройки, иначе предприятие потерпело бы финансовый крах. А длинные списки ожидавших свидетельствовали о жажде поскорее занять участок или квартиру в каждом из новых летающих островов.

Однажды утром под резкие гудки межпланетных кораблей новая весть облетела мир. Манхэттен размножился в седьмой раз: основали Нью-Йорк VIII.

■

Нью-Йорк VIII располагался на высоте второго искусственного обитаемого спутника, и люди там дышали странной атмосферой, хотя и были счастливы от сознания, что живут на Манхэттене. Они продолжали оставаться нью-йоркцами! Созидательный дух метрополии восходил от острова к острову, снизу вверх — до самой верхушки, заражая жителей и неустанно плодя великих артистов, поэтов, драматургов, скульпторов, художников и т. п. Нью-Йорк снова и снова разрастался в объеме и, как и раньше, оставался средоточием американской культуры. Самым беспокойным и оригинальным центром Соединенных Штатов. Однако...

В этом мире каждую добродетель сопровождает порок. И когда исчезает последний, пропадает и первая. Нью-Йорк до того вытянулся на пути к небу, что в конце концов очутился на нем. В один прекрасный день нью-йоркцы последнего этажа открыли, что они действительно живут на небе — самом всамделишном небе. Это известие быстро распространилось по городу, где был устроен большой праздник. Святой Петр вручил — символически, разумеется,— ключи от своего царства вице-мэру последнего этажа, а тот в свою очередь передал святому Петру ключи от Нью-Йорка VIII.

— Наш дорогой святой,— сказал он,— с радостью мы вручаем вам ключи от нашего города, вернее надгорода, ибо остальные вице-мэры отказали мне в сотрудничестве, несомненно, из зависти к нашему привилегированному положению...

И растроганный святой Петр ответил:

— Я приношу вашей милости глубокую благодарность за ваш благородный и бескорыстный жест. Вручаю вам, и в вашем лице всему народу, ключи от неба, дабы начиная с сего памятного дня вы считали бы себя обитателями оного — этот дар заслужен вашими усилиями, вашим постоянным стремлением залезть выше всех. Небо,— добавил он,— находится как раз тут, где кончается земная атмосфера. По крайней мере вы сами всегда так полагали...

Толпа ответила аплодисментами, разразилась здравицами в честь мэра и святого Петра.

Отныне все переменилось. Люди превратились в ангелоподобные существа. Они даже стали презирать золото. Конечно, они продолжали ходить голыми дома и на публичных собраниях, но на это уже никто не реагировал. Друг на друга они смотрели как братья. Знаменитые летающие пояса, прикрепленные к их телам, начали плесневеть, а кое у кого даже отрываться. У жителей Нью-Йорка VIII появились какие-то стран-

ные штуки на лопатках. Это были два маленьких побега, похожие на бутоны от розы, которые все тянулись и тянулись вверх, пока, наконец, не приняли точную и определенную форму, ныне почти уже позабытую и сохранившуюся лишь на древних картинах Рафаэля или Микеланджело. Эти непонятные отростки были практически бесполезны. Они служили лишь символами, но продолжали расти и расти, пока не достигли в длину метра. Они были белого или серого цвета и лишь в очень редких случаях черного. Покрытые мягким и нежным пухом, они придавали своим носителям какой-то особенно грациозный и неземной вид. Нью-йоркцы с восьмого этажа выглядели счастливыми — наконец они обрели мир и покой, утерянные человечеством на протяжении его истории. И понемногу начали забывать о других нью-йоркцах — бедных, потерянных существах. И к тому же у тех ничего не было за плечами. А они, жители Манхэттена VIII, имели крылья... и земле уже не принадлежали.

Узнав об этих непонятных явлениях на Манхэттене VIII, жители остальных этажей в ужасе разбежались — из опасения попасть на небо. Люди начали оспаривать друг у друга подвалы первого острова.

Однажды топливо, поддерживавшее искусственные острова при помощи антигравитационных генераторов, кончилось—и со страшным грохотом другие острова рухнули на землю... Так погиб и Нью-Йорк I...

Мечта о любви

С помощью плавников-рук Этрам наконец нашел правильное положение головы внутри шлема. И тотчас же смог увидеть Арриэт, стоявшую перед ним и терпеливо ожидавшую момента, когда он будет в состоянии воспринять ощущения, создающие ее образ и ее голос.

— Этрам к Арриэт, Этрам к Арриэт,— сказал он,— ты меня слышишь?

— Да,— послышался голос Арриэт из скафандра.— Я примчалась, чтобы остаться с тобой.

— Где ты была?

— Не знаю,— сказала она,— но я соскользнула по последнему лучу солнца, чтобы остаться с тобой.

— Подойди сюда ближе,— позвал Этрам, и маленькая лампочка на конце его чувствительной антенны настойчиво замигала.— Мы совсем одинаковые, и я должен как следует рассмотреть тебя.

Она пошла ему навстречу — между двумя скафандрами осталось меньше фута. Их блестящие полированные поверхности отражались друг в друге, и, вследствие исключительного сходства обоих, приемные антенны Этрама и Арриэт резко засвистели. Очистительные воздушные фильтры впереди скафандров одновременно выбросили облачка разреженного воздуха, тогда как ингаляционные системы предпринимали отчаянные усилия, чтобы извлечь больше кислорода из окружающей атмосферы...

Арриэт была растрогана. Она живо ощущала симпатию Этрама.

— Этрам, кто мы?

— Ты и я — это пространство и время, Арриэт.

— А что такое пространство? И что такое время?

— Время — аспект бытия. Пространство — застывшее время. Ты и я — это бытие, Арриэт.

— А времени и пространства разве нет?

— Без нас нет времени и нет пространства. Через что пройдет время? Кем будет измерено пространство?

Арриэт слегка отодвинулась. Она вдруг почувствовала, как молчаливое спокойствие разлилось по электронным приемникам чувств ее скафандра. Не глядя на Этрама, который проникал в ее мозг прямо по волнам принимающего устройства, она начала говорить как бы самой себе:

— Мы любим друг друга, потому что мы вместе, потому что мы одинаковы и потому что мои приемники говорят мне, кто ты...

— А мои — кто ты...— прервал ее Этрам.

— Да, и еще мы любим друг друга... чем еще заниматься...

— Я сосчитал все звезды, что прошли нынче по небу,— сказал Этрам оправдываясь.

— А я те, которые не проходили,— возразила Арриэт,— но это говорит лишь о том, насколько мы бесполезны.

— Мы — вершина того, что возникло из человека на Земле...

— Зернышко плода, Этрам...

— Радуга...

— Арриэт к Этраму, Арриэт к Этраму, ты меня слышишь?

— Я тебя слышу, Арриэт, только ты не должна говорить на фоне музыки.

Арриэт поняла, в чем дело, и пояснила:

— Это музыка других времен, это музыка первых людей.

— Да, но она мешает мне разобрать, что ты говоришь, Арриэт. Мой скафандр не в порядке, он недостаточно четко различает элементы.

— Ты меня видишь?

— Я тебя вижу.

— Ты меня любишь?

— Мы так одинаковы, мы существуем в одно и то же время, в одно и то же проходящее мгновение,— сказал Этрам.— Любовь — это взаимопроникновение. Ты станешь мною, я стану тобой.

— А ночь уже не поет, Этрам, уже не поет...

— Она никогда не пела, Арриэт! Это коты пели раньше. Песнью ночи был ее черный цвет и коты, что всегда разговаривали в этой черной песне.

— Исчезнувшие времена.

— Ты и я — вот сегодня и ночь и жизнь; ты и я теперь тоже похожи на котов. На лестницу нужно подниматься быстро, и лишь немногие достигают вершины. А что нам за дело до остального?

Арриэт произнесла взволнованно:

— Как и у нас, больше, чем у нас,— у бомбы есть пространство и время.

Этрам пожаловался:

— Она всегда у нас за спиной, будто отец.

— Бомба существует,— подтвердила Арриэт, и ее голос прозвучал в мозгу Этрама как отчаянный призыв; этот голос, словно зовущий на помощь, пробуждал в нем какие-то далекие воспоминания.— Бомба существует,— прибавила она.— И у бомбы было и есть время и пространство, как и у нас. Как это ужасно, Этрам!

— Мы — дети бомбы.

Голос Этрама постепенно угасал.

— Нет, не дети,— запротестовала Арриэт,— мы родители и братья, плоть, небо и недра, плодовый сад или налет инея на бомбе.

— Наша дочь — бомба!

— Наша...

— Наша сестра — бомба!

— Наша...

— Мы — плоть бомбы!

— Мы недра и небо, плодовый сад или налет инея на бомбе!

— Арриэт, Арриэт! Замолчи,— взмолился Этрам.— Замолчи! Лучше пойдем спать. Ведь заснуть — это значит проснуться от того сна, в котором царит бомба; это значит снова увидеть чем мы были, совершить прыжок в тот, иной мир...

— Не покидай меня...

— Нет. Я засну, если ты будешь рядом; мы совсем одни, и мы любим друг друга.

Арриэт подумала вслух, и ее послание дошло до Этрама:

— Любовь — это значит, что мы одно и то же и делаем одно и то же.

— Заснуть,— сказал Этрам,— это значит сбросить скафандр, атомные и электронные приемники чувств; это значит вернуться к прошлому и к тем котам, и к пению ночи, к тем временам, когда ночь пела.

— Любить друг друга...— вздохнула Арриэт.

— Мы будем спать стоя, опираясь спиной о спину.

— Я уже не знаю, где у тебя спина, Этрам.

— Я тоже,— сказал он.— Но мы будем спать лежа, как в те давние времена.

— Пусть наши чувства будут хотя бы лишь дюймом ночи...

Арриэт начала снимать скафандр. Этрам сделал то же самое. Открылись их лица: без глаз, без ушей, без рта. Их головы походили на большие, почти квадратные камни, расширяющиеся кверху и покрытые бесчисленными голубыми каналами.

Они уже не могли ни видеть друг друга, ни слышать друг друга, ни разговаривать друг с другом. Прекратилась всякая коммуникация. Оборвалась...

Круг и мысль

Сначала прямая вертикальная линия на листе бумаги вызвала представление о притяжении. Отец показал на нее и сказал:

— Это наш способ, наше направление.

Сын, которого звали Анекс, одобрительно кивнул головой.

Потом отец взял тот же самый лист и пересек вертикальную линию горизонтальной.

— На поверхности этой мы живем,— объяснил он, проведя указательным пальцем по линии.— Ты понял?

Взяв бумагу, Анекс ответил:

— Да, отец. Это просто.

Отец взглянул на него озабоченно:

— Не так просто, это ограничено вот чем...— и он нарисовал маленькую окружность, оставив лишь очень небольшое пространство вокруг точки пересечения и одновременно поясняя Анексу:

— Ты не можешь выйти отсюда. Здесь заключено все.

Не очень-то счастливым почувствовал себя сын, услышав слова отца. Он глубоко задумался и спросил в свою очередь:

— А за пределами круга, отец, что происходит?

Отец приложил голову к груди сына и почувствовал, что она потрескивает, как пламя.

— Пределы круга означают начало и конец, а для того, чтобы жить и действовать, нам дано лишь пространство, заключенное между ними. Ты должен двигаться лишь в пределах круга, который может расширяться или сужаться, но он вычтен из остального.

— Хорошо, пусть вертикаль — всего лишь след, что я оставляю. Но сам я, что такое я?

— Ты точка. Только точка.

— Я меньше, чем точка,— сказал Анекс.— Я меньше, чем пересечение двух прямых.

Он собрал свои самые любимые вещи и завернул их в плащ.

— Но круг может расширяться или сужаться. Он не всегда один и тот же,— сказал отец.

— Мне не нравятся круги. Они как дома без дверей. Почему это так?

— Это закон, так предначертано.

— Но кто это знает? — возразил Анекс.— Откуда это идет?

— Такова основа, Анекс. Так было с самого начала. Маленькие черточки или палочки, что разрезают горизонталь, а вокруг точки пересечения — окружность. Каждый со своим кругом.

— Значит, отец, нет выхода? Все должно оставаться внутри круга?

— Да.

— И я не должен искать ни там, где начало, ни там, где конец?

— Это было бы бесполезно. Ты все равно не познаешь ни то, ни другое. Ты можешь даже поверить однажды, и тебе покажется, что ты достиг чего-то, но придет время, и ты увидишь, что все совсем не так, и тогда ты поймешь, что ошибался. Это значит, что и ты и другие всегда должны начинать все сначала. И так каждый раз. Круг всегда ограничивает тебя. Он просто или расширяется, или сужается.

Но Анекс был молод. Он посмотрел на свои руки, полные сил. Вот он увидел толстый корень, торчащий из земли, ухватился за него и начал тащить, пока не извлек на поверхность. Потом, подпрыгивая, как молодое животное, он побежал средь засеянных полей. Встретив других ровесников, он с ними принялся за работу.

— Если он расширяется или сужается — значит, он не всегда один и тот же. Значит, ему присуще движение. Если же ему присуще движение, он оставляет след. Отец, я смогу написать мое имя за пределами круга!

Отец поразмыслил минутку.

— Нет. Ты можешь лишь расширить свой круг. Но он всегда будет ограничивать тебя.

Анекс взял графит из рук отца и нарисовал другую окружность на бумаге. Потом еще одну и еще, пока не покрыл кругами весь лист. Указывая на тот, внутри которого был крест, он сказал:

— Если я здесь, то я могу двигаться между остальными и идти в любую сторону. Это не стена: другие дадут мне дорогу.

И он нарисовал свой воображаемый путь среди кругов.

— Ты пойдешь со своим грузом за плечами,— предсказал отец.

— С моим кругом.

— Ты сможешь дойти даже до горизонта, ты сможешь пройти средь света годов, что уже не существуют, и вернуться к тому свету, который увидят твои внуки, но хотя ты и переменишь место, ты всегда останешься лишь самим собой, с точно определенной тяжестью внутри твоего круга и на твоем уровне, который позволит тебе лишь осознать свое положение, после того как ты прошел свой путь.

— Я буду учиться,— сказал Анекс.— Я пройду, наполняя мой заплечный мешок, и вернусь в точку отправления со всем тем, что соберу. Вовсе не обязательно, чтобы всему нас учили в школе. Можно учиться и у жизни — круг это или сеть, это наше. Наше «я» всегда стоит на страже с горящими огнями. И у этого маленького паучка, что сидит внутри нас, есть своя сеть, чтобы ловить идеи, а своих детей не едят...

— Ты сошел с ума. Для каждого паука есть только одна нить и единая точка, в которой он существует.

Анекс ответил:

— Отец, где бы мы ни находились, мы лишь часть движения. Нич-

то не может ни задержать нас, ни ограничить, ибо мы приходим и уходим. Каждое завтра мы ломаем нашу собственную историю. Мы идем, куда хотим, и нет никаких кругов. Мои излучения бегут по всему миру; они не замкнуты в круг. Я — доро́га для других, и сам я двигаюсь среди них, потому что мои мысли исходят из меня в виде частиц и в свою очередь возвращаются ко мне.

Отец рассердился и воскликнул:

— Голос — всего лишь голос, даже если ты закричишь. Истина, как вино, нуждается в бокале.

Но Анекс предпринял путь поисков: он решил изменять вещества, найти такое состояние, где одна вещь походила бы на другую, отличную от соседней. Он отделил форму от предметов и заставил их жить как нечто совсем новое, иное. Он работал и руками, и с помощью приборов, устремив взгляд внутрь материи, а мозг его не дремал, проверяя, что делают глаза и руки. Затем он исследовал свет — это слово солнца, стараясь отыскать в каждом вновь воссозданном им веществе время, стараясь приблизить его к себе, желая слиться с ним.

— Анекс, сын мой,— сказал отец в последний раз.— Посмотри на меня, чего я достиг в мои годы? Я все равно лишь продолжаю оставаться внутри своего тела. Это и есть единственная истина, все остальное ложь. Так и ты всего лишь нечто внутри себя, как та самая точка на своей вертикали и своей горизонтали.

Это было правдой. Его отец действительно оставался заключенным внутри собственного панциря. И также верным было то, что для отца существовал всего лишь один минимальный круг в пределах всей круговой проблематики, которую он смог постичь. Однако Анекс видел все в движении — он мыслил.

Чешская карикатура

Столовая самообслуживания

МИХУ ДРАГОМИР

Из записок космонавта

Нет неба — лишь бездна бездонная
и плотное время меня облегло.
Пространство бесплотное, темень бездомная —
лишь сердце рассечь эту вечность смогло.

Лишь сердцу, свой стук одинокий несущему,
тот мертвенный холод согреть по плечу.
Во тьме без вчерашнего, тьме без грядущего
немереный космос измерить лечу.

Теперь я — Земля, что поет в мироздании
и, странствуя, длит свой свободный полет.
Теперь я — Земля, я живое сознание,
что солнце земное в пространство несет.

Концы и начала держа неизменные,
был мир до меня на весах недвижим.
Дано бороздить мне впервые Вселенную
и вечность отсчитывать сердцем своим.

Перевод с румынского

КИРИЛЛА КОВАЛЬДЖИ

АНТОН ДОНЕВ

ФАНТАСТИЧЕСКИЙ ЮМОР

Перевод с болгарского Т. КАРПОВОЙ

Несовершенная конструкция

Клокочущая лава доходила ему до колен. Вокруг поблескивали синеватые огоньки. А внутри скафандра поддерживалась среднеевропейская температура. Вулканолог Грау медленно спускался в растопленную породу, ругаясь про себя:

— Идиоты. Нашли, где приземлиться. Мало им ровных площадок, мало океанов, а они...

Несколько дней назад поступило сообщение, что из системы Сириус приземляется корабль, предпочитающий эластичную почву. В этот момент вулкан Этна снова начал извержение, и сирианцы угодили прямо в его кратер. Где их сейчас искать? А если они пролетели Землю насквозь и выскочат на поверхность где-нибудь в Исландии? Может ли он пешком догнать их?

Расплавленная лава доходила ему до груди. Грау раскинул руки и нырнул. Вулкан продолжал действовать, снова и снова выбрасывая его наверх. Хотя вулканолог был прекрасным пловцом, он должен был напрячь все свои силы, чтобы добраться до первого бокового канала. Здесь он отдохнул и заморил червячка, съев две газообразные свиные отбивные, а затем уже продолжил спуск.

Лава постепенно становилась жиже. На стереоскопическом радарном экране были видны стены кратера. Тут и там начали образовываться алмазы, сапфиры и другие с точки зрения прошлых времен драгоценности весом в две тонны и больше. Грау иронически рассматривал их. Как могли первобытные люди двадцатого века ссориться из-за этих стекляшек!

Во время второго привала вулканолог решил немного поспать. Он прислонился к раскаленному добела куску базальта, понемногу тающему, как масло, и включил сносинхронный механизм. До его ушей донеслась электронная музыка, и он забылся.

Разбудил его страшный толчок. Вокруг него в лаве образовывались огромные газовые пузыри. Грау в испуге прислонился к стене кратера. В передатчике, находящемся в шлеме скафандра, сначала что-то затрещало, засвистело, а потом все заглохло. Вулканолог быстро включил радарный экран и увидел, как какое-то громадное сигарообразное тело пронеслось мимо него кверху. Затем новый взрыв отбросил его глубоко вниз в один из боковых каналов.

— Идиоты! — взревел Грау.— Они собрались вылететь. Меня не подождали! Идиоты-ы-ы-ы!

Но его никто не слышал. Передающий аппарат был поврежден огромным давлением лавы.

Вулканолог предпринял попытки выбраться наверх. Он крутился в кипящем потоке, который поднимался все выше и выше. Но когда движения Грау замедлились, когда лава вокруг него стала густеть, а внешняя температура упала до каких-то там пятисот градусов, он в растерянности остановился.

— Что же это такое?

Он попытался подняться еще немного выше и увидел над собой твердую породу. Заблудился! Оказался в тупике! Быстрее назад! Грау опять нырнул вниз, нашел новый путь, полетел кверху и... снова уперся в потолок. Измученный, с сильно бьющимся сердцем, он попытался связаться с внешним миром, но аппарат его безмолвствовал.

После нескольких безуспешных попыток выйти на поверхность вулканолог опустился на дно вулкана, сел на еще не растопившуюся кочку и задумался о...

На этом магнитофонная запись обрывается. Интересно, почему в те времена люди говорили о себе в третьем лице? Интересно, как это они решались спускаться в вулкан в одиночку?

Запись была найдена в хорошо сохранившемся скафандре Грау одним вулканолетом, который немного отклонился от своего постоянного курса к центру Земли. По расчетам, это случилось приблизительно через пятьдесят лет после несчастья, постигшего вулканолога. Сам Грау, вероятно бы, дождался спасения, если бы не одно маленькое упущение со стороны конструкторов скафандров того времени. Они предусмотрели неисчерпаемые источники пищи, воды и энергии, обеспечили всевозможным оборудованием и аппаратурой, но забыли об одном — что человек, находясь долгое время в скафандре, должен бриться.

Борода Грау заполнила весь скафандр и задушила вулканолога. Медицинская экспертиза установила, что он умирал в течение четырех лет.

Правда о первом человеке

Еще во время подготовки экспедиции с альфы Центавра на недавно открытую планету Земля культпросветитель Адонис Аментал выступил против включения в экипаж галактоплана женщины-стюардессы. Его опыт (он участвовал в других экспедициях) подсказывал ему, что женщины, особенно красивые, представляют опасность для мужского общества, когда находятся в нем более двух световых лет. Несмотря на его протесты, Елена Вартбург все-таки была включена в экипаж. Она получила приказ о командировке, прошла необходимую космическую тренировку и начала расставлять рюмки и кофейные чашки в маленьком баре галактического корабля и получать газеты и журналы, которые должны будут выйти в будущем столетии.

Уже в первый световой год опасения культпросветителя оправдались. Женская отрава начала действовать. При этом по необъяснимым причинам женщина направила ядовитые струи именно на него, вероятно, потому, что считала его самым неподдающимся. К тому времени для того, чтобы сберечь имеющийся в наличии дыхательный газ, все стали называть друг друга сокращенными именами, и Адонис Аментал стал называться Ад-Ам, а Елена Вартбург — Е-Ва.

Стюардесса проявляла более чем повышенный интерес к культурно-массовой работе, проливала концентрат из чашки, подавая ее Адаму, а он начал тщательно следить за своим скафандром и часами вздыхать под пение кибернетического соловья.

Когда прибыли в солнечную систему, все уже было кончено. Адам следовал за Евой, как собачка на поводке, а Ева перешла к следующему акту своей губительной деятельности — возбуждению ревности. И, может быть, добилась бы значительных результатов, так как на нее уже поглядывали парикмахер, повар первой категории и руководитель драмкружка. Но, увы, времени не осталось — галактоплан коснулся Земли.

Началась обычная исследовательская деятельность. Наблюдали за атмосферой, за извержением вулканов, измеряли вес черепов мамонтов, вынесли ряд интересных предположений о будущем этой дикой планеты, оставили ясные и понятные знаки — в Баалбеке, в пустыне Гоби и в селе Долно-Камарци, чтобы через сотни тысяч лет будущие люди могли узнать, кто, когда и зачем сюда прилетал. Экспедиция уже готовилась к отлету, когда Адам и Ева совершили непростительную ошибку.

На первый взгляд все выглядело обыкновенно — во время прогулки, совершаемой от скуки, да и для того, чтобы понаблюдать за любовью пещерных медведей, Адам и Ева заблудились в девственном лесу. Они долго плутали по нему, валялись как дети в высокой траве и внезапно очутились под удивительно красивым деревом, усыпанным плодами.

— Ах, какая прелесть! — воскликнула Ева.— А можно ли их есть?

— Да, а... можно, возможно... но...— испуганно пробормотал Адам.

— Глупости! Сейчас проверим!

С помощью ультракристального мыслепрепаратора Ева уже успела спросить у питона, лениво висящего на одной из веток, о качестве плодов.

— Яблоко! — воскликнула она и всплеснула руками.— Какое смешное название! Только змея может придумать подобное!

Она сорвала яблоко и откусила от него. Глаза ее сощурились от наслаждения, щеки покрылись румянцем, а нос издал такой мелодичный звук, что Адам не выдержал и сказал:

— Ну уж дай и мне!

Наелись всласть оба альфацентаврийца яблок, и только когда у них заболели животы, они поняли, какую совершили ошибку. Ведь их организмы привыкли только к питательным пилюлям. Такого расстройства желудков девственная Земля до сих пор и не видывала.

С огромными мучениями, на четвереньках, они сумели все-таки добраться до галактоплана. И там, распростершись на земле возле входа в главный реактор, они признались в своих прегрешениях. Ужас овладел экипажем. А начальник экспедиции Иегудий Ованесян (сокращенно Иегова) воскликнул:

— Что вы наделали, грешники! Теперь ваши утробы наполнены неизвестными бактериями, и вы их перенесете на нашу стерильную альфу Центавра. Нет, о, нет! Я спасу любимую планету! Вы останетесь здесь и тем самым искупите свою вину!

Дальнейшая история была весьма краткой. Обоим сделали уколы бессмертия, дали им всякие мелкие инструменты, оставили их на полянке в джунглях и улетели.

— Что мы теперь будем делать? — захныкал Адам.

— Не знаю,— заплакала Ева.

А когда женщина говорит «не знаю», это становится весьма опасным. Вскоре родилось у них двое детей. Одного нарекли Антоном Величковым, а другого Карло Индийцем.

Ну и дальше мы уже можем полагаться на Ветхий завет. Каин убил Авеля, чтобы овладеть наследством, потом Енох родил Ирада, Ирад родил Мехиаеля, Мехиаель родил Мафусала и так далее...

И разбежались дети Адама и Евы по земле. И открыли они Америку, начали сотни войн, испытали сотни атомных бомб и полетели в космос, стали исправлять оперативным путем кривые носы, нашли способ,

как уничтожать волосы на женских ногах и увеличивать количество волос на мужских головах...

А Ева и Адам, получившие от Иеговы бессмертие, продолжают жить где-то в сельве Бразилии. Детей они больше не рожают. Атеросклероз достиг у них такой степени, что они уже ничего не знают о событиях, происходящих в мире. Ева лишь сердится на своего мужа и вспоминает о годах юности, а Адам вздыхает, собирает виноградные листья для своего нового костюма и ждет не дождется, когда же, наконец, придет и его час получать пенсию.

К новым горизонтам

Дверь была массивной, окованной железом, и на ней начертано на трех языках: «Четвертое измерение. Вход строго воспрещен!»

Профессор Шмидт, задыхаясь, остановился. Позади него слышался топот и крики преследователей. Даже подумать неловко, что профессор, при этом истинный немец, при этом вовсе и не коммунист, а совсем наоборот, может быть преследуемым полицией! И. представьте, за что? За изнасилование какой-то десятилетней глупышки, которая до своего совершеннолетия забыла бы об этой шутке. Профессор Шмидт с радостью бы пожаловался в высшую инстанцию, но сейчас для этого не было времени.

В глубине коридора появились огоньки. Полицейские приближались.

В этом проклятом туннеле, прорытом бог знает когда и бог знает кем, его могут поймать как крысу. Профессор прочитал надпись еще раз, его аналитический ум тем не менее не прореагировал на удивительные слова, и рука сама потянулась к замку.

Дверь отворилась, несмотря на кажущуюся массивность, удивительно легко. Из двери полился какой-то неопределенный свет, который не падал лучами, а выписывал по полу меняющиеся цветные фигуры. Топот все приближался. Несколько пуль просвистело возле ушей беглеца и исчезло в мерцающем пространстве. Шмидту было ясно, что положение его опасно, он сделал шаг вперед, еще шаг и...

Сначала перед его глазами завертелись цветные круги.

— Пил ли я? Нет, не пил,— сказал он себе.— Что же это за фантасмагория?

Затем на него обрушилась волна различных звуков, среди которых выделялась громкая ругань на английском языке. Мгла рассеялась, и перед профессором появился долговязый человек, качающий головой и продолжающий клясть всех родственников, всех существующих и несуществующих знакомых.

— Какой идиот кинул в меня железкой? Вы, что ли? — Он приблизился к Шмидту.— Почему вы не оставляете в покое честного янки, не даете ему проспать свою жизнь, как человеку?

— Извините, сэр,— любезно улыбнулся профессор. В последние годы у него выработался рефлекс, он всегда улыбался, услышав английскую речь.— В меня только что стреляли, может быть, какая-нибудь пуля...

— Пуля? Глупости! Вы уж не оттуда ли прибыли?

Шмидт кивнул. Американец взревел, схватил его за руки и потащил:

— Это произошло по ту сторону? Говорите! Направление? Быстро!

Шмидт повернулся, чтобы показать на двери, в которые вошел, но увидел позади себя пустое пространство. Вокруг простиралась бесконечная голая равнина.

— Здесь где-то была. Не могла же она исчезнуть...

— Глупец!— вскричал американец.— И он как все! Вы вошли в дверь?

— Да.

— Что на ней было написано?

— Четвертое изме...— Профессор вдруг вспомнил, что десять лет преподавал физику в Боннском университете.— Но как это — четвертое измерение? Неужели мы находимся в нем?

— А не думаете ли вы, что мы в кондитерской?— иронически заметил американец.

— Но это гениально! Это великолепно! Значит, мы открыли четвертое измерение!

Шмидт был в восхищении. Он представил себе, как возвращается в Бонн, как докладывает об измерении, которое так давно искали, как получает все возможные звания всех университетов, как, наконец, натягивает нос этому проклятому Федоренко из Москвы...

Американец насмешливо наблюдал за ним.

— Вы действительно дурак. Чему вы радуетесь? Хорошо, мол, что открыли. До вас сюда попала сотня человек. Уж не думаете ли, что только вы один прошли в эти двери? Ну и что толку?

— Что вы говорите? Да о четвертом измерении пишут, о нем спорят, это дало бы новый толчок развитию науки...

— Какому, скажите? И, наконец, какая может быть польза в этом лично для вас, если отсюда нет возврата?

Профессор посмотрел по сторонам и только сейчас ощутил страх. Он действительно находился посредине голой равнины. Кое-где виднелись тени прогуливающихся людей. Но нигде не было и намека на вход, через который он вошел. Он с удивлением посмотрел на американца, который, в концов концов, начал ему объяснять. Оказалось, что и он был инженером и три года назад открыл двери и вошел, чтобы увидеть, что за ними скрывается. А другие, находящиеся здесь, попали сюда по принципу обычных людей, которые суют свой нос туда, где написано: «Вход воспрещен».

До сих пор инженер открыл лишь то, что, как четвертое измерение непостижимо для первых трех, так и они неизвестны ему. И так как двери, туннель, даже и воздух в нем принадлежат другим измерениям, то для всех, находящихся здесь, они практически не существуют.

— Мы, может быть, сейчас наступаем на любимую мозоль английской королевы, или какой-нибудь «кадиллак», может быть, переезжает вашу печень — это безразлично для обеих сторон. Важно лишь, что мы находимся здесь, не знаем, сколько еще времени будем находиться, и ничего не делаем.

В четвертом измерении не существовало фактора времени. Это несколько утешило профессора. Он недавно ел и, таким образом, останется сытым до конца пребывания здесь. До конца? А когда он наступит?

Американец немного успокоил его, показав различные фокусы четвертого измерения. Он, например, привел его на точку, в которой сходились все параллельные прямые. Объяснил, что тут лучи света распространяются по кривой линии и поэтому, когда солнце находится в зените, наступает ночь, а когда начинает заходить — снова становится светло. Продемонстрировал существование притяжения во всех направлениях, для этого прошелся спокойно на высоте трех метров над землей вниз головой. Даже проделал небольшой эксперимент, которым доказал отсутствие плотности материи,— он просунул руку в живот, вытащил через спину и почесал левую лопатку.

— Но что вы делаете здесь? Как живете?— попытался узнать профессор Шмидт.

— Скучаем, профессор. Ужасно скучаем. Изучили все чудеса. Открыли физический факультет для вновь прибывших, но все они имеют сейчас уже профессорские звания. Не знаем, что делать, потому что никто не принес с собой хотя бы одну колоду карт. Придумываем различные глупости. Сегодня вечером, например, пойдем слушать концерт для лейкопластыря с оркестром.

— Но ведь здесь нет...

— Нет, разумеется. Поэтому и интересно. Оркестра нет, но из-за отсутствия лейкопластыря мы этого не замечаем. А концерт состоится. Даже сегодня назначили дирижера, критика, директора...

Профессор Шмидт посмотрел на американца. Он действительно начал опасаться — не с сумасшедшим ли имеет дело. Но так как разбирался только в физике, а не в медицине, то решил, что все покажет время. Время? Черт возьми, но ведь здесь времени не существует! Здесь люди просто исчезали для окружающих и консервировались на века. А благодаря своим бесконечным просторам четвертое измерение может вместить столько людей, что в других трех измерениях останется... Стоп!

Неожиданно гениальная идея осенила плешивую голову профессора. Он так раскрыл рот от уважения к самому себе, что теперь в свою очередь американец подумал, в своем ли тот уме.

Ну да! Ну, конечно! Это-то уж поистине гениально! Сюда можно собрать так много людей... лишних людей... и не нужно их ни кормить, ни убивать, ни хоронить... Что представляют собой Освенцим, Маутхаузен, Биркенау по сравнению с неограниченными возможностями четвертого измерения? И наступит день (о, к этому идет!), скоро наступит день, когда снова потребуются лагери и для евреев, и для большевиков, и для американцев, и мало ли для кого еще. И тогда он, Ганс Шмидт, станет великим — более великим, чем изобретатель водородной бомбы. Имя его будет передаваться из уст в уста, а если ему разрешат от каждого осужденного, проходящего через проклятые двери, взимать минимальную входную плату, тогда...

Профессор Шмидт затанцевал от радости на песке пустыни. Американец посмотрел, посмотрел на него, махнул рукой и пошел на концерт для лейкопластыря с оркестром. А Шмидт, счастливый и довольный, сел на песок и за неимением других пособий начал пальцем писать формулы и производить вычисления. Ему предстояло разрешить не особенно трудную задачу — снова открыть первые три измерения, вернуться в них, доложить, собрать лавры...

До сих пор еще не поступило сообщения о возвращении профессора. Евреи, коммунисты и прочие люди второго сорта, можете спать спокойно!

Жертва славы

Когда инженер Трыпчо Д. решил построить второй этаж Балканского полуострова, мировая общественность ахнула от восхищения. Если жить в двухэтажных городах, то можно по выбору либо греться наверху на солнце, либо работать внизу в тени, и гаражей для геликоптеров, аэромобилей и прочего научно-фантастического транспорта будет достаточно! По смелости этот проект равнялся проекту переноса Австралии в Северный Ледовитый океан, что должно было быть осуществлено в следующем квартале. А по авторской фантазии он превосходил предложение относительно переоборудования всех действующих вулканов в предприятия общественного питания, комбинируемые с банями и прочими бытовыми учреждениями.

Имя Трыпчо Д. гремело на ультракоротких, коротких, средних, длинных, инфрадлинных волнах. Его фотографии появились во всех газетах, а ряд известных поэтов написали хорошо оплаченные четверостишия для первых полос. Известность инженера так быстро росла, что даже его собственная теща поверила в его гениальность. И именно эта слава привела гениальный замысел к катастрофе.

Роботы-чертежники закончили проект очередной восьмидесятимиллионной опорной башни, роботы-вычислители определили, с ошибкой всего лишь на двести пятьдесят граммов, необходимое количество цемента, бетона, стекла и арматуры, а роботы-плановики уже подготовили кадры и материалы для капитального ремонта после приема комиссией строительства, как вдруг инженер Трыпчо Д. исчез.

В сущности он не исчез — каждый знал, что он ездит по свету, но никто не мог его найти.

Прежде всего посыпались приглашения от различных строительных организаций. Везде его встречали с распростертыми объятиями. Даже конголезские строители сделали его почетным гражданином джунглей, а его коллеги с Ньюфолкнерских островов подарили двадцать почти не использованных жен. После этого Трыпчо Д. отправился обмениваться опытом. Он подсказал, как укрепить несколько растрескавшихся небоскребов в Сан-Франциско, помог французам перевернуть Эйфелеву башню, чтобы она занимала меньше места, и с той же целью водрузил одну египетскую пирамидку на другую, оставив на месте только сфинкса для учебных целей...

Громадная административная машина занималась лишь тем, что сообщала всему миру, где находится Трыпчо Д., когда вернется, куда поедет, когда возвратится. Четыре тысячи машинисток переписывали его воспоминания и путевые заметки, пятьдесят тысяч вполне серьезных нотариусов и адвокатов учтиво отклоняли предложения о женитьбе, бригады грузчиков в несколько смен принимали тонны цветов, полученных для него, и передавали их на переработку во вторсырье.

А тем временем он путешествовал, консультировал, заседал в почетных президиумах, пожимал руки, посещал приемы.

А тем временем закончившие различные виды вычислительных, строительных и планировочных работ роботы начали ржаветь.

А тем временем человечество уже забыло, что же, в сущности, предложил построить Трыпчо Д.

И когда в один прекрасный день он вернулся все-таки в свой родной административный небоскреб, то нашел там совершенно незнакомых людей. Какая-то другая организация трудилась над проблемой согревания Северного полюса и с нетерпением ждала возвращения своего руководителя, который отправился по стопам гениального Трыпчо.

— Но, помилуйте! Где же мои люди и роботы? — воскликнул инженер.— Неужели вы меня не узнаете? Я и есть Трыпчо Д.

Работники другой строительной организации повскакали с мест, начали рукоплескать, создали на скорую руку организационный комитет и предложили знаменитому инженеру отдохнуть перед банкетом, который они устроят.

На этот раз Трыпчо действительно исчез. Слава ли ему осточертела, сам ли он забыл, что намеревался строить, или опять оказался под каблуком у жены — неизвестно.

Злые языки говорят, что гениальный Трыпчо Д. стал журналистом и в серии восторженных репортажей и очерков мстит своим гениальным коллегам, ведя их по проторенному, но, увы, пагубному пути славы.

Посредисловие

Дорогой мой брат читатель!

Не сердись, что я обращаюсь к тебе так интимно, но ты мне очень симпатичен. Надеюсь, что и ты испытываешь подобные чувства. Писал-писал до сих пор и вот решил поговорить с тобой. Если бы я написал предисловие или послесловие, то ты бы, наверное, не прочитал его. Между нами говоря, и я не читаю эти вещи. Где родился, почему родился, когда осенила идея заниматься литературой — очень важно!

Именно поэтому я решил написать посредисловие. Если уж ты дочитал до сих пор, продолжай читать — может быть, я расскажу тебе что-нибудь интересное.

Я с тобой знаком, брат читатель. Видел тебя и в поезде, и в учреждении, и в ресторане. Да и ты, наверное, меня знаешь, но только не можешь вспомнить.

Сколько раз я у тебя просил огонька, сколько раз с вопросом «здесь не занято?» садился за твой столик в кафе, сколько раз спрашивал у тебя в трамвае: «Вы выходите на следующей остановке?» — и сам опережал тебя при выходе, чтобы занять более выгодную позицию возле девушки с красивыми ногами!

А в кино?

А в бане?

А в очереди за вареной кукурузой?

Припоминаешь? Ну, и так как мы давно знакомы, мы спокойно можем говорить и о литературе, а конкретнее — о моей книге.

Что я этой книгой хотел сказать? Ох, в какое ты меня поставил затруднительное положение этим вопросом!

Знаешь, мне иногда случалось писать пьесы. Иногда их играли в театре. И самым страшным моментом для меня был тот, когда режиссер начинал ходить по сцене, скрести скудную растительность на голове и кричать на актеров:

— Но, товарищи, прошу вас! Неужели вы не понимаете, что хотел сказать автор в этом пассаже?

Я прятался в темноте и спрашивал себя:

— А действительно, что я хотел сказать?

И когда режиссер заканчивал свои объяснения и артисты вдруг придавали иное звучание сцене, я понимал:

а) что в сущности я очень умный;

б) что режиссер тоже умный, так как понял мою тонкую мысль;

в) что актеры ужасно умные, потому что поняли режиссера.

Хорошо, когда человек живет среди умных людей, потому что...

Но мы отвлеклись от темы. Почему, спрашиваешь ты, я написал эти рассказы? Но как тебе объяснить, брат-читатель? Приходи к нам, и ты увидишь, какую громадную библиотеку научно-фантастических романов, повестей и брошюр я собрал. Одно время и я хотел покрыть себя неувядаемой славой, написав подобное произведение. Я написал его. Оно очень понравилось моей маме. Понравилось даже и одному моему приятелю, который сразу же после этого попросил у меня взаймы десять левов. А в издательстве сказали, что тема устарела, что язык... что стиль... что жанр... что герои...

Так я отказался от собственных своих произведений и решил использовать чужие фантасмагории, передавая их так, как вижу их сам.

И разве я виноват, что мои глаза воспринимают только смешную сторону вещей и событий? Грешно ли это?

Приведу один пример. Не считаешь ли ты, что после того, как тебе наступят на мозоль, ты выбьешь несколько зубов виновному, то тебя

отдадут под суд за мелкое хулиганство, кроме того, ты получишь кулачную инфекцию, из-за чего будешь долго ходить в поликлинику, терять трудовой стаж, флиртовать с регистраторшей и в конце концов женишься на медицинской сестре, которая целый месяц будет тебе делать болезненные уколы...

Что я хотел этим сказать? Ах, да! Не считаешь ли ты, что если тебе наступят на мозоль и ты все обратишь в шутку, то тем самым сбережешь и время, и труд, и нервы, и, кроме того, еще останешься холостяком?

Да, верно, юмор тоже должен иметь свою цель. Но ведь она есть! Поэтому в некоторых героях ты узнаешь самого себя, свою тетю, своего начальника. Ты их узнаешь и будешь смеяться. И извини, если что...

Ну, а если говорить о героях, то я должен извиниться за их имена. Ты не представляешь, сколько я мучился, пока их придумал. Ну и ты помучайся немного, чтобы их правильно прочитать.

Что еще тебе сказать? Будь добр и снисходителен ко мне, а не то я возьму и напишу еще одну такую книгу. Тогда будешь знать!

Вижу, что ты спешишь прочитать следующий рассказ. (Он интереснее предыдущих.) Поэтому и я заканчиваю. Читай дальше, желаю тебе успеха! Передай привет медицинской сестре. Спокойной ночи!

Почему потонула Атлантида

— Значит, ты утверждаешь, что дважды два — четыре?

Великий жрец Крц в ужасе воздел обе руки горе и взглядом обратился за помощью к светилу Млрпрвлтцлу, который кротко грелся у окна.

— Да, великий повелитель...

Раб-математик упал ему в ноги и усердно лизал пол возле его золотых сандалий.

— О, боги! — прошептал Крц, голос его уже осип от возмущения.— Как дальше жить, боги? Значит, дважды два...

Он замолчал и ногой оттолкнул раба.

— Ты хочешь опрокинуть вниз головой всю нашу вековую науку? Ты хочешь стать рядом с богопомазанными? Может быть, наступит день, когда ты осмелишься утверждать, что белое — это белое, а не черное, как я того желаю? Ступай! Ступай сейчас же и скажи страже, чтобы тебя иссекли на куски, может быть, ты поумнеешь!

Раб отправился исполнять приказ своего повелителя, а Крц нервно зашагал по золотому залу дворца. Над главным городом Атлантиды, который с незапамятных времен назывался Ф., солнце, вопреки опасениям жреца, продолжало невозмутимо сиять...

— Повелитель, я не мог исполнить твоего приказа.

— Почему? — в гневе воскликнул Крц.

Раб снова рухнул на пол в самом запыленном месте.

— Сотник, которого я попросил меня высечь, спросил, в чем я провинился, и я ему сказал, что дважды два...

— Замолчи! Не вспоминай еще раз эту ересь!

— Слушаюсь, повелитель... Я ему рассказал, чем осквернил твой священный слух. Он думал, думал, а в конце концов согласился со мной, и я...

— Хххххффффффпппппппрррр,— не сдержался жрец, и из его уст вылетело довольно соленое ругательство на староатлантском языке.— Сейчас же вернись к сотнику и оба отправляйтесь, пусть вас разорвут кони! Пусть целый полк солдат сопровождает вас!

— Слушаю, владыка! Но если...

— Убирайся, презренная тварь! — вскричал жрец так громко, что раб тут же вылетел за дверь. Немного успокоившись, Крц подошел к окну, чтобы увидеть, как будут приводить в исполнение его приговор. Внизу, по вымощенному черным и зеленым мрамором двору, полк солдат вел раба и провинившегося сотника, подгоняя их время от времени ударами бронзовых копий по мягким частям.

— Хорошо! — удовлетворенно сказал жрец и собрался было улыбнуться, но в этот момент с ужасом увидел, что раб-математик что-то сказал солдатам и те остановились посредине двора и начали считать на пальцах...

— Аааааааа! — Крц схватил жезл из слоновой кости и начал бить по всем большим и малым гонгам в своем кабинете. Сбежались рабы — все его прислужники: и великий раб, который ему вытирает нос, и раб, который ему чешет пятки, и рабыня, которая ему пережевывает корки...

Крц потрясал кулаками:

— Арестовать весь взбунтовавшийся полк. Облить всех кипящей смолой, бросить на съедение львам и, если после этого что-нибудь от них останется — привести ко мне на допрос!

В тот же вечер в городе вспыхнул бунт. Раб-математик, это презренное животное, рожденное кто знает какой сукой где-то в северной пустыне, пояснял направо и налево, что дважды два равняется... о, боги! Какое кощунство! И все начинали считать на пальцах и верить ему. И никто не торопился исполнить приказ верховного жреца. Все больше новых и новых людей осуждал Крц на смерть и все более и более страшные пытки придумывал, но даже и это не помогало.

Поздно ночью в золотом дворце царя Врбрццта IIVXIIV — пусть он живет и царствует вечно! — был созван верховный совет жрецов. После того как жрецы облобызали все пальцы на его левой ноге и получили разрешение сесть на свои места, они раскрыли широко рты, выражая тем самым внимание, с которым приготовились его слушать.

— О, великий среди богом избранных,— обратился царь к Крцу.— Что делаешь ты? Ведь ты приказал умертвить половину моих подданных. Я не очень ими дорожу, но кто мне будет платить подати, если город так обезлюдеет?

— Царь! Сын солнца, брат небосвода, шурин ночи! Твои слова — музыка для моих ушей, но я не могу поступить иначе... Представь себе, этот негодяй... да простят мне боги непристойные слова!.. Так этот негодяй смеет нагло утверждать, что дважды два равняется... о, я не могу повторить это святотатство... Причем, он заставляет людей считать на пальцах, чтобы заставить их поверить в свою сумасшедшую теорию. Он восстает против нас, знающих древние папирусы, гадающих по звездам и читающих по потрохам жертвенных собак. А он считает. Кто ему дал право считать? Великий Млрпрвлтцл свидетель тому, что я не успокоюсь, пока не будет установлена небесная истина и не будут наказаны богохульники!

Царь сдвинул немного вперед свою платиновую корону, чтобы было удобнее почесать в затылке, и сказал:

— Но, может быть, он прав? Надо проверить, а?

Царь повернулся к одному из самых мудрых своих советников и позвал его:

— Подойди сюда, как, бишь, тебя зовут?.. Напомни-ка мне, как надо считать?

И царь начал медленно загибать один за другим украшенные драгоценными перстнями пальцы, повторяя за мудрецом, высунувшим от напряжения язык:

— Один... два...

Ужас, подобно водопаду, обрушился на главу великого жреца. Он снова воздел руки к потолку, как бы пытаясь влезть на него, и возопил:

— О, боги! Все погибло! Земля погибла! Жизнь пропала! Если и великий наш царь — пусть живет и царствует вечно.— усомнился в глубокой мудрости наших прадедов, то для чего же тогда жить? Конец науке! Конец света! Конец Атлантиде!

На следующий день, около четырех часов по Гринвичу, Атлантида действительно погрузилась в море. Почему — еще неизвестно.

И техника перебарщивает

В Институте научной фантастики началась паника. Утром повариха Кунка подала докладную записку о том, что у нее кончились спички и она не может разжечь плиту в кухне. А институт в этот самый момент перешел с экспериментальной целью в шестое — гиперболическое — измерение и не имел никакого контакта с нормальным миром.

Директор Эдиссон Карабаджаков наложил резолюцию: «Разрешаю!» — и, как всякий уважающий себя директор, умыл руки.

Докладная записка вместе с резолюцией была направлена прежде всего в отдел энергии. Здесь обстоятельно ее рассмотрели, почесали затылки, но сделать ничего не смогли. Самая маленькая единица энергии, с которой они имели дело, была — пять триллионов электроновольт, и она бы разнесла плиту на мелкие кусочки. Отправили записку химикам.

Но химики в это время запихнули в четвертую электронную оболочку только что полученный уран-1682, названный «вутий» по имени его открывателя Вуте Гелева, и о сере и фосфоре имели лишь теоретические представления.

На помощь пришли мнемофизиологи, которые силой воли пытались получить желанные спички. Но так как они давно не занимались кухонной работой, то в результате их стараний на центральной фокусной подкладке появилась какая-то пластмасса, оказавшаяся позднее весьма подходящей для замазывания трещин в распадающихся астероидах.

А повариха Кунка не успокаивалась и писала одну докладную записку за другой. В медицинском секторе урчание в желудках научных работников помешало им исследовать психическую функцию селезенки. Астроботаники от голода пытались глодать телескопы, в которые наблюдали съедобные на вид травы в соседних галактиках. А когда асинхронная сфигмокибероидная машина на вопрос, заданный ей четыре недели назад о возможном полуэллиптичном перемещении Андромеды в шеститысячном году, кратко и ясно ответила: «Мама, я хочу есть», стало очевидно, что и математики спустились с высот своих формул и обратились к желудкам.

Директор Эдиссон Карабаджаков созвал общее собрание.

— Товарищи,— сказал он.— Положение таково, что мы должны напрячь все свои силы, чтобы снова изобрести спички, которые так давно были изобретены нашими элементарными предшественниками. Товарищи,— продолжил он и еще долго говорил о разных вещах.

Сотрудники разбежались по институту. Но весь институт, даже курятник, присоединенный к нему, были построены из огне-водо-космоупорных веществ. Сталь давно уже была изъята из употребления, а кремня никто не мог найти, так что и о простом огниве не могло быть и речи. Было создано несколько новых сортов древесины, но она появлялась в обработанном виде, в форме гардеробов и ночных столиков и так-

же была огнеупорной. Пришел на помощь даже заведующий сектором «Ветеринарного оккультизма». Он попытался вызвать дух какого-либо огнедышащего змея, чтобы тот помог разжечь кухонную плиту, но вызываемый экспонат не появился, что лишний раз подтвердило теорию того же заведующего сектором, что ветеринарного оккультизма вообще не существует.

А тем временем кончились последние запасы питательной музыки, которую строго распределял профкомитет института. Директор поддался панике. Сначала он решил уйти в отставку. Но не было высшей инстанции, которая могла бы ее принять,— они все еще находились в шестом измерении. Тогда ему ничего не оставалось, кроме как подвергнуть резкой критике архивариуса Аристотеля Ценкова и уволить повариху Кунку за отсутствие бдительности. Выдвинув лозунг: «За одну спичку — место директора!» — он удалился в кабинет для размышлений.

Спасение пришло неожиданно. Метеорит средней величины пробил защитную электромагнитную обивку института, загорелся в атмосфере, влетел как огненная булавка в открытое окно, выбил два передних зуба у вахтера и рикошетом отлетел прямо в кухонную плиту, где сразу вспыхнуло яркое пламя. Вскоре запахло жареной курицей, жареными потрохами, грибным супом и другими волшебными яствами.

Директор простил повариху и архивариуса, обрел равновесие духа, и весь коллектив продолжил работу. В отделе «Случайности и исключения» вычислили, что подобный разрыв метеоритом защитной обивки института может иметь место один раз в 25 865 лет. Но никто не удивился. Такие события действительно могли произойти только в Институте научной фантастики.

Реплика карикатуриста

«Он приносит детей».

СУМИТРАНАНДАН ПАНТ

ЛОКАЯТАН*

(Фрагменты поэмы)

Перевод с хинди НАТЭЛЛЫ ГОРСКОЙ

Гул нарастающий, рев самолета
ранил небесную тишь.
Ветер прозрачный спросил у пилота:
— Слушай, куда ты летишь?..

Дева-земля, твое нежное тело
блещет гирляндами рек.
В крепких ладонях ты держишь умело
все, что создал человек.

Мчит самолет огнекрылой Гарудой,
в зареве древний Химван,**
снежные горы — жемчужною грудой,
в синих долинах туман.

Радуга встала в своем семицветье,
словно цветок, из небесной реки.
Резвые тучки, как малые дети,
ловят ее лепестки.

Времени нету, и нету пространства,
только безбрежный полет.
В каждом движении есть постоянство:
радость в движенье живет!

Солнце плывет красно-желтым павлином,
светом кропит голубые поля.
Стал человек над Землей исполином,
зернышком стала Земля.

Кто же собрал все лучи и все краски,
сплел их в единый узор?
Может быть, добрый волшебник из сказки,
скрытой от нас до сих пор?..

* Обитель человечества *(хинди)*.
** Гималаи.

Словно мечта, что уносит поэта,
мчит самолет в синеву,
в край первозданного вечного света,
в сказочный сон наяву.

В танце ритмичном проходят планеты,
кружатся в пляске миры.
Малые звезды горят, как монеты,
крупные — словно костры.

Сколько их — много ль в галактике нашей?
Сколько галактик других?
Весь небосвод опрокинутой чашей
в солнечных бликах живых...

■

О древнее лицо Земли!
Ты стало необычно новым.
Мы красоту великую нашли
в твоем обличии суровом.

Не бог твои черты лепил —
ленивый и скупой создатель!
Трудился, не жалея сил,
влюбленный человек — ваятель.

И он сильнее божества,
он гармоничнее природы.
Бушуют, как весной трава,
его могучей мысли всходы.

* * *

Листаю толстые тома,
истории скрепляю звенья:
средневековая зима,
и первых весен дуновенье,

и ранних революций гром,
и первый день погожий,
и век, в котором мы живем,
на предыдущий не похожий.

Наш век — начало всех начал!
Простор дерзаньям и порывам!
Сама природа свой анчал *
сняла пред разумом пытливым.

И человек раскрепощен,
и необъятное объято...
А мудрость — дар былых времен —
в сердцах людей хранится свято.

---

* Конец сари, накидываемый на голову.

Когда в семье родится дочь,
отец твердит ей с колыбели:
— Ты в мир пришла, чтоб нам помочь!
Смотри, как дали посветлели...

Хозяйка ты своей судьбе,
лети из клетки золоченой.
Свободной птицей быть тебе,
любимой, радостной, влюбленной!..

* * *

К истории опять иду:
людскую косность плавил разум,
как тугоплавкую руду
огонь — по градусам и фазам.

Когда-то человек был слаб,
он верил в колдовские силы
и трепетал, как жалкий раб,
всю жизнь — с рожденья до могилы.

И землю ковыряя по весне,
дрожал от молнии и грома,
молился солнцу и луне,
огню и духам водоема.

Но колесо великих перемен
быстрей вращалось год от года,
и добровольно людям в плен
сдалась упрямая природа.

Законы чисел, ход светил
и жизнь животных и растений
познал и заново открыл
высокий разум, светлый гений.

И рухнул вековой оплот
покрытых плесенью традиций.
Лишь иногда несло с болот
протухшей и гнилой водицей.

Но вольный ветер все крепчал,
и воздух наполнял озоном,
и троны старые качал,
и бил наотмашь по коронам.

Он в Азию направил путь,
пройдясь по городам Европы.
Кто сможет ветер повернуть?
Он сам прокладывает тропы!

Он мчался дальше напролом,
шагал по суше и по водам,
над Африкой плеснул крылом,
свободу возвестив народам.

Земля охвачена огнем,
в нем нечестивые сгорели,
а честные омылись в нем,
как в очистительной купели.

В огне сгорело зло дотла,
погасли уголья с шипеньем.
Ну что ж, пускай теперь зола
полям послужит удобреньем!

Лакшми *, ты к нам придешь сама,
откроешь нам свои секреты,
зерном наполнишь закрома,
прогонишь нищету с планеты.

* * *

Какой огромный пройден путь —
от тьмы пещер до звездных далей!
Но мы не смеем отдохнуть,
не смеем пыль стереть с сандалий!

За мир ответственны вдвойне
вкусившие амриты ** сладость.
Мы вырастим назло войне,
наш первоцвет весенний — радость!

Растить цветы, а не грибы,
посеянные смертью черной!
Не заколачивать гробы,
а возводить дворец просторный!

Коль человеком ты рожден,
возвысься до такого званья.
Потом верши судьбу времен,
земли и мирозданья!

■

Мы в выборе друзей вольны.
Я побродил по белу свету
и средь друзей моей страны
жемчужину отметил эту.

Россия! Ты душой светла
и бескорыстна ты на диво.
О, как рука твоя тепла!
Как речь высокая правдива!

Здесь человек умел мечтать.
И вот на всей земле впервые
он стал своей мечте под стать,
облек ее в дела живые.

---

* Богиня богатства и изобилия.
** Напиток бессмертия.

Он свел в единый клин поля,
в пустыне проложил каналы —
и урожай дала земля
невиданный и небывалый.

Здесь никаких богов не чтут —
в стране, где правит разум ясный.
Кумиром стал свободный труд.
Воистину он бог прекрасный!

Когда-то в нищих деревнях,
убогих, беззащитных, голых,
бродил с котомкой серый страх
и уносил младенцев голод.

Теперь... О дети той страны!
Я долго любовался вами —
бутоны первые весны,
вам быть счастливыми цветами!..

* * *

Когда ты входишь в летний сад,
где пахнут яблоки медвяно,
покажется на первый взгляд,
что так и было постоянно.

Но вспомни прошлые года:
тогда здесь началась работа,
пришли садовники сюда,
трудились до седьмого пота,

копали, корчевали пни,
дорогу вьюгам преграждали...
Простые люди — вот они!
Они здесь вехи намечали.

Что может человек один?
Но коль берутся все за дело,
тогда народ — он исполин,
народной силе нет предела.

Всегда миролюбив народ,
изведавший всю радость братства.
Тому, кто творчеством живет,
чужие не нужны богатства!

* * *

Просторы моря, ширь земли
издревле нас к себе манили,
и уплывали корабли,
из дома люди уходили...

Издревле к звездам человек
летел мечтою дерзновенной...
А годы свой вершили бег
над неразгаданной вселенной.

Но вот великая страна
послала в космос чудо-птицу,
чтоб золотые письмена
вписать в надзвездную страницу.

Асуры, демоны небес,
ушли, убрались прочь с дороги.
Чего им ждать? Каких чудес?
Стал человек сильней, чем боги!

Смотрела в синеву Москва,
своим сынам рукоплескала,
и глаз девичьих синева
все звезды неба отражала...

* * *

Пройдет еще немного лет —
и станут братьями народы,
и за тобой пойдут вослед,
Россия, родина свободы!

Неиссякаем разум твой,
он будит веру в человеке.
Как ливень, он водой живой
питает ручейки и реки.

Великий и могучий край!
Ты не допустишь новых боен.
Зачем нам пресловутый рай,
когда он на земле построен?

■

Индия! Взор мой ласкаешь ты снова,
снова я слышу вдали
песню родную, знакомое слово,
голос любимой земли.

Вечная странница, гостья ночная,
с неба спустилась луна.
Землю проходит от края до края
в сари из мрака и сна.

Утром опять розовеют поляны,
мед собирает пчела.
Горные склоны от солнца багряны,
зелень в долинах светла.

Краски волшебные, воздух звенящий,
запах цветов и смолы.
Шорох таинственный в сумрачной чаще
тянутся к свету стволы.

День, расцветающий солнцем и пеньем,
ветер над тихим ручьем.
Индия! Милая! В платье весеннем.
Индия — в сердце моем!..

* * *

Был я на празднике песни веселом
ранней душистой весной.
По городам, по дорогам и селам
песня катилась волной.

Музыка, музыка — вольная птица.
Песня и танец — два легких крыла.
Как раскраснелись у девушек лица,
как красота расцвела!

Солнце плясало в безоблачной сини,
ветер плясал на коне.
Пела земля о премудрой богине —
щедрой и юной весне.

О, созиданья великая тайна
и обновленья закон!
Лепит природа весной не случайно
полный нектара бутон...

Вы не трудитесь напрасно, поэты,—
праздник нельзя описать!
Музыке в такт зазвенели браслеты
и приумолкли опять.

Девы Пенджаба в одеждах атласных
цвета огнистой зари!
В ваших глазах, по-весеннему ясных,
солнце зажгло янтари.

Стройные девушки из Раджастана —
словно тростник у реки.
В ваших глазах глубина океана,
ваши движенья легки.

Лебеди танца, бенгальские девы!
Негой исполненный взгляд.
Как полюбились мне ваши напевы,
песни простой аромат!

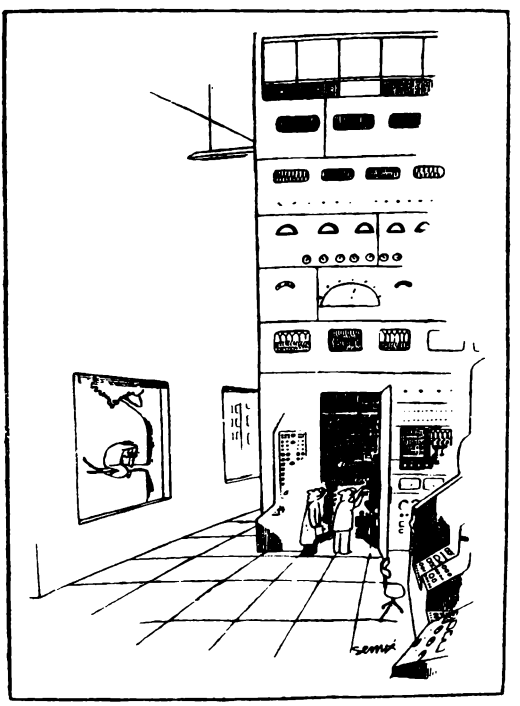
Ритмы зовущие, красок круженье,
всплески живого огня!
Юностью вечной, цветком возрожденья
Индия входит в меня...

Праздник кончается, праздник не вечен,
будни стучатся в окно.
Будничный день, ты печалью отмечен,
горем, знакомым давно.

Только я верю, что разум могучий
вызовет косность на бой.
Индия! Скоро рассеются тучи,
солнце взойдет над тобой.

О, возрожденья закон справедливый,
вечный, великий закон!
Вижу тебя просветленной, счастливой,
Индия новых времен!

Галерея карикатуриста



«И подумать только, что его мозг сложнее, чем мозг Супер XV-137!»

Ю. КАГАРЛИЦКИЙ

ЧЕЛОВЕК И БУДУЩЕЕ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

Каким будет мир? Пойдут ли перемены на пользу или во вред человеку? Каким должен быть человек, чтобы стать вровень с миром, созданным им самим?

Эти и подобные вопросы накапливались прежде веками. Сейчас они нарастают и множатся ежегодно. Размышления о будущем — уже не праздные мечтания, не услада ленивца. Будущее наступает на нас стремительно. Его приходится учитывать, принимаясь за тысячи сегодняшних дел. Вопросы, которые оно задает, так значительны, что, отвечая на них, приходится задумываться и над нашим сегодня, и над нашим вчера.

В этом, думается, одна из причин популярности научной фантастики. Ведь научная фантастика, во всяком случае хорошая научная фантастика, это интеллектуальный роман, переставший быть романом для интеллектуалов — потому хотя бы, что значимость обсуждаемых проблем неимоверно возросла и число людей, ими занятых, необычайно расширилось.

Разумеется, современную западноевропейскую и американскую фантастику трудно счесть однотипной. Мы встречаемся в этой области и с серьезными писателями, и с теми, кто пользуется успехом научной фантастики для того, чтобы перерядить в космические скафандры старых героев бульварной литературы, и с людьми прогрессивно мыслящими, и с явными реакционерами. Но исторический смысл сегодняшнего подъема научной фантастики и усиленного читательского к ней интереса надо объяснять, очевидно, тем, что подавляющее большинство серьезных фантастов выступает против реакции, фанатизма, расовой дискриминации, обесчеловечивания человека.

«Видимо, любить научную фантастику — это значит так или иначе заботиться о будущем человечества,— говорит, отвечая на анкету «Иностранной литературы», американский фантаст Айзек Азимов,— в какой-то степени это значит даже любить всех людей и желать им счастья в те далекие времена, когда сами мы уже давно завершим свой путь». С ним трудно не согласиться, и если слова доктора Азимова нуждаются в каких-то поправках, то самую существенную сделал, пожалуй, его прославленный собрат по перу Рэй Брэдбери: «Лучшую научную фантастику создают в конечном счете те, кто чем-то недоволен в нашем обществе и выражает свое возмущение немедленно и яростно». Да, желать людям счастливого будущего — значит яростно ополчаться против всего, что в сегодняшнем мире стоит на пути этого будущего.

Большая часть современной западноевропейской и американской фантастики посвящена отнюдь не реально предвидимому будущему, а будущему, каким оно не должно быть. Художественный метод, применяемый при этом, принято называть экстраполярным. Та или иная тенденция, замеченная в настоящем, изображается в предельном развитии. Тем самым выявляются ее благодетельные или — что случается чаще — роковые последствия. На экран будущего проецируется настоящее, а заодно и прошлое человечества, ведь прошлое помогает видеть грозящие нам опасности.

У американского фантаста Фредерика Пола есть переведенный на русский язык рассказ «Туннель под миром» — рассказ о рекламном агентстве, которое ради того,

чтобы проверять действенность различных видов рекламы, построило в лаборатории точную модель небольшого города, разрушенного взрывом, и населило его точными копиями людей, живших некогда в этом городе. Этим миниатюрным людским подобиям кажется, будто они — по-прежнему люди, а они — всего только объект эксперимента. Они не живые. Они сделаны из материалов, куда более прочных, чем живая человеческая плоть, и все-таки и сами они и все, что их окружает, с человеческой точки зрения иллюзорно.

О чем этот рассказ — о настоящем или о будущем?

Вот что пишет американский профессор Эрих Фромм в статье «Наш образ жизни делает нас несчастными»:

«Каждое общество создает тот тип «социального характера», в котором оно нуждается, чтобы нормально функционировать. Оно формирует людей, которые хотят делать то, что им приходится делать. А в какого рода людях нуждается наш всеобъемлющий, бюрократизированный индустриализм?..

Он нуждается в людях, которые считают себя свободными и независимыми и в то же время охотно готовы подчиняться, делать то, чего от них ждут, быть хорошо притертыми деталями социальной машины; в людях, которыми можно руководить без вождей, подталкивать на действия без всякой цели, кроме одной: действовать, функционировать, идти вперед.

Современному индустриализму удалось создать такого человека».

Автор «Туннеля под миром» работал некогда в рекламном агентстве. Но слово «реклама» давно уже утратило на Западе свой непосредственный коммерческий смысл. Олдос Хаксли в одной из последних своих книг «Снова в прекрасном новом мире» справедливо писал, что Гитлер пользовался во многом теми же средствами массового воздействия, какими пользуются для рекламы зубной пасты, сигарет или политического кандидата в демократических странах.

В западноевропейской и американской фантастике сейчас появилось огромное количество произведений о так называемом «призрачном существовании»: человеку кажется, что он живет полной жизнью, а на самом деле это — чистейшая иллюзия, внушенная ему при помощи таблеток, лучей, специальных уколов... Это высшая степень изоляции людей друг от друга, распада человеческих связей, подчинения человека каким-то силам, лежащим вне его.

О чем же рассказ Фредерика Пола — о настоящем или о будущем?

Во всяком случае, не о будущем. «Туннель под миром» не может быть рассказом о будущем потому, что такое будущее означает по сути дела отсутствие будущего. Это пережившее самое себя настоящее.

Экстраполяция долгое время была основным методом фантастической литературы. Сейчас она вызывает у многих фантастов внутренний протест. Она хороша для критики настоящего и прошлого, но не может быть методом предсказания будущего. Сама логика жизни все убедительней доказывает честному писателю на Западе, что будущее *должно быть иным* и притом радикально в чем-то непохожим на настоящее.

В фантастику все чаще проникают элементы другого жанра — утопического. Она становится больше, чем прежде, литературой о возможном и желательном будущем человека. Разрушая мнимые идеалы, она начинает пробиваться к действительным. Ведь по смыслу своему это литература о будущем человека...

Современную фантастику на Западе занимают сейчас три главные проблемы, три опасности, стоящие перед человечеством. Первая — опасность атомного уничтожения. Об этом много написано Брэдбери, Азимовым, Шекли. В значительной части эти произведения известны советскому читателю. Вторая опасность таится в так называемом «демографическом взрыве» — быстро возрастающем населении Земли. Интенсивность этого прироста может оказаться такой, что никакое развитие промышленности ее не компенсирует и мир впадет в нищету. Одна из книг, посвященных этой проблеме, тоже недавно стала доступна советскому читателю. Это «Операция «Венера» Ф. Пола и С. М. Корнблата.

Впрочем, если человечество сумеет избежать этих двух опасностей и придет к Утопии — так в современной фантастике все чаще называют «идеальное общество будущего»,— оно само в себе, говорят нам, будет таить третью опасность.

Сейчас немало говорят о пессимистических или оптимистических тенденциях в произведениях тех или иных фантастов. Но позиция художника определяется отнюдь не тем, пишет он о страшном или приятном. О страшном можно писать, чтоб предостеречь от этого страшного, а о приятном — чтобы лишить людей ясного взгляда на мир и помочь приходу страшного и бесчеловечного. Действительный критерий лежит в отношении к будущему. От того, каким оно представляется писателю, зависит и решение всех остальных проблем. Ведь вопрос об Утопии — это вопрос об общественном и человеческом идеале художника.

Собственно говоря, в мире коммунистического будущего общественные отношения сведутся, в конечном счете, к человеческим отношениям, и в той мере, в какой современный художник отражает объективное движение истории, он, независимо от того, сознает он это или нет, прослеживает элементы этого будущего. Он так или иначе отмечает их уже в процессе критики современного общества, ибо сегодня мир страдает от обесчеловечивания человека, и положить конец этому процессу — значит ускорить движение к коммунизму. Чем больше фантастика говорит о человеке, тем больше она говорит о будущем.

И все же, как ни парадоксально это звучит, именно в вопросе о человеке будущего фантасты особенно связаны настоящим и прошлым. Человек — производное от своей

истории и от конкретных социальных условий, в которых он живет, а он лишь очень приблизительно может представить себе конкретную обстановку будущего.

Может быть, поэтому основная нравственная проблема, которую ставит сейчас западная фантастика, предвещающая приход Утопии, формулируется удивительным на первый взгляд образом: «Хорошо или плохо должен жить человек?»

■

В самом деле, что за праздный вопрос — хорошо или плохо должен жить человек? Разумеется, хорошо! Ответ прост и привычен. К сожалению, есть несколько обстоятельств, которые мешают исчерпать проблему этим ответом и покончить с ее обсуждением.

Во-первых, понятие «жить хорошо» достаточно многозначно. «Хорошо живу! — говорил о себе преуспевший охотнорядец.— Дом полная чаша, свечи в церковь таскаю пудовые, девок — полгорода, приказчиков привел к послушанию, жена пикнуть боится. Пей, гуляй! Хорошо живу!» «Нехорошо живет»,— говорили о нем...

Во-вторых, человеку непросто бывает устроить свою жизнь по своему разумению. Там, где он хотел бы решать сам, решает за него общество. Оно и подсказывает ему идеал и подпускает или не подпускает его поближе к этому идеалу.

В-третьих — и с этого, пожалуй, и придется начать,— самый идеал менялся от века к веку. Менялась даже терминология, употреблявшаяся при обсуждении связанного с ним круга вопросов.

В прошлом веке этот круг вопросов часто обозначали как «познание души человеческой». В позапрошлом — восемнадцатом — как «познание человеческой природы». Терминология, на первый взгляд отвлеченная, да и не очень связанная с нашей проблемой. Но пусть это не вводит нас в заблуждение. Всякий раз, когда задавался этот вопрос — «хорошо или плохо должен жить человек?»,— сразу же удивительно прочно смыкались проблемы психологические и общественные. Благополучие и страдание, душевность и черствость всегда были преломлением в душе человеческой богатства и бедности, свободы и несвободы, знания и невежества, движения и застоя, а любая попытка решить этот вопрос всегда имела социальную подоплеку.

Вопрос «хорошо или плохо должен жить человек?» всегда начинался с вопроса о том, каков он, этот человек, и утопал в трясине других вопросов, едва психология становилась политикой.

Когда брат Жан по подсказке друга своего Франсуа Рабле и с помощью просвещенного государя Гаргантюа построил Телемскую обитель, над входом он написал: «Делай что хочешь».Вот как истолковал эту надпись Франсуа Рабле:

«Делай что хочешь,

ибо людей свободных, происходящих от добрых родителей, просвещенных, вращающихся в порядочном обществе, сама природа наделяет инстинктом и побудительною силой, которые постоянно наставляют их на добрые дела и отвлекают от порока, и сила эта зовется у них честью. Но когда тех же самых людей давят и гнетут подлое насилие и принуждение, они обращают благородный свой пыл, с которым они добровольно устремлялись к добродетели, на то, чтобы сбросить с себя и свергнуть ярмо рабства, ибо нас искони влечет к запретному, и мы жаждем того, в чем нам отказано».

Жизнь истолковала эти слова иначе. Освобождение человека было освобождением не отвлеченного благостного существа с врожденным стремлением к добродетели, а реального буржуазного индивида с его гнусной, мелкой и охватывающей все на свете корыстью, маниакальной любовью к вещи и нелюбовью ко всем, кто не разделяет его идиотических вожделений.

Когда Возрождение сказало этому индивиду «делай что хочешь», он с готовностью откликнулся на его призыв. Он принялся грабить, насильничать, убивать. Он, собственно, неплохо умел это делать и раньше, но теперь делал это с сознанием исполняемого долга. Классицизм потребовал, чтобы на него наложили узду и долг отделили от похоти. Знаменем века стала регламентация, переданная государству. Раньше позволялось все. Теперь все запрещалось. Не очень удачливое в хозяйственных своих результатах государство Ришелье, Мазарини, Людовика XIV (Короля Солнце, или Людовика Ясно Солнышко, как сказали бы мы истинно по-русски) функцию обуздания и пресечения исполняло отлично.

Просвещение попыталось все поставить на место.

Семнадцатый век — век классицизма — деспотизм противопоставил разбою. Восемнадцатый — век Просвещения — противопоставил разбою и деспотизму веления разума. Разум означал новую форму свободы. Регламентация сохранялась, но она была передана самому человеку. Его надо было так воспитать, он сам должен был так себя воспитать, чтобы в ответ на призыв «делай что хочешь» не кинуться отнимать у других и набивать свою ненасытную утробу. «Делай что хочешь» должно было теперь прозвучать для человека, прошедшего утомительно долгую выучку у многих великих людей порядка и долга, как «не делаю чего не хочу». Не подличаю. Не меняю по приказу своих убеждений. Не лжесвидетельствую. Не устраиваю вечный торг с совестью...

Просвещение было очень строго к человеку. Это был гуманизм, отметивший уже столетнюю годовщину со дня своего рождения и не пренебрегший полученным опытом. Это был гуманизм, отказавшийся от многих иллюзий и вместе с ними от многих оттенков, звуков и красок, дабы сохранить главное — надежду и веру.

Этому человеческому идеалу соответствовал общественный идеал. Просветители видели, насколько связаны мораль и условия жизни, и выразили это в замечательно реалистичном афоризме: «богатство и бедность одинаково порождают пороки». Наилучшим они считали «среднее состояние» — тот уровень и условия жизни, когда человек не кичится и не стыдится, не голодает и не роскошествует, а о деньгах попросту не думает, ни где их раздобыть, ни как их приумножить. Тогда, считали они, человеку проще цивилизоваться, сделать себя человеком.

К сожалению, такое «среднее состояние» (а о нем мечтал еще Плавт; для этого, считал он, нужно только, чтобы богатые женились на бедных) не было достижимо в прошлом, и его никогда не будет в будущем.

В прошлом мы сталкивались с контрастами нищеты и богатства. Перед значительной частью человечества эти проблемы стоят и сейчас — в одних странах острее, в других менее остро. Наука добилась многого. Но разве не кажется именно сегодня особым позором нищета в богатой стране и самоупоенное богатство в стране, население которой находится на грани голодной смерти? Да и не заставляет ли о многом задуматься самый факт *одновременного* существования тех и других стран — существования их в мире двадцатого века, где не наука, во всяком случае, ответственна за голод, эпидемии, нищету.

Подобным образом обстоит дело сейчас.

А в будущем?

Так вот, научные фантасты, о которых пойдет дальше речь, утверждают, что в будущем все будет иначе.

Неверно, конечно, считать, что фантастика — это про технику. Но куда сейчас денешься от техники!

Техника развивается во всех областях — в фантастической тоже, причем здесь у нее свои законы развития. Придуманное фантастом не требует немедленного исполнения в материале. Оно осуществляется (или не осуществляется, бывает и так) в умственной сфере и в сфере литературной традиции. К тому же в фантастике есть свое незримое патентное бюро. Описанное однажды может быть в дальнейшем упомянуто или усовершенствовано, но не может быть просто повторено. Поэтому научный прогресс в сфере фантастики идет без задержек.

Описанное фантастами прошлого века кажется нам порой чем-то самодельным. В романе Уэллса «Когда спящий проснется» люди проносились под крышей гигантского города будущего, обхватив руками и ногами деревянные крестовины, скользящие по веревке. Хотите знать, откуда взялся такой удивительный вид внутригородского транспорта? От сельского развлечения. Описывая в «Человеке-невидимке» деревенский праздник, Уэллс рассказывает, что «большим успехом у молодежи пользовался наклонно натянутый канат, по которому, держась за блок, можно было стремглав слететь вниз, на мешок с сеном, лежавший у другого конца веревки». И хотя в том же романе «Когда спящий проснется» Уэллс показал еще и «самодвижущиеся платформы» — движущиеся улицы, сделавшие ненужными все другие виды наземного транспорта,— чего стоят эти платформы рядом с висящими в воздухе перронами, доставляющими потом пассажиров ракет в город («Возвращение со звезд» С. Лема), или «джамперами» Уильяма Тенна — цилиндрами, которые по приказу возникают вокруг человека и мгновенно переносят его в любое место (повесть «Уинтроп был упрямцем»). В этой повести есть и самодвижущиеся тротуары (а заодно и лестницы), которые совсем как живые. Они подчиняются заданному тобою ритму движения и хочешь — еле плетутся, хочешь — бегут, устал — выгибаются стульями. В доме мебель возникает и исчезает по приказанию, а потолок работает за секретаря. Помните, у Рабле есть остров, «на котором дороги ходят». Теперь об этом пишут всерьез.

Подобной технике человек в помощь не нужен, она все делает много лучше. И соображает, разумеется, лучше. В недавно переведенном на русский язык рассказе Азимова «Робот ЭЛ-76 попадает не туда» робота должны были отправить на Луну, а он случайно остался на земле. Он долго бродил по земле в поисках установки, на которой должен был работать, не нашел ее и, будучи роботом чрезвычайно добросовестным, соорудил ее сам. Но подобные установки, сделанные под руководством людей, работали при напряжении в миллион вольт, а у робота она заработала от двух крошечных батареек.

Впрочем, мы сейчас говорим уже не о технике в понимании прошлых веков. Когда-то техника была для человека средством приспособиться к естественной среде существования — к природе. Теперь она сама сделалась второй средой существования человека, средой искусственной. С какого-то момента, рассуждая о технике, мы начинаем оперировать категориями физической географии.

Эта среда существования, на первый, во всяком случае, взгляд, куда более милостива к человеку, чем среда естественная. «Цивилизацию потому и пришлось придумать, что природа безжалостна, страшна и жестока сверх всякого вероятия»,— заметил однажды крупнейший современный английский фантаст Джон Уиндем. И цивилизация истово принялась исполнять то, к чему была предназначена. Разве приходится ждать от естественной среды существования, что она будет стлаться тебе под ногами, пушиться коврами и в нужный момент выгибаться креслами и кроватями? Разве кормила когда-нибудь естественная среда существования таких лентяев, каких обещает накормить искусственная?

У греков это называлось «золотой век». У англичан — «страна Кокейн». В России это определялось описательно — «молочные

реки, кисельные берега». «Золотой век» уже Гесиоду казался далеким прошлым. Теперь он, странным образом миновав настоящее, переместился в будущее. Но столько сказочных обещаний уже выполнено, что мы верим в его приход. Вы мечтали о коврах-самолетах? Вы получили их в 1903 году. Вы мечтали об огненных конях? Вы получили их еще раньше. Правда, необъезженных, диких, прожорливых. Что же, вот вам еще век-полтора, чтобы объездить их, приручить, укротить и чтоб они успели дать более покладистое потомство. Вы мечтали об услужливых рабах, а они совсем вас покинули? Не беда, они уходили не совсем, а только на перерыв. Скоро они вернутся, назвавшись роботами. И они окажутся куда искуснее старых рабов. Они вам выловят бифштексы из воздуха, напоят вином, зачерпнутым со стены, и укроют одеялом, свалившимся с потолка. Молочные реки, кисельные берега.

Теперь это называется «автоматически действующая цивилизация». В ней роботы контролируют роботов, и человеку остается только пользоваться ее благами. Весь процесс производства настолько замкнут в себе, что люди перестают интересоваться, откуда что берется. Да и сам фантаст не очень этим интересуется. Для Жюля Верна соблюдать условия реализма значило описывать все подробнейшим образом. Для иного современного фантаста соблюдать эти условия значит описывать только конечный результат. Совсем как в сказке, где никого не занимает технология изготовления ковров-самолетов и летающих ступ с помелом. Технология известно какая — волшебная.

Но, приблизившись к молочным рекам в кисельных берегах, люди начинают задумываться о том, как бы не утонуть в этих реках. Возникает новая проблема — опасности благоденствия. Откуда она?

Многим эта проблема кажется попросту высосанной из пальца. Правда, философы и фантасты, с совсем небольшими перерывами, обсуждают ее добрых полтораста лет, а в какой-то форме она ставилась уже у Аристофана. Это, пожалуй, о чем-то говорит. Ни один специалист по дактилоскопии не согласится с тем, что на свете есть столько пальцев, из которых можно высосать одно и то же. Но все равно споры подобного рода разгораются за последнее время на каждом шагу. Один из них начался 26 октября 1965 года на страницах «Литературной газеты» диалогом Станислава Лема и Кирилла Андреева и закончился 3 марта 1966 года статьей Н. Молчанова «Загадки будущего». Это спор очень симптоматичный и интересный.

В своей статье «Безопасна ли техника без опасности» Станислав Лем писал, что объективная тенденция развития в масштабах планеты состоит в создании техники, делающей все за людей. Если человек не сумеет создать такую технику, он выкажет свою слабость перед природой. Если он создаст такую технику — а он ее создаст, это только вопрос времени,— то она, лишив его возможности совершать героические поступки и приняв на себя творческую деятельность, погубит его как человека, заставит его выродиться.

Кирилл Андреев в своем очень умном ответе Лему показал, что существуют разные возможности развития человечества, имеющие явный социальный аспект. Есть пути тупиковые, один из которых отмечен Лемом. Есть пути, открывающие для человечества бесконечную перспективу развития в пределах благоденствующего общества.

Н. Молчанов не ищет ответа на то, как преодолеть опасности благоденствия. Он утешает нас тем, что благоденствия просто никогда не будет, ибо «развитие техники в конечном итоге не столько облегчает жизнь, сколько меняет и усложняет функции человека».

К счастью, это неверно.

В недавно опубликованной книге «Эра роботов или эра человека?» Г. Н. Волков убедительно показал, что пути человека и машины с течением времени все больше расходятся. Человек «мешает» машине. Он не поспевает за ней. Поэтому машине для собственного развития необходимо «освободиться» от человека, а заодно освободить его от прислужничества себе в любой форме, простой или сложной. Правда, на этапе неполной автоматизации человек не столько освобождается от машины, сколько меняет свою роль при ней. Но на этапе полной автоматизации приходит освобождение для обеих сторон. Машина вольна все более засыпать человека благами цивилизации. Человек волен делать с ними что хочет.

Тогда-то и вырисуются, как утверждают фантасты, опасности всеобщего благоденствия.

Аристофану казалось когда-то, что всеобщее благоденствие приведет ко всеобщему нежеланию что-либо делать. В споре Хремила с Бедностью (комедия «Плутос») энергичный афинянин выходит победителем, доставая палку и угрожая проломить Бедности башку. Что касается аргументов менее увесистых, но более веских, то их все-таки приводит Бедность. Если б миром правило Богатство, а не Бедность, говорит она,

То на свете никто ни за что бы не стал ремесло изучать иль науку.

А коль скоро исчезнет у вас ремесло и наука, то кто же захочет

Иль железо ковать, или строить суда, или шить, или делать колеса,

Иль тачать сапоги, иль лепить кирпичи, или мыть, иль выделывать кожу,

Или, «плугом разрезавши лоно земли, собирать урожаи Деметры»?

— Как это кто? — отвечает Хремил.— Рабы!

— Но откуда они возьмутся? — возражает ему Бедность.— Кто захочет заниматься работорговлей?

Вопрос о рабах (роботах) мы с тех пор (теоретически) разрешили. Но возникла другая трудность.

У Аристофана, как и у других ранних утопистов, проблема состояла исключительно в том, чтобы как-то обеспечить нормальное функционирование общества, в котором никто ничего не желает делать. Само по себе безделие казалось желанным состоянием человека.

С тех пор наши представления переменились. Стремление к деятельности мы считаем сейчас одной из черт, органически присущих человеку («сущностных характеристик человека», как сказал бы Гегель), а безделие — состоянием противоестественным.

У американского писателя Энди Льюиса есть занятный рассказ «Возвратись ко мне скорее». Автоматизация освободила большинство людей от какого бы то ни было труда, и они начали жестоко страдать от безделия. Чтобы как-то спасти положение, пробовали удовлетворить у них чувство любопытства и тем самым как-то их успокоить. Для этого начали строить заводы со стеклянными стенами. Люди слонялись вокруг них, глазели, потом им надоедало, и они в еще большем озлоблении кидались ломать машины. Тогда-то человек, от имени которого ведется рассказ, создал и осуществил свой великий проект. Всех возвращают на их прежние работы. Люди заняты и довольны. Но поскольку у роботов все получается гораздо лучше, чем у людей, они потихоньку все потом переделывают. Так и существуют рядом два производства — открытое, экономически бесполезное, и тайное, настоящее. До поры до времени никто не подозревает о действительном положении дел. Всем кажется, что просто снова расширилось число производств, где нужны люди. Но на самом деле число таких работ, в том числе умственных, сокращается изо дня в день и в конце концов уже сам автор великого проекта не знает, приносит его работа какую-то реальную пользу или где-то кто-то (вернее, что-то) его дублирует...

Время от времени фантасты заговаривают о биологических опасностях, которые влечет за собой «автоматически действующая цивилизация». В «Машине времени» Уэллса беспечные обитатели земной поверхности, элои, слабы и беспомощны как дети. Но в романе Уэллса действие хотя бы происходит через семьсот тысяч лет после нашего времени. В романе Станислава Лема «Возвращение со звезд» (он вышел недавно в «Библиотеке современной фантастики») люди уже через полтораста лет становятся заметно слабее.

С этим спорят. Большинство современных антропологов отвергает мысль, что жизнь в условиях цивилизации как-то изменила видовые признаки человека. Поэтому, считают они, эти признаки не изменятся и в дальнейшем.

Так ли это? Возможно, и не так. Аргументация сторонников этого мнения не всегда кажется убедительной и уж совсем не кажется исчерпывающей. Но если даже они и не правы, если физическая эволюция человека продолжается, она, во всяком случае, не принадлежит к факторам быстродействующим. Цивилизация всегда обгоняла физическую эволюцию и тем более будет ее обгонять теперь, при убыстрившихся темпах развития науки и техники. С опасностями всеобщего благоденствия придется столкнуться человеку теперешнему, и они явятся ему не как угроза физического вырождения, а как угроза вырождения умственного и нравственного. Человек — существо, чья духовная природа требует деятельности. Отсутствие ее подрывает самые основы его психической структуры.

Мир без трудов и опасностей — это мир без нравственных проблем. Человек оказывается нравственно-бездеятельным. Отсутствие проблем становится с этой точки зрения главной проблемой общества.

Так, во всяком случае, думали в прошлом и позапрошлом веках. Оливер Гольдсмит в философской сказке «Азем-человеконенавистник» высказал мнение, что мир без пороков будет миром скучного среднего уровня и жить в нем современному человеку было бы невыносимо тягостно. Век спустя к нему присоединился Бульвер-Литтон в романе «Грядущая раса». Мир, в котором разрешены все житейские проблемы, оказывается миром без моральных проблем. Мир без моральных проблем оказывается миром без личности. (А следовательно, и без литературы и искусства, поскольку они выражают личность.)

В современной фантастике эта проблема истолковывается порой парадоксальнейшим образом. Нивелирование личности кажется сейчас иным зарубежным фантастам не столько результатом благоденствия, сколько предварительным его условием, ценой, которую пришлось заплатить ради того, чтобы достичь и сохранить благоденствие.

В романе Станислава Лема «Возвращение со звезд» все население мира будущего подвергается «бетризации» — прививкам, навсегда подавляющим агрессивность личности. Человек будущего не способен на убийство. Но он не способен и на героизм.

В уже упомянутой повести Уильяма Тенна «Уинтроп был упрямцем» в обществе двадцать пятого века — обществе, давно расставшемся с понятием частной собственности, устранившем деньги, покончившем с государством как орудием подавления и провозгласившем полнейшую свободу личности,— люди время от времени собираются на так называемых «полях визга» и дают там выход своим звериным инстинктам, гоняясь за электронным кроликом и под конец разрывая его на части.

В рассказе Роберта Шекли «Седьмая жертва» (по этому рассказу много лет спустя был поставлен с участием Мастрояни фильм «Десятая жертва», показанный у нас во время фестиваля итальянских фильмов в 1966 году) правительство ради того, чтобы устранить войну и вместе с тем не подорвать в стране инициативу, без которой, как известно, невозможна деловая активность, позволяет желающим организовать клуб охотников на человека. Члены клуба по очереди выступают в роли убийц и

жертв. Жертва имеет право, обнаружив убийцу, убить его в порядке самозащиты.

Иными словами, среди современных зарубежных фантастов распространено мнение, что общественное благополучие невозможно до тех пор, пока не подавлена врожденная агрессивность личности. Неагрессивная личность это, по их убеждению, личность недееспособная, а следовательно (поскольку стремление к деятельности является непременным условием существования личности),— не личность. Поэтому ищутся пути сохранить агрессивную личность, но направить ее агрессивность во внеобщественные каналы. Безумная сцена на стадионе у Тенна и кровавая мерзость, описанная Шекли,— это, как ни странно звучит подобное определение, попытка найти компромиссный путь сравнительно с Лемом.

Стоит только осознать и высказать эти предположения — и мысль фантастов начинает вращаться в замкнутом круге. Человек, освобожденный от дела,— не человек. Человек, занятый делом,— не человек. Один потерял всякие признаки личности. Другой заново превратился в зверя или, ради того чтобы сколько-то времени быть человеком, сколько-то времени должен пребывать в состоянии животного. Животное самоублаженное и животное хищное. Где человек?

Какой же выход из этого порочного круга предлагают писатели-фантасты?

■

Последние годы были временем возрождения руссоистских тенденций в литературе. Это не удивительно. Сейчас для этого накопилось много причин.

«Если бросить взгляд на безмерный труд, затраченный людьми, на разработанные ими науки, изобретенные ими искусства, на приведенные в действие силы, засыпанные пропасти, срытые горы, на сделанные судоходными реки, распаханные земли, осушенные болота, воздвигнутые ими грандиозные здания,— нельзя не быть пораженным несоответствием между всеми этими достижениями и действительным счастьем человека»,— говорил Руссо в статье «Политическая экономия», опубликованной в «Энциклопедии» Дидро.

Здания, которые видел Руссо, не кажутся сейчас грандиозными, достижения его современников в науках и ремеслах не поражают более нашего воображения. Мы научились многому и не стали от этого счастливее, говорят критически мыслящие писатели на Западе. Такой взгляд на вещи возвращает к Руссо. Сейчас трудно верить в автоматически-благодетельные последствия технического прогресса.

Эту мысль еще больше усугубил крах «кнопочной утопии». Сидеть себе просто и нажимать кнопки оказалось очень непросто — и очень вредно. На туринском заводе «Фиат», например, рабочий, занятый на полуавтоматизированной установке, через месяц начинает страдать от нервного переутомления, а через семь месяцев с ним случается нервный припадок, на три месяца выводящий его из строя. На теперешнем этапе автоматизации человек необходим еще как «элемент совокупного рабочего механизма» и вместе с тем выдерживает свою роль с большим трудом.

К тому же вопрос о превалировании второй среды существования стал сейчас больным вопросом народного хозяйства. Истощаются недра. Отравляется атмосфера и водоемы. Эрозируются почвы. Время от времени возникают разговоры о возможном повышении радиации. Так можно, чего доброго, сделать всю планету непригодной для жизни. Помните у Лема в «Звездных дневниках» межзвездных бродяг выгонтов, которые «просто от жадности растранжирили свою планету, хищнически разрабатывая ее недра и экспортируя различные минералы? Они всю ее так изрыли и перекопали, что остались на краю большой ямы, и в один прекрасный день земля рассыпалась у них под ногами. Некоторые, правда, утверждают, что выгонты, отправившись однажды пьянствовать, просто заблудились и не сумели вернуться домой. Как было в действительности, неизвестно, во всяком случае, этим космическим бродягам никто особенно не радуется; если, кочуя в пространстве, они натыкаются на какую-нибудь планету, вскоре обнаруживается, что там чего-то не хватает: то исчезло немного воздуха, то вдруг высохла какая-нибудь река, то жители недосчитываются острова».

Как нетрудно заметить, фантасты ставят проблемы несколько по-своему. Решают они их порою тоже своеобразно: при помощи руссоистской утопии.

Одна из самых интересных утопий этого рода принадлежит американскому фантасту Ричарду Маккене. Она называется «Охотник, вернись домой». Это повесть о планете, где жизнь представляет собой единое целое. На этой планете «все — часть всего», она по существу единый биологический организм, там нет смерти, а есть переход из одних форм жизни в другие, нет борьбы, а есть взаимопомощь во всем. Но вот являются чужаки. Они хотят уничтожить на планете, куда прилетели, все живое, развести там своих животных и превратить ее в гигантский заповедник для ритуальной охоты. Однако бактерии, выведенные ими для этого, уничтожают их самих. На планете остаются лишь два человека — новые Адам и Ева. Они будут жить по законам любви, а не ритуальной охоты. Они — та часть природы, которая познает самое себя, а не нечто враждебное природе.

Подобный рассказ есть и у Клиффорда Саймака — о мире, где все живые существа сознают, что произошли от одного общего источника жизни, и если охотятся друг на друга, то обычно не ради убийства. Это для них просто игра, испытание силы, ловкости, ума. В конце концов и человеку приходится подчиниться закону этой охоты-игры... («Мир, которого быть не могло»).

Отношение руссоиста-фантаста к природе мало напоминает отношение к ней, скажем, Бернардена де сен Пьера. Современный фантаст помнит, что «природа безжалостна, страшна и жестока сверх всякого вероятия». Природа, готовая принять человека в объятия, это, в его изображении, обычно природа, *прошедшая уже через человека,* измененная человеком либо изменившая человека. «Планета-организм» Маккена символизирует истинно человеческое, воплотившееся в природе. Но и для этой облагороженной природы схватка с человеком не прошла даром. Она не заразилась от человека ненавистью, но, перестрадав нашествие, сделалась внутренне богаче, многообразнее, шире.

Шекли в романе «Путешествие в послезавтра»* делает две существенные поправки к современному руссоизму фантастов.

Во-первых, он устраивает демонстративное издевательство над Руссо. Герой узнает от случайного попутчика, что французский философ сидит сейчас (действие происходит в двадцать первом веке) в американской тюрьме. Оказывается, Руссо захотел проверить на практике свои теории о близости к природе, но, пустившись в дорогу, обнаружил, что на лоне природы можно и обгореть и простудиться, да и вообще не так уж она ласкова и благожелательна к человеку, эта природа. Тогда он убежал в город и обосновался в месте, наиболее отдаленном от природы,— в тюрьме. Там теперь и сидит — и счастлив!

Люди, считает Шекли, захотели сначала поживиться готовеньким. Когда это не вышло, они, вместо того чтобы найти свое место в природе, отгородились от нее железной стеной.

Во-вторых, Шекли устраивает издевательство над дикарской утопией. Дикарства, считает он, хватает в действительном, не утопическом мире. В своем романе он посвящает главу описанию дикарской утопической общины, созданной одним из университетов. Основатели дикарской общины решили бороться с опасностями благоденствия, борясь с благоденствием. Для этой цели утопийцы отказались от употребления железных орудий, поселились в хижинах, изобрели дикарский язык и стараются ничего не знать о внешнем мире. Кроме того, они завели себе электронного Зверя, который время от времени калечит и убивает кого-нибудь из них и с которым умеют справляться только здешние колдуны. Он запрограммирован так, что удирает, когда его стукнут в определенное место горшочком со специально приготовленной смесью трав. В дальнейшем предполагается восстановить грифонов, единорогов, вампиров и как можно шире практиковать колдовство...

И все же эта дурацкая колония возникла не по глупой прихоти. Сама по себе нужда в утопии, пишет Шекли, закономерна. «Вы видели, Джонс, как быстро все разваливается,— говорит герою один из университетских профессоров.— Закон уподобился фарсу, наказание потеряло смысл, добродетель нам нечем наградить; религия что-то там твердит по старинке, пока люди идут по проволоке, протянутой между безумием и безразличием; философы предлагают теории, доступные только другим философам; психологи пытаются объяснить, как вести себя, но исходят при этом из представлений, которые уже пятьдесят лет как мертвы...»

А в университетах в это время «прививают студентам ненависть к самому процессу мышления. Студенты приучаются относиться к культуре с великим подозрением, отметать этику и рассматривать науку исключительно как средство зарабатывать деньги».

Руссоизм Шекли противостоит не цивилизации вообще, а той парадоксальной форме цивилизации, которая научилась обходиться без культуры. Приверженность культуре нисколько не мешает Шекли оставаться руссоистом. Скорее помогает. На первый взгляд это звучит удивительно. В действительности — нисколько.

Здесь приходится снова вернуться к восемнадцатому веку. Шиллер, как и другие руссоисты, считал, что уход от природы — все меньшая способность быть непосредственным, все меньшая возможность чувствовать природу вне себя — был самым тяжелым следствием материального прогресса. Но при этом, по мнению Шиллера, современный человек может вернуться к природе только *через культуру,* всемерно развивая культуру и приобщаясь к ней.

Такого рода руссоизм давно составляет достояние прогрессивных утопистов. Социалист Уильям Моррис в своих «Вестях ниоткуда» нарисовал людей, живущих на лоне природы. Но Моррис был антииндустриалист. Герберт Уэллс, напротив, всегда приветствовал технический прогресс. Почему же и он в коммунистической утопии «Люди как боги» снова изобразил людей, близких к природе? Да потому, что увлечение наукой не только не мешало, но и помогало Уэллсу представить себе такую утопию. Он раньше других почувствовал тот процесс взаимопроникновения природы и науки, который так поразил всех с возникновением бионики. Он понял заново то, что знал уже восемнадцатый век,— что наука, одна из форм человеческой культуры, снова вернет человека к природе. «Цивилизация есть упрощение»,— любил говорить Уэллс. От переходных сложных форм жизни человек возвратится к простым, связанным с природой. В этом ему поможет наука.

Вернее, она снова создаст для этого предпосылки. Сама по себе наука — только часть того, что мы сегодня называем культурой, и притом, возможно, менее важная ее часть.

Герою американского фантаста Эдгара Пенгборна доктору биологии Дэвиду Беннерману посчастливилось встретиться с ангелом (повесть «Ангелово яйцо»). Выяснилось, что ангелы живут на планете, очень похожей на землю, но более старой и успевшей развить у себя более высокую цивилизацию. В свое время они тоже прошли через период, когда успехи техники только

* Этот роман задуман, кстати, как новый «Том Джонс» — вот еще одно свидетельство близости современной фантастики к Просвещению.

ухудшали их положение и увеличивали опасность самоуничтожения. Но потом «от тысячелетия к тысячелетию они стали расти, узнавать себя, научаться собой управлять, извлекать простое из сложного и пользоваться наукой, тогда как прежде наука пользовалась ими». И теперь они живут в мире, где по зеленым долинам гуляют ручные звери, где коты рассказывают замечательные сказки, где все достается каждому...

Волею фантастов мы снова вернулись к сказке. Той самой, где рассказано о молочных реках в кисельных берегах. Молочные реки в кисельных берегах текли ведь по полям и лугам, их никто не одевал в камень и не строил на них городов.

В этой сказке всякий брал что хотел, ел что хотел, поступал как хотел. Одним словом, мы вернулись в страну благоденствия, но обогащенные знанием того, что она создана самим человеком, тем, что дала нам ее культура и что только культура поможет нам ее сохранить.

Впрочем, Шиллеру, хотя он жил более полтораста лет назад, легче, чем нам, было, наверно, употреблять слово «культура» без дальнейших объяснений и оговорок. Мир с тех пор столкнулся и с расплодившимся коллекционером культуры, уловившим коммерческую ее ценность (в прямом и переносном смысле), и со снобом, безразличным к нравственному содержанию и смыслу культуры, и с потребителем ее, который с подкупающей откровенностью говорит о себе «люблю культурно отдохнуть», и с крайним выражением и воплощением всех этих пороков — «интеллигентным» фашистом.

«Я испытываю страх,— писал Мак Орли в своем дневнике,— перед искусством, которое симулирует величайшие ценности, но терпит самые низкие пороки... Я думаю о Гейдрихе, играющем Моцарта; искусство в этом случае, если можно так выразиться, нечто вроде нравственной шизофрении,— и оно было бы полной противоположностью тому, к чему мы стремимся; и вообще весьма сомнительно, можно ли отделить друг от друга задачи художественные и гуманистические. Признаком человеческого духа, в котором мы нуждаемся, является в первую очередь не талант, как своего рода подарок, но чувство ответственности».

Западные фантасты говорят о выборе между двумя типами отношения к миру — между тем, что принято называть «мораль служения» и «мораль стяжания». И для того, кто избрал путь служения людям, в сложном понятии «культура» на первый план выступают такие стороны, как бескорыстная тяга к знанию, человечность, преданность общему делу. Что ж, можно согласиться — с приходом такой культуры исчезают опасности благоденствия.

Утопия, чреватая опасностями, о которых мы говорили, это потребительская утопия или, вернее, утопия для потребителя.

Потребитель это не просто тот, кто потребляет. Потребитель это тот, кто осуществляется как личность через потребление. Чем больше удается ему потребить, тем больше он себя чувствует личностью.

Это как раз и делает проблему опасностей благоденствия такой актуальной.

На первый взгляд, дело обстоит как раз наоборот. «Слишком еще много сегодня на земном шаре голода, нищеты, эксплуатации, чтобы мы могли признать «задачей № 1» борьбу с чрезмерной комфортабельностью жизни, с ее слишком повсеместной и безупречной беззаботностью, которую несет развитие техники»,— пишет Станислав Лем в той же статье «Безопасна ли техника без опасности?» Да и вряд ли кто из читателей этой статьи согласится признать, что ему грозят опасности благоденствия.

Станислав Лем объясняет свой интерес к проблеме опасностей благоденствия единственно тем, что он пишет о будущем. Для писателя-фантаста, говорит он, «эта проблема в известном смысле начинает превращаться в одну из самых трудных и наиболее существенных, ведь он вместе со своими героями живет уже именно в завтрашнем дне земной цивилизации». Проблема в самом деле, вероятно, очень трудна, если даже крупнейшему современному фантасту разрешение ее видится в борьбе с чрезмерной комфортабельностью жизни. Но главное не в этом. Проблема опасностей благоденствия привлекла и привлекает фантастов не только и не столько потому, что они занимаются будущим, сколько потому, что они экстраполируют в будущее тенденции настоящего. Иногда даже не очень богатого, с точки зрения последующих десятилетий, настоящего.

Социология знает понятие аспираций. В определенных условиях, когда самые непосредственные человеческие нужды удовлетворены, представление о богатстве и бедности становится относительным. Человек чувствует себя богатым или бедным смотря по тому, насколько его уровень жизни приближается к его представлению о богатстве (или отдаляется от него). Это и называется аспирациями. Европеец прошлого века не чувствовал себя обделенным, если у него не было электрического холодильника,— он не знал, что таковой ему нужен...

Поэтому проблема опасностей благоденствия по-своему стоит на каждом этапе истории.

Они отчетливей всего видны в обществе с контрастирующими жизненными уровнями для разных социальных классов. Это очень разные вещи — всеобщее благоденствие или благоденствие на фоне нищеты, и уэллсовская «Машина времени» была продиктована именно таким подходом к проблеме. В этом фантастическом романе, действие которого отнесено к 802 701 году, многое воплощало проблемы, волновавшие совестливого буржуа девяностых годов прошлого века.

Вопрос об опасностях благоденствия сводился в прошлом веке к вопросу о буржуазности — о том состоянии, когда материальное благополучие на фоне бедности приводит (иногда в результате инстинктивной

нравственной самозащиты) к убиению совести и подмене искусства, развивающего душу (а следовательно, опасного для того, кто хочет притушить совесть), искусством, помогающим отгородиться от мира. (Совсем без искусства нельзя. Буржуа должен иметь *все*, из сферы его потребления ничто не должно быть исключено, в том числе и искусство.)

Другим полюсом, к которому начинала тянуться душа совестливого человека, живущего лучше других, и человека, желающего найти в себе силы вынести свою нищету, был культ страдания, давешняя уверенность в том, что горе, беды, душевная неустроенность только и делают человека человеком. Кому недостало страданий, должен сам позаботиться, чтоб их было вдоволь. Или за него его близкие...

Девятнадцатому веку казалось, что опасности благоденствия кроются в контрасте между роскошью и нищетой. Двадцатый век, заботливо сохранив эти опасности, прибавил к ним новые, все нарастающие — опасности массовидного благоденствия, благоденствия исступленного, подобного кликушеству, ведьмовству и другим коллективным психозам, когда количество участников только увеличивает интенсивность заболевания.

В двадцатом веке вопрос об опасностях благоденствия крепко связан с вопросом о самой массовой породе буржуа — о мещанине, о том «идеальном потребителе» из романа Аркадия и Бориса Стругацких «Понедельник начинается в субботу», который в первый же момент, когда был сотворен, присвоил все материальные ценности, до которых успел дотянуться, а потом попытался завернуть на себя мировое пространство и остановить время.

Человек думает и чувствует. Мещанин потребляет.

Ему кажется, что сейчас — его время. Что ж, в какой-то мере он прав. Современная наука с удивительной быстротой создает объективные предпосылки всеобщего благоденствия, не создавая сама по себе их нравственного эквивалента, а опасности благоденствия, созданные несправедливым обществом,— это опасности приоритета материального над духовным. Но он, бедняга, по тупости и ограниченности своей не знает, что век его недолог. Он существует лишь постольку, поскольку существует общество, ставящее себе ограниченно-материальные цели. Продолжительное же существование подобного общества грозит ему самоуничтожением. Потребителю тоже хочется выжить — но выжить он может, только став человеком.

Мы знаем, что материальный прогресс в конечном счете всегда приводил к радикальным, социальным переменам. Ну, а духовный прогресс, приходится ли на него рассчитывать? В чем может он состоять?

Обратимся опять к мнению Стругацких, высказанному в другом их романе «Хищные вещи века» — романе о стране, «где изобилие было когда-то целью, да так и не стало средством».

Буржуазная система воспитания, пишут они, «ставила и ставит своей целью прежде всего и по преимуществу подготовить для общества квалифицированного, но оболваненного участника производственного процесса. Эту систему не интересуют все остальные потенции человеческого мозга, и поэтому вне производственного процесса человек в массе остается психологически человеком пещерным, Человеком Невоспитанным... Человек Невоспитанный воспринимает мир как некий по сути своей тривиальный, рутинный, традиционно простой процесс, из которого только ценой больших усилий удается выколотить удовольствия, тоже в конце концов достаточно рутинные и традиционные. Но и неиспользованные потенции остаются, по-видимому, скрытой реальностью человеческого мозга. Задача... как раз и состоит в том, чтобы привести в движение эти потенции, научить человека фантазии, привести множественность и разнообразие потенциальных связей человеческой психики в качественное и количественное соответствие с множественностью и разнообразием связей реального мира».

«Богатство и бедность одинаково порождают пороки»,— говорили просветители.

Это верно. Бедность порождает пороки. Богатство порождает пороки — богатство на фоне бедности, богатство, достигнутое предательством и разбоем, богатство нравственного тупицы и богатство потенциального мазохиста. Но есть один вид богатства, который не порождает пороков,— богатство духа. И в обществе будущего ему будет соответствовать не «среднее состояние», а общественное изобилие.

Это хорошо понимал Норберт Винер. В интервью, данном незадолго перед смертью (у нас оно опубликовано в журнале «Зарубежная радиоэлектроника» № 17, 1964 г.), он, отвечая на вопрос корреспондента о том, что делать, когда машины отнимут у людей еще больше работы, чем сейчас, сказал:

«...мы больше не можем оценивать человека по работе, которую он делает. Мы должны оценивать его как человека.

В этом вся суть. Вся уйма работы, для которой мы сейчас используем людей,— это работа, которая в действительности лучше делается вычислительными машинами. Иными словами, уже давно человеческая энергия стóит немного, поскольку речь идет о физической энергии. Сегодня человек, пожалуй, не смог бы произвести столько энергии, чтобы купить пищу для собственного пропитания.

Фактическая коммерческая стоимость его услуг при современной культуре недостаточна. Если мы оцениваем людей, мы не можем оценивать их на этой основе. Если мы настаиваем на применении машин повсюду, безотносительно к людям, но не переходим к самым фундаментальным рассмотрениям и не даем людям надлежащего места в мире, мы погибли».

Это знаменательные слова. А между тем подобная мысль была высказана еще в прошлом веке двумя людьми, которые не только предвидели проблему, затронутую Норбертом Винером, но и знали, в какого рода

обществе она найдет свое решение. В «Коммунистическом манифесте» сказано, что коммунизм — это общество, где «свободное развитие каждого является условием свободного развития всех».

Будущее человечества связано сейчас с Человеком. Тем Человеком, который будет жить при коммунизме.

Этому человеку будущего не будет предписываться обязательный курс страданий, тем более что какая-то мера страдания навсегда останется его уделом. Он всегда будет знать потерю близких, неразделенную любовь и вряд ли сразу будет находить свое место в мире. Но, стараясь победить страдание, человек никогда не будет уклоняться от борьбы. Не борьбы-страдания, а радостной и упоенной борьбы за познание мира и раскрытие себя в этом мире. Машина поможет ему обрести свободу, но это будет не свобода ничегонеделанья, а полная свобода выбора. Изобилие и освобождение для человека и общества помогут им осуществлять задачи, свободно выбранные, а не продиктованные необходимостью выжить.

Может быть, только сейчас мы в состоянии в полную меру оценить мысль К. Маркса о том, что при коммунизме исчезнет противоречие между отдыхом и работой и человечество будет жить по законам свободного времени. Оно не будет работать, чтоб заработать себе право на безделье. Напротив, каждое дело, им избранное, будет для него источником наслаждения.

Но откуда возьмутся у него дела в автоматически действующей цивилизации?

Автоматически действующая цивилизация не исчерпает собой всей цивилизации будущего. Автоматически действующая — значит стабильная, а мир будущего — динамический мир. Автоматически действующая цивилизация обеспечит человечеству надежный плацдарм для дальнейшего развития, она освободит ему руки, но он найдет, к чему их приложить.

Человек — удивительно беспокойное существо. Мы еще не создали цивилизации будущего, мы еще основательно заняты повседневными и порою достаточно неприятными делами, а уже беспокоимся о том, что будет, когда мы освободимся от них.

Еще семьдесят лет тому назад К. Э. Циолковский предположил, что со временем человечество «колонизует» все околосолнечное пространство. Тогда эта мысль казалась чистой фантазией. Теперь она подвергается дальнейшей разработке.

Сейчас ученые говорят о возможном создании искусственных сверхновых звезд, искусственных планет, приспособлении к жизни и заселении старых, извлечении из мирового пространства недостающей энергии, многократном продлении срока человеческой жизни, установлении контактов с братьями по разуму.

Это сделают не роботы, а люди. Роботы будут только «давать им консультации» и исполнять их приказания.

В свое время В. Франклин определил человека как животное, делающее орудия. Это определение начинает устаревать. Скоро настоятельно потребуются другие. Вот одно из них, может быть нечетко сформулированное, но в принципе отвечающее новому масштабу человеческих дел. Оно недавно высказано И. Забелиным в статье «Человечество — для чего оно?» (Журнал «Москва», № 8, 1966).

«Человечество—это орган природы, ею же созданный для управления стихийными силами». Не только на Земле—в околосолнечном пространстве. Следует вспомнить, насколько несоизмеримы даже сейчас энергетические ресурсы человечества с энергетическими мощностями, которыми повелевает природа, чтобы понять всю грандиозность этой задачи. И, конечно, осуществление ее не удастся без борьбы — борьбы воли, интеллекта, дерзания и осторожности. И все-таки это будет борьба не за самоутверждение того или иного человека, решившего поставить себя выше других, а борьба за самоутверждение человечества.

Сейчас нам тоже приходится бороться — за то, чтобы пришло общество, в котором будет благоденствие и не будет опасностей благоденствия. Иными словами, за то, чтобы сам процесс продвижения к этому обществу все больше готовил человека к жизни в нем, чтобы от поколения к поколению в людях накапливались ум, бескорыстие, воля, чувство собственного достоинства, любовь к свободе. Это единственный путь. Все остальные пути — тупиковые.

Е. БРАНДИС,
В. ДМИТРЕВСКИЙ

ФАНТАСТИКА В ДВИЖУЩЕМСЯ МИРЕ

После второй мировой войны западная фантастика, прежде всего англо-американская, превратилась в крупную отрасль современной литературной индустрии. Специализированные издательства и специальные журналы с параллельными изданиями в Англии, Франции, Италии, Японии и скандинавских странах. Стремительный поток все новых и новых книг, рассчитанных на читателей разных категорий, разного возраста, разных вкусов. Ежегодные сборники «лучшего из лучшего», «самого лучшего» и просто «лучшего» в научной фантастике. Тщательно разработанная система присуждения литературных премий, из которых премия Хьюго (в честь Хьюго Гернсбека, «отца» американской фантастики) считается наиболее почетной. Клубы любителей фантастической литературы со своими библиотеками, бюллетенями, международными и региональными конференциями; конгрессы и диспуты писателей-фантастов; профессиональные критики, референты, обозреватели, рекламные агенты и служащие торговых фирм, изучающие читательские интересы и конъюнктуру книжного рынка.

Только в Соединенных Штатах обслуживанием этой сферы духовного производства занято не менее трехсот литераторов. Из них тридцать или сорок популярны и в других странах. Кроме хорошо известных у нас Брэдбери, Азимова, Кларка, Шекли, почти в каждой статье и обзоре упоминаются десятки имен американских, а также английских писателей-фантастов, обладающих индивидуальным творческим почерком и тяготеющих к серьезной проблемной литературе, что резко выделяет их из общей массы безликих поставщиков коммерческой беллетристики.

В современной западной фантастике ошеломляет исключительная пестрота и разнородность господствующих тенденций. Но при всем этом на первый план выдвигается фантастика социальная и психологическая, исходящая из идеи решающего влияния науки и техники на жизнь общества.

Писателей-фантастов, за редкими исключениями, меньше всего занимает сейчас обоснование научных или наукообразных гипотез. Наука используется в фантастических произведениях как художественный прием, а сама фантастика — как способ утверждения или развенчания определенных идей — философских, социальных, этических, эстетических и т. д. Процесс этот всеобщий, с тем, разумеется, различием, что писатели Запада и социалистических стран в оценке социальных проблем настоящего и будущего занимают подчас противоположные позиции.

Задачи, стоящие перед научной фантастикой, требуют от нее, чтобы она была самостоятельным видом литературы. «Мы твердо уверены,— пишет американский писатель Р. Хейнлейн,— что научно-фантастические произведения должны быть прежде всего *хорошими рассказами,* теплыми и человечными, а не слегка замаскированными инженерными отчетами». С этими словами нельзя не согласиться, так же как и с утверждением А. Азимова: «Научная фантастика выполняет свою самую полезную функцию не когда изобретает технические фокусы, а когда пытается представить последствия для общества от таких открытий. В своей функции предвидеть социальные последствия этих открытий научная фанта-

стика может стать могучей силой, помогающей людям».

Но экстраполяция в будущее социальных, политических и нравственных конфликтов нашего времени в западной фантастике не всегда служит столь благородным целям. На сотни и тысячи лет вперед в нашу и другие галактики переносятся понятия, предрассудки и образ действий буржуа XX века. Безграничное накопление знаний и технических средств, войны, революции, восстания, говорят авторы подобных фантастических произведений, не приводят ни к каким качественным изменениям, как будто в истории ничего не происходило и не было никаких перемен.

В освоенном, изъезженном, обжитом космосе устанавливаются фашистские диктатуры, всесильные олигархии держат в страхе и повиновении миллионы населенных планет, монополисты борются за «сферы влияния», колонизаторы отодвигают все дальше в глубь Галактики «форпосты цивилизации», работорговцы поставляют рабочую силу, звездные «викинги» совершают набеги, миссионеры читают проповеди, негоцианты заключают сделки. И хотя так называемая «космическая опера» (направление в американской фантастике, созданное Берроузом и его многочисленными последователями) постепенно сходит на нет, этот условный «социальный фон» сохраняется не только в романах для юношества, но и в проблемных произведениях.

Встречи представителей инопланетных цивилизаций чаще всего приводят к истребительным войнам, а в лучшем случае — к установлению «нормальных» торговых отношений. Такие сюжеты варьируются в серьезном или ироническом плане, как нечто само собой разумеющееся. Для чего же иначе устанавливать контакты? Американец Клиффорд Саймак рассказывает об этом с характерным для него народным юмором. Заурядный парень, которого считают неудачником, сталкивается с необычными явлениями, но никогда ничему не удивляется и не попадает впросак. И он уж не упустит своей выгоды, когда встретит симпатичных зверюшек, оказавшихся разумными обитателями другой вселенной, или увидит дерево, на котором растут доллары...

Но не все произведения фантастов выглядят так безобидно. Например, рассказ Макрейнольдса «Земляне, убирайтесь домой!», где марсиане изображены как представители «низшей» расы, нельзя воспринять иначе, как сатиру на борьбу народов против проникновения США в слаборазвитые страны, а рассказ Уильяма Самбро «Гном» — как дань англосаксонскому шовинизму: дикий и невежественный ирландский крестьянин убивает пришельца из космоса, приняв его за гнома. Эти примеры выбраны наудачу из «Восьмого ежегодника лучшего в научной фантастике», составленного Джудит Мерилл. Произведения с такой неприятной окраской встречаются не так уж редко.

Изображение всемирных катастроф в результате опустошительных тотальных войн, вторжений инопланетных агрессоров или неотвратимых космических бедствий (угасание или разогревание Солнца, оледенение Земли, вспышки сверхновых звезд и т. п.) — такое же «общее место», как придание человеку будущего психологии американского бизнесмена.

Нормальным считается, например, такое исходное допущение: на мертвой, выжженной Земле чудом уцелевшая после термоядерной войны горстка людей начинает «все сначала». Среди английских и американских фантастов есть немало «специалистов» по изображению всякого рода катастроф. Но каждый ли из них дает себе отчет в том, что подобные сюжеты прямо перекликаются с пессимистическими взглядами многих философов, социологов и публицистов Запада, не верящих в способность народов предотвратить угрозу всеобщего самоубийства? Больше того. Поразительная непринужденность обращения с темой глобальных катастроф отражает столь же распространенное на Западе убеждение, что агрессивные инстинкты неотделимы от биологической природы человека и заложены изначально в генной памяти. И потому войны были, есть и будут, покуда не пресечется род человеческий, и ничего уж тут не поделаешь.

В одном из рассказов Пола Андерсона изображено «организованное» общество будущего, в котором сохраняется отдушина для жаждущих кровопролития. Парадокс основан на том, что войны, правда в ограниченном масштабе, ведутся ради поддержания мира. Битвы в космосе между несколькими сотнями рыцарей, представляющих капиталистический и коммунистический блоки, передаются по телевизору, а люди на Земле, наслаждаясь упоительным зрелищем, испытывают возбуждение, которое заменяет им непосредственное участие в войне.

Но независимо от того, как трактуются такого рода сюжеты — с ироническим, пародийным подтекстом или вполне серьезно, с «эффектным» нагромождением ужасов,— суть дела не меняется, если только автор не ставит своей целью напомнить об ответственности политиков и ученых за судьбы мира, предостеречь от опасностей и бед, угрожающих существованию человечества.

В современной фантастической литературе Запада с переменным успехом борются два начала: апологетическое и критическое. Условные литературные приемы и столь же условные допущения (проецирование в будущее общественных отношений, конфликтов и противоречий, свойственных современному капитализму) используются серьезными писателями лишь как повод для постановки злободневных вопросов и выражения критических взглядов на существующий порядок вещей.

Мы уже упоминали «Восьмой ежегодник лучшего в научной фантастике», составленный Джудит Мерилл,— один из многочисленных сборников, изданных за последние годы. Рядом с рассказами мистическими, иррациональными, в той или иной мере реакционными по заложенным в них идеям, здесь напечатаны и рассказы Марка Клифтона «Опусти голову, вандал!», Джералда Керша «Небезопасный сейф» и Зенны Хендерсон «Подкомитет», где проводятся гуманные идеи. Ограничимся только одним примером.

З. Хендерсон, по профессии школьная учительница, в основу этого и других своих рассказов кладет здоровую мысль о необходимости искать пути к взаимопониманию и сотрудничеству, решать конфликты мирным путем.

Солнечную систему атакует космический флот. Непонятно, как началось столкновение и кто в этом виноват. Люди пытаются договориться, но плохо понимают пришельцев. Их делегацию изолируют, переговоры заходят в тупик. Тем временем ребенок одного из членов земной делегации подкапывается под забор и затевает игру с ребенком чужих. Туда же пробирается мать и завязывает отношения с матерью маленького пришельца. И тут выясняется, что пришельцы не питают к людям никакой вражды. На их планете иссякли некоторые минеральные вещества, необходимые для воспроизводства жизни. Инопланетяне ждут от людей помощи, хотят взаимовыгодного обмена, и разгоревшаяся война — сплошное недоразумение. Рассказ несколько испорчен сентиментальным тоном, но, в отличие от множества произведений на эту тему, появляющихся в США, завершается оптимистической нотой.

В разных аспектах развивает те же мысли и молодой французский писатель Шарль Демют. Его исходный тезис заключается в том, что вмешательство в чужую жизнь, даже с субъективно добрыми намерениями (действие происходит на далеких планетах, куда попадают земляне), может вызвать непоправимо пагубные последствия («К востоку от Лебедя», «Человек из лета» и др.).

Из самой природы фантастического образа вытекает такая его особенность, как второй план, требующий соотнесения фантазии с действительностью. Если фантастический замысел используется не ради обоснования научной или технической задачи, не только в популяризаторских целях, то в серьезном произведении этого жанра почти всегда будет содержаться подтекст— иносказание, притча, аллегория.

Горас Голд, издатель журнала «Галактика» (США), говорит, что в художественной литературе мало есть вещей, которые так же остро отражают желания, страхи, надежды, внутреннюю и внешнюю напряженность нашего времени, как научная фантастика. Прав и Сирил Корнблат, заявивший на одной из дискуссий американских фантастов, что писателя, изображающего мыслимые варианты будущего Соединенных Штатов (или всей Земли), не следует обвинять в фашизме и ни в каком другом «изме». «Он создает возможные миры, чтобы привлечь внимание к тому, что может произойти». Но для нас вовсе не безразлично, с каких позиций создается эта проблематическая социальная конструкция.

И когда американский или английский фантаст выражает свои негативные представления о будущем, нам важно понять, что это — зловещая антиутопия или «предупреждение», проникнутое болью и тревогой за судьбы мира. А между тем западная критика часто не проводит различий между тем и другим жанром, хотя валить в один котел пищу отравленную и здоровую по меньшей мере безрассудно.

Победоносное наступление коммунистической идеологии, овладевающей умами широких масс, успехи социалистического строя неотвратимо порождают реакцию со стороны идеологов старого мира. Во многих книгах современной фантастики мы обнаруживаем явную перекличку с распространенными на Западе философскими, социальными и экономическими учениями — с теорией круговорота событий, вечной повторяемости социальных процессов в разные исторические периоды (К. Райт, А. Тойнби, Питирим Сорокин), с концепцией технократического государства Джеймса Барнхэма или с теорией «элиты», противопоставляющей «пассивной массе» высокоодаренных индивидов, призванных управлять и господствовать (Э. Ледерер, Дарлингтон, Шумпетер и др.).

Антиутопия и есть одна из форм реакции против социалистических идей и социализма как общественной системы. Злобные, пасквильные фантастические романы, направленные своим острием против марксизма и первого в мире социалистического государства, получают немалое распространение в наши дни.

Тут можно усмотреть характерную закономерность. Жанр антиутопии развивается как бы толчками — в периоды, представляющие непосредственную угрозу для самого существования капиталистической формации: после первой русской революции, вызвавшей подъем рабочего движения на Западе, в первые годы Советской власти, в годы мирового экономического кризиса и после второй мировой войны, когда социалистический строй утвердился во многих странах.

«Классиков» этого жанра выдвинула Англия. За последние годы у Олдоса Хаксли и Джорджа Оруэлла, автора известного романа «1984 год», появилось немало последователей. В потоке реакционной литературы, выходящей на Западе, антиутопическая фантастика занимает далеко не последнее место.

Наряду с этим после «Войны миров» Уэллса систематически создавались романы, поднимающие острейшие социальные проблемы с целью предупредить об опасности, представить в форме фантастической гиперболы нежелательные тенденции общественного развития. Реальная угроза фашизации и духовного одичания капиталистического об-

щества получила отражение во многих произведениях крупнейших писателей Запада, опубликованных накануне и после второй мировой войны («Самовластье мистера Парэма» и «Облик грядущего» Уэллса, «У нас это невозможно» Синклера Льюиса, «Война с саламандрами» Чапека, «451° по Фаренгейту» Брэдбери и т. д.).

Тему предупреждения в фантастической литературе ставит, например, Айзек Азимов в статье «Будущее? Напряженное!» («Fantasy and Science Fiction» № 6, 1965). Грядущие перемены — «революционные изменения первого ранга» — должны, по его мнению, затронуть четыре сферы жизни. Это «взрыв населения», «взрыв автоматизации», «взрыв информации» и «взрыв свободы». Каждому из этих «взрывов» посвящено энное число фантастических произведений. «Так или иначе,— заключает Азимов,— каждое из этих важнейших изменений, стоящих на нашем пути, в состоянии еще до того, как одно поколение сменится другим, разрушить мир, который мы знаем. Чтобы изменения в мире не привели к его уничтожению, мы должны сделать разумные прогнозы о том, куда мы идем, и начать действовать теперь же на их основе».

С оценкой Азимовым важнейших аспектов фантастической литературы «предупреждения» можно было бы согласиться, если бы американский писатель не обошел молчанием наиболее животрепещущих, волнующих все человечество вопросов, связанных с угрозой истребительной тотальной войны и фашизации некоторых капиталистических государств.

Без позитивных представлений о будущем невозможно создавать утопии. В западной фантастике после повести Уэллса «Люди как боги» трудно назвать сколько-нибудь значительную социальную утопию. Этот жанр, обогащаясь новыми качествами, с учетом положительного исторического опыта, накопленного человечеством за последние десятилетия, продолжает новую жизнь в социалистических странах («Туманность Андромеды» И. Ефремова, «Магелланово облако» С. Лема и др.). В буржуазной фантастике утопию почти совсем вытеснили антиутопия и роман-предупреждение.

Правильно предвидя или предчувствуя реальную опасность, грозящую миру, писатели Запада рисуют в своих произведениях, и подчас с большой впечатляющей силой, мрачные картины торжествующего зла. А в тех случаях, когда пытаются найти какое-то светлое, гармоническое начало, устремляются мыслью не вперед, а назад и находят убежище в уютном патриархальном прошлом. Таковы некоторые рассказы Брэдбери из «Марсианских хроник», из сборника «Золотые яблоки Солнца», некоторые из повестей Пола Андерсона или финал весьма типичной для современной западной фантастики повести французского писателя Андре Дотеля «Остров железных птиц».

Герой этой повести Жюльен Гренби, попавший на неведомый остров, сталкивается с миром кибернетических устройств, управляющих всем населением острова по законам логики и целесообразности. Подобно тому как в «451° по Фаренгейту» суд и расправу над провинившимися учиняют механические псы, здесь эту роль выполняют кибернетические гарпии — железные птицы, уничтожающие каждого, кто позволит себе хоть малейшее отклонение от установленных норм. И когда после многих приключений Жюльену Гренби вместе с его подругой удается бежать с этого ужасного острова, он находит успокоение и счастье в провинциальном французском городке — на лоне природы, в общении с богом и любимой женой...

Там же, где современная западная фантастика обращается к проблеме личности, нередко возникает цепь парадоксов. Парадоксально прежде всего отношение к самой науке. Человек, уподобивший себя творцу, нарушил законы природы, и природа (бог) жестоко за это мстит. Человек создал искусственный мир, вдохнул жизнь в бездушную машину, и машина обрушивается на своего творца. Неповиновение роботов, вытеснение людей автоматами, замена человека кибернетическим двойником — эти мотивы варьируются бесконечно. Испуг и растерянность перед фатальными силами, вызванными с помощью науки, которая служит не добру, а злу,— такими настроениями проникнуты тысячи произведений американских, английских, французских и японских фантастов.

А отсюда еще один парадокс, подмеченный Кингсли Эмисом в книге «Новые круги ада»: человек, задавленный техникой, стремится с помощью той же самой техники освободиться от техники, создать иллюзию независимости и покоя. Брэдбери решает эту тему в памфлетно-сатирическом ключе в романе «451° по Фаренгейту» (телевидение как наваждение и кошмар) и в лирическом — в многочисленных новеллах.

И не только Брэдбери. Бунт одинокого беспомощного человека против жестокой механической цивилизации, подгоняющей всех под один уровень,— сюжет столь же распространенный, как и бунт роботов.

В рассказе австралийского писателя Ли Гардинга «Поиски» герой убегает на лоно природы из огромного железобетонного города, чтобы насладиться пением птиц, полежать на траве, понюхать живые цветы. Наконец, все это он находит, и все оказывается искусственным — из синтетики. И в довершение трагедии этот новоявленный руссоист с ужасом убеждается, что он и сам не настоящий: робот, вообразивший, что он человек.

Страх и отчаяние человекоробота доводятся до обобщающего символического гротеска в знаменитой повести Фредерика Пола «Туннель под миром». Странная метаморфоза, случившаяся с конторским служащим Буркгардтом и с городом, где он живет, получает в рамках фантастического сюжета правдоподобное объяснение. После взрыва

химического завода рекламная компания моделирует разрушенный город и погибших людей, чтобы проверить на них новые способы рекламы. И читатель вместе с самим Буркгардтом, который чувствовал что-то неладное, но не подозревал о своем существовании в новой ипостаси — в виде биоробота, узнает только на последних страницах, что город и его обитатели смоделированы... на лабораторном столе.

В других вариантах мистерия кибернетического века выглядит еще более зловещей. Все функции управления и контроля за деятельностью каждого члена общества передоверяются универсальному искусственному мозгу, который в конце концов либо пытается покончить с собой, не выдержав чудовищного напряжения («Все грехи мира» А. Азимова), либо, осознав свое могущество, пытается установить деспотическую власть, как это делает «мозг-гигант» в одноименном романе Гейнриха Гаузера или в рассказе «В соответствии с программой» Жиля Сартена.

Деформируется и подменяется не только сам человек, но и его психика. В сознании ошеломленного обывателя мир теряет свою целостность, воспринимается в нарочито искаженных ракурсах и пропорциях, расчленяется на элементы, громоздящиеся в хаотическом беспорядке. В таких случаях человек — только игрушка судьбы. На каждом шагу его подстерегают неведомые угрозы, опасности, ужасы, катастрофы.

Не трудно заметить в подобных сюжетах гипертрофированное и часто болезненно искаженное отражение вполне реальных противоречий капиталистического строя и вполне реальной опасности дегуманизации культуры в результате вытеснения живого, мыслящего индивида бездушными механизмами. Именно с этим связана одна из самых животрепещущих кардинальных тем современной фантастики «предупреждения».

Итак, если в антиутопиях коммунистическим идеалам противопоставлены реакционные общественные идеи и в конечном счете status quo, то в «предупреждениях» мы имеем дело с честными попытками указать, какие беды и опасности, препятствия и трудности подстерегают человечество на пути к будущему. Указать и предостеречь во имя здравого смысла, прогресса и мира на Земле.

От этих общих соображений о современной зарубежной западной фантастике мы хотели бы перейти к той полемике, которая возникла между авторами этой статьи и американскими писателями-фантастами.

В нашей статье «Будущее, его провозвестники и лжепророки» («Коммунист» № 2, 1964) из разных аспектов проблемы социального моделирования был выбран один-единственный: соотношение фантастических идей и образов с философскими и социологическими концепциями нашего времени. Основные положения иллюстрировались недавно изданными произведениями писателей-фантастов Запада и социалистических стран.

Эта статья вызвала отклик в Соединенных Штатах. Отрывки из нее с кратким предисловием от редакции и репликами Айзека Азимова, Пола Андерсона, Макрейнольдса и Рэя Брэдбери напечатаны в «Fantasy and Science Fiction» (№ 10, 1965) — одном из самых распространенных американских научно-фантастических журналов.

К сожалению, редакция этого журнала познакомила читателей не с полным текстом статьи, а всего лишь с тенденциозной подборкой механически скомпонованных цитат. И это, конечно, не могло не привести к недоразумениям, тем более что редакция «Fantasy and Science Fiction» исключила в своем «монтаже» все, что говорилось о социалистической научной фантастике и ее существенных отличиях от западной.

Но отрадно заметить, что американскими писателями были высказаны мысли, создающие почву для установления контактов и поисков взаимопонимания между советскими и американскими фантастами: никакие раздирающие мир противоречия не могут быть разрешены с помощью новейших разрушительных средств, ведущих к непоправимой катастрофе.

Азимов в подтверждение этой мысли цитирует свое предисловие к изданному в США сборнику советской научной фантастики:

«И все-таки, в общем, я хочу верить, что советские граждане и в самом деле желали бы видеть пришествие царства любви, когда народы перестанут поднимать меч друг на друга и забудут о войнах.

Почему бы им не хотеть этого!

Если бы только мы могли верить в то, что они хотят этого, и если бы они поверили в то, что мы хотим того же самого, тогда, вероятно, все бы в конце концов пошло хорошо».

Азимову вторит Макрейнольдс:

«Я думаю,— пишет он,— что социально-экономические учреждения всего мира, включая учреждения Советского Союза, находятся в состоянии развития. Я в достаточной степени оптимист, чтобы верить, что у нас есть все шансы сделать этот мир чертовски приятным по сравнению с тем, что было в прошлом. Но я в то же время не так слеп, чтобы не понимать того, что если современная политика великих держав будет продолжаться, то нам еще при жизни придется быть свидетелями мирового хаоса».

Тревогой за будущее, озабоченностью судьбами мира и человечества проникнуты и грустные слова Брэдбери:

«Я всегда думал, что дело научной фантастики — учить нас, беседуя с нами о нашей былой глупости, о нашей глупости в настоящем и о нашей глупости в будущем. Мы осыпаем друг друга словами и упорно не понимаем того, что могло бы быть понято, если бы мы оказались в одной комнате, смотрели бы друг другу в лицо и выяснили бы наши взаимные человеческие отношения. Любое разрушение в будущем совершит не группа несчастных безумцев, а две группы слепцов, движущихся в темноте и отказывающихся от дружеского контакта и взаи-

мопонимания. Я лично верю, что мы не будем уничтожать друг друга и что мы сблизимся, хотя мы и безумцы».

Пол Андерсон, подчеркивая свое несогласие с доктриной коммунизма, тем не менее признает: «Коммунизм воплощает благородную идею о том, что люди способны совершенствоваться, что судьба их может быть улучшена и что долг каждого индивидуума помочь этому улучшению... Я знал многих коммунистов и спорил с ними. Когда спор шел в вежливой форме и мы больше искали взаимопонимания, чем старались обвинить друг друга, мы всегда к нему приходили. Так, например, я понял, что одно из коренных наших разногласий состоит в том, что у них больше веры в человеческий разум, чем у меня».

Не будем сейчас говорить о том, что нам трудно принять апелляцию Азимова к библейскому «царству любви», точно так же, как и метафору Брэдбери о «двух группах слепцов, движущихся в темноте». Гораздо важнее в этих заявлениях отметить искреннее стремление отыскать в первую очередь не то, что нас разделяет, а то, что в какой-то степени может сблизить.

Принципиальные расхождения начинаются там, где американские писатели противопоставляют коммунизму свое понимание свободы. И в этом отношении наиболее показательны высказывания Пола Андерсона, полагающего, что коммунистический идеал «из-за присущего ему догматизма, обязательно вступает в конфликт с не менее благородным идеалом свободы».

Это старая песня! Против понимания свободы как осознанной необходимости «ниспровергатели» марксизма выступают со времен его зарождения. Но любопытно еще и такое признание Пола Андерсона, которое следует непосредственно за его толкованием «идеала свободы». «Американцы,— заявляет он,— такой свободой не пользуются, никогда не пользовались и никогда не будут пользоваться ею. Не так уж порабощены и люди за «железным занавесом». Что я хочу показать, так это только контраст между ориентацией, высшими ценностями и конечными целями обоих обществ. Так как литература по необходимости всегда есть упрощение жизни, то конфликт легче увидеть в ней, чем в запутанной и вечно меняющейся сфере современной политики».

Не найдя воплощения идеала свободы ни за «железным занавесом», ни в своей стране, Пол Андерсон пытается утвердить этот идеал в собственных фантастических сочинениях.

Как и многие его коллеги, Андерсон видит в истории лишь хаотическое нагромождение событий, где нет и не может быть никаких закономерностей. И потому ему ничего не стоит замещать в своих произведениях современные отношения канувшими в лету патриархальными порядками. И даже когда он переносит действие на просторы вселенной, далекое будущее фатально оказывается все тем же прошлым.

Высказывания Макрейнольдса затрагивают проблему изображения будущего. «Очевидно,— заявляет он,— что когда писатели-фантасты основываются на данных из области политической экономии, то им легче представить себе антиутопию, нежели совершенное общество будущего. На каждое произведение типа «Взгляд назад» Беллами приходится несколько произведений типа «1984 год» Оруэлла. Одна из причин этого, зозможно, заключается в следующем: большинство наших писателей убеждены в том, что современные социальные учреждения настолько совершенны, что всякое изменение их может быть только в худшую сторону». Для Макрейнольдса не имеет ценности ни одна из существующих социальных систем: «В свое время,— пишет он,— я опубликовал рассказы о мире будущего, основанном на анархизме, технократии, социализме, коммунизме (вариант, принятый в Советском Союзе, и вариант, осуществляющийся в Югославии), синдикализме, промышленном феодализме, государственном капитализме и различных комбинациях этих общественных формаций. Некоторые из этих рассказов оптимистичны, другие нет. Это зависит от рассказа и его задач.

Любой из предложенных «вариантов будущего» становится для Макрейнольдса не более чем литературным экспериментом. Так он демонстрирует широту своих взглядов в противовес однозначности коммунистической доктрины.

Его реплика завершается на высокой ноте: «Вы считаете, что многим американским и английским писателям трудно создать оптимистический рассказ о будущем, в котором капитализм уже перестал быть господствующей социальной системой, а сменился чем-то более соответствующим дальнейшему развитию. Пусть так. Но тогда покажите нам рассказ советского писателя-фантаста о чем-то более совершенном, чем то, что вы называете коммунизмом!

Или вы утверждаете, что уже завершили свою социальную эволюцию? Что дальше уже немыслимо ничего, что могло бы быть совершеннее системы, существующей сейчас в Советском Союзе?»

Макрейнольдс не знает, что коммунизм никогда не изображался его теоретиками застывшей формацией, ограничивающей возможности дальнейшего совершенствования и развития. Напротив, чем больше достигнуто, тем больше остается впереди. И это относится к самому человеку и к общественному устройству, которое не может быть неизменным и стабильным, и к безграничным перспективам познания и покорения природы. Не зная, видимо, этого, Макрейнольдс полагает, что советская социальная фантастика заполнена розовыми утопиями, где коммунизм с барабанным боем вторгается в будущее.

Если бы Макрейнольдс был лучше осведомлен в нашей научно-фантастической литературе, он убедился бы, что все обстоит

не так, как ему кажется. Коммунистическое будущее отнюдь не изображается в советских утопических романах (мы употребляем этот термин за неимением лучшего) в тонах сплошной идиллии, как полное благополучие, самоуспокоенность, отсутствие всяких конфликтов. Напротив! Герои произведений, действие которых переносится в грядущие века, вечно в исканиях, испытывают чувство неудовлетворенности достигнутым, дающее стимул к дальнейшему поступательному движению. Они полны жажды деятельности, задумывают и совершают грандиозные дела, идут на подвиги. Подробно раскрывая новые общественные отношения, авторы новейших коммунистических утопий видят безграничные возможности для приложения сил и способностей наших далеких потомков. Непрерывное устремление вперед — в вечном поиске — является для них естественной нормой поведения и главным стимулом дальнейшего развития общества. Это одинаково относится к столь разным и непохожим одно на другое произведениям, изображающим мир будущего, как «Туманность Андромеды» и «Сердце Змеи» И. Ефремова, «Далекая Радуга» и «Возвращение. Полдень XXII-й век» А. и Б. Стругацких, «Докучливый собеседник» и «Скиталец Ларвеф» Г. Гора, «Легенды о звездных капитанах» Г. Альтова, «Леопард с вершины Килиманджаро» О. Ларионовой и многие другие.

Макрейнольдс, вероятно, и не подозревает, что у нас создаются не только утопии, но и «предупреждения». Разумеется, они не имеют ничего общего с антиутопиями типа «1984 год» Оруэлла, но в них смело говорится о тех огромных и неизбежных трудностях, с которыми сталкивается человечество, расчищая себе дорогу в грядущее. И только недальновидные критики могут принять «Страну Дономагу» И. Варшавского, негативные социальные построения братьев Стругацких («Трудно быть богом», «Попытка к бегству», «Хищные вещи века») или кибернетические памфлеты А. Днепрова за выражение авторских идеалов.

Однако и в тех произведениях, которые мы относим к коммунистическим утопиям, и в тех, которые мы называем предупреждениями, советские писатели исходят из марксистско-ленинской теории общественного развития. Иначе говоря, их социальные концепции, даже выраженные языком фантастических образов, опираются на научное понимание исторического процесса.

Нет исторического подхода и в реплике Рэя Брэдбери. Мы не сомневаемся в гуманных побуждениях этого замечательного художника и в его искреннем желании улучшить отношения между нашими странами. Но в своих рассуждениях он так далек от реального хода истории.

«Россия,— пишет Брэдбери,— меняет свои убеждения под влиянием развивающейся техники и индустриализации и начинает походить на Соединенные Штаты, тогда как Соединенные Штаты под натиском требований и нужд масс некоторыми своими сторонами начинают походить на русское общество. Хотим мы этого или нет, но это будет происходить независимо от того, чего желает каждая из наших стран и чем она стремится быть, до тех пор, пока одна не станет зеркальным отображением другой. Те из нас, кто наблюдает, поняли, что этот процесс начался уже много лет назад. Для всего человечества это будет только выгодно».

Талант Брэдбери получил мировое признание. Он оригинален, самобытен, неповторим. Но в его взглядах на будущее ощущается влияние распространенной сейчас в кругах буржуазных социологов фальшивой теории так называемой «конвергенции» капитализма и социализма — их последующего слияния в «единое индустриальное общество».

И если мы не можем принять предложенный Брэдбери рецепт «синтеза» капитализма и социализма на основах экономического прогресса, то хочется только приветствовать его пожелание установить постоянный обмен духовными ценностями.

«Мы должны,— пишет он,— узнать друг друга, это совсем просто и совершенно необходимо. Где бы ни существовали тирания и гнет, каждая страна должна стараться обнаружить и устранить их. Я искренне надеюсь, что мы можем читать произведения друг друга без всякого предубеждения и принимать их как вполне обоснованные рассказы, созданные народом, искренне желающим выдвинуть свою точку зрения».

Конечно, никто не ждет, что в результате впервые состоявшегося обмена мнениями между советскими критиками и американскими писателями-фантастами наши оппоненты станут на платформу научного коммунизма. Да и они вряд ли рассчитывают обратить нас в свою веру. Тем не менее возможность диалогов и встреч нужно только приветствовать.

СТАНИСЛАВ ЛЕМ

КУДА ИДЕШЬ, МИР?

Итак, еще одна попытка заглянуть в будущее нашей планеты. Попытки эти сейчас в моде, перо ученых и публицистов уже выбило вполне ощутимую колею, в результате их совместных усилий наметилось янусово обличье современного пророчества: его орлом является техническое совершенство, автоматизированная роскошь грядущей цивилизации, решкой же — невидимый огонь радиации, тотальная гибель. Вероятно, будущему придется выбирать между этими крайностями, однако есть ли полная уверенность в том, что перед нами нет ничего, кроме автоматизированного рая либо водородного ада? Уже выработался стереотип: пишущий, в зависимости от обстоятельств, превращается либо в апологета, либо в Кассандру — можно подумать, что будущее, хорошее или плохое, будет простым, как в конечном счете просты оба приведенные решения. Мои намерения скромны: просмотреть некоторые предпосылки, присмотреться к фактам, быть может, подвергнуть сомнению выводы, не говорить ничего без достаточного обоснования, наконец, если это понадобится, поставить вопросительные знаки там, где до сих пор мы ставили только восклицательные; мне думается, отдаляющееся от нас прошлое, кажущееся нам все более маленьким в обрамлении скромных гекатомб неатомных войн, содержит в себе некое зерно, некий терпкий корень познания уже только потому, что оно представляет собою собрание фактов, нерушимую реальность и в его окаменевших извилинах можно прочесть многие из тех закономерностей, которые сформируют нашу будущую судьбу.

■

Существующее сейчас атомное равновесие — это, разумеется, процесс, а не состояние; оно обладает своеобразной динамикой, которую можно было бы изучать — даже в отрыве от проблем большой политики — математическими методами. После того как были созданы мощнейшие средства уничтожения, пришла пора приспособлений, доставляющих эти средства к цели. Так, после атомной гонки наступила гонка ракетная; когда водородные заряды достигли своеобразного «оптимума» и дальнейшее их увеличение потеряло стратегический смысл, ибо город или даже целую страну, как и человека, можно убить (буквально) только раз,— границ совершенства достигли и ракеты, по крайней мере в отношении скоростей. Тот, кто захотел бы посылать их быстрее, чем это можно сделать уже сегодня, выбрасывал бы их в небо, они не возвращались бы на Землю; по достижении максимума дальнейшая дорога в этом направлении оборвалась. Разумеется, лихорадочная деятельность может продолжаться, однако в основном она будет касаться деталей, то есть различных технических и технологических элементов, двигательных установок, прицельных приспособлений или наблюдательно-предупредительной аппаратуры, однако этот процесс не вносит в существующее положение факторов столь значительных, чтобы они могли его в какой-то степени изменить. Поскольку, однако, ни одно состояние в нашей юдоли непрестанного движения не может сохраняться неизменным, постольку под оболочкой моно-

литного (хоть и двойственного) равновесия возникают тревожные, пока еще мало приметные явления. Дело в том, что «атомный клуб» начинает понемногу расти. После Англии — Франция, и уже слышно о ФРГ, которая с пресловутой скрупулезностью и обстоятельностью принялась за работу и в ближайшее время будет готова снабжать мир все более дешевыми и простыми в изготовлении атомными бомбами. Этот процесс, если его не приостановить — а я не представляю себе, чтобы его могло остановить что-либо, кроме действительного разоружения, ибо всякие полумеры и компромиссы могут в лучшем случае лишь замедлить эту «акцию распространения бомб» среди народов,— спустя некоторое время может привести к тому, что какой-либо южноамериканский диктаторишка или некая облаченная в элегантный мундир цвета хаки «сильная личность» получит в свое распоряжение одну из таких дешевых, демпинговых немецких атомных «бомбочек». Было бы непростительной наивностью думать, будто державы, которые положили бы начало распространению атомной бомбы — и, в частности, производитель дешевых бомб in spe * ФРГ,— могли бы эту акцию регулировать настолько, чтобы перестала существовать вероятность возникновения радиоактивного военного пожара в каком-либо удаленном от основных столиц пункте планеты.

Регулировать можно только зародыши, зачатки таких процессов; потом они вырываются у инициаторов из рук. И тогда мир может прийти к положению столь же непредвиденному, сколь и опасному, когда первый атомный взрыв окажется полнейшей неожиданностью для всех. Все это вполне очевидно. Наступит время, когда обладание атомным арсеналом уже не будет источником каких-либо выгод, каких-либо возможностей, кроме одной — гибели. Нельзя пассивно ожидать этого состояния; задача политики, прозорливой и разумной, заметить приближение этого момента и показать миру, в какой степени единственным и последним его шансом является контролируемое разоружение. Я, разумеется, не утверждаю, что к захоронению атомной опасности ведет только этот путь, но мне кажется, что это вполне реальная возможность, так как иначе от атомного равновесия мир перейдет к атомному хаосу, в котором самые малые, но властолюбивые будут пытаться угрозой, импортированной из выгодно работающих фирм ФРГ, шантажировать великие государства, разрешая свои проблемы и проблемы своих соседей без их участия. Это было бы, очевидно, прелюдией к похоронам человечества. Мой — признаю, умеренный — оптимизм относительно дальнейшего развития ситуации исходит из предположения, что с позиций атомного вооружения сойдут даже наиболее упорные сегодня (следовало бы, собственно, сказать «наиболее сумасшедшие», но эпитетами такого рода лучше не разбрасываться, потому что это слишком скоро привело бы к их полнейшей инфляции) — сойдут, повторяю, наиболее упорные сегодня, не из-за каких-то там высоких моральных соображений и не под влиянием общественного мнения, а просто потому, что этот нож мясника перестанет быть обоюдоострым, а будет иметь уже только одно острие, одинаково направленное на всех.

■

Установив, таким образом, возможности (или, говоря осторожнее, одну из возможностей) разоружения и тем самым сняв с чаши весов груз потенциальной гибели, мы можем поставить вопрос о будущем мира уже не в эсхатологическом ** плане.

В рассуждениях, обычно имеющих целью нарисовать нам этот будущий мир, я вижу две основные ошибки. Первая — пренебрежение реальными мотивами человеческих действий. Вторая — абсолютизирование, наделение высочайшими рангами ныне существующей (то есть, в масштабе жизни планеты, временной) техники нашей цивилизации.

Начнем, чтобы оживить разговор, с этого второго, близорукого взгляда. Каждый из нас, наверно, видел, и неоднократно, забавные гравюры, картинки и рисунки, на которых увековечены представления наших предков о технике будущего. Эпоха пара: все на этих (в свое время абсолютно серьезно воспринимавшихся) картинках дымит и пылает. Паровые колымаги, паровые кибитки, брички, даже подъемники; паровые дву-

* В надежде, в будущем (*лат.*).

** Эсхатология — мистическое учение о конечной судьбе мира и человека.

колки, ландшафт в сиянии пышущих огнем локомотивов и бесконечно длинных железнодорожных составов, паровые пушки и корабли. В такой же степени распалили воображение наших дедов воздушный шар или тростниково-полотняный летательный аппарат братьев Райт; опять те же презабавные вымыслы, города, кишащие смешными деревянными нетопырями, балконы, к которым причаливают элегантные гондолы воздушных шаров; то же самое происходило с каждым получившим относительную известность изобретением, например, телефоном или динамо-машиной. Всякий раз скрупулезно повторялась та же ошибка: сегодняшнему изобретению, но механически увеличенному в сто или тысячу раз и одновременно распространенному на все моря и континенты, предвещали триумф и абсолютное владычество завтра. Посему я хотел бы спросить: а не может ли быть так, что технические апологии современности вызовут у наших внуков столь же искреннее веселье? Будет ли — может ли быть — будущее сферой непрекращающихся галактических путешествий, либо царством электронных роботов, которыми будет кишеть земля, либо обителью гигантских атомных электростанций — словно человечество руководствуется одним стремлением: заболевать какой-то технической мономанией, лишь бы она была достаточно монументальна?

Тут в наши рассуждения вклинивается уже поставленный вопрос — мотивы человеческой деятельности. Имеются в виду мотивы коллектива, явления общественного порядка, то есть проблемы из области социологии и политики. Определенная автономность развития изобретений несомненна, иначе говоря, будучи однажды созданным, первый примитивный автомобиль или первая телевизионная аппаратура воздействуют (пусть даже самим своим несовершенством, уродством — хоть дело обстоит и не так просто) на массы конструкторов так, что начинается тот любопытный и достойный внимания процесс эволюции, в результате которого возникает ряд все более совершенных форм, которые можно сопоставлять друг с другом таким же образом, как биолог-эволюционист сопоставляет последовательные формы древней лошади или ящера. Аналогии подобного — эволюционно-биологического — типа можно множить. Владычеству отдельных видов, к примеру, тех же ящеров, пришел конец, когда на арену вступили млекопитающие; первые представители этого класса были животными небольшими, слабыми, во многом более примитивными, нежели высокоспециализированные гигантские ящеры, и несмотря на это в ходе биологического соревнования они принесли своим предшественникам гибель. А разве не так же выглядела история, скажем, паровой машины и двигателей внутреннего сгорания? Когда появился бензиновый мотор, гигантские и величественные паровозы, приводимые в движение паром, пересекали все континенты, нераздельно царя на них, а первые экипажи с двигателем Отто были неуклюжими и слабосильными уродцами. И вот за какие-то пятьдесят лет (биологической эволюции на аналогичный процесс потребовались сотни миллионов лет) мы пришли к тому, что в государствах с особо быстрым темпом развития техники, таких как Соединенные Штаты, железнодорожные линии оказались на грани банкротства, экономической гибели, а почти все перевозки приняли на себя самолеты и автомобили, приводимые в движение бензиновыми двигателями.

Но эта автономия развития изобретений — а мы все еще говорим о ней — лишь одна, и, добавим, наиболее бросающаяся в глаза сторона всего сложного явления. Правда, что, будучи раз сконструированным, автомобиль в определенном смысле «развивается сам», его формы, от года к году обновляющиеся, в такой же степени являются следствием моды (скрытая пружина которой — интерес промышленника), сколь и технических требований; правда и то, что автомобиль 2000 года мы не можем себе представить просто потому, что, несомненно, он был бы в вопиющем несогласии с современными критериями оценки. По тем же — эстетическим — соображениям мы были бы потрясены образом человека 500 000 года, возьмись кто-нибудь нам его нарисовать. Однако все это (напоминаю, мы все еще говорим об автономности, о «собственной жизни» изобретений) имеет значение лишь в «пределах вида», в данном случае автомобиля или атомной энергоцентрали. И не «внутривидовое» развитие изобретений формирует в конечном итоге совокупность нашего бытия. Это прежде всего следствие тех феноменов, тех открытий и изобретений, которые вчера еще никто не предвидел, или если как-то себе и представлял их материальное воплощение, то уж наверняка последствия их возникновения, мощно моделирующее, революционизирую-

щее влияние на облик мира оставались непредвидимыми, выходящими за пределы самой смелой фантазии. Примеры? Атомной энергии, еще неизвестной (просто не верится!) два десятка лет назад, будет достаточно. А промышленность химии искусственных материалов? А телевидение? А кино, едва известное в конце прошлого столетия? Вопрос достаточно очевиден, чтобы требовать доказательств.

Итак, мы должны ожидать выхода на сцену — в течение ближайших лет или десятилетий — именно таких новых факторов, таких могучих сил, таких изобретений или открытий, которые по своим последствиям окажутся столь же всесторонними и универсальными; говорить об облике грядущего, не учитывая эти неизвестные, значит еще раз малевать картинки, которые не принесут потомкам ничего, кроме веселья. Однако здесь, казалось бы, мы подошли к границе наших возможностей, подрубили сук, на котором сидим, ибо разве можно говорить о том, чего нет и сути чего, влияния на жизнь и последствий мы — ex definicione * — не знаем? Квадратура круга.

В какой-то степени это так; и не будем пытаться отыскивать несуществующие изобретения (по крайней мере сейчас, когда мы рассуждаем столь серьезно). Ведь в противоположность зоологическим или ботаническим видам эти изобретения рождает, создает не Природа, а человек; захотел путешествовать — изобрел корабль, поезд, ракету; пожелал безотказных невольников — и изобрел машины, работающие на него; захотел убивать, властвовать и изобрел...

Изобретения являются очевидным результатом, потребности — причинами; но должны ли мы, в свою очередь, выдумывать потребности? Нет — закрытые двери откроются, стоит нам изучить потребности современности, наименее удовлетворенные. Мир будет требовать все больше дешевой энергии, все больше продуктов и одежды, большей надежности жизни, ее защиты от болезней и смерти. Эти три основных фактора будут еще в течение десятилетий превалировать над иными потребностями, такими, которые возникают лишь после какого-либо открытия или изобретения (как, например, телевидение, которого наши деды не знали, а стало быть, и не могли о нем мечтать; иное дело, естественно, с путешествиями или одеждой; отсюда видно, что изобретений, потребности в которых мы не ощущаем, нам выдумать не удастся).

Сложный, богатый приключениями, поражениями и неожиданностями процесс наступления на новые отрасли технологии в принципе представляется — в предельном упрощении — следующим образом.

Пример первый: атомная энергия. Потребность, продиктованная условиями (война),— срочная. Известна теоретическая возможность создания водородной бомбы, благодаря знанию процессов, происходящих в звездах, в частности, на нашем Солнце. Никаких шансов на реализацию. Первые эксперименты с расщепляющимся ураном; окруженная тайной военного времени величайшая концентрация умов и материальных ресурсов. Коллективная работа, одновременная атака на многих фронтах, имеющая целью отыскание наиболее плодотворного метода получения расщепляющегося урана, а также создание нового расщепляющегося элемента — плутония. Медленная разработка и создание атомной техники путем постепенного перехода от лабораторно-исследовательских работ, то есть процессов, осуществляемых в малых масштабах, к промышленному производству. Первые атомные бомбы. Возвращение к идее «искусственного солнца», новая концепция: «обычная» атомная бомба, как запал бомбы водородной. Дальнейшие работы, увенчавшиеся успехом.

Побочный продукт этих работ: атомный реактор как источник энергии. Это необходимо подчеркнуть, ибо не он был целью этих работ. Сейчас, между прочим, поиски направлены в сторону реализации контролируемой реакции синтеза водорода, то есть начинается как бы «параллельное повторение» истории атомной бомбы. Однако «водородный реактор» пока еще не сконструирован. Трудности на пути его создания оказались значительнее, чем предполагалось. Впрочем, дело отнюдь не проиграно. Потребовалось расширить вступительную, теоретическую фазу: знания элементарных свойств материи еще недостаточно. Отсюда — хоть и не только отсюда — резко возросший темп работы физиков, ученых всего мира, в основном в области элементарных частиц, наделенных высокой энергией. Создание колоссальных ускорителей этих частиц («космотроны», «синхрофазотроны» и т. п.). Плоды этих работ еще надо ждать.

* По определению *(лат.)*.

Пример второй: астронавтика. Потребность продиктована условиями большой политики. Необходимость предоставить стратегам средства доставки ядерного оружия. Исходные условия: достижения немцев в конструировании ракет, в том числе наиболее совершенных — Фау-2. Работы в области внешней баллистики, теории привода ракет, теории химического топлива, реактивных и ракетных двигателей. Побочный продукт: ракеты, способные вывести на околоземную орбиту искусственные спутники. Этот продукт, как в данном, так и в предыдущем примерах, постепенно автономизируется. Иначе говоря, атомный реактор, первоначально поставлявший ядерное взрывчатое вещество, то есть то, что от него требовалось, а получаемую энергию выбрасывавший, так как она была излишней, пройдя технологическую эволюцию, превратился в «мирный реактор», который не создает взрывчатых веществ, зато производит энергию; аналогично и ракеты-бомбоносители становятся — и станут — космическими кораблями.

Как видим, атомная энергия для мирных целей и астронавтика были вначале получены как «побочный продукт». Это следствие структуры мира, в котором мы живем; разумеется, можно позволить себе оценить моральную сторону подобного факта, но это ни в коей мере не изменит его; пожалуй, значительно плодотворнее было бы задуматься над тем, какие «побочные продукты» может в будущем породить наш мир. Конечно, не всегда можно говорить о par excellence «побочных» продуктах. Демографическое давление, динамика освобождающихся колониальных народов может сделать основной проблемой полностью разоруженного мира проблему питания. Концентрация усилий и средств позволит в будущем решить теоретически, а затем и в промышленных масштабах проблему синтеза продуктов питания, пусть то путем фотосинтеза, пусть то каким-либо иным путем; так или иначе речь будет идти о проблемах из области прикладной химии, точнее говоря — биохимии. Возможно, побочным продуктом операции «питание» будут новые, неизвестные сейчас синтетические вещества, используемые, например, в качестве строительного материала или сырья для изготовления одежды.

Но видеть мир будущего как сферу свободы от страха войны, голода, нужды, даже от болезней было бы, несмотря на все, непростительным минимализмом. Однако если бы мы захотели мысленно проникнуть глубже в эту область незнаемого, то прежде всего нам пришлось бы распроститься со многими ценностями, которые сейчас считаются нерушимыми.

Одной из первых подобных ценностей, на которую будущее — самим направлением развития — вероятнее всего начнет наступление, является наша — сегодня повсеместная даже среди большинства ученых (столь сильны привычки и бессознательные чувства человека) — привязанность ко всему «естественному». Среди всех «естественных» вещей наибольшее значение для нас, разумеется, представляет собственное тело, которое, правда, мы прячем под «искусственными» покровами и футлярами, перевозим в «искусственно» созданных средствах передвижения, порой кормим «искусственными», созданными продуктами и даже поддерживаем его силы и помогаем в борьбе с «естественными» его врагами, такими как бактерии, «искусственными» химикалиями лекарств. Порой также бывает необходимо заменить какую-то часть этого столь бесценного в своей «естественности» тела протезом или же аппаратом, усиливающим действие ослабевших органов (например, слуха). Однако мы всегда считаем (*nota bene* справедливо) эти протезы худшими, чем то, что они заменяют; естественно, каждый предпочитает свои волосы парику и собственные, пусть даже не очень жемчужные зубы искусственной нейлоновой челюсти. Но это состояние преходящее; наступит время, когда вставные зубы будут лучше тех, которые создал организм, придет также очередь и других более важных его частей. Уже сегодня говорят, и не только говорят, о замене больного сердца новым, об искусственной почке, искусственной аорте, искусственных суставах или костях. Это лишь начало. Врачи уже начинают поговаривать о «хранилище крови», после которого наступит очередь других «хранилищ», так что потерянную конечность можно будет заменить — с к а ж е м ж е э т о н а к о н е ц — конечностью трупа, пусть даже «свежего трупа», пусть даже «поддерживаемого в состоянии, подобном жизни, с помощью промывки его сосудов жидкостью, аналогичной крови». Такая картина несколько смущает наш покой. Однако мы уже слышим, что некий

биолог привел в движение конечности собаки, парализованной вследствие полного рассечения спинного мозга. Для этого он ввел в парализованные конечности поток особо запрограммированных импульсов, предварительно зарегистрированных — записанных — у здоровой, ходящей собаки. Нам говорят, что в будущем это может стать великой надеждой для людей, пораженных параличом. Они носили бы в кармане небольшой пульт, снабженный кнопками с надписями «вперед», «направо», «налево», «стоп», и приводили бы в движение самих себя, свои конечности, нажимая нужную кнопку. Об этом сегодня говорят как о вполне реальной возможности.

А будущее? Оно заставит людей распроститься с «естественным», так быстро устающим сердцем; быть может, придет очередь органов пищеварения, подверженных стольким мучениям; после первого вторжения механизмов и искусственных приспособлений — то есть более сильных, более выносливых, чем «естественные», а также, и это самое важное, заменяемых — неизбежно будет сделан следующий шаг: вторжение еще более смелое и более тонкое в глубь микрохимических процессов организма. Тут еще так много надо улучшить, создать. Но это будет означать как раз «прощание с природой», шокирующее современного человека, почти неприемлемое. Конечно, эта волна перемен, эта биологическая революция приведет к достижению такого долголетия, какое мы сегодня не можем и вообразить. Но и здесь беда, поскольку мозг наш наверняка не сможет веками служить телу: переполненный массой воспоминаний, он слишком скоро превратился бы в мозг старца, костенеющего, лишенного динамизма и живости мышления, теряющего способность поглощать новые впечатления. Следовательно, и мозг, эта «святая святых», должен будет в свою очередь стать объектом исследований и, быть может, «переделок»... Каких? Генетических? Но здесь снова надо уяснить для себя, в сколь широком диапазоне можно было бы смело и одновременно осторожно воздействовать на плод, развивающийся в искусственной среде, вне матки, и где же предел этому проникновению техники и химии в глубь той последней крупицы природы, которой является наше тело — островка, до сих пор еще не затронутого вторжением техники?

Ответ на этот вопрос мы дать не сможем. Мы только видим, что чем больше мы пытаемся удалиться мыслью от сегодняшнего дня, тем больше будущих достижений наполняет нас инстинктивным сопротивлением, протестом, беспокойством, отвращением — хоть я говорю, все время говорил, только о процедурах, об усовершенствованиях, которые должны служить жизни!

Взглянув шире: будущее не может быть химически очищенным от забот, боли и страхов современности, абсолютно удобным, роскошно скроенным костюмом для наших теперешних привычек, нужд и мнений. Ничего подобного — оно постепенно пересматривает их, приводит к острым конфликтам, будет принуждать к выбору, будет требовать расплаты за расширение физических границ жизни, будет, одним словом, отбрасывать, уничтожать очень многое из того, что сегодня мы считаем бесценным, незаменимым, нерушимым. И будет в этом безжалостно, как сам прогресс, и, как он, неотвратимо. Ибо единожды сделанного изобретения, открытия уже ничто не может уничтожить, разве только со всем человечеством; идиллия какого-то якобы ожидающего нас «возвращения в природу» — фикция, утопия, и именно поэтому путь, ведущий от современных открытий в глубь порой невероятных грядущих последствий, не только трудно разглядеть. Еще труднее современному человеку с ним согласиться.

■

До сих пор я умышленно говорил только о единично-биологическом аспекте будущего, но не будет ли другой, социологический, еще более радикальным в сравнении с нашими современными мечтаниями и представлениями? Проповедовать во времена планового хозяйства свою личную страусовую политику, сужая все до судеб живущего поколения, постулировать как идеальную цель тот же, столь удобный и милый элитарный индивидуализм, который был, во всяком случае в сфере духовной, уделом избранных кругов общества на переломе XIX и XX веков, видеть в его массовом распространении решение основных проблем человеческого существования — это, как говорится, хуже, чем преступление: это ошибка. Это фикция, которой попросту нет ме-

ста даже в современном мире, но сегодня еще можно притворяться, что это не так. Абсурдность такой постановки вопроса будущее докажет неоспоримыми фактами.

Первая же проблема — популяционная политика, иначе говоря, вторжение государства, органов управления, в сферу жизни семьи, в глубь этой досточтимой элементарной ячейки человеческого бытия,— показывает, стоит лишь коснуться ее острием статистики, математики, неизбежность в будущем именно таких операций, и причем все более радикальных. Неограниченная рождаемость, естественный прирост, сдерживаемый только уговорами и воззваниями, окольными путями, это паллиатив решения, приемлемый сегодня. Однако, когда сторонники неограниченной свободы в этой области жизни говорят нам, что земной шар может, как подсчитано, прокормить не три, а восемь, может, десять или даже пятнадцать миллиардов человек, то достаточно спросить; а что дальше? А популяционная динамика учит, что каждое очередное удвоение количества живущих на Земле людей требует гораздо меньшего времени, чем предыдущее; в конце XXI века Земля оказалась бы до ужаса перенаселенной; что тогда? Заселение других планет? Словно такая космическая эмиграция могла бы что-либо изменить. Словно бы не очевидно, что растущее человечество рано или поздно взорвет наконец тот универсализм, то интегрирующее мир стремление, которое — а это, пожалуй, наиболее очевидная тенденция нашей цивилизации — из отдельных племен, народов, рас создает в столкновениях и резких противоречиях единую расу, человечество не только как лозунг и фразу, но как реальность, отражающую происходящие перемены.

Количество может — а точнее, должно — перейти в дезинтегрирующий взрыв, который своими центробежными силами преодолеет объединяющее действие техники. Техника объединяет человечество, так как она едина для черных, белых, желтых, так как она является наиболее рациональной платформой взаимопонимания и сотрудничества, так как с помощью реактивных самолетов она уменьшает расстояния, перемешивает, сплавляет в тигле взаимных массовых контактов, совместной работы, соревнования, помощи. Но представьте себе жизнь этого двадцатимиллиардного человечества, пусть еще не страдающего от голода, не изнывающего от мук перенаселения, бездомности. Сокращение времени работы, увеличение свободного времени, собственного времени каждого человека создает возможности для колоссального развития культуры. Но какова будет эта культура, взращенная на обломках индивидуализма, земного универсализма, на этот вопрос мы должны найти ответ уже сегодня.

На первый взгляд это кажется невозможным. Но только на первый. Люди, творчески одаренные, составляют достаточно стабильный процент всех едоков; ученых, мыслителей, артистов появляется тем больше, чем попросту больше живущих. А теперь подумайте: уже сегодня талантливых художников, артистов, в какой-то степени заслуживающих внимания, на свете слишком много, чтобы проявления их индивидуальности могли ограничиваться пределами одного государства; результаты этой многочисленности поражают и одновременно смущают. Выбьется ли, заблестит ли, получит ли признание — начинает решать случайность, судьба, этот успех становится следствием «признания Парижем» или иной столицей мира; на артистической бирже происходит как бы «игра вслепую», и время от времени массы узнают о каком-то новом «открытии» специалистов и знатоков. Конечно, я преувеличиваю, но совсем немного; как правило, значительная индивидуальность добивается признания, хотя порой и спустя много лет; но то, что сегодня представляет собою проблему непризнанных талантов или случайно пробившихся единиц, то есть в конце концов проблему, не столь уж значительную, второразрядную, если не третьеразрядную, в будущем, в этом воображаемом мире двадцати миллиардов станет правилом, нерушимой закономерностью. Ценных книг, произведений искусства, музыкальных произведений, решений и новых теорий будет возникать просто чересчур много, чтобы даже самый завзятый потребитель культурных ценностей мог справиться с этой лавиной. Сегодня мы с улыбкой говорим, что поэтов не только читают почти одни поэты, что даже тиражи поэтических томиков определяются количеством живущих поэтов данного языка, культурного района; а ведь это неизбежно станет достойным сожаления правилом будущего мира — мира неограниченного увеличения количеств. Ни прожорливость чита-

теля, ни жажда знания не смогут обеспечить непосредственного контакта с совокупностью даже наиболее значительных творений человеческой мысли, когда одновременно будут творить тысячи Рафаэлей, Моцартов, Ферми. Посему вырисовывающаяся тенденция специализации в области культурного потребления будет все более явной, поэтов будут читать лишь поэты, художники творить для художников, музыканты — для музыкантов, поскольку всей жизни едва хватит, чтобы только познакомиться с тем, что возникает где-либо в одной, данной области творчества. Разумеется, параллельно развивалась бы распространяемая по всему миру антеннами спутников телевизионно-цвето-осязаемо-обоняемая, или бог весть еще какая, массовая культура, и пропасть, возникшая таким образом между двумя культурами, будет только расширяться. Наконец, если бы панацея космической иммиграции в массовом масштабе была осуществлена, наступило бы уже явное расчленение земной культуры, ее четвертование, ибо никто, ни один человек не в состоянии был бы приобщиться к наивысшим ее ценностям, зная только, благодаря случайности происхождения, рождения, общественно-групповой принадлежности, какой-то один, небольшой ее фрагмент. И с чем же он должен был бы отправиться на заполненном такими же, как он, корабле, чтобы искать у иных звезд новую родину? С сознанием, что когда-то, во времена полуварварского примитива, войн, тьмы и страха разгорелось Возрождение, и это было время, когда в одном человеческом уме можно было объединить всю сумму человеческих достижений, человеческой мысли, после чего опустились неумолимые сумерки, пришла эпоха миллиардных муравейников?

Я говорил только об искусстве. Не потому, что считаю его наиболее важным, а просто потому, что в свете быстрых перемен, резких скачков оно, наряду с наукой и философией, представляет собою вернейшее средство связи, трибуну совместного понимания, инструмент формирования если не характеров, на это его сил никогда не хватало, то по крайней мере восприимчивости; а если и оно развалится, превратится в явление провинциально-локального значения, то погибнут и шансы универсализма будущего, и общность человеческого восприятия, а то, что останется, будет достойным сожаления наследием сохранения «свободы рождаемости» — какой ценой?

Дело в том, что о цене, которой будущему придется расплачиваться за решения, принимаемые уже сейчас, уже сегодня — именно сегодня, а не когда-то потом — следует думать.

Мы говорили о творчестве, об искусстве; эта проблема — если не рассматривать ее в полемическом аспекте — подчинена более широкой: свободе. Ликвидация крупной собственности открывает дорогу в сферу своеобразной — из-за ее иерархичности — свободы. Свобода эта двояка: от бедствий и забот, разумеется, но также — в положительном, активном понимании — это свобода деятельности, не обязательно в интересах чьего-то кармана или группы, а затем, в будущем, не обязательно даже в интересах одного только народа, государства или целого континента. Особой интеграции планирования и мышления будет требовать тот последний род, та вершина свободы, которая порождает неизбежность выбора и решения; и ясно, что ликвидация преград, ограничивающих человеческие возможности, окажется не только освобождением — и уж наверняка не открытием врат рая, некоей Шлараффии, страны с «кисельными берегами»,— а проблемой, равной которой еще не знала история. В таком свете свобода оказывается наибольшим, быть может, вызовом, брошенным роду человеческому, пустотой, которую необходимо будет застроить, заселить, колоссальной трудностью, которую надо будет преодолеть, кто знает, не соизмеримой ли с той, с которой борется мир наших дней.

Но мы совершили бы ошибку, считая, что это будет поворотный пункт, развилок. Нет, это будет ряд таких следующих один за другим пунктов, вех, через которые человечество будет продвигаться — всегда иное, все такое же, ибо, завоевав себе свободу, оно будет вынуждено постоянно до нее дорастать.

Перевод с польского Евг. ВАЙСБРОТА

ДАНИИЛ ГРАНИН

И ВСЕ ЖЕ...

Будущим интересуются все больше. О нем пишут, его смотрят в кино, его обсуждают с цифрами в руках. Будущее специализировалось — есть будущее авиации, генетики, кибернетики, энергетики. У каждой специальности есть свои прогнозы, своя фантастика, свои астрологи. Такой повышенный интерес к будущему часто вызван необходимостью предвидения. Открытия следуют одно за другим, повороты слишком круты, а скорость велика. Прогнозирование позволяет оглянуться на соседей — простор будущего как-то компенсирует угнетающую специализацию современного познания.

Признаюсь, я никогда до сих пор не пытался самостоятельно заглядывать далеко вперед. Подобно большинству людей, я довольствовался чужими соображениями. Впервые попробовав войти в страну Будущего, я почувствовал, как это трудно, все сразу стало зыбким, неверным. Речь идет не о специализированных областях, а о будущей жизни вообще, вроде как о нашей сегодняшней жизни, о нас, которые были такой жизнью вообще и людьми будущего для людей, например, XIX века. У каждого поколения, у каждой эпохи есть такое будущее, оно сигналит нам, как и мы, очевидно, сигналили (или сигналим?) девятнадцатому, восемнадцатому векам.

Вести оттуда, из будущего, доносятся — иногда тревожные, иногда любопытные, наши попытки связаться с будущим становятся все более активными.

Легче всего и, значит, прежде всего возникают количественные представления — умножение, возведение в степень. Много дорог, много машин, много этажей, огромные самолеты, огромные тоннели. Затем начинается второй этап — решение нынешних коренных проблем науки. Проблема долголетия и проблема обеспечения людей питанием. Проблема связи с другими мирами. Освоение космоса, его эксплуатация. Специалисты составляют таблицы, сводки, как бы планы работ будущих поколений. Впервые научными средствами они пробуют наметить сроки решения существующих задач: лечение рака, интенсификация фотосинтеза, управление наследственностью, ядерная энергетика, овладение временем, гравитацией, повышение плотности биосферы, бионика...

Сводная картина на ближайшие сто-полтораста лет получается грандиозная. Чтение такого перечня, только перечня, с наиболее осторожными сроками потрясает, наполняет завистью к потомкам. Все обстоит прекрасно, пока наше воображение наслаждается панорамой успеха. Но стоит двинуться чуть дальше, и будущее распадается.

В самом деле, а как будет жить человек в мире с управляемой гравитацией, с перемещениями во времени? Что станет с человеком, когда он сможет стимулировать свой мозг, все выучить, все изучить, запомнить, вызвать в памяти любой момент прошлого? С человеком, который будет наделен способностями воспринимать инфракрас-

ное излучение, видеть в темноте, слышать в широком диапазоне колебаний, непосредственно принимать радиоволны? Реакции его будут ускорены, физические силы умножены. Он будет избавлен от страха болезней — рака, гипертонии, склероза. Он сможет жить под водой, на других планетах, формировать способности своих детей, вызывать эти способности или даже изменять их. Этому человеку, избавленному от примитивной физической работы, от счетной работы, от скучной механики простейших движений, будет доступна любая книга, фильм, представление, происходящее в любом месте земного шара. Что же останется от собственно человека в этой раздутой, усиленной всеми средствами оболочке всех мыслимых благ, потребностей и желаний? Что произойдет с простыми человеческими чувствами — добротой, любовью, скукой? Каким станет человек?

Когда я говорю «человек», я могу говорить лишь о человеке, которого я знаю,— о нынешнем человеке. Как изменится мироощущение этого человека, его нравственность, его критерии, взаимоотношения людей, их связи, личность человеческая, характер? То есть что останется от нынешнего человека?

К сожалению, я плохо представляю себе возможности такого прогнозирования. Даже простейшим методом экстраполяции. А если оглянуться назад, воспользоваться опытом истории? Несомненно, человек за минувшие две тысячи лет изменился. Он больше знает, он больше умеет... И что еще? Нет, нам легче сравнивать с современностью технику Эллады, ее искусство, чем ее людей. Говорить ли о человеке вообще, или правильнее говорить о человечестве, или, может быть, о человеке, связанном с социальными условиями? Боюсь все же, что даже история дает нам мало материала для такого анализа. Во всяком случае, мы пока не сумели добыть такие данные, чтобы попробовать с их помощью спроектировать этический облик человека грядущего.

Вряд ли могли просветители восемнадцатого века, его утописты, представить себе, что через двести лет вместо костров инквизиции появятся топки Освенцима. И тогда, естественно, возникает вопрос: а можно ли на основании социально-экономического прогнозирования, научно-технического прогнозирования создать этическое прогнозирование?

■

В журналах 1900 года было много предсказаний, фантастических картин жизни через сто лет, научных гипотез и «технических размышлений». Ста лет не прошло, а я уже с улыбкой разглядываю наивные рисунки: летающих людей и города под куполами. Однако, проезжая мимо уныло однообразных кварталов, я вдруг понимаю, что улыбка моя несправедлива, в общем и целом предки угадывали. Может быть, гораздо увереннее, чем мы. И точнее.

То будущее, которое мы сегодня пытаемся вообразить, может не сойтись куда резче, оно может вызвать не улыбку, а смех.

«Несходимость» возникает за счет неожиданных открытий. К счастью, природа неожиданностей такова, что прогнозировать их в ближайшее время не удастся.

В 1885 году в Петербурге вышла книжечка «Чудеса техники и электричества». Это был полуфантастический рассказ о посещении некоего имения графа В., где все было электрифицировано. Рассказ начинался с поездки:

«Мы уселись в экипаж, запряженный парой в дышле, и тронулись в путь. Только что мы выехали за ворота станции, как на переднем конце дышла появился свет, направляемый рефлектором и освещающий дорогу перед лошадьми».

Свет оказался электрический! Прожектор, укрепленный на конном дышле,— довольно символическая картинка.

Само имение было роскошно оборудовано всевозможными электрическими светильниками, люстрами, бра, электроотоплением с автоматическими регуляторами температуры. Огороды поливались электронасосами, молотилки, сортировки работали на электродвигателях. Автор на каждом шагу сталкивался с подобными чудесами, но самым большим для него чудом было то, что электроэнергию давали аккумуляторы, которые заряжались ветряным двигателем. Далее автор описывал судоходство по Неве на тех же аккумуляторах, они заряжались с помощью течения реки.

Автор, Владимир Николаевич Чиколев,— не дилетант и не журналист, он был одним из крупнейших электротехников России. Прошло три-четыре года после выхода книжки, и открытие трехфазного тока, трансформаторов резко изменило ход развития электроэнергетики. Не аккумуляторы, а электростанции посылали энергию по линиям передач. Генераторы приводились в движение не ветряными двигателями, а паровыми машинами и паровыми турбинами. С электрокораблями ничего не получалось, зато появились электрические трамваи.

Интересно было бы на большем материале изучить, в чем сбывались и не сбывались описания будущего. Как и куда отклоняется развитие науки и техники, в какую сторону ошибается воображение и чутье. Что может предусмотреть человечество, какие предсказанные сроки совпадали...

Необходимость научных методов прогнозирования будущего становится все более настоятельной. Наука о будущем, допустим, «Прогностика» или «Футурология», может, очевидно, выявить некоторые закономерности и, кто знает, даже рассчитать некоторые вероятностные модели завтрашнего мира.

Люди устроены так, что в будущем их интересует главным образом хорошее, то есть то, что им представляется хорошим. Всем нравится представлять себе высадку на Луне, препараты долголетия или хотя бы цветное телевидение. Угрозы экономистов по поводу иссякающих запасов угля и нефти не становятся предметом всеобщего беспокойства. Даже предостережения демографов, их устрашающие вычисления особенно не тревожат. И все же именно тревоги, бедствия, заботы Будущего способствуют объединению человечества. Становится ясным, что нельзя сегодня в границах одного государства решить, допустим, проблему питания народонаселения земли. Проблема обеспечения пресной водой — также всепланетная проблема. Такой же планетной стала проблема борьбы с гриппом, проблема прогнозирования погоды и управления погодой, активных воздействий на нее, проблемы радиосвязи, радиоастрономии, борьбы с вредителями растений... Возникает все больше проблем, решать которые можно лишь международными усилиями, в масштабе всей Земли.

Современное естествознание, современная техника требуют созыва международных симпозиумов, создания постоянных международных комитетов, институтов, организаций, участия разных стран, всех континентов. Подобная «коллективизация» средств, умов, связей, несомненно, будет расширяться, и противодействие этому исторически обречено. Постепенно Земля возникает в нашем сознании как целостный организм. А может, не возникает, а восстанавливается? Выйдя в космос, человек увидел свою планету извне, с точки зрения других миров, и она предстала голубоватой, круглой, единой и слово «космополит» обрело иной смысл.

Социальные различия все резче входят в противоречие с общностью задач, которые нужно решать землянам, тайфуны настигают любые корабли и обрушиваются на любые берега. Социальная чересполосица мешает развернуться современной технике.

Если мы хотим знать, что будет с человеком, надо уяснить, как воздействует прогресс техники на человека, на его мироощущение. Атомная угроза повлияла на психику человечества, вероятно, куда сильнее, чем это нам сейчас кажется. Есть события с другим знаком, но они стоят в том же ряду. Я никогда не забуду взрыв восторга в день полета первого космонавта Юрия Гагарина. Стихийный праздник, толпы на улицах, на площадях городов, наспех написанные транспаранты. Чему мы радовались? Не только тому, что первыми в космос вышли советские люди. Радость была и за величие человеческого разума, это была радость, соединяющая человечество, в этой радости была надежда, противостоящая атомным кошмарам. Эмоциональный размах был усилен одной технической, но, как мне кажется, весьма существенной подробностью. Дело в том, что ощущение единства порождалось одновременностью информации. Средства связи позволили всему миру одновременно следить за полетом. Коммуникации создали глобальное сопереживание. С тех пор возможности соучастия увеличились. Мир может не только одновременно слышать, но и видеть.

Недавнее футбольное первенство мира смотрели одновременно полмиллиарда людей. Во всех странах одновременно ахали, волновались, кричали у своих экранов — цивилизация не знала таких масштабов эмоций, таких выбросов психической энергии. Футбол

и полет в космос — события неравноценные, но это-то и заставляет призадуматься, ибо интервидение способно транспортировать зрителю л ю б ы е события. Само по себе оно безразлично к содержанию. Оно может служить любым целям. В распоряжении людей появились способы воздействия совершенно новые, планетных масштабов. Уже сейчас, и чем дальше, тем острее, встает вопрос, как во имя наших идей использовать трибуну для общения со всемирной аудиторией.

Очевидно, сеть разнообразных коммуникаций позволит передавать все что угодно, кому угодно. Связь каждого человека со всем человечеством возрастет колоссально — хотя бы в виде средств такой связи. Потоки самой разной взаимной информации будут ограничены лишь способностью усвоения. Миллионы копий — картин, кино, музыки, фото — обеспечат доступ к любым видам искусств. А если прибавить сюда новые возможности транспорта, то есть практически уничтожение расстояний в пределах Земли, то все это в сумме создает значительные центростремительные силы. Они могут не только взломать национальные и прочие перегородки, под большим давлением происходят и сварка и даже изменение структуры.

Процесс наращивания контактов уже происходит, и остановить его вряд ли кому-либо удастся. Ежедневно производятся транзисторы, магнитофоны, телевизоры, телефоны, телетайпы — количества их нарастают в прогрессии геометрической, сколько-нибудь ценная информация распространяется практически десятками различных каналов.

Мода перенимается сегодня в течение нескольких месяцев. Научные исследования движутся почти вровень в лабораториях Японии, СССР, Англии, США... Попытки существенно обогнать конкурентов ни к чему не приводят. Идеи почти одновременно возникают, одновременно реализуются. Связь людей и, следовательно, их зависимость друг от друга становится порой мучительной, она опережает способность человеческой адаптации. Скорость научно-технического прогресса должна столкнуться со скоростью адаптации человеческого организма. То есть человек не сможет успевать приспосабливаться к новым открытиям и преобразованиям... Пока что это тот мыслимый предел, какой можно поставить.

■

Возрастание связей, появление всеобщих забот и усилий — достаточно ли этого для создания гарантии устойчивого существования человечества? Станет ли мир более прочным от того, что он будет оплетен множеством связей?

Мне кажется, что это, конечно, не единственные, но реальные силы, которые соединяют людей, позволяют им выбрать наиболее разумную социальную систему, приобщают их к всемирным событиям, а значит, повышают их активность соучастия. Силы эти уже действуют. Конечно, пропорционально возрастает и опасность использования, допустим, той же системы коммуникаций какой-то группой людей в своих интересах.

Грядущее таит в себе не только блага, избавление от многих страданий и опасностей, но и появление новых опасностей. Любая оснащенная лаборатория сможет, например, производить огромные мощности. Или биохимические препараты всеобщего действия и распространения. Так же как сегодня изготовление атомного оружия становится под силу все большему количеству стран, точно так же могут появиться и другие средства массового уничтожения, еще более доступные и простые в изготовлении.

Представьте, что имеются не две, не три кнопки, их стало сотни, может, тысячи.

Трудно разглядеть, как подобные соседства повлияют на человека. Но, может быть, следует подойти к этой проблеме с другой стороны. Если мы не в состоянии предвидеть, как мир новой техники, новых возможностей и новых опасностей изменит человека и человеческое общество, то не попробовать ли понять, как должно быть устроено это общество, чтобы сохраниться и устойчиво существовать в таких условиях? Каковы критерии его устойчивости и безопасности? Выражаясь языком математики, надо создать «стратегию игры» среди накопленных средств разрушения, воздействия на народы разнообразных средств подавления личности, разжигания низменных страстей человека. В распоряжении общества будут тотальные средства — генетические, кибернетические, космические,— можно ли в таких условиях застраховаться от того, чтобы горстка безумцев-фанатиков создавала катастрофические ситуации?

Такой подход позволит выявить наиболее жизнестойкую систему, пусть даже единственно осуществимую, но во всяком случае осуществимую. Вера в то, что подобная система есть,— эта вера возникла не от безвыходности, она не утешительство. Она скорее зиждется на элементах здоровья сегодняшнего человеческого общества, на тех силах, которые за последние годы в критические моменты уже спасали мир от катастрофы. Силы эти связаны с общественным строем, рожденным наиболее революционным экспериментом в истории человечества. Пятидесятилетний опыт существования социалистического государства с его успехами и неудачами, с его победами и трудностями станет, я верю, той основой, на которой можно создавать наилучшую систему будущей жизни человечества.

Если человеческая история имеет смысл, то он проступает все более явственно — да простится мне тщеславие — в нашу эпоху, он связывает нас с будущим, и он — наше средство воздействия на будущее.

■

Избавленное от игры случая объединение людей, разумеется, не будет избавлено от новых конфликтов и противоречий, природу которых разглядеть невозможно, а угадывать бессмысленно. И если мы все же пытаемся как-то почувствовать жителя грядущего, «гражданина XXV», «гражданина XXX», то поиски наши не должны конструировать некое новое существо с качествами сверхмыслителя, биоробота и т. п. Скорее следует высвобождать человека в человеке XX века. Одним из решающих факторов в этом процессе станет высвобождение творческого начала в человеке. Как бы ни менялись возможности человека, как бы ни менялся его духовный, физиологический облик, творец и созидатель будет занимать в нем все большее место. Новым эпохам придется решать задачи, сложность и размах которых потребуют, очевидно, напряжения духовной энергии не десятков и не сотен тысяч ученых, а творческого сплочения народов. Процесс интеграции, взаимопроникновения, о котором говорилось, создаст такие континенты творческого духа, мощность которых непредставима. Ибо это будет не просто сумма, не лошади, запряженные цугом. Молнию могут породить лишь миллиарды зарядов, соединенные в организм облака. Нынешний рост количества ученых, и абсолютный и относительный, должен вызывать не тревогу, а уверенность и надежду.

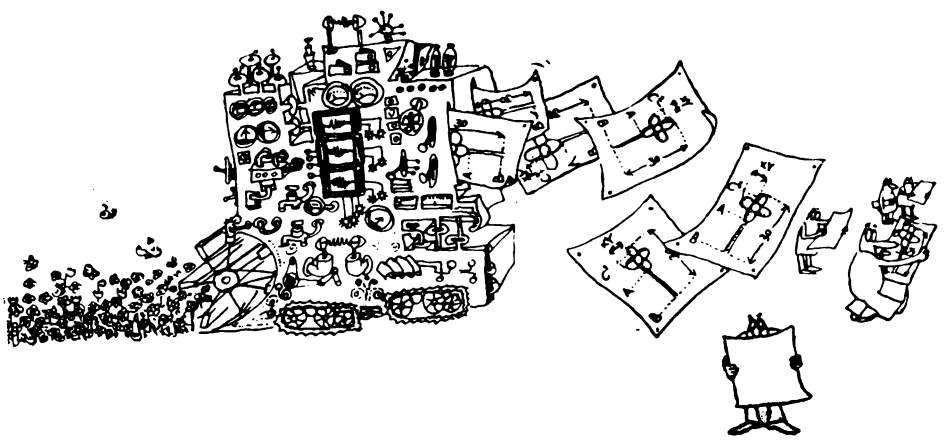
Творчество, будь то научное, техническое, художественное, наиболее полно раскрывает назначение человека. Творческий труд облагораживает человека, поднимает над корыстными интересами, делает свободней, лучше. Признаюсь, когда я думаю о будущем, предо мной прежде всего возникает та жизнь, где каждый сумеет определить свое призвание и реализовать его. Это вовсе не простая, совместная задача науки и социального прогресса общества. Человек стал человеком, когда он стал творцом. Яблоко, сорванное с райского древа, обрекло человека на вечные муки и вечное счастье познания. Ясно, что счастье строится не с помощью науки и техники. Необходимо развивать систему жизни, приобщающую все человечество к творчеству. Высшая потребность человека может быть удовлетворена в определенной социальной структуре. Такое общество вряд ли может всерьез слушать о проблеме перепроизводства художественных ценностей.

По количеству выходящих поэтических книг на душу населения Советский Союз, наверно, идет далеко впереди всех капиталистических стран, а хороших поэтов у нас все равно не хватает и хороших сборников не хватает, при самых огромных их тиражах. Хороших поэтов во все века было мало, а гениальных и вовсе. Конечно, любопытно рассмотреть мир, населенный тысячами Рафаэлей. Причем положение осложняется тем, что в этом усовершенствованном, коммуникативном мире человек сумеет обозреть всех Рафаэлей, не разъезжая по картинным галереям. А если и придется разъезжать, то это будет доступно каждому. Все правильно, но сразу же возникает вопрос: чем мерить «переизбыток» культуры? Сегодняшними способностями восприятия? Опять же мне кажется, что связям людей будет угрожать не количество Рафаэлей, искусство сможет действовать и действовать куда сильнее, чем когда-либо в условиях разумной общественной системы.

Будущее испытало на себе всякое — и оптимизм, и безрассудную слепую надежду, и безысходное отчаяние. Ему угрожали кликуши и точные расчеты, его пытались отравить и попросту уничтожить, повернуть вспять, вернуть в пещеры. Оно выжило. Появилась возможность серьезного, вдумчивого изучения его. Сейчас, может быть как никогда еще в истории человечества, будущее зависит от настоящего и требует нового подхода к себе. Оно чревато кризисами, соизмерить которые мы не в состоянии. Кризисы, связанные не только с иным понятием свободы, но и с понятием индивидуальности. Мыслящая материя Земли, она дискретна. Потребность ее единства и человеческая личность — это тенденции противоположные. С одной стороны, расцвет личности, с другой — ее ассимиляция. Ее самовыражение и ее существование в процессе сплочения миллиардов...

Путешествие в страну Будущего никогда не было бесплодным занятием. Великие утопии помогали человечеству вырабатывать идеалы. А это то, в чем сегодня нуждается мир, может, больше, чем прежде.

Реплика карикатуриста



АРМАН ЛАНУ

МИР 2000 ГОДА БУДЕТ ПРИНАДЛЕЖАТЬ ПОХИТИТЕЛЯМ ОГНЯ

Нет на свете предприятия более химерического, чем попытка представить себе, каким будет завтрашний день. И однако человеку свойственно заглядывать в будущее — так же, как ему свойственно вспоминать прошедшее. Более того, если он хочет жить, он должен предвидеть будущее — так же, как он должен вспоминать прошедшее.

В этом едва различимом будущем проглядывают некоторые вероятности, и они отнюдь не настолько банальны, как это могло бы показаться с первого взгляда. Например, абсолютная необходимость для человека созидать самого себя, а также абсолютная необходимость быть существом коллективным. Вероятно, именно здесь и следует искать наиболее характерную примету нашего завтра. В самом деле, во имя бесконечного развития наших познаний человеческая наука с каждым днем становится все более аналитической. Леонардо да Винчи мог объять и объял всю совокупность знаний своего времени. Это же мог сделать Декарт, правда, уже с меньшим успехом. Уже энциклопедистам довелось составить то, что мы сейчас назвали бы «командой» ученых. На Западе Поль Валери был, без сомнения, последним из тех, кто мог охватить человека своего времени почти во всех его измерениях. Ныне познание может осуществляться лишь группами людей, одновременно разнородными и однородными — разнородными в своих специальностях и однородными по своим устремлениям. Чтобы «схватить» самих себя и «схватить» мир в этой игре в жмурки, когда по мере увеличения наших знаний Вселенная расширяется,— люди должны все больше и больше мыслить себя как «мы», а не как «я».

Существование писателя, романиста — оправдано ли оно при такой перспективе? Романист, пожалуй, скорее всего может дать набросок — грубый, шероховатый, мало разработанный в деталях, но наиболее вдохновенный.— набросок человека в движении, человека, который созидает себя вокруг себя и в самом себе.

Давайте сразу же договоримся насчет смысла некоторых слов. Романисту вовсе не нужны доспехи, в каких щеголяют образцовые космонавты из научной фантастики. Подобно советскому врачу-космонавту, он останется в обычном штатском костюме. Научная фантастика, околонаучная фантастика, псевдонаучная фантастика — все эти способы приближения к будущему весьма заманчивы, но полностью иллюзорны. Некоторые удачи в этом плане, например, то, чего добился Жюль Верн, сводились лишь к предвидению технических достижений, которые в принципе были в его время уже известны. Жюль Верн — великолепный логик, но отнюдь не ясновидец. Фантазии Герберта Джорджа Уэллса уже заняли свое место на этом странном базаре увеселительного научного хлама, присоединившись к фантазиям его предшественников. Хиросима потрясает, увы, куда сильнее, чем «Остров доктора Моро». Алексей Толстой — это социолог, Олдос Хаксли — моралист. Их фантастические произведения остаются в литературе главным образом потому, что они живут как философские повести. Ведь не случайно же самые крупные представители научно-фантастического жанра, такие как Ловекрафт или Брэдбери, например, являются именно писателями, как всякие другие, и их книги гораздо ближе к Эдгару По, чем к руководству по погружению в океанские глубины. Не случайно также, что научная фантастика — это литература, обращенная прежде всего к детям, и что шедевром ее несомненно является «Мы идем по Луне» из знаменитого «Тинтина», этого истинного бестселлера среди европейских журналов для детей моложе пятнадцати лет!

Наша эпоха по-своему наивна, как, впрочем, все остальные эпохи. Мы вдоволь поиздевались над свойственной XIX веку ве-

рой в непогрешимость науки, над учеными мужами той поры, которые, прокламируя громогласно свое рационалистическое кредо, в субботний вечер свершали таинство омовения ног в кругу своих учеников. Случаи легковерия нашего времени не так наглядны, потому что мы люди скрытные, но нашим детям они не покажутся от этого менее смешными. И, быть может, полезно уже теперь выявить эти черты, трогательные и комические, которых у нас — в изобилии и которые еще не разоблачены пока со всей очевидностью. Есть на Западе довольно сомнительная сфера исследований, вращающихся вокруг глубин подсознания: неаристотелевых теорий, всеобщей семантики, гипотезы о мутантах — ограничимся хотя бы этим перечнем. Разумеется, эти изыскания, ведущиеся на водоразделе между реальностью, которую мы можем измерить, и реальностью вторичной, невидимой, иногда воображаемой, представляют определенный интерес. Издеваться над этими попытками не следует, но нужно их как-то ограничивать.

Парапсихология говорит нам, что мы удивительнейшим образом выходим за пределы собственной физической сущности и что человек обладает возможностями, пока еще непознанными, которые он со временем сумеет приручить. Психоанализ — это такое средство познания, которое, идя об руку с другими методами, значительно увеличило возможности психологии и критики. Можно даже сказать, что, начав как метод лечения душевнобольных, психоанализ стал одним из самых надежных средств художественной и литературной критики и удивительных исследований по истории мифов. А всеобщая семантика? Ею тоже нельзя пренебречь. Благодаря поляку Кожибскому, автору книги «Наука и здоровье», мы узнали, что человек должен остерегаться в первую очередь такой вещи, как язык. Он привел ставший знаменитым пример того, как некий генерал спутал карту с территорией. Этот генерал остановил свою армию перед естественным препятствием, ибо на его карте это препятствие было обозначено как непреодолимое. Но, непреодолимое на бумаге, препятствие вовсе не было таковым на самом деле. И генерал потерпел поражение. Быть может, его победил генерал, не умевший разбираться в картах!

Но эти соблазнительные раритеты, эти новейшие способы приближения к проблемам не должны заслонять от нас самих этих проблем. Никто не станет оспаривать тот факт, что математические исследования, введя одно или несколько дополнительных измерений (представление о времени как о четвертом измерении стало уже общим местом), основательно перекроили наше представление об окружающем нас мире. Релятивисты, очевидно, правы, когда говорят, что дважды два не всегда составляет четыре. Можно даже пойти еще дальше и сказать, что с определенных точек зрения дважды два вообще никогда не дадут ровно четыре. Но распространять математику на область чисто человеческую — значит действовать слишком поспешно. Нельзя забывать, что «дважды два четыре» — это также и выбор, также и позиция, прагматическая и нравственная, короче говоря, это — рабочая гипотеза, которая служила человечеству на протяжении тысячелетий и которая послужит еще.

Вот почему этот набросок человека 2000 года, сделанный романистом, опирается не на воображение. Волшебники умеют предсказывать только прошлое! Итак, оставим в покое мутантов, и неаристотелевы теории, и околонаучные предположения и лучше попытаемся оценить некоторые главные условия человеческой жизни в 2000 году.

Условия человеческой жизни... С весьма малой вероятностью ошибки можно утверждать, что за тридцать шесть лет, отделяющие нас от 2000 года (срок, необходимый для превращения нынешнего новорожденного младенца в опытного врача), эти условия если и претерпят сколько-нибудь значительные изменения, то произойдет это не из-за каких-либо научных открытий. Человек не изменяется столь быстро. Вот условия жизни, они меняются — и со все возрастающей быстротой. Стоп! Я вовсе не хочу сказать, что человек неподвижно застыл и не изменяется. Всякие толки о неизменности человека и об иллюзорности прогресса — суть средство, с помощью которого циники стараются оправдать свой отказ от любой общественной деятельности. В самом деле, зачем терять время, пытаясь улучшить человека, если он все равно останется таким же? Тогда самое простое решение — возврат к временам рабства! И поскольку многие из этих циников по образованию — историки, они говорят нам высокомерно: «Уже в римской истории можно найти объяснения нынешним обстоятельствам. Так что сами можете судить: человек не меняется». Эти плохие историки не добрались до глубины веков! Иначе, занявшись неандертальцами и кроманьонцами, они увидели бы, что кое-что все же изменилось со времени четвертичного периода! Наконец, эти поборники бездеятельности (иными словами, хотят они этого или нет, виновники нынешнего состояния вещей) делают вид, будто им невдомек, что античные общества были основаны на рабстве и что, хотя рабский труд был всего лишь заменен трудом наемным, но существует весьма мало общего между жизнью плебса при Августе и жизнью пролетариата, ужасающая неустойчивость которой была умерена борьбой с безработицей, относительной непрерывностью занятости, социальным обеспечением и пособиями многодетным семьям.

Наконец, циники забыли — или притворяются, что забыли,— о количественной стороне человеческой проблемы. Самая элементарная ошибка — думать, будто увеличение числа людей не изменяет самой природы проблем. Увеличивая число членов общества в 10, 100, 1000 раз, мы радикально меняем сущность общественных отношений.

Количество — вот, несомненно, та тревожная проблема, которая неотвратимо будет угрожать завтрашнему миру. Человек 2000 года — это человек многочисленный. Он живет на более тесной земле. Это человек, который любит, который работает, который мыслит почти так же, как мы, живет в большей мере, чем мы, в коллективе. Увеличилось число больших городских скоплений. Человек 2000 года находит в городских условиях эстетику и красоту там, где нам с вами это показалось бы странным. Именно об этом говорил Илья Эренбург несколько лет назад: этот большой честный человек пришел в ярость, когда один пылкий и наивный юноша заявил, будто в эпоху спутников поэзия больше не нужна. Поэзия всегда нужна. Она всегда есть. Например, вид некоторых автострад, какие-то архитектурные линии, какие-то аэродромы могут дать нам об этом смутное представление. Человек 2000 года сохранит те же пропорции между числом поэтов и непоэтов. Просто он будет брать мед поэзии из других цветков.

Одной из главных угроз, которая нависает над человеком 2000 года, является, как это ни парадоксально, бездеятельность. Неизвестно, как сумеет он использовать свободное от работы время. В мире, где необходимость всегда была первейшим двигателем и стимулом, проблема досуга станет весьма важной заботой. Надо помнить, что эти досуги будут даны человеку отнюдь не благодаря чьей-то щедрости, а просто благодаря неумолимости экономических законов, непрерывному росту промышленной техники, росту числа самих трудящихся, повышению их квалификации и увеличению средней продолжительности жизни. И лишь в той мере, в какой мы своевременно сумеем предвидеть эту необычную проблему, будем готовы отразить опасность отдыха,— в той мере она будет не так тяжко давить на плечи наших внуков.

Быть может, мы приблизимся и к решению другой проблемы. Человек создан явно в расчете на более длительную жизнь, чем та, которую он успевает прожить. Продолжительность детства и отрочества заставляет предположить, что человек должен жить гораздо дольше, оставаясь при этом работоспособным. Это несомненно. И мы приблизимся к этому биологическому равновесию. «Но что значит каких-нибудь двадцать—тридцать лет,— скажут иные скептики,— по сравнению с бесконечностью времени и пространства?» Еще один софизм. Десять или двадцать лет — само по себе не так уж много, но четверть или треть возможной человеческой жизни — это уже кое-что значит.

Цифры, количества, пропорции. Да, человек, который не сможет больше рассматривать себя как одиночку, будет человеком социальным, подчиненным закону количества, человеком коллективным. В свете этих количественных перспектив не мешает подумать и о его духовном мире. Развитие технических видов искусства даст ему культуру широкую и в то же время поверхностную, о чем мы можем догадываться в связи с нынешним телевидением. Это будет человек слуховой и зрительной культуры. По отношению к нам он — то же самое, что мы — по отношению к людям до изобретения звукозаписи и кино. Чтение останется основой его знаний, но утратит свое монопольное положение. Оно будет играть роль справочника. Микрофильм будет дублировать библиотеку и дополнять ее. Вот чем будет питаться человек 2000 года. Испытывая угрозу некоторой пассивности, сама форма его умственной деятельности изменится. Он будет знать музыку, живопись, архитектуру, скульптуру гораздо лучше, чем его деды. Глаз станет главным органом чувств.

Выше я употребил выражение «выходить за пределы собственной физической сущности». Сегодня мы тоже уже вышли довольно далеко за эти пределы: радио, телевидение, телефон, реактивная авиация, ракеты заставили нас перешагнуть вторую границу человека, преодолеть пределы его второй, нематериальной оболочки — предел поля его зрения в радиусе нескольких километров. Ныне мы видим обратную сторону Луны. Завтрашний человек станет безгранично более протяженным.

Почти все люди, думая о будущем, представляют его в черном свете. Это естественно. Это — средство, с помощью которого человек уменьшает страх перед индивидуальной смертью. Он приручает собственную смерть, уменьшая то, что будет происходить после него. Он, конечно, обманывает себя. Завтрашнего человека, более богатого в плане времени, если он и более беден в плане пространства,— я вижу прежде всего поэтом и больше, чем мы, наделенным остротой зрительных восприятий,— короче говоря, художником.

Я говорил о социальном, о коллективном началах. Но в таком случае, какова будет политическая жизнь? Лишь коллективные институты дадут человеку возможность жить. Индивидуализм умрет. Он будет просто немыслим. Я говорю индивидуализм, но не индивидуальность. После выпавших на нашу долю потрясений — а они были настолько огромны, что, кажется, человеческая жизнь не может вместить их в себя,— характернейшей чертой человека доброй воли сегодня стала тоска по гуманизму, который был бы воплощен в жизнь общества. Эта тяга к живому гуманизму разлита сейчас повсюду...

Остаются два чудовища: голод и война. Люди так быстро размножаются, что, если не произойдет чего-то исключительного, все ближе и ближе фатальный миг, когда разросшееся человечество покроет весь земной шар, как сплошная икра из человеческих голов! И не нужно быть пророком, чтобы утверждать, что здесь-то и будет коренить-

---

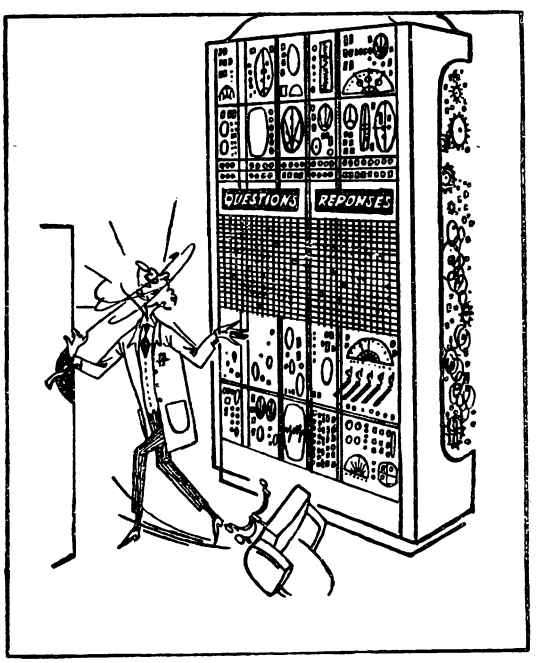
АРМАН ЛАНУ
МИР 2000 ГОДА БУДЕТ ПРИНАДЛЕЖАТЬ ПОХИТИТЕЛЯМ ОГНЯ

ся главная тревога 2000 года. Началось соревнование между разумом и неумолимым законом чисел. С определенной уверенностью можно сказать лишь одно: сохранение человека как биологического вида зависит только от того, насколько человек окажется разумным. Это трагично и прекрасно. Уже сейчас подстегиваемые необходимостью, которую они предчувствуют, люди в невиданном порыве пытаются завоевать огромные прерии морей и отчаянно ищут новых земель для заселения.

Ну и в конечном счете анализируемая проблема оказывается прежде всего проблемой нравственной. Человек 2000 года должен быть человеком прометеевского склада. Самый характер стоящих перед ним сложнейших проблем приведет его к единственному решению: к героизму. Он осужден на героизм под страхом смерти.

И нам тоже выпала честь быть приговоренными к героизму. Из-за любви. Мы любим наших детей и наших внуков 2000 года — поэтому мы должны мобилизовать свой разум и, главное, волю и выполнить миссию похитителей огня. Да здравствует Прометей, терзаемый орлом! Будущее не угадывают. Его **создают**.

Реплика карикатуриста



«Если вы сами задаете вопросы и сами на них отвечаете, с вами невозможно спорить!»

РОБЕРТ ЮНГ

ЭЛЕКТРОННЫЙ ОРАКУЛ

Роберт Юнг известен советским читателям как автор книги «Ярче тысячи солнц». Книга «Будущее уже началось. Всесилие и бессилие Америки», отрывок из которой мы публикуем ниже, впервые была издана в 1952 году, а переработана и дополнена в 1964. Проблемы, поднятые писателем, жизнь не сняла с повестки дня. Лаборатория технического прогресса, явный и скрытый от глаз механизм ее действия сегодня интересуют читателя не меньше, чем вчера. Тем более что речь идет о таком волнующем всех предмете, как научное планирование будущего.

Даже одна глава из этой книги, которую мы печатаем в сокращении за недостатком места, позволит советскому читателю составить представление о том, чьим интересам, каким общественным силам служат в США открытия ученых в области кибернетики.

«Рэнд корпорейшн» — организация, планирующая будущее, о которой рассказывает Юнг, основана и финансируется американскими военно-воздушными силами. Недаром первым, чем занялось «собрание больших умов», оказались проекты стратегических бомбардировок и «психологических контратак». Научное программирование будущего на поверку оборачивается разработкой стратегии и тактики будущей войны. И разумный совет «электронного оракула», к которому, судя по одному из приведенных эпизодов, прислушались в свое время правители Америки, дела не меняет. Иначе как можно было бы объяснить такой поворот событий, как, скажем, нынешняя эскалация войны во Вьетнаме? Падением авторитета «мозгового треста»? Либо — и это главный вывод, к которому подводит книга,— тем, что, планируя отдаленное будущее, американские ученые из «Рэнд корпорейшн» вынуждены, как пишет Р. Юнг, «отдавать свои знания предприятию, которое более всего противно разуму,— войне»?

Реакция ученых при этом оказывается далекой от однозначности. Одни «притерпелись», взгляд на будущее как на «непрерывную цепь военных конфликтов» им уже начинает казаться «реалистическим» и они включаются в поиски оптимальных решений «на реальном языке борьбы за мировое господство». Другие пытаются укрыться за циничеcкой демагогией рассуждений насчет «стимулирующего эффекта» для науки воинственных настроений сильных мира сего. Третьи бегут в идиллию Принстона — основанной на частные пожертвования «обители созерцательных размышлений», где, как показывает в своей книге Юнг, без особых результатов обсуждаются пути науки, очищенной от скверны «прикладных обязательств», где в «объединении свободных умов» не утихают споры о том, есть ли смысл открыто выступать против использования науки во зло...

«За пять лет я многое видел в этой стране,— пишет Р. Юнг.— Достаточно много для того, чтобы исполниться сомнений и тревоги. Мне страшно за Америку: страшно, что в своем стремлении к почти что божественному всемогуществу она может потерять лучшее, что есть на земле,— уважение к свободе и человечности».

Это произошло в один из тех редких дней, когда Вашингтон, обычно спокойный и сдержанный, как надменный аристократический квартал, был пронизан политической тревогой: «Прославленный герой войны внезапно получил отставку»,— сообщали телеграфные агентства. Возбуждение, вызванное этой мерой, проникло сквозь изолирующий пояс парков, окружающих силовые станции, где формируется политическая воля, промчалось по ровным линиям улиц, наэлектризовало бесконечные дебаты и отраженными лучами вспыхнуло опять в правительственных зданиях, спрятавшихся в тени вековых деревьев за холодными мраморными фасадами

В американском Национальном бюро стандартов (НБС) редко ведутся поли-

тические беседы. Здесь занимаются воспламеняемостью тканей, обсуждают достоинства и недостатки нового искусственного волокна, исследуют свойства химикатов. Но в тот день возбуждение, вызванное столь неточным и так плохо поддающимся измерению феноменом, как политика, охватило, кажется, и деловитых «investigators» * НБС.

Когда мы проходили через парк, в котором расположено множество зданий — лаборатории, измерительные и испытательные станции,— воздух был тяжелый и насыщенный той влажной томностью, которая климатически приближает Вашингтон к городам американского Юга. Мой спутник указал на цветущие вишневые деревья, которые с полвека назад были подарены американцам японцами, и это дало ему повод для того, чтобы высказать свой взгляд на внешнюю политику США.

Однако прежде чем он успел окончить свои рассуждения, мы вдруг очутились перед двумя невысокими зданиями того скороспелого типа, который в столице называется «WW II» (World War II) **.

— Знаете ли вы, что решение снять генерала в основном родилось в этих двух зданиях?— спросил меня мой «гид».

Я собрался возразить ему, что, мол, всякий знает, кто мог принять решение «выставить» героя войны,— многохвалимый и многохулимый «человек в Белом доме», президент Соединенных Штатов Америки. Но «гид» уже скрылся в дверях одного из этих неказистых строений, где над входом висела вывеска: «National Bureau of Standards Eastern Automatic Computer» ***. Я, конечно, уже знал, что в одном из этих зданий помещается самоновейший «электронный мозг». Для того-то я и просил привезти меня сюда, чтобы увидеть вблизи это легендарное сооружение. Только я никак не мог взять в толк, какая может существовать связь между этой совершенной вычислительной машиной и последней политической сенсацией.

Мой спутник ввел меня в небольшую комнату, где кроме нас находился только худощавый молодой человек со скучающим видом, пальцы его бегали по какой-то клавиатуре, состоявшей из черных кнопок и переключателей. Этот стенд напомнил мне один из тех пультов с многочисленными регистрами, за которыми сидят органисты. И тот «органист», которого мы увидели здесь, «играл по нотам» — перед ним лежал какой-то листок. Через его плечо я разглядел на этом листке множество точек и черточек в самых различных комбинациях — они-то, видимо, и служили для него руководством.

Безмолвным жестом, чтобы не мешать работающему, мой спутник указал на экраны электронно-лучевых трубок, там непрерывно мелькали разнообразные фигуры и арабески, их рисовала голубовато-белая светящаяся точка, они, виднеясь сквозь подсвеченную зеленым масштабную сетку, появлялись и исчезали. Эти знаки, видимо, исходили из нутра машины, скрытой за перегородкой,— сообщали о роде ее работы, о ее состоянии и ходе ее сложных мыслительных операций.

Улучив минуту, когда молодой человек дал некоторый отдых проворным пальцам, мой спутник представил меня. Потом он спросил:

— Над чем вы сегодня работаете, Эд?

Молодой человек поднял скучающие глаза.

— Ничего особенного. Все то же самое. В четыре часа Фрэнсис собирается заняться какой-то гидротехнической проблемой. А потом будем выполнять еще одно срочное задание для ребят из военно-воздушных сил. Обычная история: расчеты вихрей, испытания прочности. Но ко мне это уже не имеет отношения. Я через полчаса кончаю и могу уходить. Как тебе, кстати, нравится история с генералом? Невероятно, правда? Но на мой взгляд...

Он вдруг осекся: на пульте замигал оранжевый огонек, одновременно раздалось позвякивание, которое слышишь, когда в наборную машину падают литеры. Между черными клавишами пульта управления вспыхнули красные лампочки, а на нижнем телеэкране ринулась вниз, как падающая звезда, голубовато-белая точка, оставляя за собой четкий светящийся след.

— Третий раз,— покорно сказал Эд.— Третий раз за один-единственный день он выкидывает такие штуки.— Повернувшись к перегородке, отделявшей его «рояль» от машины, он прочел удивительному электронному созданию, находившемуся за перегородкой, небольшую нотацию: — Избалованное чудовище. Теперь я должен по твоей милости потеть здесь еще два часа и все начинать сначала.

Я почувствовал некоторую неловкость — как гость, который невольно стал свидетелем тягостного семейного скандала.

— SEAC переживает еще некоторые детские болезни,— извинился передо мной мой спутник.— Все еще случается, что где-то в одной из многочисленных цепей тока происходит вдруг короткое замыкание, или выходят из строя несколько ламп, или же в магнитном покрытии ленты, на которой записывается программа, обнаруживается микроскопический изъян. SEAC не совершенен. Он находится здесь у нас год, и мы уже знаем большинство его дурных привычек. Так, например, утром он слишком долго просыпается, он чрезвычайно чувствителен, и стоит ему дать чересчур сложное задание, как у него начинается нервный припадок. Но эти маленькие недостатки ничего не значат в сравнении

* Исследователи.
** Вторая мировая война.
*** Восточный вычислительный центр Национального бюро стандартов.

с теми достижениями, которые уже есть у SEAC. Знаете, как мы его прозвали? «Вашингтонский оракул». А это здание, где он стоит,— «Малый Белый дом».

— Оракул? Так, значит, вы не шутили, когда говорили о нем в связи с увольнением генерала? — расспрашивал я.

— То есть что именно SEAC произнес решающее слово? Нисколько не шутил. Послушайте, как было дело: генерал высказался за политику, которая поставила бы нашу страну на грань мировой войны или даже ввергла бы в войну. Здесь, в Вашингтоне, нашлось много сторонников этой политики с позиции силы, и президенту, вероятно, пришлось бы в конце концов этому подчиниться, если бы SEAC не составил объективного суждения, против которого разумных доводов не нашлось. Мы заставили «думающую машину» в течение нескольких дней производить вычисления, за которые раньше даже никто не брался, потому что на них требуются годы. Надо было вычислить, как отреагирует американская экономика во всех своих отраслях на внезапное начало войны.

SEAC дал ответ в недвусмысленных, ясных цифрах: даже одно только усиление наших наступательных действий, требуемое генералом, и то вызвало бы серьезное потрясение нашей экономической системы, что же касается развязывания войны, то сейчас оно было бы преждевременным и для нас чрезвычайно неблагоприятным. Каждое предложение как той, так и другой стороны, каждый стратегический вариант были с помощью SEAC до конца проверены на цифрах. И эти вычисления оказались в руках президента сильнейшим козырем, когда он решал судьбу генерала и его политики.

* * *

В какой мере электронный мозг участвовал со времени окончания второй мировой войны в формировании внешнеполитических и военно-политических решений американского правительства, сказать трудно, потому что все это окутано густым покровом секретности. Известно, что распри трех родов оружия, каждый из которых требует для себя львиной доли бюджета, перед началом дебатов о бюджете передаются на рассмотрение электронной вычислительной машины.

В Вашингтоне особенно часто говорят о проблемах мировой политики, употребляя термины покера, бокса и футбола.

Наука ведь давно уже пытается отыскать какие-то объективные закономерности в карточной игре и других азартных играх. Она полагает, что открыла все же некоторые правила, и облекает их в математические формулы. Следование определенной «системе игры» должно дать возможность игроку в случае необходимости избрать хотя и не стопроцентно выигрышную, но все же наилучшую тактику. Потому вовсе не удивительно, что созданная одним выдающимся математиком и одним экономистом Принстонского университета «Теория игр» вызвала в Вашингтоне живейший интерес.

Установленные в этой книге на примере игры в покер между двумя (самое большое — тремя) партнерами научные правила блефа, розыгрыша, определения степени риска были взяты за основу целого ряда строго секретных специальных исследований важнейшего политического значения. Специальные отделы генерального штаба и министерства иностранных дел постоянно занимаются тем, чтобы подогнать эти более чем серьезные игры к каждой новой ситуации. Они переводят дипломатические ноты, армии, военную промышленность, новый род оружия, психологические наступления и контрнаступления на абстрактный язык стратегии покера и заставляют электронный мозг разыгрывать всевозможные тактические комбинации, чтобы выбрать наилучшее решение для своей страны и снова перевести его на реальный язык борьбы за мировое господство.

* * *

Когда я стоял перед SEAC — большим электронным мозгом американского Национального бюро стандартов и впервые услышал о той политической роли, какую играет эта «думающая машина», эта новость показалась мне невероятной. Несколько месяцев спустя я посетил на другом конце страны в Санта-Монике «Рэнд корпорейшн» — институт, основанный и финансируемый американскими военно-воздушными силами. Теперь меня уже нисколько не ошеломило сообщение, что почти триста ученых различных факультетов набрасывают «картины будущего», которым надлежит вдохновлять государство на его пути в ближайшее десятилетие, нет, даже в ближайшее тысячелетие.

Г. Д. Уэллс когда-то предсказал подобное правительство ученых. «Мозговой трест», который постоянно функционирует здесь, в калифорнийском городке, более соответствует этому представлению, чем какой-либо другой институт. В его составе — восемь аэродинамиков, двадцать два экономиста, пятьдесят один математик, два психолога, четыре социолога, сорок специалистов по обслуживанию электронной вычислительной машины и восемьдесят семь инженеров. Есть здесь и один астроном, три логика и восемь статистиков, и всем им Вашингтон предложил: «Скажите, как мы должны действовать».

Однако в то время как Уэллс надеялся, что такой совет ученых возведет на трон Разум вместо Произвола, эти люди

вынуждены отдавать свои знания предприятию, которое более всего противно разуму,— войне...

В немного запущенных помещениях бывшей фабрики в Санта-Монике, переоборудованных в кабинеты, сегодня ведутся воображаемые войны, торжествуются воображаемые победы и создаются воображаемые государства при деятельном участии сильнейших человеческих и искусственных мозгов. Здесь на будущее смотрят «реалистически» — как на непрерывную цепь политических, экономических и военных конфликтов. Зловещий симптом эпохи — первые конкретные попытки науки практически, а не только теоретически заняться вопросами управления государством стоят под роковым знаком разрушения.

Если об этом говоришь с учеными, работающими на «Рэнд корпорейшн», то они защищаются, утверждая, будто интересы воинствующих властителей всегда были сильнейшим стимулом для развития науки, за немногими исключениями. «Мирные занятия наукой, которые время от времени имели место, были исключением, а не правилом». И они возвращаются к своим «военным играм», ведя их то на бумаге, то на электронной машине. Один участник этих скрытых от общественности маневров описывает их следующим образом: «Вчера на «Имитаторе воздушной войны» — аналоговом вычислителе — разыгрывалась война между вооруженными силами «синих» и «красных». Этот электронный мозг двадцать четыре часа в сутки занимается проблемами «Рэнд корпорейшн».

Различные электронные схемы вычислителя можно включить таким образом, что они дадут полное представление о силах воюющих наций — обо всех населенных городах, заводах, запасах горючего, нефтепроводах, складах бомб и воздушных эскадрах.

Операция воспроизводится в ускоренном темпе: суткам соответствуют десять секунд. Каждая сторона получает исчерпывающие сведения о своих собственных возможностях и резервах, но что касается диспозиций противника, то стороны знают о них не больше, чем в настоящей войне.

Цель военной игры — расправиться с противником стратегически оптимальным и эффективнейшим способом. Одна из воюющих сторон может предпочесть нападение на промышленные центры, аэродромы и сухолутные коммуникации. Возможно, она применит против одних объектов фугасные бомбы, против других — атомные. Возможно, она нанесет сильный удар в самом начале войны, а возможно, предпочтет выждать, пока силы противника несколько не иссякнут.

Каждый тактический или стратегический ход вводится в игру с помощью соответствующей кнопки. Вычислительная машина может тогда точно рассчитать, какой ущерб нанесен противнику. Разрушение авиационной базы на данный момент ослабляет его, но при срочном ремонте равновесие восстанавливается. Если же разрушен завод, то эффект ощутим не сразу, зато он может быть более длительным. Та сторона, которая потеряет базы противовоздушной обороны, понесет значительно большие потери при воздушном нападении противника. Ловкими маневрами одна воюющая сторона может привести своего противника в состояние почти полной беспомощности задолго до того, как будет разрушена его военная машина в целом.

Пока в тихой комнате щелкают выключатели, владения обеих сторон превращаются в развалины (символические). В конце концов стрелка на циферблате одного из участников игры падает до нуля. А это значит: его города разрушены взрывами, люди обессилены, парализованы и, возможно, поражены лучевой болезнью, а вся авиация уничтожена — игра проиграна.

Оракул изрек свое слово...

ЖАН МАРАБИНИ

НА СТО ЛЕТ ВПЕРЕД

О деятельности «Рэнд корпорейшн» — организации, планирующей будущее на сто лет вперед, рассказывает и Жан Марабини, рецензируя на страницах французского журнала «Ар» недавно вышедшую в США книгу Т. С. Гордона и О. Хелмера — двух профессоров, экспертов этой организации. Текст его статьи мы ниже публикуем в сокращенном виде.

Знаменательно, что сегодня в конечном итоге планируется уже не война, а мир. Мир изобилия материальных благ, достигнутого благодаря техническому прогрессу, эра покорения космоса, эра бессмертия человека. (Характерно, что американские ученые предполагают, что советские космонавты окажутся на Луне первыми.)

Однако путь к миру, согласно этим планам, ведет, в сущности, через войну — войну за мировое господство. Любопытно, что американские ученые предсказывают такой мо-

мент в будущем, когда снабженные особым устройством дельфины будут охотиться за последними подводными лодками. Но примечательно и их представление о том, кто «запрограммирует» этих борцов за разоружение в «научно-индустриальном обществе», возглавляемом кликой власть имущих, ученость которой отнюдь не служит гарантией ее гуманности. Судя по тому, какие методы воздействия предусматриваются по отношению к тем, кто окажется не способным к «признанию вещей такими, как они есть», эта гуманность более чем сомнительна. Речь идет об «абсолютно убеждающем психологическом оружии», не убивающем человека, но безотказно действующем на его психику,— газах, парализующих волю, а также о многом другом — от напалма и ядерной бомбы до луча смерти включительно.

Марабини сочувственно приводит цитату из книги Гордона и Хелмера, согласно которой атомная революция «навсегда покончит с «демократическим мифом». Нетрудно понять истинный социальный смысл этих вожделений: отказ признать тот факт, что народные массы, реально созидающие будущее, никогда и никому не отдадут своих прав. Нетрудно оценить истинный смысл концепции «грядущей цивилизации», достигнутой столь мало цивилизованными средствами,— «цивилизации досуга», не только обесценивающей труд, испокон веков доставлявший человеку радость, но и предполагающей стандартизацию человеческих личностей, одинаково устремленных к «маленькому счастью».

Достаточно сопоставить таблицы прогнозов «Рэнд корпорейшн», чтобы убедиться, сколько двойственности в ее планах на будущее: она параллельно планирует добро и зло, жизнь и смерть.

Разумеется, и наши ученые, размышляя о будущем, опираются не на утопии. Однако чувство реальности не мешает им планировать последовательную борьбу добра со злом, жизни против смерти. В отличие от «Рэнд корпорейшн», они не боятся «демократического мифа», роста народного самосознания, а наоборот, основывают на этом свои планы на будущее.

Благодаря обобщающим трудам профессоров Т. С. Гордона и Олафа Хелмера, недавно опубликованным в Лос-Анжелесе, мы ознакомились с фантастической деятельностью «Рэнд корпорейшн», опирающейся на достижения американской и мировой науки. Эти труды позволили нам увидеть чудесное лицо нашего завтра, каким оно представляется в результате самого тщательного анализа, проделанного тысячами специалистов. Каким образом осуществляется этот анализ? Путем опроса специалистов о перспективах развития данной отрасли науки.

Как, например, предвидеть дату «полного контроля над погодой»? После тщательного опроса ученых, занимающихся этой проблемой, была выведена среднестатистическая величина, которая дала 1970 год. А полный контроль над процессами старения? Из опроса специалистов была выведена среднестатистическая величина — 2025 год!..

Можно ли на основе таких анализов создать научную картину будущего, представить себе социологические, политические и экономические аспекты индустриальной цивилизации? Т. С. Гордон и Олаф Хелмер, так же как и американские исполнительные органы и сам президент Джонсон, верят в точность научного предвидения. Надо сказать, что «Рэнд корпорейшн», находящаяся в Калифорнии в Санта-Монике, занимается не только прогнозированием будущего: эта организация использует в своей работе труды сотен крупных американских и западных ученых, занятых решением «сверхсекретных» проблем и финансируемых видными техасскими и калифорнийскими промышленниками и различными оборонными организациями США. Это подлинное средоточие американской науки несет ответственность за политику во Вьетнаме.

* * *

Согласно прогнозам «Рэнд корпорейшн» у рычагов управления нового, научно-индустриального общества должны стоять «ученые», «эксперты», «мудрецы» и «ответственные лица», контролируемые этим самым обществом и являющиеся «высшим слоем» по отношению к средней социальной прослойке, причем последнюю — ради ее собственного счастья — следует держать в подчинении с помощью все более усовершенствованных психологических методов. И если «ученые и ответственные эксперты» еще не стоят у руля государства или, например, континента, недавно освободившегося от колониализма, и если это государство или этот континент управляются «идеологами старого типа», то тут, так сказать, нарушаются правила игры, массы поднимаются против атомщиков, как прежде пролетариат — против капитала, и тогда, разумеется, необходимо вмешаться, даже если придется пустить в ход напалм и газы, парализующие волю, которые — увы! — будут окончательно готовы лишь к 1968 году.

Американские ученые осторожно вы-

ЖАН МАРАБИНИ
НА СТО ЛЕТ ВПЕРЕД

двигают следующее положение: «Атомная революция окончательно освободила своих деятелей как на Западе, так и на Востоке от демократического мифа и необходимости получать согласие толпы».

ЭСКАЛАЦИЯ СРЕДСТВ ВООРУЖЕНИЯ СОГЛАСНО ПРОГНОЗАМ УЧЕНЫХ «РЭНД КОРПОРЕЙШН»

Тактическая ядерная бомба	1965
Миниатюрные аппараты для контроля вооружения	1970
Парализующие химические средства	1970
Парализующие биохимические средства	1970
Смертоносные вещества биологического происхождения	1970
Усовершенствование техники пропаганды	1972
Определение местонахождения и автоматическое уничтожение атомных подводных лодок на большой глубине	1975
Самолеты сверхдального радиуса действия	1975
Подводные атомные лодки, действующие на большой глубине и не поддающиеся обнаружению	1980
Дистанционное управление дельфинами, приученными к поиску вражеских подводных лодок	1982
Оружие с концентрированной энергией (лазер), посылающее луч смерти	1989
Организация глобальной гражданской обороны против захватчиков из других миров	1990
Использование времени в военных целях, что приведет к распаду жизни	2014
Гипнотическое воздействие, распространяющееся на целую зону	2035
Автоматическое чтение мысли	2045

* * *

Таким образом, в развитии вооружения, как уже сейчас видно, берется курс на создание «оружия, не угрожающего жизни», а позднее — «абсолютно убеждающего психологического оружия», с которым через какие-нибудь пятьдесят-шестьдесят лет мы достигнем порога возможных межпланетных конфликтов. Однако решающее влияние на развитие техники ближайших десятилетий окажет не столько расщепление атома, сколько организованное удовлетворение потребностей народонаселения. Экономичные опреснения морской воды, производство синтетических продуктов питания, управляемая термоядерная реакция, эксплуатация морских глубин, управление погодой и климатом — все это ясно указывает, что еще при жизни следующего поколения то немногое, что остается от природы, будет приручено и полностью поставлено на службу человеку, который, так сказать, по мановению руки будет вызывать и рассеивать облака и менять лицо земли, огромные пространства которой (леса, океаны) превратятся в свалку радиоизотопов, а в морях возникнут заводы на металлических платформах и ручные дельфины будут охотиться за последними атомными подводными лодками!

В связи с этим периодом, который продлится до 2000 года, мыслители из «Рэнд корпорейшн» говорят о поисках «маленького счастья» и о «цивилизации для масс». О чем идет речь? Вот что пишет один из них: «Единственная возможность для установления мира в ближайшем будущем — это встреча между нами и русскими на полпути в том индустриальном обществе, где труд человека уже не будет играть полезную роль в обогащении общества, как это было прежде, и где искусственно завышенная ценность труда, принятая ныне, будет представляться анахронизмом. Вот когда богатство станет достоянием широчайших слоев населения, где господствующее положение займет средний класс, который разрастется до головокружительных масштабов! И в то время как работа потеряет цену, на первый план выдвинутся ценности досуга. Краеугольным камнем новой морали будут поиски индивидуального счастья. В гигантских масштабах расширятся средства массовой связи и возможности контактов между индивидуумами. Путешествия и переезды, как непродолжительные, так и на длительный срок, станут доступны всем. Ценности и нормы, установленные семьей, потеряют былое значение. Все большая свобода, сопровождающаяся ростом неуверенности, обусловливает поведение каждого человека. Для многих чувство тревоги и тоски становится постоянным состоянием. Такова плата за возросшую свободу. Каждый имеет своего рода радар, улавливающий импульсы, идущие из общества. Поведение каждого все в большей и большей степени складывается под влиянием широкого, разнообразного и переменчивого круга лиц, на которых он стремится походить. Но эта «эра Панурга», как ее называют во Франции, все же подарит калеке электронный протез, а слепому — маленький радар, который заменит ему зрение!

* * *

Итак, развитие этой цивилизации досуга, которая нас ожидает, является

следствием мирового компромисса, основанного на признании вещей «такими, как они есть». «Мозговой трест» «Рэнд корпорейшн» полагает, что если эпоха с 1966 по 1990 гг. протекает прежде всего под знаком наших мальтузианских и демографических забот, то она вместе с тем является и эрой Автоматизации и Образования. Например, к 1990 году будут синтезированы пищевые белковые соединения, необходимые для того, чтобы накормить шесть миллиардов людей, а с 2020 года, когда земля превратится в один огромный город, человек попытается покорить силу тяжести, которую необходимо будет контролировать, чтобы иметь возможность жить в буквальном смысле «друг на друге». Тем временем автоматический перевод обеспечит контакты (1979), которые не были предусмотрены авторами Библии, когда они описывали Вавилон. Электроника обеспечит непосредственную связь между магазинами и банками (1975), и уже годом раньше дети получат домашние обучающие машины.

Вообразим себе на миг этот предусмотренный «Рэнд корпорейшн» мир, в котором неизбежно придется жить 80% читателей данной статьи! К тому времени, как «женские добродетели» (поиски счастья) займут место былых мужских доблестей (воинственность, храбрость и т. д.), домашние работы будут полностью выполняться роботами (1988). Повсюду — электронные вычислительные машины, и считается нормальным обращаться в вычислительные центры для решения как индивидуальных, личных, так и коллективных проблем! Устанавливаются новые связи между производительным трудом и социальными отношениями на предприятиях, между любовью и эротикой в отношениях полов, между детьми и родителями, занимающимися взаимным обучением и воспитанием. В политической жизни наступает закат «моралистов», на смену которым приходят «коллекционеры информаций». Руководители широко пользуются услугами информационных машин и электроники (как это уже сейчас делает президент Джонсон), и благодаря этим машинам мелкая повседневная работа сократится на 25%, а процесс обучения, в котором они найдут самое широкое применение, превратится в приятное времяпрепровождение уже начиная с 1975 года! Не пройдет и десяти лет, как наши сыновья, если не мы сами, благодаря достижениям автоматизации, переступят порог новой эры. Они смогут, как полагают ученые США, приспособиться к цивилизации досуга. Уже в 1985 году электроника будет применяться для распознания симптомов последних болезней. И вот живя в этом организованном мире, где невозможно будет термоядерное уничтожение и где прогресс приостановит угрожающий прирост населения, человек начнет думать о том, чтобы стать бессмертным!

ЭТАПЫ АВТОМАТИЗАЦИИ

Полный контроль над воздушным сообщением	1974
Автоматизация домашней работы	1975
Превращение обучения в приятное времяпрепровождение	1975
Всеобщее применение обучающих машин	1975
Автоматические библиотеки	1976
Скоростной автоматический перевод	1979
Применение логических устройств, принимающих сложные ответственные решения	1979
Создание единого вычислительного центра	1980
Электронный протез (радар для слепых)	1985
Автоматическое диагностирование болезней	1985
Использование роботов для домашних работ	1988
Создание нового языка на базе автоматического перевода	2000
Автоматическое голосование	2000
Автодороги с автоматическим управлением	2000
Симбиоз между человеком и электронной машиной	2020

* * *

Симбиоз между человеком и электронной машиной, предусмотренный большинством американских кибернетиков на 2020 год, завершает эру автоматизации. Но уже задолго до того человек попытается установить контроль над всеми формами жизни. От непосредственного введения информации прямо в мозг в 1998 году он перейдет к осуществлению чрезвычайно важного мероприятия — усыплению людей на длительный срок, предусмотренному специалистами «зимней спячки» на 2006 год.

Может ли быть, что наши сыновья, ныне живущие, обретут бессмертие, а мы будем последними трупами в истории человечества? Достигнем ли мы сказочной эпохи полного контроля над старостью, который, по точным прогнозам «Рэнд корпорейшн», будет осуществлен в 2025 году? На эти вопросы, приоткрывающие трагедию нового типа (быть в 2024 году последним мертвецом на земле

подобно тому, как некогда был последний убитый погибший в день перемирия 11 ноября 1918 года!), от имени всей западной и, разумеется, русской медицины коллеги профессоров Гордона и Хелмера, решающие проблемы продления земной жизни, отвечают коротенькой и страшной фразой, которая показывает, что наша судьба всегда будет связана с неизвестностью и риском, как игра в покер: «Можно предвидеть, что ровно через пятьдесят один год миллионы людей, помещенные в специальные дортуары, будут усыплены на несколько столетий, подобно Спящей Красавице или герою пьесы Маяковского «Клоп»! Можно также предположить, что планеты или искусственные спутники будут превращены в своего рода склады для миллионов умов, сохраняемых в резерве. Однако на пороге бессмертия, на пороге великой мутации, которая подготовит завоевание людьми космоса, на этом третьем основном этапе грядущего столетия еще останется последняя форма смерти — космическая, или смерть от радиации!»

* * *

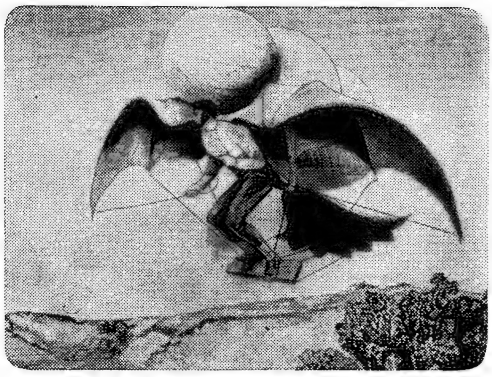
Итак, от первого атомного взрыва в 1944 году, о котором Оппенгеймер, любитель индийской поэзии, сказал, что его сияние «было ярче тысячи солнц», до смерти от радиации, подстерегающей наших внуков, ослепительная полоса прочерчивает наше будущее, которая, кажется, сошла со страниц научно-фантастических романов, чтобы воплотиться в действительности, запланированной учеными «Рэнд корпорейшн». В 2000 году, который будет отмечаться на нашей все еще перенаселенной планете как грандиозный праздник, состоится всемирное автоматическое голосование, в котором примет участие все население Земли, будет осуществлена первая настоящая связь с внеземными существами и будет создан новый универсальный язык на базе автоматического перевода!

Наступит эпоха, когда человек покинет свою первоначальную среду, подобно тому как некогда морские чудовища вышли из воды и ступили на твердую почву. С этого момента все по-настоящему меняется, но любое действие небесных «конкистадоров» опирается на богатый опыт, восходящий к далеким временам Гленна, «Джеминай» и Леонова. Исходя из данных космической медицины, тщательно изученных учеными «Рэнд корпорейшн» или специалистами космодромов Центральной Азии, осуществляются одно за другим следующие мероприятия:

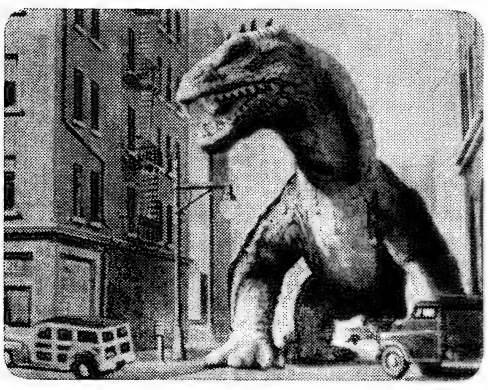
Обследование искусственных спутников беспилотными ракетами	1967
Установление глобальной системы телевидения	1967
Советский облет Луны	1967
Американский облет Луны	1970
«Прилунение» ракеты с людьми	1970
Применение лазера для космической связи	1970
Орбитальная космическая станция с персоналом в 10 человек	1970
Разработка ракет многократного использования	1975
Ракета с ядерным двигателем	1975
Ракета с ионным двигателем	1975
Временная база на Луне	1975
Облет вокруг Марса и Венеры	1978
Проведение физических опытов в космосе	1981
Устройство постоянных баз на Луне	1982
Посадка на Марсе	1985
Запуск космических аппаратов за пределы солнечной системы	1986
Организация производства на Луне	1990
Устройство постоянных станций на ближних планетах	1990
Общественный транспорт, обслуживаемый баллистическими ракетами	1995
Посадка на Юпитере	2020
Облет Плутона автоматической межпланетной станцией	2023
Полет за пределы солнечной системы продолжительностью в несколько поколений	2050
Антигравитационные двигатели	2050
Флот космических наблюдателей и бомбардировщиков, совершающий полеты вокруг Солнца	2100

Итак, прошло полтора века, то есть меньше, чем отделяет нас от Наполеона, редактирующего Гражданский Кодекс или Декрет о Комеди-франсез. Человек стал полновластным хозяином Пространства и Времени и готовится, подобно героям поэта-ученого Ефремова, атаковать далекие галактики.

«Когда сталкиваются миры». Режиссер Р. Матей (США), 1951 г.



«Тайна острова Бэк-Кап». Режиссер К. Земан (Чехословакия), 1958 г.



«Чудовище с глубины в 20 тысяч фатомов». Режиссер Ю. Лурье (США), 1953 г.

НА ЭКРАНЕ — ФАНТАСТИКА

За семьдесят лет существования кинематографа на экран вышло около четырехсот фантастических фильмов — процент, не слишком большой. В это число входят и научно-фантастические (science-fiction) и ненаучно-фантастические (fantasy). На Западе эти два раздела фантастики сосуществуют, переплетаются, создаются одними и теми же режиссерами. В большинстве своем «фэнтези» — это приключения призраков, мертвецов, вампиров, оборотней, ведьм и чертей. Значительная доля этих фильмов ставится для любителей пощекотать нервы. Но есть среди картин-«фэнтези» и работы Рене Клера, к примеру, «Красота дьявола» — история современного Фауста или «Призрак едет на Запад» — остроумная сатира на американский образ жизни. Сюжет ее — приключения привидения, купленного и привезенного в Америку вместе со старинным замком. Западногерманский фильм «Привидения замка Шпессарт» советскому зрителю известен.

Если призрак или чудище давал доход, на следующий год появлялся фильм о возвращении чудища, потом о сыне, дочери, брате, племяннике, семействе привидения, вампира, оборотня, даже перекрестные сюжеты: встреча вампира с привидением и т. д. Особый успех выпал на долю зомби — фантастических существ, заимствованных из поверий острова Гаити. Зомби —

это мертвецы, извлеченные из могил, покорно и бездумно выполняющие любой приказ колдуна, самый грязный и преступный. Первый фильм о зомби появился в тридцатых годах, с тех пор живые мертвецы не сходят с экрана.

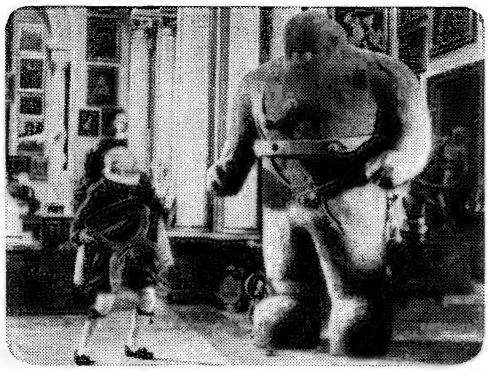
Значительно отставая в количестве и несколько во времени, зарубежное кино в общем повторяло историю развития литературной фантастики, с поправкой на специфику экрана.

В двадцатых годах, во времена так называемого «просперити», в англо-американской кинофантастике процветали залихватские приключения. Представьте себе «Великолепную семерку» или «Три мушкетера», но перенесенные в космос. Произведения такого рода так и назывались иронически «horse-space-opera» («лошадиная космическая опера») и «pick-and-parry-space-opera» («фехтовальная космическая опера»). И все же в кино этот переход в космос не состоялся. Попытки были, но они не увенчались успехом. Например: фильмы о супермене Флэше Гордоне, этаком космическом агенте 007, который в два счета покорял Марс и его окрестности, побеждая скалолюдей, птицелюдей, единорогов и всю Марсианскую империю.

Начиная с тридцатых годов, когда найдены были приемы комбинированной съемки, позволяющие на одной ленте снимать разномасштабные предметы, на экран двинулись полки чудовищ: великаны, гигантские обезьяны, гигантские пауки, муравьи, ящерицы и ящеры, спруты и т. д. Одним из самых первых и, пожалуй, самым знаменитым был король Конг — чудовищная горилла, ростом с трехэтажный дом, полюбившая белую девушку, попавшая в плен к людям и, в конце концов, сбитая самолетом с крыши небоскреба.

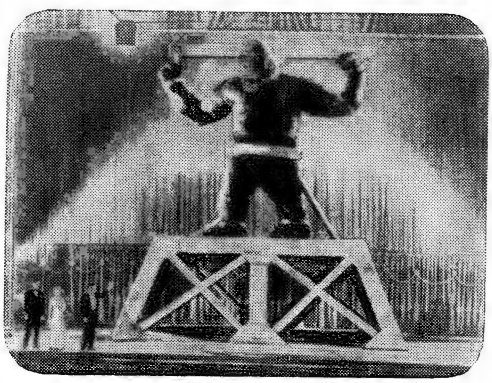
А затем космических ковбоев вытеснил иной герой — «Mad Scientist», безумный ученый, точнее, неразумный, неосторожный, автор ненужных, вредных, иногда и преступных открытий. В отличие от героев «космической оперы», безумный ученый был земным жителем, и поэтому он без труда перекочевал из литературы на экран. Пожалуй, самым популярным из них стал Франкенштейн, герой романа Мэри Шелли — безумец, создавший искусственное существо, могучее, уродливое, страдающее из-за собственного уродства и мстящее людям за свое несчастье. История монстра Франкенштейна экранизировалась около десяти раз, переносилась в XX век и возвращалась в XVIII, были варианты развлекательные и психологические, устрашающие и пародийные.

Пять раз экранизировалась «Странная история д-ра Джекила и м-ра Хайда» по повести Р. Стивенсона — фантастическая история некоего безумного доктора, расщепившего в себе доброе и злое начала, снабдившее злое «я» самостоятельным телом. В кино проблема решалась поверхностно, добро и зло оценивались по-мещански. Но, видимо, успех здесь определяла тема —



«Пекарь императора». Режиссер М. Фрич (Чехословакия), 1951 г.

«Дом восковых фигур». Режиссер А. де Тотс (США), 1953 г.



«Король Конг». Режиссеры Э. Шудсек и М. Купер (США), 1933 г.

«Доктор Джекил и м-р Хайд». Режиссер Р. Мамулян (США), 1932 г.

«Борьба миров». Режиссер Б. Хаскин (США), 1953 г.

«Лондонский оборотень». Режиссер С. Уокер (США), 1935 г.

психологическая тема двойственности человеческой натуры, преступных помыслов, прячущихся под личиной добропорядочности и — увы! — побеждающих эту добропорядочность.

Также в начале тридцатых годов и тот же режиссер, который сделал первый фильм о Франкенштейне, экранизировал роман Г. Уэллса «Человек-невидимка», создав одно из лучших произведений научной фантастики на экране. И здесь открытие некоего безумного ученого противопоставило его человечеству, сделало одиноким и жестоким мизантропом. Экранизировались и другие произведения Г. Уэллса — «Остров доктора Моро», «Машина времени», «Борьба миров». В последней картине сюжет модернизировался, действие переносилось в наши дни. Уэллс и сам писал сценарии. Так, «Человек, который мог творить чудеса» написан им по одноименному рассказу. Специально для кино написан и «Облик грядущего».

Фильм «Облик грядущего», поставленный в студии А. Корда,— одна из редких попыток показать на экране будущее человечества. Сюжет охватывает период в сто лет. В 1940 году (здесь Уэллс ошибся только на один год) начинается всемирная война. После долгих войн и эпидемий Земля опустошена, культура деградировала, но мелкие боссы-феодальчики все еще ведут между собой микроскопические войны. К счастью, где-то в далеких странах создан союз летчиков — носителей прогресса. Они строят воздушный флот и силой наводят на планете порядок. В финале — в 2036 году — готовится первый полет на Луну (вот тут Уэллс ошибся намного). И возникает новый конфликт: между беспокойными энтузиастами, стремящимися к бесконечному движению вперед, и сторонниками покоя, требующими прекратить научные исследования.

Будущему посвящен интересный, на мой взгляд, чешский фильм «Человек из первого века». Сюжет его напоминает пьесу В. Маяковского «Клоп». И там и тут в коммунистическое будущее случайно попадает мещанин из нашего времени. В фильме это обойщик, ремонтировавший обивку в космическом корабле и нечаянно нажавший на стартовую кнопку. Каким неуместным оказывается этот мелкий стяжатель, хвастун и интриган в разумном и светлом завтрашнем мире! В финале обойщика вышвыривают назад — в прошлое.

Тематические линии, наметившиеся в тридцатых годах, продолжаются и в послевоенной кинофантастике. Как и прежде, испытывая нервы на прочность, шествуют по экранам мертвецы, мертвоживые, вампиры, призраки и оборотни, безумные ученые плодят чудовищ. Однако заметно, что «фэнтези» оттесняется на задний план, вперед выходит фантастика научная, с роботами, генами, атомами, космическими контактами.

К сожалению, «научная» еще не всегда адекватна «хорошей». Современные киночудовища чаще являются из морских глубин, порожденные атомной радиацией.

«Научность» здесь — прикрытие, а содержание то же: разрушения, вопли раздавленных и доблесть героя, спасающего свою невесту. Но это в одних фильмах. А в других — серьезный разговор об опасности атомной радиации. Японский фильм «Годзилла» — в этом последнем русле.

Всеобщий интерес к науке заставляет сценаристов вводить научно-фантастические детали в боевики «шпионского экрана». В одном из фильмов о Джемсе Бонде, агенте 007, разведчике-соблазнителе, имеются и атомная бомба, и сонный газ, и лазеры, и всякие технические новинки. И все это приплутано к антикоммунистической выдумке проникшие в США агенты «красных» захватывают форт, где хранится золотой запас, чтобы взорвать там бомбу, заразить все вокруг радиацией и оставить бедную Америку без золота.

В пятидесятых годах, в преддверии космической эры, стали появляться фильмы космические (чаще о космических пришельцах, чем о космонавтах, в соответствии с киноправилом: «марсианина на Земле легче изобразить, чем человека на Марсе»). Обычно пришельцы являлись на летающих тарелках (в «Борьбе миров» модернизированные марсиане тоже прибывают на тарелках).

Часто космогония служила только предлогом для изображения вселенских катастроф — наводнений, потопов, землетрясений...

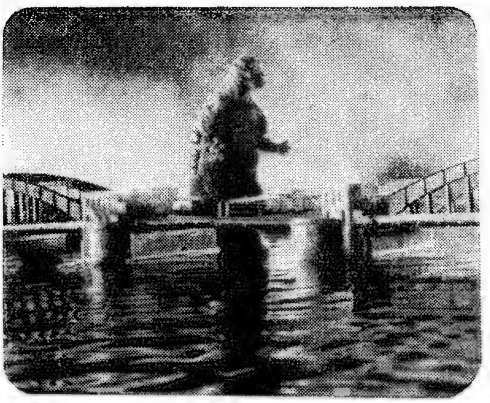
Иногда космические фильмы были откровенно милитаристскими: рассказывали о бравых генералах, которые, опередив всех на свете, устроили базу на Луне, или о бравых парнях, отразивших нападение воинственных «тарелочников».

Но существовали мотивы и противоположные, антивоенные: пришельцы прибывали из космоса, чтобы рассказать людям, как опасна игра с атомным оружием, как необходим мир на нашей планете.

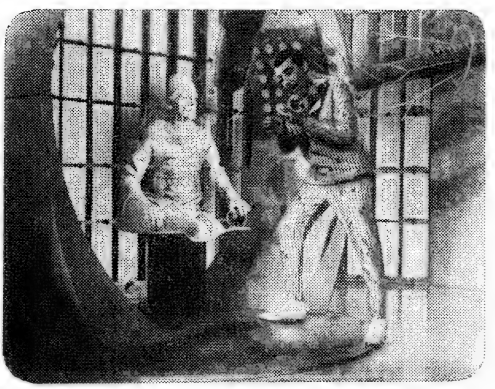
Послевоенные потрясения, угроза атомной войны, угроза радиации вновь обострили тревогу западного зрителя за свою судьбу, за будущее, и, отражая эту тревогу, вслед за фильмами о безумных ученых появились более глубокие картины об этом «безумном, безумном, безумном мире».

Мир, у которого отнят разум, людей, чьи чувства и действия подчинены гигантской машине, показывает Годар в известном «Альфавилле».

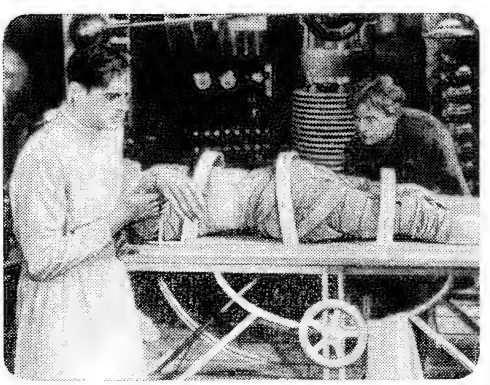
«Семь дней в мае» — экранизация, рассказывающая о заговоре военных, стремящихся сместить американского президента и придушить остатки демократии. Фильм «Доктор Стренджлав» в гротесковой манере повествует о безумном генерале, начальнике базы атомных бомбардировщиков, который отдал по собственному почину приказ бомбить Советский Союз. «Случилось то, о чем предупреждали нас русские»,— так прямо и говорится в фильме. Несколько лет назад все экраны мира обошел фильм Стэнли Крамера «На последнем берегу».



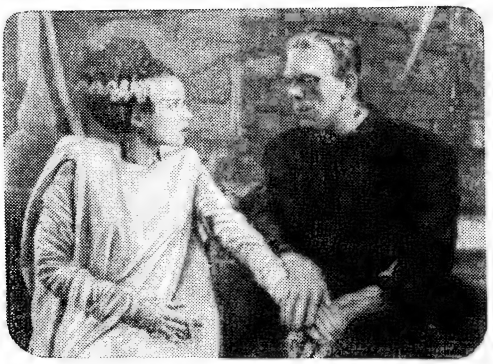
«Годзилла». Режиссер Исиро Хонда (Япония), 1955 г.



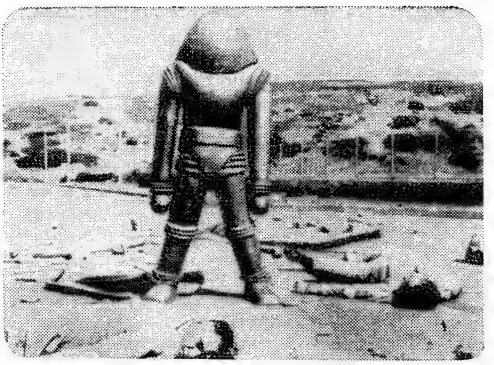
«Человек из первого века». Режиссер О. Липский (Чехословакия), 1962 г.



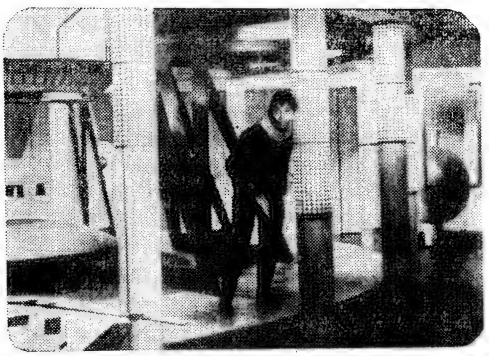
«Франкенштейн». Режиссер Дж. Уэйл (США), 1931 г.



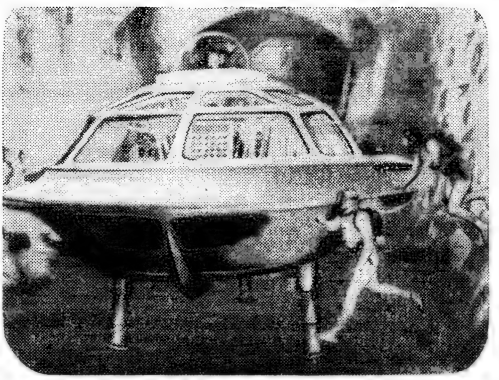
«Невеста Франкенштейна». Режиссер Дж. Уэйл (США), 1935 г.



«Земля против летающих тарелочек». Режиссер Ф. Сирс (США), 1956 г.



«Икар-1». Режиссер И. Полак (Чехословакия), 1964 г.



«Фантастическое путешествие». Режиссер Р. Флейшер (США), 1966 г.

Зрители увидели мир, где человечество уничтожено атомной радиацией. Обезлюдели все материки, жизнь сохранилась только в Австралии. Обреченные получили отсрочку всего лишь на несколько месяцев, но муссон изменил направление и понес на Австралию радиоактивные осадки. Люди, обреченные на гибель от радиации, выстраиваются в очереди, чтобы получить безболезненный яд. Человечеству пришел конец. По пустой площади ветер гонит бумаги, треплет разорванный плакат с надписью «Еще не поздно, брат!».

Еще не поздно одуматься, удержать за руку преступных поджигателей! Хорошо, что этот мотив все настойчивее звучит в зарубежной кинофантастике.

Г. ГУРЕВИЧ

АНКЕТА «Иностранной литературы»

ПОЧЕМУ Я СТАЛ ФАНТАСТОМ...

«Почему Вы избрали в своем творчестве жанр научной фантастики?» — с таким вопросом редакция обратилась к писателям-фантастам разных стран.

Полученные ответы публикуются ниже.

АЙЗЕК АЗИМОВ (США)

Я охотно попытаюсь объяснить, почему я избрал научную фантастику как основную область своей литературной работы.

1. Прежде всего нужно сказать, что еще в очень раннем возрасте без всяких на то глубоких причин я с огромным наслаждением поглощал научно-фантастические истории. «Приверженцем» научной фантастики я стал, когда мне было всего девять лет. С возрастом я неизбежно должен был перейти к сочинительству, и точно: свой первый гонорар за фантастический рассказ я получил восемнадцатилетним юнцом.

2. К тому времени, как мне исполнилось 18, я успел также понять, что научная фантастика свободна от всяческих табу. Поскольку фантастика повествует о будущем, о других мирах и, быть может, о других системах мышления, в ней вполне возможны такие движения мысли, которые нам, живущим в этом мире и в эту эпоху, чужды (и подчас даже не столько чужды, сколько непривычны). А это значит, что научная фантастика свободнее, чем любая другая область литературы.

3. Не знаю, почему так получилось, но все, с кем я познакомился благодаря своей работе в области фантастики, были удивительно милыми, дружелюбными людьми; это относится не только к читателям, но и к моим коллегам-фантастам и даже к издателям. Чем это объясняется? Видимо, любить научную фантастику — это значит так или иначе заботиться о будущем человечества; в какой-то степени это значит даже любить всех людей и желать им счастья в те далекие времена, когда сами мы уже давно завершим свой путь. Я не знал этого, когда начинал писать, но сорок лет работы в научной фантастике открыли мне на это глаза, и я счастлив, что без длительных размышлений сделал именно такой выбор четыре десятилетия назад.

ПОЛ АНДЕРСОН (США)

Боюсь, что я не смогу назвать конкретных причин, побудивших меня стать писателем-фантастом; не помню, чтобы я когда-нибудь принимал решение им стать. Я защитил диплом по физике и намеревался посвятить себя науке. Я всегда с удовольствием читал научную фантастику и для развлечения сочинял фантастические рассказы, но был очень удивлен, когда их напечатали. Лишь со временем мне открылось, что литература — мое истинное призвание.

С того времени я написал уже немало, как в области фантастики, так и в реальных жанрах. Могут, видимо, спросить: «Почему человек пишет так много фантастических произведений?» Конечно, возможности фантастического жанра не безграничны — в нем, например, очень трудно выразить важнейшие эмоции человека, и хотя бы поэтому не следует писать только фантастику.

Но с другой стороны, фантастика имеет и свои большие преимущества. Она может сообщить читателю чувство необъятности, красоты и возбуждающей таинственности вселенной. Она способна придать человеческое значение любопытным умственным выкладкам, таким, например, как подробная характеристика какой-нибудь из непохожих на Землю планет. Создавая приемами литературы намеренно упрощенные социальные ситуации, она может выразить авторское понимание социального механизма и, быть может, предложить думающему читателю одну-две новые идеи.

Наконец, научная фантастика, выступающая как служанка науки и техники, может принести известную пользу и обществу. Разумеется, непосредственный педагогический эффект даже наиболее тщательного в описаниях рассказа крайне незначителен; фантастика — это не метод изложения фактов. Но она может дать широким кругам публики известное понимание науки и техники как прекрасной человеческой деятельности. Во всяком случае, в США многие ученые и инженеры признают, что научная фантастика первой вызвала у них интерес к той области, которая впоследствии стала делом всей их жизни.

ДЖЕЙМС БЛИШ (США),

Вице-президент Общества научных фантастов

В моем случае важнейший и единственный фактор следует искать в туманной области, именуемой «личными пристрастиями»; с детства и примерно лет до 23-х мне просто и в голову не приходило, что можно писать что-нибудь, кроме фантастики. Правда, в дальнейшем — мне сейчас 45 лет — я написал немало и в других жанрах и формах — от поэзии до исторического романа. И все же научная фантастика по-прежнему полна для меня очарования.

Видимо, одна из причин этого неослабевающего интереса в том, что научная фантастика позволяет описывать стоящие перед человеком проблемы и его переживания, так сказать, в почти чистом виде; в своих лучших образцах научная фантастика — это литература предельных ситуаций, причем ситуацию выдвигает не общество и не история, а сам автор, руководствуясь соображениями наиболее выразительной характеристики своих героев, не испытывая никаких ограничений, если не считать границ научно возможного; даже принцип научной вероятности здесь необязателен.

Независимо от своей эстетической ценности научная фантастика может выполнять и социальную функцию. Ее тема — это прежде всего воздействие науки и техники на каждодневную жизнь человека; об этом воздействии почти совсем не говорится в других областях современной литературы. Ныне мировой технический прогресс идет такими темпами, что его можно назвать экспоненциальным *, но гуманитарные науки и искусство обычно даже не пытаются осознать этот факт, а просто зажмуривают на него глаза. Поэтому важна сама постановка вопроса научной фантастикой, ибо она дает читателю представление о характере общества, в котором он живет.

Мне кажется, однако, что приведенные соображения — это лишь обобщение чего-то гораздо более глубокого, и можно сказать, что подлинная причина моего увлечения фантастикой коренится в области психологии, в которой я смыслю так же мало, как и всякий другой человек.

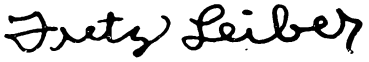
* По подсчетам американского социолога Д. Прайса, объем научной литературы и количество людей, занятых в науке, удваивается каждые 10—15 лет; это явление Д. Прайс называет экспоненциальным, или насыщенным, ростом науки.

ФРИЦ ЛЕЙБЕР (США)

Я пишу научную фантастику, потому что она дает безграничный простор моему воображению и могучий толчок моим чувствам; к тому же, фантастам сравнительно легко печататься.

Вначале я писал рассказы, в которых господствовал сверхъестественный и противоестественный ужас. Потом я увлекся научной фантастикой, потому что в наш век это основная форма фантастической литературы и еще потому, что вслед за Гербертом Уэллсом, Генриком Ибсеном и такими философами, как Бертран Рассел, я считаю, что научное мировоззрение сыграет большую роль в решении стоящих перед миром проблем. В молодости я испытывал сильное воздействие таких писателей, как Эдгар По, Говард Ловкрафт, Артур Мейкен, Леонид Андреев и другие, а позднее я прибавил к ним еще Олафа Степлдона и Карела Чапека. Из писателей, не принадлежащих к числу фантастов и научных фантастов (сюда я включу также Ибсена и Уэллса), больше других на меня повлияли Шекспир (в постановках его пьес участвовали мои родители, а какое-то время и я сам), Освальд Шпенглер, Достоевский, Чехов, Виктор Гюго, Жюль Ромэн, Роберт Грейвс, Найджел Болчин, Якоб Вассерман, Бернард Шоу, итальянский драматург Пиранделло, Карл Юнг, Зигмунд Фрейд, Альфред Адлер, Ч. П. Сноу и Джек Лондон.

Научная фантастика учит смелее, глубже, острее видеть и воспринимать предельные возможности развития явлений больших и малых, материальных и бестелесных, устоявшихся и едва пробивающихся, почти бесспорных и почти невозможных. Воображение используется в ней так, как оно и должно, по-моему, использоваться,— чтобы постигнуть все возможные и мыслимые последствия того или иного человеческого действия, исследовать все «потоки времени» и «варианты вселенной», какие можно себе представить. Для воображения нет ни одной запретной области, какой бы малопривлекательной или с первого взгляда бесполезной она ни казалась. Научная фантастика позволяет созерцать весь мир, больше того, всю вселенную. Она дает нам возможность освободиться от национальных и идеологических ограничений. Она обостряет интерес ко всем наукам и всем областям знания, ко всем людям и всем разумным существам, пусть это и не «люди», ко всему, что обладает если и не разумом, то способностью чувствовать. Да, научная фантастика не знает границ!



ДЭЙМОН НАЙТ (США),

президент Общества научных фантастов

Я не рискнул бы сказать, что это я избрал научную фантастику; скорее она избрала меня. Я начал ею заниматься с 1939 года, потому что за много лет до этого уже стал ее рабом; она пленила и захватила меня целиком, чего не могла сделать никакая другая литература.

Впервые я прочел научно-фантастический журнал в 1933 г. Это был августовский выпуск «Удивительных историй», основанный Хьюго Гернсбеком в 1926 г. Все последующие значительные события моей жизни были следствием этого события; и я часто думаю, кем бы я стал, если бы в те годы еще не выходил этот журнал. Я начал переписываться с другими энтузиастами научной фантастики, покинул родной Орегон, когда мне исполнилось восемнадцать, и стал снимать со своими новыми друзьями квартиру в Нью-Йорке. Один из этих друзей, Фредерик Пол, нашел мне первую мою работу редактора-ассистента в издательстве «Книги для всех». Потом я познакомился с Джеймсом Блишем, который устроил меня референтом в литературное агентство Скотта Мередита. Оба раза я уходил с работы примерно через год, однако именно тогда я постиг почти все, что мне известно о писательском ремесле. С тех пор, не считая двух-трех мелких исключений, я зарабатывал себе на жизнь только трудом, так или иначе связанным с научной фантастикой; оставив в стороне столь же мелкие исключения, я никогда и не писал ничего, кроме научной фантастики.

Мне кажется, есть люди, от рождения лишенные способности удовлетвориться миром, в котором они очутились. Научная фантастика околдовала меня своими прозрениями иных миров, лучше развитых, более разнообразных и увлекательных, чем этот мир. Со временем чары научной фантастики перестали быть для меня такими сильными, я уже не принимал ее целиком и полностью, стал разборчивее и ко многому относился критически. Теперь я искал в книгах фантастов те качества, которые вначале не имели для меня решительно никакого значения: обоснованные экстраполяции, разработанные характеристики, отточенный стиль и многое другое.

Сейчас, когда мне уже за сорок, я нахожу в научной фантастике новые достоинства; она привлекает меня как двигатель философии и искусства, как выражение того, о чем никак иначе не сказать и не написать.

Научная фантастика — это революционное искусство в том смысле, что она учит читателей относиться скептически ко всем догмам, политическим, религиозным и даже научным. Она хранит и использует способность человека не останавливаться в познании. И главное, это литература, которая не поворачивается спиной к будущему.

Современный мир похож на летящий вперед экспресс, в котором нет машиниста, а все пассажиры сидят против хода поезда. Пожалуй, одни фантасты вот уже без малого век смотрят не назад, а вперед.

Мы не пророки и не можем с точностью определить будущее. Но мы, по крайней мере, можем сказать: «Возможности таковы. Выбирайте».

БРАЙЕН ОЛДИС (АНГЛИЯ)

Часто указывают, сколь велика роль научных фантастов в растолковании достижений науки широким слоям публики. Действительно, это большое дело, но его лучше делают популяризаторы науки, которые строго придерживаются фактов, а не выворачивают их наизнанку, как обычно поступают научные фантасты.

Писатель-фантаст должен прежде всего видеть в себе художника, модель которого — все человечество. Главная его обязанность та же, что и у прочих романистов: писать о людях. Он ничуть не меньше должен продумывать свои слова и выражения; ведь его рассказ построен из слов, значит, они ему так же важны, как строителям мостов их конструкции.

Но фантасты воспринимают человечество и его проблемы по-особому, и это, как правило, связано со специфичностью людей Запада и изумительным техническим переворотом, который они совершили в течение последних двух веков. Весь мир взирает на этот переворот с восхищением или боязнью, но почти всегда с завистью. Тема эта необъятна, и если мы не всегда отображаем ее во всем ее значении, не следует нас слишком строго судить.

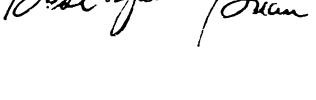
Что касается меня, то, рассказывая о последствиях этого переворота, я стараюсь избегать крайностей. Я стремлюсь обходиться без старых примитивных штампов и изгоняю из своих рассказов законченных злодеев; в мире существует зло, но оно заключено в каждом из нас, и глупо надеяться на то, что мы радикально изменим мир к лучшему, отправив на тот свет нескольких негодяев.

Я стремлюсь также по возможности противиться очевидному соблазну переместить действие произведения на другие планеты. Когда Ефремов посылает своих героев в галактику, создается ощущение необъятной широты видения. И она действительно есть, эта широта. Но такое же ощущение можно создать и описывая обычную квартиру, причем читатели острее почувствуют неизведанное, если оно предстанет им в обычной квартире, а не среди звезд.

Я пишу не столько о самой технике, сколько о последствиях, к которым она ведет. Хотя себя я могу охарактеризовать как оптимиста, большая часть мною написанного звучит пессимистически; нам, пережившим две мировые войны, труднее представить себе совершенный мир, чем это было Герберту Уэллсу, когда он писал в 1905 году «Современную утопию».

Я меньше всего хотел бы давать какие-то рекомендации другим писателям; для этого я слишком высоко ценю роль индивидуальности в творчестве. Наш век таит угрозу обезличивания, тем более нужно сохранить свою личность в искусстве. Писателю нечего позаимствовать у другого писателя; он может научиться у него только самостоятельности.

Все, что я говорил, звучит весьма серьезно; читателю покажется, что мои рассказы отнюдь не преисполнены юмора. Но подобно многим писателям, я испытываю не только одиночество, но и желание побыть в обществе других. Ничего бы мне не хотелось так сильно, как присутствовать при учреждении Всемирной ассоциации писателей-фантастов, и я твердо верю, что через несколько лет такая ассоциация будет создана. Чем более интернационально мы будем мыслить, тем существеннее окажется наш вклад в избранную нами жизненно важную область литературы.



ФРЕДЕРИК ПОЛ (США)

Я увлекся научной фантастикой, и начал сам ее писать в таком юном возрасте, что сейчас я, право, не помню, чем это было вызвано. Но верность научной фантастике я сохранил на всю жизнь, и, думаю, причина здесь в ее уникальной способности давать людям совершенно четкое представление о будущих последствиях того, что все мы делаем сегодня.

Большинство людей, особенно те, кто живет в добившихся относительного процветания странах, испытывает перед будущим сильный страх. Они видят в нем какую-то угрозу себе, несчастье, которое они не в силах предотвратить и о котором поэтому не хотят думать. Вот почему у автоматики и счетно-решающих устройств так много противников; люди не знают, к чему все это приведет, но боятся, что последствия для них будут безрадостными.

Однако в научно-фантастических произведениях можно исследовать многочисленные возможные варианты будущего. Фантасты понимают, что автоматизация, например, может лишить часть людей работы, но зато эти люди получат какое-нибудь более благодарное занятие. Опасность атомной войны велика и грозна, но фантасты видят и другое: если удастся этой опасности избежать, человечество может впервые в истории обрести действительно прочный мир, направить все средства, поглощаемые гонкой вооружений, на другие цели, и тогда исчезнут страх и недовольство, которые сейчас владеют нами.

Писатели-фантасты и их читатели знают то, что предстоит узнать всему миру: будущее — это не лавина, которая погребет нас; мы можем устроить будущее согласно нашим потребностям. Вплоть до последнего времени люди боролись с окружающим их миром; теперь эта борьба угасла, и наши единственные враги — это мы сами; так что если 2000 год окажется плохим годом, винить нам будет некого, кроме самих себя.

Каждый писатель-фантаст выражает эти идеи своими средствами. Боюсь, мои рассказы кажутся сардоническими, подчас мрачными. Но мне кажется, что я лучше выполняю свою задачу, когда стремлюсь не предсказывать, каким было бы будущее, если бы мы вели себя разумно и достойно, а предупреждать, что случится, если мы не будем себя так вести. Из всех заглавий написанных мною книг наиболее точным я считаю «Обвинение против завтрашнего дня».

В действительности я настроен отнюдь не мрачно; я убежден, что человек способен постигать уроки и в конечном счете выучится вести себя правильно. Я не надеюсь застать приход Утопии, но верю, что еще при моей жизни настанет время, когда сами тревоги наши изменятся, когда, по выражению Герберта Уэллса, нам «не нужно будет больше страдать, как страдают животные, и мы сможем изведать страдания, достойные человека».

РЭЙ БРЭДБЕРИ * (США)

Корреспондент. Научная фантастика прошла большой путь от «Войны миров» Герберта Уэллса и эпохи чудищ Франкенштейна ** до сложной и весьма плодотворной формулы, какой она пользуется сегодня. Каковы различия между книгами Уэллса и, скажем, Вашими произведениями?

Брэдбери. Прежде чем ответить на этот вопрос, мне придется, видимо, указать на то, что он неверно поставлен. Никакой плодотворной формулы, по которой пишется научная фантастика, да и вообще всякая литература, не существует. Любой писатель, сочиняющий по формуле, отворачивается от самого себя и не создаст ничего, как бы он ни был талантлив и справедлив в своих суждениях о действительности. Настоящий писатель пишет потому, что испытывает потребность, необходимость, жажду писать, потому что литература пробуждает в нем высшую радость, страсть, наслаждение, восторг — назовите это, как хотите. Он живет, во всяком случае должен жить, своей страстью, а страсть несовместима с формулами. Человеку, который захватывает с собой в постель руководство по половой жизни, лучше поскорее подняться, ибо у него получится лишь уродливое извращение. Писать — это все равно что жить. А формулы грозят извратить любой естественный процесс. Лучшую научную фантастику создают в конечном счете те, кто чем-то недоволен в нашем обществе и выражает свое возмущение немедленно и яростно.

---

* В ответ на вопрос нашей анкеты писатель Рэй Брэдбери прислал свое интервью американскому журналу «Шоу», которое мы и публикуем с некоторыми сокращениями.

** Имеются в виду герои фильмов по мотивам одноименного романа Мэри Шелли

Вот хороший пример — мой рассказ «Пешеход». Когда я отправлялся по ночам на прогулку, меня часто задерживали за то, что я шел пешком. Меня это выводило из себя, и я написал рассказ о будущем мире, где все, кто осмелится пройтись ночью по городу, объявляются преступниками.

Что касается Уэллса, то я до сих пор отношусь к нему, как к старшему родственнику. Есть, конечно, и различия, но в смысле моральном мы все еще храним память о том винограднике, который сообща обрабатывали под заботливым присмотром нашего деда Жюля Верна. Мне придется перечитать Уэллса, чтобы указать наиболее значительные несоответствия между его книгами и моими. К сожалению, я не перечитывал его уже лет двадцать. Зато Жюля Верна я в последние четыре года читал много и понял, что в жилах моих течет кровь точно той же группы, как и его кровь.

Корреспондент. Считаете ли Вы себя и других современных фантастов моралистами?

Брэдбери. О себе могу сказать, что я безусловно и прежде всего моралист, поскольку с каждой новой созданной нами машиной вновь и вновь возникают моральные проблемы. По мере того как новое изобретение заполняет мир, требуются новые законы, контролирующие его приложение. К самим машинам понятие морали не относится, но иногда способ, каким они созданы, и сила, в них заключающаяся, вызывают у людей поглупение или умопомешательство и пробуждают зло. Среди самых либеральных людей нашего времени есть такие, что становятся демонически безжалостными, едва сядут за руль автомобиля. Среди величайших консерваторов — такие, что стоит им нажать на стартер, и они делаются безудержными разрушителями и в неистовстве своем несут смерть. Как-то в Лос-Анжелесе, в Институте искусств, я попросил конструкторов придумать автомобиль, который не побуждал бы людей демонстрировать свою удаль всякий раз, как они оказываются на месте для водителя. Как заставить человека не использовать маниакальную энергию, заключенную в спортивной машине? Вот где точка пересечения морали и конструкции, металла и человеческого умения, вот где все это сходится, сталкивается и часто ведет к разрушению. Не исключено, что нам следует понизить мощность глушителя или увеличить вибрацию — пусть людям кажется, что они делают восемьдесят миль в час, хотя скорость не будет превышать сорока. Проблема остается нерешенной. Мы должны решить ее. Архитектура точно так же имеет отношение не только к строительству, но и к морали. Дома будущего должны стать такими, чтобы люди, пользуясь ими, чувствовали себя людьми, а не затравленными животными. Вот где материал для хорошей фантастики...

Что касается других писателей-фантастов, мне кажется, что моральные проблемы для них тоже неизбежны; эти проблемы возникают, едва у изобретателя мелькнет первая мысль о будущей машине. Задолго до того, как паровоз пересек прерию и добрался до западного побережья, любой писатель, дай он себе труд подумать об этом хотя бы час, мог бы предугадать все последствия такого события для человека. Из десяти современных фантастов в девяти вы различите моралиста.

Корреспондент. Но почему для выражения этих проблем нужна именно фантастика?

Брэдбери. Потому что фантастика дает хорошую возможность, пользуясь, подобно стенографии, символическими обозначениями, писать непосредственно о наших больших проблемах. Лондонские туманы, многополосные шоссе, автомобили, атомные бомбы — словом, очень многое, что отравляет людям жизнь, коренится в избытке машин и неумении широко мыслить при их использовании. Научная фантастика и учит мыслить, а значит, принимать решения, выявлять альтернативы и закладывать основы будущего прогресса.

Корреспондент. Кто Ваш любимый писатель-фантаст и почему?

Брэдбери. Жюль Верн, ибо он был одним из первых и до сих пор остался одним из лучших. Этот писатель обладал воображением, моральным чувством и отличным юмором; каждая его новая страница вдохновляет. Читая его, гордишься, что ты — человек. Он испытывает человечество тестами, он предлагает ему взмывать в воздух, ухватившись за шнурки собственных ботинок. Он уважает старомодную добродетель — умение трудиться. Ценит пытливый ум, зоркий глаз и ловкую руку. Вознаграждает за хорошо сделанную работу. В общем, он восхитителен, и его романы не утратят ценности, пока из мальчишек нужно будет воспитывать доброжелательных, славных, полных энтузиазма мужчин. В наш век, который пустил на ветер унаследованное богатство идеалов, Жюль Верн, человек другого столетия, зовет преследовать более достойные цели и предупреждает людей, что нужно думать не столько о своих отношениях с богом, сколько об отношениях с другими людьми. И было бы очень хорошо, если бы сегодня отыскалось побольше писателей, похожих на него.

Корреспондент. Вас привлекает в фантастике возможность создавать до известной степени свой мир, руководствуясь своими идеалами и населяя его созданиями Вашего воображения?

Брэдбери. В какой-то мере да. И все же, взвесив все обстоятельства, можно с уверенностью сказать, что я дитя своего времени. Конечно, все мы дети своего времени. Но я особенно чувствую, что это я копался в моторах, пачкая лицо машинным маслом, это я бродил по кладбищам потерпевших аварию автомобилей, это я на-

правлял железную руку, чтобы зачерпнуть горсть солнечного пламени в чашу и доставить его с Разведчиками Солнца на Землю, это я дышал и пропитывался дымным, прекрасным воздухом нашей цивилизации. Тело мое появилось на свет в Вокегене, но за долгие годы химия больших городов изменила его состав и преобразила мой дух. Наука совершила насилие над нашей землей, но она засеяла ее с любовью. И все мы — естественные продукты этого посева и этого жестокого насилия. Наша эпоха создана для научной фантастики. Я считал бы, что лишился разума и потерпел творческое банкротство, если бы перестал замечать ту электрифицированную дорогу, по которой несет нас и всю нашу путаницу к будущему. Мы живем в том мире, макет которого я разглядывал в 1933 году через стекло на Чикагской ярмарке и шесть лет спустя на Нью-йоркской. И я могу сказать, что научная фантастика влечет меня не сама по себе, а скорее как возможность обнажить в фантастической форме пружины, которые, сжимаясь и разжимаясь, приводят в действие механизм нашего существования. В таком понимании научная фантастика естественна, как выдох после вдоха, затянувшегося на десятилетия.

Корреспондент. Вы собираетесь и в дальнейшем писать фантастику или Вас привлекают другие области литературы и другие темы?

Брэдбери. Я безусловно буду и в дальнейшем писать фантастику, ибо глубоко верю, что мы переживаем величайший период человеческой истории и что для выражения запросов нашего века фантастика — лучшая из существующих литературных форм.

Наш потрясающий выход в космос, к Луне, Марсу и за его пределы делают нынешний век самым великим в истории.

Почему? Да потому, что сопоставить это событие можно лишь с теми неизвестными нам эпохами в предыстории, когда прообраз человеческий вышел на сушу, обзавелся спинным мозгом, выпрямился, покорил деревья, ушел в пещеры и наконец назвал себя Человеком. Это было для человека великое время. А теперь он отрастил огненные крылья, чтобы жить в воздухе за пределами Земли, в неизведанной атмосфере далеких миров, и началась поразительная новая эра, которая отбросит и изменит, преобразует и обновит все формы мышления, все способы созидания, которые существуют в мире вот на этот час этого года. Чтобы не погибнуть безвозвратно, литература должна идти в ногу с веком. А сейчас век Машин, которые являются Идеями, облеченными в металл и усиленными электричеством. Накопленные людьми философские представления отказываются им подчиняться, но, укрощенные машинами, они вновь могут стать друзьями. Об этом нужно писать. Нужно писать о человеке, слившемся с придуманными им самим приспособлениями, потрясенном или раздавленном ими.

В то же время я надеюсь при случае написать новые книги об Ирландии, где я жил почти год, и об Иллинойсе, штате, в котором прошло мое детство. Я стану рабом того, что сумеет захватить меня. Пусть существо мое говорит все, что захочет. У меня достанет ума хранить молчание, слушать и записывать услышанное.

Корреспондент. И последний вопрос. Если бы Вам нужно было как-то представиться тем читателям, которых еще нет на свете, кем бы Вы себя назвали: научным фантастом, фантастом или кем-нибудь еще?

Брэдбери. Давайте вообразим, что я совершаю на машине времени путешествие в минувшие века. В Багдаде я пошел бы гулять по рыночной площади и заглянул бы на ту улочку, где сидят старики, рассказывающие сказки. Вот там, среди заслушавшихся мальчишек и старых рассказчиков, я и хотел бы занять свое место, чтобы тоже рассказывать, когда придет моя очередь. Потому что это старая традиция, замечательная, добрая старая традиция. И если лет через сто на мою могилу придет мальчишка и карандашом напишет на плите: «Здесь лежит человек, который рассказывал сказки», я буду счастлив. О другом имени я не прошу.

ЙОРДАН ВЫЛЧЕВ (БОЛГАРИЯ)

Современная цивилизация направляет свои усилия главным образом на совершенствование техники. Научно-фантастический жанр возник в литературе для того, чтобы помочь человечеству представить те головокружительные высоты, которых оно достигнет в области техники. Рожденная в спокойную, созерцательную эпоху, научно-фантастическая литература несла в себе черты гордости и высокого чувства достоинства человека. Ныне, когда техника достигла невиданных высот, научно-фантастический жанр уже утратил свои основные черты — гордость и чувство достоинства. Человечество обеспокоено бурным стихийным развитием техники. Техника овладевает че-

ловеком и подчиняет его своим законам, влечет по апокалипсическим путям и лишает всех чувств и традиционных добродетелей.

Научно-фантастический жанр дает мне возможность писать о будущем человеке, живущем в окружении сверхтехники и стремящемся снова обрести себя как хозяина мира.

А. СТРУГАЦКИЙ, Б. СТРУГАЦКИЙ (СССР)

По-видимому, каждый литератор старается передать читателям свои мысли и чувства по поводу интересующей его проблемы так, чтобы читатели не только восприняли эти проблемы, как важные и насущные, но и заразились бы интересом автора. По нашему мнению, каждое конкретное произведение литературы и искусства непременно имеет две стороны: рациональную и эмоциональную. Потребитель духовной пищи (читатель, зритель, слушатель) должен воспринять обе стороны, иначе нельзя сказать, что автор выполнил свою задачу. Фантастика, если рассматривать лучшие ее образцы, обладает особой способностью заставить читателя и думать, и чувствовать.

Как литература рациональная, фантастика успешно вводит думающего читателя в круг самых общих, самых современных, самых глубоких проблем, сплошь и рядом таких, которые выпадают из поля зрения иных видов художественной литературы: место человека во вселенной, сущность и возможности разума, социальные и биологические перспективы человечества и так далее. В наше время задача литературы, как нам кажется, состоит не только в исследовании типичного человека в типичной обстановке. Литература должна пытаться исследовать типичные общества, то есть практически — рассматривать все многообразие связей между людьми, коллективами и созданной ими второй природой. Современный мир настолько сложен, связей так много и они так запутаны, что эту свою задачу литература может решать только путем неких социологических обобщений, построением социологических моделей, по необходимости упрощенных, но сохраняющих характернейшие тенденции и закономерности. Разумеется, важнейшими элементами этих моделей продолжают оставаться типичные люди, но действующие в обстоятельствах, типизированных не по линии конкретностей, а по линии тенденций. (Так, в «Машине времени» Уэллс типизирует современный ему капиталистический мир не по линии конкретностей, как это делали Золя, Горький, Драйзер, но по линии присущих тому времени главных тенденций капитализма.)

Как литература эмоциональная, фантастика обладает свойством с максимальной силой воздействовать на воображение читателя. Прием введения фантастического элемента, даже если фантастическое произведение трактует классическую литературную проблему, обостряет и концентрирует эмоции автора, а значит, и читателя. Фантастический элемент служит неким катализатором, в присутствии которого реакция читателя на читаемое протекает особенно бурно. (Так, в романе «Человек-невидимка» Уэллс концентрирует ненависть и презрение к буржуазному мещанству с такой силой, как ему, на наш взгляд, никогда не удавалось больше в его антимещанских реалистических произведениях.)

Глубина и широта мысли, обостренная эмоциональность — эти свойства фантастики, будучи осознаны, привлекали крупнейших писателей на протяжении всей истории литературы. Эти же свойства в меру своих сил и способностей стараемся использовать в своем творчестве и мы.

КШЫШТОФ БОРУНЬ (ПОЛЬША)

Несомненно, среди факторов, обусловивших выбор моей творческой писательской «области», можно найти и восхищение научно-техническими достижениями, и отголосок отроческой тяги к мечтам, и искус неограниченных возможностей, которые открывает фантастика для игры воображения и отчасти — тоску по большим приключениям, не чуждую каждому человеку.

В этом ответе содержится, однако, только лишь часть правды, ибо все это не объясняет основного: почему мое творчество научного фантаста развивается в строго

определенном направлении иногда даже сознательного отказа от увлекательного сюжета.

Трудно и неловко говорить о специфике собственного творчества: подобные высказывания всегда чреваты известной субъективностью. Однако думаю, что не искажу истину, утверждая, что фантастика для меня не цель, а только средство достижения цели, не сущность, а форма художественного выражения. Все возрастающее многообразие жизненных перспектив создает огромные возможности для постановки философских, общественных и психологических проблем, волнующих современное искусство,— и именно на них я хочу сосредоточить все свое внимание. Фантастический облик будущего человека и диковинных космических цивилизаций — это только декорации, на фоне которых можно рельефней отобразить проблемы, отнюдь не оторванные от земли и нашего времени.

Не случайно научно-фантастическая литература в последние годы все явственней переключает свой интерес с техники на человека. Взрывоподобное развитие науки и техники ставит перед человечеством новые, неведомые до сих пор проблемы не только политические и экономические, но и общественные, психологические, моральные. Философская концепция человека имеет определяющее значение в идеологической борьбе социалистической и капиталистической систем. Будущее здесь неразрывно связано с сегодняшним днем, и проблемы, которые решаются современной литературой социалистических стран, в равной мере касаются и научной фантастики.

Я не думаю, что роль фантастики следует сводить к развлекательной, популяризаторской или морально-дидактической функции, хотя в значительной мере она эти функции сейчас и выполняет. Не следует также, пожалуй, рассматривать изображение завтрашнего дня в литературном произведении как попытку писателя предсказать будущее, несмотря на то, что фантастическая литература может выполнить важную задачу — определить цель, к которой мы стремимся, и опасности, подстерегающие нас по дороге к этой цели. Опасности часто таятся в сегодняшнем дне, и быстрое их выявление должно облегчить успешное противодействие. Это, однако, по моему мнению, вторичная роль научной фантастики — несравненно лучше ее сумеет выполнить сама наука.

Я считаю, что мерой ценности фантастической литературы может быть, несмотря на внешнюю оторванность от жизни, ее подлинная связь с современностью. То, что она повествует об опасениях и надеждах современного человека языком фантастических образов, что она пытается показать его место и роль в процессе происходящих в нашем мире преобразований, сквозь призму, а иногда и кривое зеркало будущего, не должно снижать ее ценности. Говоря иными словами — быть может, благодаря этому мы глубже и шире сумеем взглянуть на наши сегодняшние большие и малые проблемы и нам легче будет их разрешить.

ЯН ВЕЙСС (ЧЕХОСЛОВАКИЯ)

Думаю, что мое творчество не вполне соответствует тому, что сегодня носит название научно-фантастической литературы, поскольку в моих книгах с самого начала фантастические элементы сильно преобладали над научными. Я стремился сквозь призму фантастики показать мир таким, каким его видел, а сегодня я стремлюсь с ее помощью показать людям мир будущего, который, к сожалению, сам уже не увижу.

Почему я облекаю свои произведения в фантастическую форму? Думаю, что у каждого человека — не только у писателя — бывают определенные периоды особой интенсивности, периоды, которые оказывают наиболее сильное влияние на всю последующую жизнь. К моему собственному удивлению, для меня таким периодом не стала первая мировая война, которую я прошел солдатом, был в плену в России. Но тем не менее она оставила заметный след в моем творчестве. Наиболее повлиявшим на меня периодом было детство в родных Карконошах, в окружении гор, в мире сказок, среди добрых и недобрых, но всегда своеобразных людей и людишек. Отсюда берут начало корни моей фантазии. Именно благодаря людям из страны моего детства — фигурам зачастую гротескным, странным, смешным и суровым, какими их видели любопытные мальчишеские глаза,— я навсегда проникся интересом к различным человеческим странностям.

Черты людей, которые в детстве завладели моим воображением, проявляются во всех моих литературных образах — в том числе в тех, которых я вижу в будущем, на земле наших внуков. Я всегда боялся сделать их слишком реальными и потому ставил их в самые неожиданные ситуации.

В этом-то и кроются истоки моей фантастики.

ГЮНТЕР КРУПКАТ (ГДР)

В ответ на Ваш вопрос, почему я как писатель отдал предпочтение жанру научной фантастики, мне хотелось бы сказать следующее.

Еще смолоду я увлекся естественными науками, техникой и мечтой о том, чтобы будущее человечества было лучше, чем настоящее времен моей юности.

Такие книги, как «Через сто лет» Беллами, марсианский роман Алексея Толстого «Аэлита», «Путешествие на Луну» Жюля Верна и произведения немецкого рабочего-астронома Бруно Х. Бюргеля, окрылили мою фантазию и определили окончательно направление моих поисков. Распростившись с прежним ремеслом, я взялся за перо. Мне пришлось пройти долгий и трудный путь, прежде чем я стал писателем-фантастом. Но я, не колеблясь, шел этим путем, воодушевленный стремлением показать людям те великие вдохновляющие перспективы, которые — вопреки всем границам — открывает перед ними мир гуманности и трудового братства.

В этом глубокий смысл и цель научно-фантастической литературы: шагнуть вперед, вообразить себе будущее, стоя двумя ногами на доброй старой земле. Фантазия не знает границ. Мир бесконечен в своем многообразии, но он познаваем.

ГЕРБЕРТ В. ФРАНКЕ (ФРГ)

Жанр утопии дает нам возможность создавать модель завтрашнего мира. При этом меня, как естествоиспытателя, интересуют прежде всего те изменения во всех сферах жизни, которые будут обусловлены техникой, кибернетикой, психологией и т. д. Я рассматриваю фантастику не как пророчество, а как изображение благоприятных и неблагоприятных возможностей, над которыми следует задуматься. От решений, принятых сегодня, зависит и то, что ждет нас завтра. Прошлое нас только учит, на будущее мы еще можем воздействовать; вот почему будущее для нас намного интересней прошлого, а утопический роман интересней исторического.

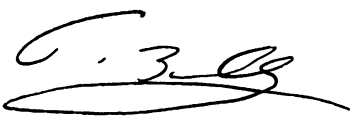
Лично я придерживаюсь того мнения, что наука не только поставляет технические средства для избавления от нужды на земле, но и создает основу такого образа мыслей, который предполагает терпимость и взаимное понимание.

Большие задачи, поставленные перед нами будущим, ответственность, ложащаяся на каждого, кто владеет научно-техническими средствами, требуют привлечь внимание как можно большего числа людей к проблемам, связанным со всем этим. Путь к этому открывает утопическая литература — science fiction — или, как говорят у вас, научно-фантастическая литература. Таким путем следовало бы прежде всего идти писателям, которые располагают основательными знаниями и широким кругозором, включающим в себя понимание хода развития.

ПЬЕР БУЛЬ (ФРАНЦИЯ)

Ни в коей мере я не могу утверждать, что предпочитаю жанр научной фантастики. Я действительно написал в этом жанре несколько новелл и один роман «Планета обезьян», но это, в общем, составляет лишь незначительную часть моего творчества.

Однако мне кажется, что нельзя и пренебрегать этим жанром (впрочем, как и всеми остальными). Я, сказать по правде, не сторонник привилегированных жанров в литературе. Безусловно, научная фантастика таит в себе множество новых возможностей и дает богатую пищу воображению, но лишь при условии, если не рассматривать ее как обособленное, изолированное от общего потока литературы течение, иначе произведения, зачисленные в жанр научной фантастики, постигнет печальная участь полицейских романов и романов о шпионах, они потеряют какую-либо художественную ценность и станут скучными и неинтересными.

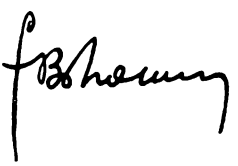


Ф. БЕГОУНЕК (ЧЕХОСЛОВАКИЯ)

Жанр научной фантастики избран мною по следующим причинам:

1. К моей научной специальности относится область радиоактивности и дозиметрии ионизирующего излучения.

2. Фантастические романы Жюля Верна были моим самым любимым чтением во время моей юности. Он пробивал дорогу, по которой я потом попытался идти.



РАДУ НОР (РУМЫНИЯ)

Почему я выбрал научно-фантастический жанр? Вопрос нелегкий. Я работаю в этой области почти два десятилетия, с того возраста, когда человек находится под влиянием романтики далей, необычных открытий, приключений.

Мне всегда нравились книги о приключениях — увлечение, которое осталось до сих пор,— и я очень сожалел, что во время моей юности произведения этого жанра можно было найти только у антикваров. Я убежден, что миллионы юношей — моих соотечественников испытывают те же чувства. Бурное развитие науки в нашу эпоху побуждает наделять приключения новым смыслом, искать новых проблем, связанных с покорением земной природы и других миров.

Возможно, мне хотелось и в других вселить твердую уверенность в силу человека, в его увлеченность покорением нового, в его духовную красоту.

Я всегда был оптимистом.

И чем больше я думаю, тем сильнее убеждаюсь, что решающую роль в выборе научно-фантастического жанра сыграл мой оптимизм, который я стараюсь вселить в сердца читателей.

ЙОЗЕФ НЕСВАДБА (ЧЕХОСЛОВАКИЯ)

Я сам не раз задавал себе этот вопрос, особенно после того, как читатели заинтересовались моими книгами. По-видимому, жанр научной фантастики потому так притягателен, что в наше время — постоянно ускоряющейся научно-технической революции — он не только развлекает, но и информирует читателя. Кроме того, произведение этого жанра включает в себя приключенческие элементы, что отсутствует у «фотографической» и интроспективной современной прозы. Наконец, обращает на себя внимание сам научный факт, который приобрел общественное, социальное звучание. Мне припоминаются слова Роберта Оппенгеймера о том, что сейчас в мире столько ученых, сколько их не знала вся предшествующая история человечества.

Другой вопрос — как обстоит ныне дело с художественным уровнем фантастической литературы, как она достигает цели с помощью своих автономных эстетических средств. Мне кажется, что здесь писатели в большом долгу. Я как-то слышал: плохи те писатели, у которых дело ограничивается фантастическими идеями. И в этом есть доля правды.

Мы являемся свидетелями того, как в современном мире растет интерес читателей к книгам, в то же время в области тем и произведений научной фантастики, на мой взгляд, наблюдается спад.

Я — врач, и потому склонность к естественным наукам задана самим моим призванием. Поскольку я врач-психиатр, вполне понятен мой особый интерес к психологии. Здесь и причина выбора. В заключение хочу сказать, что великим писателем-фантастом будет тот, кому не только приходят интересные мысли, но кто владеет искусством достойного их воплощения.

ИОН ХАБАНА (РУМЫНИЯ)

Я полагаю, что всякий выбор, по крайней мере в области художественного творчества, определяется факторами чувства и разума. Что касается меня, то я избрал жанр научной фантастики в первую очередь благодаря моему непреодолимому влечению к непознанному. В детстве я целыми часами рассматривал Луну в старый театральный бинокль. Теперь я с нетерпением жду минуты, когда на Луне высадятся люди, но не исключаю возможности, что еще до этого нам нанесут визит внеземные гости... Все это связано не с характером моих нынешних занятий, а с исконной верой в научно обоснованное чудо.

Обладая такой верой, я считал, что мои творческие данные могут проявиться полностью только в этом жанре. Тем более что научная фантастика не только открывает широкое поле деятельности авторам самых смелых гипотез, она — бесценный инструмент для психологических исследований. Ибо что может быть более увлекательным и более трудным, чем попытка интуитивно угадать чувства и реакции наших более или менее отдаленных потомков или предсказать специфические для будущего конфликты?..

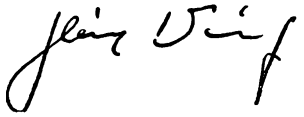
Мой ответ имеет анекдотическую концовку. Спросив себя, что же именно все-таки определило мой переход от интереса и склонности к постоянной деятельности в жанре научной фантастики (до этого я опубликовал несколько книг для детей), я вспомнил одно многозначительное происшествие. Много лет назад мне предложили написать для конкурса мой первый научно-фантастический рассказ. Поскольку это было в эпоху увлечения техницизмом, я написал об аппарате, который, улавливая инфразвуки, предвещал грозу задолго до того, как она разражалась. Через некоторое время я прочитал в газете, что специалисты тоже думают о подобном аппарате. И хотя я немедленно и бесповоротно отказался от нелепой идеи конкурировать с изобретателями, этот мой «вклад» в науку скорее всего и послужил решающим толчком к тому, что я сейчас считаю основным смыслом своей жизни.

ГЕЙНЦ ФИВЕГ (ГДР)

Для меня, как писателя, работающего в области научно-фантастической литературы, решающее значение имело общение с молодежью. Физик по специальности, я долгое время руководил группой юных техников, трудовым содружеством увлекающихся техникой любознательных подростков. Результатом этой совместной работы с пионерами оказалась моя первая книга для юношества. Ее охотно читали и быстро раскупили. Тогда я написал вторую книгу того же жанра.

Однако со временем меня перестала удовлетворять популяризация современной науки и техники. Появилось стремление рассказать людям о научно-технических возможностях будущего.

Мне хочется поделиться с читателями интересными гипотезами, прокладывающими новые пути в науке, перенеся их в мир фантастики, в мир будущего. Я хочу, чтобы люди мечтали вместе со мной, потому что фантазия умножает творческие силы, а без мечты нет перспективы. В нашем социалистическом обществе нет предела мечтам о будущем. Что может быть прекрасней, чем творческое участие в строительстве лучшего будущего?..



ГЕННАДИЙ ГОР (СССР)

Почему я избрал жанр научной фантастики?

Вопрос этот не так прост, как кажется, и я надеюсь, что читатель не будет сетовать на меня за то, что я ищу ответ не столько в своей внутренней биографии, сколько в истории и специфике этого малоизученного жанра, а также в истории современного романа.

Современный писатель ясно себе представляет, что человек — существо не только бытовое и не только эмоционально-психологическое. Раскрывая человеческую сущность художественными средствами, нельзя забывать о том, что человек — прежде всего существо социально-этическое, но кроме того, и космическое тоже.

Этот космический аспект, это новое в понимании человека со всей остротой почувствовал научный фантаст Герберт Уэллс, а еще раньше Федор Достоевский. В разговоре Ивана Карамазова с чертом, в подтексте этой многослойной, играющей множеством смысловых нюансов художественной симфонии великий писатель обыграл и космическую тему, словно предвидя и релятивистскую физику, и квантовую механику, и крайнюю парадоксальность современного нам научно-технического мышления.

Через призму философии современного естествознания нередко смотрел на человека и Томас Манн, в густой и насыщенной жизнью ткани романа как бы открывая дверь то в бездонный мир эволюционирующей вселенной, то в тайны микрокосма, то в загадку антропогенеза.

Даже далекий от позитивной науки Джойс почти в каждой фразе «Улисса» поворачивает мир и предмет так, чтобы рассмотреть все его грани и оттенки со странной для художника пристальностью морфолога.

Наука незаметно для литературоведов и даже для самих писателей вошла в «тайное тайных» литературного процесса, обновив и освежив традиционный взгляд на мир и на человека.

Научная фантастика в своих лучших, наиболее интеллектуальных проявлениях возникла из насущной потребности художественно осознать то новое, что принесла наука в современный мир, а также из неотложного стремления уничтожить разрыв между человеком, как существом эмоциональным и психологическим, и миром, космосом, вселенной. С этим новым художественным взглядом на человека и его задачи и возникла современная фантастика. Но для этого ей пришлось преодолеть одно препятствие, одну трудность, с которой далеко не все фантасты умеют справиться. Логика научного знания резко отличается от гибкой, похожей на саму жизнь, логики искусства. Жертвой непонимания специфики художественной логики нередко становятся те научные фантасты, которые смотрят на новый жанр как на своего рода гибрид, механическую смесь беллетристики и науки. Этот наивный, а иногда и примитивный научно-популярный оттенок, очень сильно дающий о себе знать в произведениях некоторых научных фантастов, своим отрицанием логики художественного мастерства нередко отпугивал от нового жанра требовательного читателя и делал фантастику чтением главным образом невзыскательных подростков. И только в наше время (в пятидесятых-шестидесятых годах) в фантастике произошла революция, значительно изме-

нив специфику и характер жанра. Продолжая высокохудожественные и подлинно интеллектуальные традиции Уэллса, появились такие замечательные писатели, как Брэдбери, Стругацкие, Ефремов, Лем и другие, которые поняли, что научная фантастика — это прежде всего искусство, и создали истинно художественные и подлинно оригинальные романы, повести и рассказы.

Если не считать Уэллса, великого открывателя, только за последние годы появилась принципиально новая фантастика, идущая не в обозе художественной прозы, как это было недавно, а рядом с ней, нередко и впереди ее, ставя перед собой новую задачу — осознать человека как потенциального хозяина мира, как завершение эволюции природы, не как случайный момент в истории вселенной, а как нечто необходимое и значительное.

Умный и сложный оптимизм научной фантастики, ее духовное созвучие внутреннему миру современного человека и создает ее литературно-художественное и морально-интеллектуальное обаяние.

Ответил ли я на вопрос, почему я стал фантастом? Мне кажется, ответил. Но чтобы мой ответ выглядел убедительным, мне необходимо хотя бы коротко коснуться одной темы, которой я уделял много внимания в своем творчестве.

Человек XVIII и XIX веков был во всех отношениях земным человеком. Его внутренний пафос, его самоуважение в значительной мере держались и на увлекательной логике географического освоения земного пространства. Любимой наукой юношества была география и этнология. И если в XVIII веке романтически настроенный человек мечтал о диалоге с загадочным жителем неисследованного материка, то сейчас кажется возможным диалог земного разума с инопланетным.

Осознание этой проблемы, проблемы контакта разнопланетных цивилизаций, создает у писателя и читателя новое, свежее и своеобразное видение мира. Мир предстает другим, необычным, как бы одухотворяются и оживают безмерные пространства. Возникает вопрос — так ли уж важно, что наступит этот контакт инопланетных цивилизаций, ведь человечество прожило несколько сот тысяч лет в «одиночестве», не чувствуя его? Да, раньше эти проблемы мало беспокоили людей, а сейчас беспокоят многих. Почему? Да потому, что человек осознал себя как прозревшую и заговорившую эволюцию вселенной.

Мечта о космических контактах связана с желанием ускорить исторический и научный процесс, показать нечто принципиально отличающееся от земного, увидеть иные логические и гносеологические закономерности. Эта мечта современного человека находит свою гипотетическую реализацию в научно-фантастическом романе.

Читатель полюбил научную фантастику, осознав ее как выражение новой романтики, романтики освоения космоса и самого духа парадоксального мышления современной науки. Но между литературоведением и фантастикой почти нет никакого контакта. Научная фантастика находится в отнюдь не равном положении с обычной бытовой и психологической прозой. Бунину или Куприну никто не ставил в вину, что рядом с ними существовали и работали Потапенко или Боборыкин. А писателям уровня Лема и Брэдбери приходится иногда отвечать за существование ремесленной продукции иных своих невзыскательных коллег. Причина этого сложная. Существующей столетия беллетристике охотно прощают банальность и стереотипность, к новому жанру относятся строже. От научно-фантастического романа ждут, чего уже не ждут от романа традиционно-бытового,— раскрытия нового в человеке, связанного с тем, что несет в себе освоение будущего.

Научная фантастика — это передний край современного художественного мышления. И писателю, естественно, хочется быть на переднем крае.

Геннадий Гор

РАЗГОВОР ШЕЛ О ФАНТАСТИКЕ

Кобо Абэ известен советскому читателю по фантастической повести «4-й ледниковый период», вошедшей в «Библиотеку современной фантастики», и по роману «Женщина в песках», опубликованному в журнале «Иностранная литература» № 5, 1966 г. Во время своего пребывания в СССР Кобо Абэ посетил нашу редакцию. Разговор шел о том, что такое фантастическая литература, каково ее прошлое, настоящее и будущее.

Мы попросили Аркадия и Бориса Стругацких прокомментировать состоявшуюся беседу.

— Нет, я не считаю себя фантастом,— сказал Кобо Абэ,— более того, я не считаю, что фантастику следует особенно выделять как жанр или вид литературы. Фантастикой для меня является любое литературное произведение, в котором автор исходит из какой-то априорно выдвинутой гипотезы. Вообще такие произведения характерны для нового времени, но сам прием выдвижения гипотезы восходит к Аристофану, Лукиану, Свифту, Сервантесу. Отграничить то, что вы называете фантастической литературой, от остальной литературы слишком сложно. Конечно, если имеются в виду хорошие фантастические произведения — и прежде всего потому, что всякое хорошее фантастическое произведение непременно проникнуто духом гуманизма, свойственным хорошей литературе вообще. Вся литература ведет свое начало от мифологии, а мифология сродни современной фантастике, я бы назвал ее древнейшей фантастикой — литературой, исходящей из гипотезы существования богов. Современная же фантастика как литература гипотезы это по сути — мифы, в которых боги умерли. С другой стороны, «Фауст» Гете, «Божественная комедия» Данте, «Нос» Гоголя тоже можно без всякого сомнения причислить к фантастике в широком смысле слова. Я хочу сказать, что современная фантастика не обязательно должна отражать научные факты, она должна стоять на позициях современного научного мировоззрения. Если же ограничить фантастику требованием отражать только научные факты, то от нее придется отлучить целый ряд интереснейших произведений, не говоря уже о ценнейших литературных традициях. Поэтому, повторяю, для меня и не существует фантастики как изолированного вида литературы. Поэтому я не могу сказать, что я фантаст только потому, что написал «4-й ледниковый период». И «4-й ледниковый период», и «Женщина в песках», и последние мои вещи — «Чужое лицо» и «Почти человек»,— как бы формально они ни различались между собой, написаны в одном ключе, с единой писательской позиции.

Точка зрения Кобо Абэ весьма характерна, хотя, к сожалению, лишь немногие у нас и за рубежом разделяют ее сознательно. Когда речь заходит о фантастике, большинство людей, даже образованных и полагающих себя культурными, вспоминает прежде всего бессмысленные сражения космонавтов с чудовищами, тягучие и нудные описания устройства несуществующих механизмов, косноязычные пустые диалоги псевдоученых с псевдошпионами, перманентную безвкусицу и фальшь в описании человеческих отношений и прочие атрибуты халтуры. Забывают про фантастическую сатиру Свифта, Гоголя и Салтыкова-Щедрина, забывают, что фантастику писали Уэллс, Чапек и А. Толстой, не знают о существовании Брэдбери и Лема. А между тем точка зрения Кобо Абэ бесспорна: настоящая хорошая фантастика пронизывает большую литературу на всем протяжении ее истории. До Уэллса литература использовала прием введения фантастического элемента для постановки и решения классических проблем

взаимоотношений человека и общества. Фантастический гротеск и фантастическая символика верно служили Рабле и Вольтеру, Бальзаку и Франсу. И вот надвинулся двадцатый век, чреватый невиданными социальными потрясениями и новой научно-технической революцией. На рубеже веков в фантастику вошел Г. Дж. Уэллс. Как ученый — он догадывался, как писатель — он предчувствовал. Он стал родоначальником совершенно новой традиции использования фантастического приема. Мало того, что в уравнениях классической литературной проблематики он заменил чародейство естествознанием,— он еще и показал, что перед литературой вырастают новые проблемы, ставить и решать которые ей придется отныне почти исключительно с помощью фантастики. Он словно предвидел, что наступит время, когда будущее перестанет быть чем-то неопределенным, перестанет неясно маячить за далеким горизонтом, а придвинется вплотную к сегодняшнему дню. Может быть, не все еще это понимают, но бешеное развитие науки уже поставило нас лицом к лицу со всеми мыслимыми и немыслимыми следствиями такой ситуации. Достаточно сказать, что уже сегодня ученые могут послать в космос сигнал о существовании нашей цивилизации и получить ответ. По-видимому, только с помощью фантастики литература может сделать подобные новые проблемы, вставшие перед человечеством (а имя этим проблемам — легион), частью мировоззрения читателя. Именно поэтому фантастика в шестидесятых годах двадцатого века приобретает исключительное значение. Герой «4-го ледникового периода» Кацуми стал жертвой несоответствия своего мировоззрения новому времени. Как мещанин по воспитанию, он весь принадлежал прошлому; как гениальный ученый, он активно приближал будущее и погиб потому, что был не в состоянии представить себе это будущее иначе, чем повторением прошлого.

— Я, пожалуй, согласен с такой трактовкой моей повести,— сказал Кобо Абэ.— Но, кроме того, мне хотелось показать, сколь сложна и запутанна связь между технологией и идеологией. В условиях такой сложности субъективные устремления человека сплошь и рядом вступают в противоречие с объективными результатами его деятельности. Это всеобщая трагедия, характерная так или иначе и для капиталистических, и для социалистических стран. Но несмотря на это (а может быть, и благодаря этому) поступательный ход истории не тормозится и не прерывается.

Если говорить о возможности предвидеть будущее, то будущее, конечно, может быть познано и должно познаваться. Но для загляда в будущее нужна смелость. Человеку будущего его время может казаться прекрасным, но обыкновенному человеку сегодняшнего дня оно наверняка представилось бы мало подходящим для привычной жизни. Наши представления о будущем слишком ограниченны и консервативны. Чтобы смело смотреть в глубину времен, мы должны решительно отказаться от этих представлений, набраться мужества «оторваться от земли». Ребенок, еще не научившийся ходить, ползает на четвереньках, ему невыразимо страшно подняться на ножки и сделать свой первый шаг. Мы очень любим свою сегодняшнюю землю, нас радует, что мы твердо стоим на ней обеими ногами, и мы безумно боимся оторваться от этой привычной опоры, от всего привычного, милого нашему сердцу. Некоторые критики имеют обыкновение писать, что тот или иной роман плох, потому что автор якобы нетвердо стоит на земле. Такие критики напоминают мне ребенка-ползунка. Чтобы встретить будущее, мы должны быть готовы отрешиться от привычных представлений.

Это суждение Кобо Абэ находится в прямой связи с его словами о непременном (и трагическом) несовпадении субъективных намерений с объективными результатами. История знает, что каждое поколение стремится построить будущее в соответствии со своими идеалами настоящего. Однако ни одному поколению не удалось законсервировать свое настоящее. И чем активнее были попытки законсервировать действительность, тем грандиознее оказывались социальные взрывы, переводившие общество на новые ступени истории, тем больше оказывался разрыв между реально наступившим будущим и будущим, каким его пытались представить, тем больше углублялась пропасть между новыми и старыми философско-моральными представлениями. Любопытный пример по этому поводу приводят Пауэлс и Бержье в своей книге «Утро магов». Если бы в наши дни воскрес рыцарь-монах, участник крестовых походов, и если предположить, что ему удалось разобраться хотя бы самым поверхностным образом в условиях нашего сегодняшнего существования, его поразили бы не автомобили и самолеты, которые он счел бы обыкновенным чародейством; не моды и странные обычаи, которые он бы, преодолевая известное отвращение, смог бы в конце концов перенять; и даже не космические перелеты, которых он бы просто не понял. Больше всего его поразило бы то обстоятельство, что христианский мир, располагая смертоносным, неотразимым ракетно-ядерным оружием, поистине воплощающим гнев божий, до сих пор не обрушил это оружие на головы нечестивых, дабы отобрать у них гроб господень. Со времен крестоносцев прошло восемь столетий. Но не покажутся ли столь же нелепыми некоторые наши нынешние представления о целях жизни уже через несколько десятков лет? Сегодняшний человек должен иметь это в виду, должен внимательно следить за появлением и развитием новых тенденций и тщательно учитывать все то новое, из чего складывается фундамент грядущего. Материальной составляющей этого фундамента является, по сути, технический прогресс.

— В Японии часто можно услышать, что технический прогресс вреден для человечества,— сказал Кобо Абэ.— Зачастую высказываются опасения, что дальнейшее

развитие техники приведет к деградации человека, человек перестанет мыслить, вычислительные машины настолько облегчат его жизнь, что ему вообще не придется работать, в том числе и творчески. Раньше продавцы японских магазинов пользовались обыкновенными счетами и делали это удивительно ловко. Сейчас везде появились портативные счетные машины, и многие спрашивают: «Зачем эти машины? Продавцы прекрасно управлялись со счетами. Не превратятся ли они теперь в механические придатки своих машин?» Я решительно не разделяю этих опасений. До последних лет человеку приходилось «вручную» производить невероятное количество вычислений. Теперь это делает машина, и она действительно успешно конкурирует с человеком в способности давать быстрый и точный результат. Но программу вычислений ей дает человек, и вот здесь уж ни о какой конкуренции не может быть и речи. Машина бессильна сама себя программировать. Так что произошла попросту переоценка ценностей. Человек перестал цениться за то, что умел выполнять функции машины, теперь его ценят за то, что он умеет управлять этой машиной. Человек из счетчика превращается в изыскателя. Впрочем, это только мое мнение — в японских газетах часто высказываются противоположные суждения.

Тот аспект технического прогресса, о котором говорит Кобо Абэ, действительно не вызывает беспокойства. Теперь уже ясно, что человеку просто не удастся стать механическим придатком умной машины. Опыт показывает: чем умнее машина, тем более квалифицированным, более творческим работником должен быть ее хозяин. Однако у проблемы технического прогресса все-таки есть несколько опасных аспектов, и один из них, едва ли не самый важный, это вопрос о свободном времени. Вследствие технического прогресса количество свободного времени у любого участника производственного процесса будет неуклонно возрастать. Это обстоятельство оборачивается благом для человека разностороннего, интересующегося миром, творчески настроенного, которому никогда не хватает времени и никогда не бывает скучно; но это же обстоятельство грозит разрушить мораль человека ограниченного, невежественного, не знающего и не признающего иных способов времяпрепровождения, чем примитивные развлечения. Поэтому вопрос о воспитании творческого человека, вопрос о воспитании Человека в человеке стоит сейчас особенно остро.

В разрешении этого вопроса роль литературы огромна. И нельзя не согласиться с тем, что огромна, в частности, роль настоящей фантастической литературы, которая по самому своему существу является антимещанской и антиконформистской, учит читателя думать, будит его воображение, внушает ему, что мир сложен, интересен и требует его, читателя, постоянного и активного вмешательства.

Писатели-фантасты не могут пожаловаться на невнимательность советских читателей. Книги зарубежных и отечественных авторов раскупаются с молниеносной быстротой, многие сразу становятся библиографической редкостью, в библиотеках за ними выстраиваются очереди. Ученые и студенты, старшеклассники, квалифицированные рабочие и сельская интеллигенция являются жадным, благодарным, умным потребителем этого вида духовной пищи. Армия читателей, воспринимающих фантастику как серьезную, жизненно необходимую литературу, велика и растет в Советском Союзе с каждым годом.

— Идеальный читатель фантастики — это читатель, свободный от догматического восприятия действительности, читатель с хорошо развитым воображением,— сказал в заключение Кобо Абэ.— Я от души завидую советским фантастам, имеющим у себя на родине такую широкую читательскую аудиторию. В Японии за последние годы интерес к фантастической литературе тоже значительно вырос. Впрочем, точнее будет сказать, что намечается тенденция роста. поскольку о значительных количественных изменениях говорить пока не приходится. Кроме того, эта тенденция относится не только к фантастической, но и ко всей современной литературе в целом. Но так или иначе, этот факт радует. Я думаю, что в СССР интерес к фантастике первоначально тоже проявлялся лишь в виде подобной тенденции, которая в дальнейшем привела к количественному росту читательской аудитории. Сейчас в Японии огромной популярностью пользуется русская классическая литература. Можно предположить, что эта популярность распространится с течением времени и на советскую фантастику, которая, как и вся советская литература, стремится продолжать традиции русской классики.

Беседа продолжалась три часа. Конечно, это слишком мало (особенно если учесть трудности, связанные с языковым барьером) для того, чтобы хорошо узнать человека, озабоченного судьбами мира. Хотелось бы продолжить личные контакты, хотелось бы прочесть больше его книг, особенно его последние произведения — роман «Чужое лицо» и фантастическую сатиру «Почти человек». И все-таки начало узнаванию положено. Главное мы уже знаем: в далекой Японии живет и работает талантливый, умный писатель, гуманист, друг нашей страны и нашей литературы, соратник в трудном деле познания современности.

А. СТРУГАЦКИЙ, Б. СТРУГАЦКИЙ

ДОКАЗУЕМОЕ БУДУЩЕЕ

Кобо Абэ. Четвертый ледниковый период. Перевод с японского С. Бережкова. Библиотека современной фантастики, т. 2. Москва, «Молодая гвардия», 1965.

Самое интересное будущее — ближайшее, так сказать, доказуемое. То самое, которое просматривается и прощупывается в настоящем. В котором действуют разумные люди, а не мыслящие кристаллы или толковые косинусы.

Кобо Абэ знает это. Его герои — японцы шестидесятых годов. В будущее они проваливаются, как в песчаную яму,— ненароком, во время рассеянных прогулок по настоящему. Именно проваливаются, а не взлетают. Кобо Абэ думает о будущем плохо, смотрит на него с ужасом.

Книги Кобо Абэ, в сущности,— картины современной жизни, в ее непосредственном, доказуемом продолжении.

Те же люди — Хомо Сапиенсы, а не Хомо Ультрасапиенсы. Тот же образ действия. Время и место действия несколько сдвинуты, но так, что из сегодняшнего дня к ним тянутся зримые мостки, что их можно рассмотреть простым глазом. Те же, в общем, проблемы, особенно главная: крайние формы подавления человека классовым обществом.

Лет тридцать назад эти формы назывались нацизмом, фашизмом, японским милитаризмом. У них были емкие символы — например лаборатория, где-нибудь в Освенциме, в которой ставились опыты на людях, где моральные нелюди доводили людей до физической потери человеческого.

Кобо Абэ всматривается в фашизм девяностых годов двадцатого столетия (или двадцатых годов двадцать первого). Он ищет символы фашизма будущего. Лаборатория, где человека приучают к нечеловеческому образу жизни в глубинах моря, не так уж далеко ушла от лаборатории, где людей испытывали при невыносимых для них температурах.

Книги Кобо Абэ — картины жизни, и он справедливо называет их повестями и романами, а не волшебными сказками, потому что волшебная сказка есть картина не жизни, а сна.

В книгах Кобо Абэ много политики. Но и в японской действительности много политики. Впервые в новой истории этой страны субъектом политики стали широкие массы. Впервые думают, действуют и многое решают миллионы японцев.

В книгах Кобо Абэ много от детектива. Но Япония — страна хорошо организованной преступности, обетованная земля картелей и синдикатов гангстеров.

Много техники. Но темп технической революции в Японии выше, чем где-нибудь в капиталистическом мире.

Много экзотики, но двадцатый век в Японии действует на земле, насквозь проросшей феодализмом. Не будем забывать, что новая история этой страны насчитывает едва сотню лет.

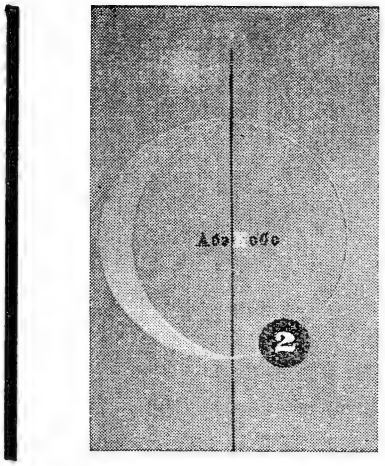
В книгах Кобо Абэ много печали. Но японцы — единственный народ в мире, испытавший тяжелое военное поражение в форме атомной бомбардировки и поныне зависящий от страны, пославшей на их города атомные бомбардировщики.

Итак, странное, удивительное, фантастическое у Кобо Абэ доказуемо, объяснимо, может быть, потому, что его образовательная подготовка—медицинская, а эта профессия не располагает к беспочвенному мистицизму, может быть, потому, что его работе в фантастике предшествовали годы работы в реалистической прозе.

Как бы то ни было, фантастика нашего автора — не волшебная.

Однако перейдем к рассмотрению повести «Четвертый ледниковый период». Ее двести страниц очень емки. Там есть и техника, и детектив, и экзотика. Скажу несколько слов только о политической стороне повести, о «Четвертом ледниковом периоде» как социальной фантастике.

«Толстые пласты ноздреватого ила на пятикилометровой глубине, неподвижные и мертвые, косматые, словно шкура допотоп-



ного зверя, вдруг вспучились, поднялись и сейчас же распались, обращаясь в кипящие темные тучи, гася бесчисленные звездочки планктона, роившиеся в прозрачном мраке.

Обнажилось изрезанное трещинами скальное основание подводной равнины. Из трещин, выбрасывая обильную пену, полезла вязкая, светящаяся бурым блеском масса и протянула на несколько километров скрюченные, как корни старой сосны, отростки. Продуктов извержения становилось все больше, исчезло темное сияние магмы, и уже только исполинский столб пара, бешено крутясь и разбухая, беззвучно и стремительно поднимался сквозь тучи взбаламученного ила».

Так начинается повесть. Под действием тектонических причин уровень мирового океана быстро повышается. В течение немногих десятилетий море заливает большую часть суши.

Кобо Абэ кратко указывает, что Советский Союз нашел гуманные пути приспособления своего населения к новой геологической эпохе. Гуманные в буквальном смысле, то есть с сохранением человека как биологического вида и с сохранением общества как коллектива людей.

Какие именно пути — Кобо Абэ не пишет. Его интересует приспособление к мировой катастрофе капитализма, причем капитализма в японской форме, то есть строя, в котором он рос и вырос.

Надо сказать, что катастрофа, по условиям предложенной японским автором задачи, не неожиданна, не мгновенна. Ее заблаговременно предсказали мыслящие машины. Она длится десятилетия. Речь идет не о мгновенной (а потому, возможно, и случайной) реакции, а о многолетней, продуманной и тщательно осуществленной акции, о всемирно-исторической проверке степени пригодности капитализма для решения задачи спасения рода человеческого.

Капитализм, по Кобо Абэ, молчаливо отвергает предложенный Советским Союзом план совместных действий и находит свое решение. Оно состоит в насильственном и коварном разрушении человеческого в человеке, в принудительном преобразовании человека в новый биологический вид — подводного человека с жабрами вместо легких, способного жить и работать в глубинах океана.

Денежные короли создают расу рабов, которая должна обеспечить их жизнь и их власть на немногих уцелевших горных островках.

Кобо Абэ не строит исторических аналогий. Но как не вспомнить хотя бы веймарскую Германию, где буржуа перед лицом надвинувшихся на них военного поражения, Версаля и народного гнева произвели свой политико-биологический эксперимент, попытались вывести расу «подводных людей», пусть без жабр, но столь же далеких от «человека разумного» и особенно от «человека совестливого»!

Наверно, Тиссену или Флику казалось, что надвигающиеся на них кризис и революция не менее страшны, чем геологическая катастрофа.

Книга Кобо Абэ кончается тем, что подводные люди подчиняют себе своих наземных изобретателей и хозяев.

Это также имеет прообраз в той же истории фашистской Германии, в ее заключительной главе.

Капитализм, по Кобо Абэ, не выдерживает всемирно-исторического испытания, испытания будущим, испытания катастрофой. Он проваливается. Сначала морально, обдуманно предав свой биологический вид, человечество. Потом физически — не осуществив поставленной задачи самосохранения, погибнув под ударами своего же Голема.

Кобо Абэ разграничивает четко, хотя и излишне лаконично. Его пессимизм не всеобщий. Гибнет не человечество, а его капиталистический сегмент. Не выдерживает испытания катастрофой не род людской, а та его часть, которая возглавлена финансовыми королями.

Карел Чапек, исходя из того же самого исторического прототипа, создал свою «Войну с саламандрами». Кобо Абэ добрее к мыслящим существам, чем Чапек. Его подводные люди человечнее саламандр, а созданная ими цивилизация вызывает меньше иронии и больше симпатии.

Хочется сказать о некоторых особых чертах социальной утопии японского писателя.

1. Либерализм — так он обозначает и действующий в Японии политический строй, и его идеологию — слаб, жалок, призрачен. Хозяева страны — тресты действуют с минимальной оглядкой на государство. Их преступления цинично откровенны. Интересно, что религия, которая почти в любой европейской стране сыграла бы немалую роль в столь апокалиптических обстоятельствах, у Кобо Абэ в Японии «Четвертого ледникового периода» не действует, не осмысляет, кажется, даже не упоминается. Когда герои повести рассуждают о моральности происходящего, они взывают не к богу, а к будущему.

2. У японского автора нет присущего фантастам иных стран смакования сыто-

сти, довольства, технического сервиса. И это несмотря на то, что действие происходит по крайней мере «двадцать лет спустя» или «тридцать лет спустя» наше время. Сужу хотя бы по уровню мыслящих машин.

Мизерабельность, материальное небогатство, присущие нынешней Японии, сопутствуют, по Кобо Абэ, и Японии ближайшего будущего.

3. Странная вежливость, изысканная почтительность его к избивающим и избиваемым, между убийцами и жертвой, растянутость церемониала, столь непривычные для европейской литературы, пронизывают повесть.

Кобо Абэ предложил свои условия задачи. И сам решает ее — исходя из этих условий — логично.

Человечество погибнет, если налицо соотношение сил, описанное Кобо Абэ, то есть всемогущие тресты против одного кабинетного ученого-идеалиста, целый мир картелей против человека, вычлененного из общественных связей, не говоря уже о политических,— против человека, у которого нет ни одного личного друга.

Однако правильны ли условия задачи?

Сводится ли политика сегодняшней Японии к слепому и бессильному либерализму официальной государственности?

На самом деле трестам противостоит не чахлый либерализм, а японский народ, в котором живы организованные революционные силы.

Этот фактор Кобо Абэ попросту снимает с доски. Посылки писателя неполны, а следовательно — неверны.

Где-то в конце прошлого века, где-то между Уильямом Моррисом и Гербертом Уэллсом, фантасты погрустнели. Их оптимизм сменился пессимизмом. Картины золотого века — картиной «железной пяты».

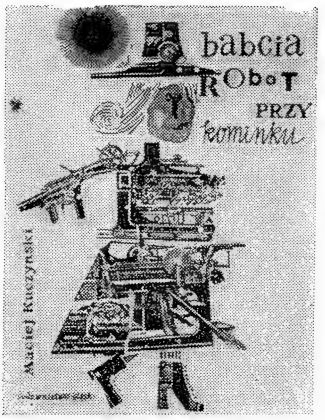
Победа империализма заставила усомниться в надежности прогресса человечества. Морлоки и элои Уэллса показались фантастам куда более реальной перспективой, чем счастливые сны Кабе.

Однако в 1917, в 1945 и во многие другие годы нашего столетия произошли события, которые не могут не учитываться авторами, серьезно думающими о перспективах человечества.

БОРИС СЛУЦКИЙ

РАЗУМ ОДЕРЖИТ ВЕРХ

Maciej Kuczyński. Babcia-robot przy Kominku. Katowice, Wydawnictwo "Śląsk", 1963.



За последнее десятилетие ценители научной фантастики (а число их у нас с каждым годом все возрастает) узнали и полюбили книги талантливого польского фантаста Станислава Лема, который сделался у нас, пожалуй, более популярен и известен, чем у себя на родине.

Совсем недавно появился в русском переводе сборник фантастических рассказов молодого писателя Конрада Фиалковского, «Пятое измерение», продолжающего лемовские традиции в современной польской литературе.

А вот книга еще одного польского автора, работающего в этом жанре,— томик фантастических новелл Мацея Кучинского «Бабушка-робот у камина», вышедший не так давно в Польше. Надо думать, что советский читатель с интересом прочел бы некоторые из его рассказов.

Свою фантастику Кучинский вовсе не стремится солидно оснастить с научной стороны. Он разочарует и тех, кто в фантастическом повествовании жаждет найти глубокую психологическую обрисовку характеров, добротную бытописательскую основу.

Рассказы Кучинского — это легкие наброски пером. Герои, ситуации только намечены, прорисованы неокончательно. Кажется, что вся картина еще пребывает в движении. Автор словно бы сам не уверен, что все должно произойти именно так, а не иначе. Тем не менее самый фантастический вариант он готов принять на какой-то момент в качестве своего рода «рабочей гипотезы», как бы втягивая и читателя в игру своего беспокойного воображения.

Перед нами рассказ, давший заглавие сборнику,— «Бабушка-робот у камина»: та же традиционная бабушка, только бабушка-робот, которая рассказывает внучатам-роботятам сказочку... Когда-то некий правитель, «одержимый светлыми идеями», желая осчастливить человечество, решил довести мир до абсолютного совершенства. С помощью миллионных армий роботов он создал гигантский сверхмощный электронный мозг, извилины которого прости-

рались за пределы вселенной. Супермозг призван был ответить на вопрос: что же еще необходимо устранить на Земле, чтобы жизнь на ней сделалась воистину прекрасной? Поручив роботам довершить преобразовательные мероприятия, правитель тут же забыл про заданный вопрос, вновь погрузившись в думы о судьбах человечества. Миллионы соответственно запрограммированных роботов, получив ответ супермозга, резво и старательно выполнили все, как положено. Суть же ответа сводилась к тому, что для наведения идеального порядка во вселенной необходимо удалить из ее пределов всех разумных обитателей вместе с тем правителем, который одержим был «светлыми идеями».

Легкая авторская усмешка смягчает, скрашивает всю ту картину отутюженного и сверкающего своим совершенством автоматизированного царства роботов, которая предстает перед нами. Автор вовсе не собирается запугать нас апокалиптическими сценами гибели человечества. Чего стоит его с улыбкой и юмором нарисованная фигура патриархальной бабуси, греющейся у камина (пусть хотя бы и бабушки-робота)! Вместе с тем ирония писателя вовсе не беззаботна. В изображенной Кучинским гипотетической проекции его самого настораживает не неразрешимость конфликта: люди — роботы, но скорее мысль о том, как бы постепенный переход ко все большей автоматизации жизни не развил у некоторых представителей рода человеческого иждивенческой психологии, что привело бы, как это явствует из притчи бабушки-робота, к полнейшей инфантильности, к утрате человеком активного, действенного начала. А это уж и вправду небезопасно.

Словом, пуская свою фантазию в свободный полет, автор все время как бы озабочен одним: не отстанет ли человеческое сознание, человеческий интеллект от стремительного научного и технического прогресса. Короче говоря, не превратится ли человек на каком-то этапе в невольную игрушку или жертву своих же научных открытий и достижений? Именно этому посвящены такие рассказы Кучинского, как «Наши люди в космосе», «Подруга космонавта» и ряд других.

Впрочем, эта озабоченность гуманиста некоторыми будущими аспектами технического прогресса вовсе не носит у автора характера навязчивой идеи. Как видно, сам писатель верит в то, что человеческий разум в конце концов одержит верх, что, впрочем, свойственно большинству произведений писателей-фантастов из стран социализма.

Рассказы М. Кучинского представляют собой своего рода ироническое эссе. А ведь ирония — вовсе не признак растерянности, она — чаще всего — свидетельство уверенности и силы. Поэтому ироничная фантастика М. Кучинского, при всей внешней нелучезарности некоторых нарисованных автором картин, по сути своей глубоко оптимистична.

С. ЛАРИН

ГОЛОС ОТЧАЯНИЯ

Leo Szilard. The Voice of Dolphins and Other Stories. New York Simon and Schuster, 1959.

Лео Сцилард — один из известнейших физиков современности. За его плечами — десятки книг и статей. И лишь «Голос дельфина» не содержит интегралов и формул; это сборник научно-фантастических рассказов. В одном из них дельфины оказываются единственными существами, сохранившими разум в этом «безумном, безумном, безумном мире» и спасшими мир от атомной смерти. В других рассказах чудо не совершается — мир погибает. Эта книга с равным успехом могла бы называться «Голосом разума» или «Голосом отчаяния».

Человек, упорно возвращающийся к литературе, несмотря на то, что его талант явно не литературного свойства,— это ослепленный графоман или отчаявшийся пророк. Сцилард — из племени Исайи и Иова. Перед войной он покинул Венгрию, бежал от фашизма, начал работать в США. Тем временем Гитлер распинал Европу на свастике. Нетерпеливая ненависть к фашизму сжигала Сциларда. Он написал знаменитое письмо Рузвельту, в нем говорилось о страшной силе тогда еще гипотетического ядерного оружия. Сцилард был убежден в возможности его создания, страшился, что немцы поймут это раньше союзников. Он пришел к Эйнштейну, надеясь, что авторитет Эйнштейна убедит правительство США в реальности угрозы. Эйнштейн подписал письмо — с этого началась цепь событий, окончившаяся Хиросимой.

Для миллионов людей Хиросима была трагедией человечества; для нескольких десятков ученых — для Сциларда прежде всего — она была еще и личной трагедией. Она была преступлением, он считал себя его соучастником. Она была для него и откровением: что могут сделать трумэны с наукой и людьми. Подобно Ферми, он ушел от ядерной физики, занялся биофизикой, сделал несколько блестящих работ. Призрак ядерной войны неотступно гипнотизировал его воображение — в мире появились не только атомные, но и водородные бомбы. Он стал писать рассказы, напоминающие крик. Он умер от лейкемии — профессиональной болезни физиков, работавших с бомбой.

«Каждый век имеет свое средневековье»,— угрюмо шутил Лец. Добавим: и своих пророков — обличителей и провозвестников Страшного Суда или Утопии. В XVIII веке ими были просветители, в XIX — утописты. В XX пророками стали ученые, так по крайней мере произошло со многими, кто в Америке готовил атомную бомбу. Сознание ответственности преследует их со времен Хиросимы. Возможности науки обнаженно и тесно переплелись ныне с судьбами мира, и кому, как не ученым, эти возможности, сулящие ад или страну обетованную, известны лучше других?

Современным пророкам нужны миллионноликие аудитории, ибо речь идет о жизни и смерти человечества; им нужен язык, близкий им и людям, образный и в то же время точный; нужны художественные формы, способные вместить картины глобальных масштабов и контуры целых эпох. На пересечении этих требований и лежит научная фантастика. Мифы нашего времени воплотились в ней не менее ярко, чем его реальность.

Угрозы и надежды сегодняшнего дня развернуты в фантастические картины завтрашнего. Вглядываясь в них, пророки и скептики, мечтатели и циники ищут свое понимание действительности. Желчные романы Хойла не похожи на виртуозные и холодные кружева Азимова, но в их фантастических мирах угадывается некая общность тревог и опасений. Это тревоги и опасения, свойственные ученым, участникам пагуошского движения, к которому можно причислить и Сциларда. Хойл скептичен: разумно организованная деятельность ученых в его романах — всего лишь островок разума в океане политического цинизма и глупости, которым ему представляется мир. Азимов осторожен, он охотно конструирует картины общества и истории, основанных на принципах железного рационализма, одновременно предостерегая от тотальной кибернетизации бытия.

Брэдбери и Шекли не дают рецептов. Их взгляд различает в мире не скелет управляющих связей, а человека, таящего в себе зло и добро. Ужас тотального конформизма, стерилизации душ, победы машинного, массового, по необходимости стандартизованного начала над богатством начала индивидуального пугает их не меньше, чем кошмары атомной катастрофы. Добро, скрытое в душах простых людей, кажется им более надежным орудием спасения, чем холодный рационализм науки или непогрешимость управляющих машин. Там, где ученые взывают к разуму, такие писатели-фантасты обращаются к чувству добра, красоты, справедливости.

Печально-циничный Буль кажется одинаково разочарованным и в людской породе, и в мудрости человеческого разума. Но и в его разочаровании скрыт протест, который нельзя не услышать. Подобно Дюрренматту и Веркору, он пришел в фантастику, чтобы рассказать о своем знании человека и мира, чтобы бичевать политическое лицемерие, человеческую косность и тупое самодовольство мещанина.

Даже в этом хоре, хоре честных писателей буржуазного Запада, голос Сциларда звучит с какой-то особенной страстностью. Книга Сциларда удивительна. Никаких отвлечений, никакого украшательства. Сюжет для Сциларда — всего лишь кратчайший путь от тезиса к доказательству, образ — не более чем ссылка на другие источники. Его рассказы — это почти уже не фантастика, они больше напоминают протокольный отчет об апокалиптическом видении. Герои Обручева, дойдя до края подземной страны, увидели перед собой бесконечную черную пустыню. Рассказы Сциларда — такая же литературная пустыня, сожженная радиоактивным солнцем. Черное солнце рождает чудовищные и однообразные миражи. Однообразен даже сцилардовский Страшный Суд — это «всего лишь» третья мировая война. Не трубы архангелов, а вой ракет рассекает воздух. Грохот взрывов и тишина всепланетного кладбища, и в кратком миге между грохотом и бесконечной тишиной умещается вся история человечества.

С первых же страниц мир будущего ввергнут в современный, научно обоснованный, атомно-водородный ад. Кто начал эту войну? «О, говорят, что это были Мы или Они, и, кажется, это было действительно так... Никто не узнает... она началась, и так это было...»

На последних страницах — пустынные города на мертвой Земле и копошащиеся в развалинах Пришельцы, пытающиеся разгадать загадку самоубийства цивилизации.

Разум Сциларда загипнотизирован не менее, чем его воображение. Политика бомбы, орудием и жертвой которой он стал, кажется ему синонимом всякой политики вообще. Всякая политика кажется символом общечеловеческого безумия. Хиросимская трагедия объявлялась продиктованной «соображениями государственной безопасности»; корейская война прикрывалась «соображениями национального престижа»; отныне политические лозунги — на любом языке — станут для Сциларда слепыми фантомами психоза, влекущего мир к пропасти.

Мучительно видеть трагическую слепоту этого неистового просветителя — заглядывая в будущее, он видит в нем лишь повторение раз и навсегда потрясшей его трагедии. Видит мир сквозь «комплекс виновности», сквозь жуткий атомный гриб. Мысль его не может вырваться из круга, очерченного воображением.

Историческая концепция Сциларда ошибочна: история для него — только роковая цепь преступлений, порождаемых преступлениями. Он не видит сил, способных порвать эту цепь, народы для него — лишь пешки в политической игре. Это одно из его трагических заблуждений; другое — в том, что он не хочет видеть корней политики. С равной и несправедливой брезгливостью он говорит о факельщиках войны и тех, кто противостоит им, защищая человечество. По его внесоциальному счету преступны все, кто причастен к «свальному греху» неразумия и атомной катастрофы. Он беспощаден ко всем — с такой же отстраненностью и холодной брезгливостью пишет он в своей хронике грядущих событий о суде над «военным преступником Лео Сцилардом».

Ему чужды раздумья о преимуществах тех или иных социальных систем, о путях прогресса — ведь впереди он видит пустыню. И он кричит о ней — о непоправимости атом-

ной смерти, о драгоценном даре цивилизации, отданном в руки слепых и неразумных. Даже там, где он решается говорить о будущем без войны, рай, нарисованный им, ужаснее атомного ада. Благоустроенная планета Земля в XXI веке населена скопищем беззубых и отвратительных уродов. Идеалы — счастье, сытость, слава, богатство, даже решение социальных конфликтов — достигаются только лишь на пути парадокса, на пути очевидной и бессмысленной нелепости. Счастье — удалить все зубы, как диктует мода, установленная фабрикантами «жующих тарелочек»; сытость — вывести кишечник в запасный резервуар и спокойно жрать, не боясь полноты; слава и деньги—это мистер Марк Гейбл, продающий свое семя оптом и в розницу, лучший в мире производитель детей, ослепительно улыбающийся миллионам своих отпрысков со страниц газет и журналов. Безработных нужно усыпить, чтобы возникла потребность в массовом строительстве усыпальниц, а с нею — спрос на рабочую силу. Венец прогресса — фонд мистера Гейбла, созданный «Для регресса науки».

Быть может, именно здесь кроются корни страсти и ослепления пророка? Он чужой в том мире, где все извращено торгом, и свое отчуждение переносит на весь мир. Попадая в затерянные впереди века, вместе с Пришельцами всматривается Сцилард в итоги современной цивилизации. Не в заброшенных библиотеках, театрах или музеях мертвых городов находят Пришельцы ключ к пониманию исчезнувшей культуры: все, чем мы гордились и что обратили в атомный прах, прахом и легло. Символом покончившей с собой цивилизации высятся на безлюдной планете общественные уборные, и это в их входных кассах, заполненных странными «дисками» (монетами), один из Пришельцев находит разгадку: «система производства и распределения, основанная на обмене дисков, не может быть стабильной». Эта система может привести к войне между организмами одного и того же вида, предполагает он, но эти догадки кажутся его разумным спутникам нелепостью, невозможной нелепостью. Невозможным, неразумным кажется им все то, что принято считать естественным в окружающем Сциларда мире.

Сцилард судит свой мир и осуждает его. Он приговаривает его к смерти и забвению. Этот мир неразумен, поэтому я отрицаю его! — кричит он в отчаянии. Его ненависть — не к человеку, не к человечеству, а к системе, в основе которой — деньги и грязь, в итоге которой — войны и смерть. Его ненависть — к путанице иллюзорных понятий, лицемерных лозунгов, фанатичных предрассудков, взаимных подозрений и страхов.

Таково кредо воинствующего просветительства XX века. Сцилард — его пророк и проповедник. Истинный проповедник, он не может не попытаться предложить «рецепт» — просветительский рецепт спасения души, простейший алгоритм отпущения грехов: станьте разумны! Втайне он думает о возможности «устроить» продуманный порядок вещей: ему кажется, что ученые управляли бы миром лучше, чем политики. Но, пожалуй, этот неистовый просветитель в глубине души не очень верит в свои рецепты. Он остается наедине с разъедающим сарказмом и безнадежным разочарованием.

С такой же последовательностью не приемлет окружающий мир Рэй Брэдбери. Но этот изверившийся лирик не приемлет мир сегодняшний и его завтрашнее продолжение за бездушие, за конформизм, кастрирующий души. Его отрицание эмоционально: мир бездушен и потому бесчеловечен. Это позиция «Прохожего», затерявшегося в «каменных джунглях» современности, голос песчинки из глубин человеческого водоворота.

Отрицание Сциларда рационалистично: мир неразумен и потому бесчеловечен. Его позиция — это позиция десятков честных и встревоженных умов Запада, его иллюзии — их иллюзии, его тревога — их тревога. В нем все подчеркнуто: скепсис переходит в саркастический гротеск, недоверие превращается в законченное разочарование, беспокойство возвышается до гневного протеста. Он плоть от плоти своего времени и своего мира.

Он считал себя первым звеном роковой цепи — и был, конечно, не прав. Звенья цепи подбирала история — она прокладывала науке путь на авансцену века. Драматизм происходящего со Сцилардом и ему подобными заключался не только в необратимости, но и в неизбежности процесса. Тяжесть социальных противоречий неизбежно деформирует облик научного прогресса; только в разумно устроенном мире логика научного развития естественна, ибо совпадает с логикой жизни. Сциларда можно понять — путь далек, а совесть нетерпелива: неразумие стоило — уже на нашей памяти — и Освенцима, и Хиросимы. Можно понять и Эйнштейна, сказавшего незадолго до смерти, что, начни он сначала, он пошел бы в водопроводчики. Можно понять голос большой человеческой совести, но наивно думать, что мир станет лучше, если Эйнштейны заменят водопроводчиков, а водопроводчики — Эйнштейнов.

Бегство Сцилларда от политики сродни утопической мечте Эйнштейна — это страстное желание не быть причастным к преступлению. Есть и другие пути: Хиросима не только породила пророков от атомной физики, она их и разделила. На той же планете, где Бернал и Жолио сражаются за мир с подчеркнуто социальных позиций, Эдвард Теллер — отец водородной бомбы — призывает к крестовому походу против коммунизма. Для Сцилларда путь Теллера чудовищен и неразумен, но и путь Бернала для него недоступен. Как и большинство пагуошцев, он заражен недоверием к социализму. Он не сумел подняться над предрассудками своего клана, но он сумел выразить его тревогу и протест с такой яростной силой, которая делает фантастическую книгу о будущем потрясающим документом современности, свидетельством гражданского мужест-

ва, показанием очевидца, сердце которого «страданиями человеческими уязвлено стало».

Р. НУДЕЛЬМАН

КАК ПОСТРОИТЬ МИР?

А. Азимов. Я, робот. Научно-фантастические рассказы. Перевод с английского А. Иорданского. Предисловие И. А. Ефремова. Москва, «Знание», 1964. 175 стр.

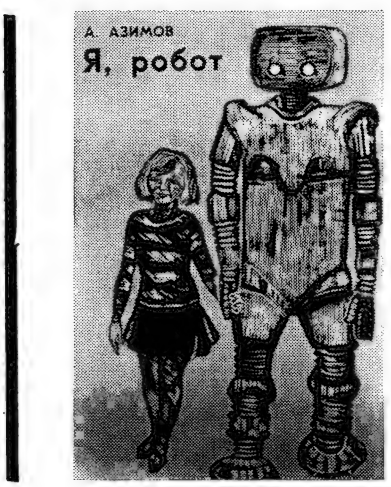
Путь марсиан. Перевод с английского. Предисловие А. Стругацкого и Б. Стругацкого. Москва, «Мир», 1966. 422 стр.

Конец Вечности. Роман. Перевод с английского Ю. Эстрина. Предисловие Э. Араб-Оглы. Москва, «Молодая гвардия», 1966. 300 стр.

Современную фантастику создают по преимуществу ученые; это известно. Но большинство из них использует свою причастность к науке (и особенно навыки научно-логического мышления) в основном как надежную опору для фантастических конструкций. Лишь немногие действуют по-настоящему активно и плодотворно в обеих областях — литературе и науке. Таков, например, Артур Кларк. Таков и Айзек Азимов. Он видный биохимик и талантливый популяризатор науки — но и в литературе он сделал много, и, не зная его книг, нельзя составить достаточно полное представление об американской фантастике.

В творчестве Азимова особенно отчетливо, почти демонстративно проявляется присущий научной фантастике рационализм.

Научная фантастика основывается на убеждении в том, что человеческий разум способен познавать и переделывать мир (хотя далеко не все зарубежные фантасты верят, что мир можно существенно улучшить). Ее герой чаще всего не только Homo Sapiens, но и Homo Faber — Человек Творящий.



Герои Айзека Азимова выделяются своей энергией даже на этом фоне. Тем более что решают они чаще всего «проклятый вопрос»: как построить мир? Азимова в первую очередь интересуют проблемы управления и координации общества: в фантастике он прежде всего социолог.

Он не предлагает готовых решений. «Мы не пророки,— говорит Азимов о себе и своих коллегах-фантастах,— мы в лучшем случае нечто вроде преподавателей воображения».

Вот различные варианты «уроков воображения», которые Азимов дает на тему «Как наладить разумную координацию общества, не ущемляя ни в чем существенном интересов индивидуума?».

Один из логически возможных вариантов: люди передоверяют эти проблемы электронным супермозгам. У Азимова есть цикл рассказов о таком супермозге — Мультиваке. В рассказе «Выборы», например, Мультивак сам, на основе гигантского объема информации и тщательного анализа настроений «среднего» избирателя, осуществляет выборы президента. Решения Мультивака, наверно, во многом более обоснованны и объективны, чем сегодняшние выборы в Америке. Но, оказывается, и Мультивак не раз ошибался, даже в таком частном вопросе. В рассказе «Все заботы мира» Мультивак до того устает от сложности человеческих проблем, что замышляет самоубийство. В серии новелл «Последний вопрос» великолепные потомки Мультивака, построенные уже без участия людей и действующие в гиперпространстве, все же не могут уберечь человечество от гибели.

Другие варианты даны в серии «космических» романов и повестей, обрисовывающих эпизоды из истории галактической цивилизации («Стальные пещеры», «Нагое Солнце», «Космические течения», «Установление» и др.). Азимова влекут опять-таки его излюбленные проблемы. По сюжету эти романы относятся к детективно-приключенческим, характеры тут довольно схематичны, но логические конструкции в них сами по себе интересны.

В «Нагом Солнце» обитатели планеты Солария предоставили все дела бесчисленным роботам, а сами живут в предельной изоляции друг от друга и общаются обычно лишь по телевидению. Общество, вначале строившееся на очень четкой рациональной основе, теперь деградирует и распадается из-за просчета в конструкции: чрезмерное развитие роботехники привело к возрастающей изоляции и отчужденности.

Тяжелейший кризис переживает и Галактическая империя, образ которой рисует Азимов во многих своих «космических детективах». Гениальный ученый, социокибернетик Селдон методами «психоистории»

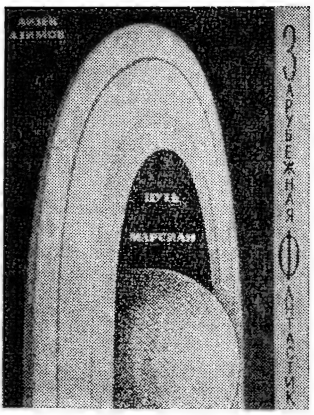
рассчитал надолго вперед возможный ход событий и основал свои институты, чтобы они противостояли анархии, которая возникнет после неизбежного распада Империи. Начинается сложная и длительная борьба организованности против беспорядка, разума — против косности.

Из цикла романов об институтах Селдона («Установление», «Второе установление» и др.) можно было бы, пожалуй, сделать вывод, что Азимов все же дает решение задачи: гениальные и честные ученые, пользуясь гигантским арсеналом познаний и надежными научными методами анализа, смогут управлять миром и строить его на разумных началах. Однако такому выводу противоречит многое в творчестве Азимова. И прежде всего «Конец Вечности» — самый яркий из его романов.

В «Конце Вечности» анализируется именно этот вариант: ученые управляют обществом. Вечность — это строго продуманная организация ученых, которая держит под неусыпным контролем историю человечества (начиная с XXIV века) и владеет возможностью неограниченного вмешательства в нее.

Мимо этих аскетов-отшельников Времени проплывает бесконечный поток столетий: 78-е... 482-е... 575-е... 2456-е... И в каждое из них можно в любой момент войти и незаметно для живущих произвести идеально рассчитанное Минимально Необходимое Вмешательство. Иногда это Вмешательство с виду ничтожно — например, нужно переставить некий ящик на другую полку,— но на проекционных экранах Вечности видны его далеко идущие последствия. Иногда — довольно часто! — приходится «убирать» открытие атомной энергии и звездолеты; жалко, да что поделаешь, человечество совсем напрасно с такой настойчивостью тянется к этим опасным игрушкам, не стоит так рисковать! Зато открытие новых антибиотиков надо перенести в более раннюю эпоху. Люди не видят отдаленных следствий сегодняшних событий, а мы, Вечные, все видим и все знаем; нам решать, нам действовать, нам беречь человечество от трагических ошибок и смертельных опасностей.

Наверно, такая возможность, будь она реальной, показалась бы крайне соблазнительной для многих и многих наших современников, терзаемых страхом и неуверенностью. Но Азимов логичен и честен в своих выводах: нет, человечество нельзя опекать, как большого ребенка. Люди позднейших веков, забаррикадировавшись от вторжений Вечных в своих Скрытых Столетиях, добиваются уничтожения Вечности, чтобы вернуть себе инициативу, свободу выбора, возможность самостоятельно решать свою судьбу. Это опасно? Да, отвечает Азимов. Но вечная опека тоже опасна. «Любая система, которая, подобно Вечности, позволяет кучке людей принимать решения за все человечество, неизбежно приводит к тому, что высшим благом начинают считаться умеренность и безопасность — синонимы посредственности»,— устами своей героини Нойс, женщины из Скрытых Столетий, говорит он.



Может быть, нужны координация и контроль хотя бы в частных вопросах? Да; но что такое частные вопросы в социологии? Азимов с блеском и изяществом строит в своих произведениях одну парадоксальную ситуацию за другой. Скажем, обучение и выбор профессии — это ведь частная проблема? Что ж, попробуем решить ее путем строгой рационализации. Надо устранить по меньшей мере два порока сегодняшней системы обучения: непродуманный отбор и ненадежное закрепление знаний; и нужно, чтобы выбор профессии перестал зависеть от случайностей, потому что в результате страдает и общество, и индивидуум. Правильно? Так вот посмотрим, что получится, если сделать логические выводы из этих посылок.

Получается, к примеру, то, что изображено в рассказе «Профессия». Общество строго регламентировано всеобщей системой образования; самый важный пункт в этой системе — правильный выбор профессии — делается помимо воли человека: кибернетические автоматы, тщательно изучив структуру мозга, точно определяют, для какой профессии наиболее пригоден данный индивидуум. Затем человек проходит быстрый, полностью автоматизированный «курс обучения»: его мозг «заряжают» знаниями при помощи лент, на которых сосредоточены все небходимые для данной профессии сведения. За пределами автоматизированного обучения остается очень небольшой процент юношей и девушек — тех, чей мозг при анализе оказался по структуре пригодным для научного творчества (ни о каком другом творчестве в этой сверхрациональной системе и речи нет). Они-то и разрабатывают программы новых лент и вообще обеспечивают какую-то минимальную возможность прогресса.

Конечно, эта невеселая модель Азимова применима лишь к тому социальному строю, который является фоном и в «Профессии», и в цикле «Я, робот», и во многих других его произведениях. Перенос в будущее имеет чисто условный ха-

рактер, а на деле речь идет о современном американском укладе жизни. Это вовсе не означает, что Азимову такой уклад по душе, наоборот, он, подобно большинству лучших американских фантастов, использует фантастику для критики общества. Но, критикуя современную американскую действительность, Азимов остается под ее мощным воздействием и решений, выходящих за пределы данной социальной системы, он попросту не принимает в расчет..

Я так много говорю об Азимове-социологе, что читатель, не знакомый с его творчеством, вправе усомниться — да полно, искусство ли это? Может, Азимов создает лишь беллетризованные социологические этюды? К тому же сам Азимов склонен поддакнуть в этом случае скептику: да, говорит он, меня интересуют именно логические конструкции и их обоснование, а эмоции героев для меня на втором плане. Однако эти его заявления не следует принимать слишком всерьез.

Конечно, к современной фантастике не следует подходить с критериями, пригодными для реалистической прозы, и непременно искать здесь масштабные характеры и детальный психологический анализ: это возможно и необходимо для фантаста далеко не во всех случаях, и уж вернее было бы судить фантастику по законам философской прозы. А к творчеству Азимова такие «реалистические» критерии и вовсе неприменимы из-за его подчеркнутой, демонстративной логизированности. Его творчество по самому духу апеллирует прежде всего к разуму читателя.

Итак, блестящий аналитик Айзек Азимов фактически отказывается делать конструктивные выводы из своих социологических экспериментов. Ответа на вопрос «Что делать?» в его вещах нет. Есть лишь поиски, раздумья да убедительно вычерченные траектории некоторых возможных путей развития, таящих в себе и блистательные возможности, и грозные опасности.

Но как справедливо сказал Фридрих Дюрренматт: «То, что касается всех, могут решать лишь все». Решать проблемы справедливого устройства мира будет все человечество. Книги Айзека Азимова ставят эти проблемы перед людьми. И помогают понять их реальную сложность.

АРИАДНА ГРОМОВА

ФАНТАСТИКА И САТИРА

Pierre Boulle. La planète des singes. Paris, Julliard, 1963.

Среди писателей, обращающихся к научно-фантастическому жанру, есть немало таких, которые рассматривают фантастику как прием, как испытанное и мощное оружие для критики окружающего их общества. Последнее направление особенно сильно во Франции, сильно своей традицией. Достаточно вспомнить имена Рабле, Вольтера, Сирано де Бержерака, Лесажа, Жюля Верна, Рони-старшего, Анатоля Франса, чтобы понять, почему многие современные французские писатели уверенно обращаются к фантастике, не боясь скатиться до уровня так называемого «научно-фантастического» чтива. Не убоялись этого Марсель Эме, Веркор и даже академичный Моруа. Не убоялся и Пьер Буль. Фантастический роман Буля «Планета обезьян» — яркое тому доказательство.

Имя Пьера Буля мало знакомо русскому читателю — его почти не переводили. Мне известно оно давно, лет пятнадцать, и я считаю Буля одним из интереснейших писателей сегодняшней Франции. И одновременно — одним из самых сложных и противоречивых. Каждый его роман — «Мост через реку Квай», «Лицо», «Палач», «Ремесло господа бога» — неизменно вызывал большой интерес. Мастер прозы, тонкий стилист, проникновенный психолог. И вдруг — обращение к фантастике! Впрочем, так ли уж вдруг?

Надо оговориться: это не первый опыт Пьера Буля в фантастике. Лет за десять до «Планеты обезьян» он выпустил сборник «абсурдных», как он их назвал, рассказов и небольшую повесть «$E=mc^2$». Но это были только подступы.

Раскроем, однако, книгу.

Далекое будущее. Чета молодоженов, Филис и Джинн, отправляется в свадебное путешествие на маленькой космической яхте. Что может быть интимнее уединения в просторах вселенной! Но вот молодожены вылавливают из космоса странный предмет: это большая бутыль, а в ней — рукопись. Завязка тривиальная, не правда ли? С удивлением читают они повесть о том, что произошло много лет назад.

Звездолет приземлился на неведомой планете. Трое космонавтов вышли на разведку и вскоре натолкнулись на... людей. Но каких! При всем физическом совершенстве и красоте это были животные — голые, без языка, без орудий труда, без каких бы то ни было зачатков цивилизации. Стая людей-животных набрасывается на космонавтов, приводит в негодность звездолет. И тут слышатся выстрелы. К своему ужасу, космонавты видят, как из лесу в охотничьей одежде, с ружьями в руках выходят гориллы. В сумятице бегства один из космонавтов погибает, а Улисс Меру, автор рукописи, и его друг профессор Антель попадают к обезьянам в плен.

Оказывается, на этой планете все наоборот: обезьяны — цивилизованные, высокоразвитые существа, а люди — местные обезьяны. Их истребляют, как вредных зверей, или используют для опытов в медицинских учреждениях. В один из таких экспериментальных институтов и попадает герой в качестве подопытного животного. Его разумное, человеческое поведение воспринимается как отклонение от нормы. И чтобы не по-

гибнуть, как «сумасшедшая обезьяна», чтобы избежать мучительных «проверок», которым его подвергают недоумевающие врачи-шимпанзе, ему приходится вести себя так же, как «люди» этой планеты, то есть как наши обезьяны.

Эта парадоксальная фантастическая ситуация позволяет автору создать необычайно злую сатиру на явления вполне современные. Каждая обезьяна выполняет четко определенные функции в зависимости от своей породы. Военщина-знать — это гориллы, они жестоки, тупы и бесстрашны. Невольно вспоминаешь, что в Латинской Америке своих «бешеных» так и прозвали — «гориллы». Политики, администраторы и священнослужители — орангутанги: они коварны, осторожны и консервативны. Краснозадые, похотливые павианы проповедуют мораль и эстетику. Пронырливые мартышки — чиновники и прочая мелкая сошка. Сообразительные шимпанзе — обезьянья интеллигенция. Остальной обезьяний народ — просто народ, и чем примитивнее порода, тем ниже положение, занимаемое ею в обществе. Жуткая сатирическая иерархия! Но это еще не все. В полных скрытого авторского сарказма рассуждениях обезьян о сущности «обезьянства», об опасности для общества «умствующих» шимпанзе, во взглядах горилл и орангутангов на культуру и искусство мы, как в кошмарном зеркале, увеличивающем все отрицательное, видим отражение «идей» современных филистеров, расистов, мракобесов и черносотенцев. Вот где фантастика как прием работает в полную силу! Ибо здесь она незаменима. Свифтовский Гулливер в стране Гуингмов тоже ведь не случаен.

Но что произошло на планете Сорор? Этот вопрос не дает покоя герою, оставшемуся в одиночестве, потому что профессор Антель под влиянием среды уже превратился в животное. Улисс, несмотря на все опасности, несмотря на горькие и смешные положения, в которые попадает как подопытный «муж» одной из самок, продолжает искать ответ. И вот страшная истина предстает перед ним.

Оказывается, некогда люди и здесь были высшими созданиями. Но по мере автоматизации производства они все меньше работали и все меньше думали. Обезьяны жили в качестве прирученных животных в домах беспечных людей. Чем дальше, тем быстрее люди превращались в потребителей: за них все делали и все решали машины. Люди регрессировали, а обезьяны тем временем наблюдали, учились и прогрессировали. И наступил такой момент, когда обезьяны в своем развитии превзошли людей. Сначала они по привычке опекали впавшее в детство человечество, потом сообразили, что эти голые, безмозглые и бесполезные твари им ни к чему, и изгнали людей в леса. Началась эра обезьяньей цивилизации. За несколько столетий они овладели всем, чем некогда владел человек,— с карикатурной поправкой на обезьянью природу. А люди окончательно опустились до уровня животных.

Узнав, как ужасно сложилась судьба человечества на этой планете, наш герой решает любой ценой вернуться на Землю, чтобы предупредить людей о грозящей им опасности. Ибо ко времени его отлета и на Земле автоматы все больше подменяли человека, а домашние обезьяны все чаще развлекали скучающих бездельников. Побег удается, герой улетает на Землю Он благополучно приземляется на знакомом космодроме. Подъезжает машина, из нее выходит офицер, оборачивается, и... Улисс видит, что это горилла! Он опоздал: Земля во власти обезьян. В отчаянии герой снова стартует в космос, надеясь найти хоть одну планету, где еще не угасла искра человеческого разума. На всякий случай он, подобно мореплавателю, терпящему бедствие, бросает в космосе бутылку с описанием своих злоключений.

На этом заканчивается рукопись. Но не заканчивается роман. Буль замыкает второе кольцо своей двойной концентрической композиции. Молодожены дочитали странную рукопись. Жена с гримаской отбросила листки, сказала, что все это чепуха: никогда подобного быть не могло. «И она припудрила розовой пуховкой свою очаровательную мордочку юной шимпанзе...»

Пессимистический конец.

Что же это, безнадежность? Капитуляция? И как совместить прозорливость талантливого художника с неверием в будущее человечества? Эти вопросы, грешным делом, возникали и у меня, когда я читал роман Буля впервые. Но сегодня, перечитывая его вновь, я вижу и другое: глубокую озабоченность судьбами людей.

Тревожиться о будущем можно по-разному. Пьер Буль не в состоянии предложить радикального решения: идея революционного преобразования мира ему чужда и непонятна. Поэтому он лишь критикует пороки своего, буржуазного общества, выставляя их в острогротескном виде. Сила Буля во всеразъедающей, как «царская водка», сатире.

Ну что ж, когда ломают обветшалый дом, готовый обрушиться на головы жильцов, это можно только приветствовать: на расчищенном месте скорее построят новое светлое здание. И не стоит упрекать Буля за то, что он не зодчий, а разрушитель. Если уж судить полной мерой — а к Пьеру Булю только так и можно подходить,— он заслуживает упрека в другом. Захваченный своей разрушительной деятельностью, он перехлестывает через край. Некоторые сцены на планете Сорор вызывают физическое отвращение. Злость перерастает в озлобленность, а это уже свидетельство не силы, а слабости. Порой неприятно читать, как Буль унижает человека — не какое-нибудь отребье уродливого буржуазного общества, а человека вообще, человека, выстрадавшего право называться таковым тысячами лет мучительной борьбы с тем самым «обезьянством», против которого так яростно протестует Буль.

Нам понятно беспокойство Буля, понятен страх честного художника-гуманиста

перед «обезьянством», захлестывающим капиталистический мир. Вандализм, духовная опустошенность, культ грубой силы, пренебрежение к «высоколобым» — настораживающие симптомы наших дней. Вот почему фантастика Буля так актуальна, вот почему никакие дали космоса не уводят его от насущных земных забот своего поколения.

Ф. МЕНДЕЛЬСОН

НЕВЕРОЯТНОСТЬ СОВРЕМЕННОГО МИРА

Фридрих Дюрренматт. Операция Вега. Библиотека современной фантастики, т. 5. Москва, «Молодая гвардия», 1966.

Пожалуй, не так уж необоснованно говорить о Фридрихе Дюрренматте в связи с проблемами современной фантастики. Придумывать невероятное — любимое занятие этого серьезного писателя, одного из самых известных современных драматургов. В пьесах Дюрренматта герои иногда обладают способностью предвидеть дальнейшее развитие событий. Люди в его книгах порой живут по нескольку столетий. В последней пьесе Дюрренматта «Метеор» герой на глазах у зрителей без особых затруднений воскресает из мертвых. А автор, комментируя это происшествие, предлагает, совершенно в духе идей научной фантастики, рассматривать воскрешение просто как нарушение общеизвестного, как пока еще не изученный феномен природы. К этому надо прибавить непредопределимые заранее поступки дюрренматтовских героев, невероятные повороты его сюжетов. Однако, если лучше всмотреться, фантастический случай в произведениях писателя неизменно оказывается гораздо более закономерным, чем обычная, не подлежащая сомнению повседневность.

В 1958 году Дюрренматт написал радиопьесу «Операция Вега». Действие ее отнесено на триста лет вперед. Перед нами проекция сегодняшнего мира в будущее — одна из многочисленных сатирических антиутопий, распространенных в современной скептической и предостерегающей фантастике.

В радиопьесе Дюрренматта есть все атрибуты будущего, непременно появляющиеся в научно-фантастическом произведении любого художественного уровня. Прежде всего, конечно, техника. Действие происходит на борту огромного космического лайнера, направляющегося к далекой Венере. Все, что мы узнаем о космическом путешествии нескольких почтенных господ на корабле «Вега»,— это магнитофонная запись, сделанная находящимся на борту корабля агентом контрразведки одного из двух государств Земли (он же — доктор медицины).

Сквозь досадный шум помех (блестяще обыгранный Дюрренматтом) мы постепенно узнаем из разговоров путешественников о целях «операции Вега» и о сложившейся в мире политической обстановке. Спустя триста лет мир по-прежнему расколот на два лагеря: коммунистическим странам Австралии, Азии, Африки и России противостоят Объединенные Штаты Америки и Европы. И хотя за прошедшие века не было мировых войн, спокойствие на земле весьма относительно. Глава «миссии Вега» — министр иностранных дел капиталистического блока признает существующее положение вещей нестерпимым: страх перед войной стал, по его словам, меньше ее необходимости, и единственным препятствием является «равновесие сил», одинаковая военная мощь каждого из двух политических лагерей. Это-то прискорбное обстоятельство и побудило правительство Объединенных Штатов провести «операцию Вега».

Как известно из астрономии, поверхность планеты Венера недоступна для оптического наблюдения, так как ее скрывает плотный слой облаков. В фантастической пьесе Дюрренматта на Венеру вот уже десятки лет ссылают уголовных и политических преступников из обоих государств планеты Земля. («Сколько мы туда посылаем?» — «Ежегодно тридцать тысяч».— «Сколько посылает Россия?» — «Неясно»). Все остальное о планете Венера тоже — неясно. Предполагается, что там ужасный климат, так что трудно судить, выжили ли сосланные туда люди, и если выжили, то сколько их осталось. И все-таки именно эти люди и должны, по решению правительства, создать необходимый перевес сил для нападения на коммунистическое государство Земли.

Тут в пьесе Дюрренматта и начинают, однако, действовать случайности. Хотя климат на Венере оказался как раз таким, как ожидалось (бури, непомерно высокая температура, сырость, вода и воздух, кишащие бактериями, вдобавок постоянные землетрясения), сами венерианцы проявляют качества совершенно непонятные. На них не действует убедительнейший довод — нужно «защищать свободу»,— который приводит министр с Земли в пользу превращения венерианцев в солдат. Они не хотят вернуться на Землю, несмотря на страшные условия своего существования и тоску по прежней родине («Я никогда не забуду то синее небо»). Больше того, у себя на Венере они существуют вне всякого государственного устройства, объясняя, что на политику у них просто нет времени: все силы уходят на то, чтобы выжить. Эти люди руководствуются азбучными истинами: «Человек — нечто стоящее, и жизнь — это дар». Однако к тривиальным истинам они относятся со странной серьезностью и доверием. Может быть, начинают догадываться земляне, суровость жизни только и помогает ощутить всю ее не изведанную на Земле полноту?

В радиопьесе Дюрренматта переплетаются отголоски многих важных идей, к которым обращается сегодня литература. Техни-

ческий прогресс и деморализация человека, мечта об ускользающих простых радостях естественного соприкосновения с природой — все эти темы затронуты Дюрренматтом, правда, затронуты бегло, вскользь, без особой серьезности. Одному из своих детективных произведений Дюрренматт дал подзаголовок — «Отходная детективному жанру» *. Точно так же и эта фантастическая радиопьеса — фантастика и в то же время прощание с ней, ироническая усмешка по адресу больших и малых утопий. Дюрренматт конечно же не верит хотя бы в слабую реальность образа жизни, который земляне нашли на Венере и который обрисован им с таким искренним сочувствием. С недоверием относится писатель и к тем общественным идеалам, которые уже нашли могучее реальное воплощение в современности. Как раз радиопьеса «Операция Вега» чрезвычайно характерна для общественной позиции писателя, неизменно резко критикующего буржуазные отношения и в то же время настороженного по отношению к социалистическому миру.

И все-таки в шутливой радиопьесе Дюрренматта есть глубокая серьезность. Это та серьезность предостережения, которая свойственна и всякой хорошей фантастике. Дюрренматт точно видит и настороженно относится ко многим губительным для человечества тенденциям мира, в котором он живет. В его радиопьесе визит на Венеру кончается крайней мерой, сначала казавшейся посетителям «совершенно неприемлемой». С убийственной достоверностью на нескольких страницах продемонстрировано, как «человечность» политиков молниеносно испаряется под напором «необходимости». И на планету, окруженную туманной оболочкой, падают термоядерные бомбы. Таково последнее средство, которое должно принудить венерианцев послужить «великим целям века».

Дюрренматт конструирует возможное развитие современного мира, развитие, которое может осуществиться и не в столь отдаленном будущем. Не только в фантастической радиопьесе «Операция Вега», но и во многих других своих произведениях драматург прибегает к методу, который, при ближайшем рассмотрении, оказывается неожиданно родственным научной фантастике. Фантастика, так же как и невероятное детективное развитие событий (отсюда интерес многих современных зарубежных писателей к детективу), позволяет художнику свободно материализовать в любой заостренной гротескно-невероятной форме некоторые скрытые пружины нашей жизни. Там, где Дюрренматт считает своей целью не изображение будущего, а анализ современности, он также создает все новые и новые фантастически-гротескные сатирические «модели» реальных человеческих отношений.

Но тут мы уже выходим за пределы одной радиопьесы Дюрренматта и касаемся его творчества в целом.

Н. ПАВЛОВА

* Повесть «Обещание», о которой идет речь, была опубликована в «Иностранной литературе» № 5 за 1966 г.

ЧТОБЫ ЛЮДИ СТАЛИ ЛУЧШЕ

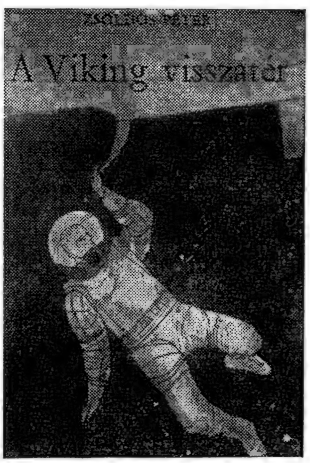
Zsoldos Péter. A Viking visszatér. Budapest, Móra Ferenc Könyvkiadó, 1963.

Человек пробивается сквозь непроходимую чащу, несется в утлом челноке по бурной реке, уходит от преследования дикарей, сражается с разъяренными хищниками... Что это, рассказ об отважных путешественниках, открывавших в XV или XVI столетиях новые материки и земли? Нет, это научно-фантастический роман молодого венгерского писателя Петера Жолдоша «Викинг» возвращается». Действие романа происходит не в гилеях Амазонки или джунглях Южной Азии, а на неизвестной планете, что вращается вокруг звезды Тау Цета, удаленной от Земли на расстояние в несколько световых лет.

Земляне отправляются в первый полет за пределы солнечной системы. Космический корабль «Викинг» уносит их в далекие звездные миры, но в результате столкновения с потоком метеоритов теряет управление и опускается на неведомой планете, природные условия которой удивительно схожи с земными.

Дальше события развиваются так. Член экипажа «Викинга» Грегор Ман первым выходит из корабля, чтобы исследовать обстановку. Он сталкивается с гигантским диковинным животным, спасаясь от преследования которого, теряет ориентировку и уже не может вернуться обратно. Начинаются скитания Грегора Мана в чужом, полном опасностей мире.

В лесу Грегор встречается с одним из обитателей планеты, завоевывает его дружбу и проводит несколько лет в племени аборигенов. Когда до Грегора доходит молва о прибытии в город, расположенный на другом конце континента, посланцев неба, он сразу догадывается — это «Викинг». И Грегор вместе с верным Ного, тем самым первым



обитателем планеты, встреченным им в лесу, решает пересечь материк.

Для научной фантастики, посвященной будущему человечества, привычно окружать своих героев всевозможными машинами, помогающими людям подчинять себе силы природы. Наш автор избирает иной путь — он забрасывает своего героя на далекую планету и оставляет его один на один с природой. Он как бы спрашивает: а сможет ли человек XXV века устоять в этом единоборстве подобно своим предкам, не изнежат ли его к этому самому XXV веку всякие «умные» механизмы, с помощью которых он привыкнет получать пищу и тепло, защищаться от нападения, преодолевать расстояния?.. Спрашивает — и отвечает, отвечает ясно и недвусмысленно: да, сможет, нет, не изнежат.

Именно в этом основной смысл увлекательного описания приключений геолога-космонавта Грегора Мана. Автор не обходится без гигантских ракет, кибернетических устройств, удивительных машин — все-таки XXV век! Но он не теряет из поля зрения человека с его переживаниями и борьбой, исканиями и слабостями. Больше того, на первом месте у него человек, и это особенно ценно.

Два года уходит на ремонт корабля, и вот космонавты отправляются в обратный путь, но Грегор Ман не летит на Землю. Он остается на вчера еще чужой для него планете, с которой теперь его очень и очень многое связывает. Может статься, что ему не доведется больше увидеть землян (следующий космический корабль достигнет планеты не раньше, чем через 14—15 лет, а кто знает, что произойдет за эти годы), и Грегор заполняет один из резервных отсеков электронного мозга «Викинга» рассказом о том, что произошло с ним. Собственно говоря, роман — это и есть рассказ Грегора Мана, принесенный «Викингом» на Землю из бесконечной космической дали. И смысл его рассказа в том, чтобы люди там, на Земле, стали еще более мудрыми, стали смелее, лучше.

Л. ЯГОДОВСКИЙ

ПО ПОВОДУ СУПЕРМЕНА И ДРУГИХ СВЕРХГЕРОЕВ КОМИКСОВ

Лео Джаносс. В защиту героев комиксов. «Америка» № 119, 1966.

В напечатанной журналом «Америка» статье Лео Джаноса «В защиту героев комиксов» роль автора по существу сведена к тому лишь, чтобы, сказав несколько вступительных слов, театральным жестом представить читателю известного американского художника-карикатуриста Джулса Фейффера и тут же полностью уступить ему место на страницах номера.

Название статьи неточно. Ее правильней было бы назвать: «В защиту Супермена и и других сверхгероев комиксов». Ибо об остальных героях американских комиксов в статье не упомянуто ни словом. Ни о любимце всей Америки, чудаке и великом недотепе Лил' Эбнере, ни о двух проказливых щенках, одно упоминание о проделках которых приводило в такой восторг тысячи малышей, ни о великом маге Мэндрейке, ни о других не менее достойных личностях.

Отсюда, однако, не следует делать вывод, что авторы статьи считают единственно стоящими и заслуживающими внимания или, во всяком случае, лучшими те комиксы, в которых действуют только «сверхгерои» (хотя такая мысль и явно проскальзывает в статье, она больше подразумевается, а не высказывается прямо). Скорей другое: больше всех в защите нуждаются те, на кого больше всех нападают. А сегодня больше всего в «царстве рисованных полос» нуждаются в защите именно они, самые могучие и непобедимые — на них нападают и в США, и в других странах» *.

«В глазах у него стальная отвага. На нем красный плащ и синее трико, плотно облегающее могучее тело. И вдруг — чудо из чудес! — он отрывается от земли, проносится над городом...» — так живописует одного из них Джанос. Защита Супермена и «ему подобных героев» в его статье перерастает в «защиту» фантастики для ребенка — фантастики, дающей воображению ребенка расправить крылья вольно и просторно, не стесняя себя никакими «табу»: ни скучной рассудочностью, ни менторской опекой, ни скудными лимитами разграничений сбыточности-несбыточности,— и в то же время в определенной мере научной фантастики.

Именно такая модификация научно-фантастического жанра с предельной эффективностью реализована именно в Супермене и других сверхгероях комиксов, утверждают Джанос и Фейффер.

В социологических выкладках большинства современных западных специалистов по научной фантастике очень заметно влияние Жоржа Сореля, по мнению которого, в «век масс» возникает и крайне обостряется различие между утопиями и так называемыми «популярными мифами». В известном письме Даниэлю Галеви автор «Размышления о насилии» пояснил эту мысль следующим образом. Утопии — фантастика, развивающая посылки теоретизирующей мысли. Это фантастика, апеллирующая к уму с высокоразвитой способностью к рассуждению и способному поэтому в строгом соответствии с логикой представить себе вероятность, теоретическую возможность

* В советской печати был опубликован ряд статей, посвященных проблеме современного комикса, в том числе и статья В. Неделина («Иностранная литература» № 5 за 1965 г.). *(Прим. ред.)*

предлагаемого варианта утопии и условия, при которых она допустима и может быть приближена. А воздействие «популярных мифов», подчеркивал Сорель, основано на внушении, на гипнотизировании сознания масс, спекуляции на предрассудках. «Популярные мифы» тем действенней, чем глубже воздействуют они на темные «массовые инстинкты», чем больше щекочут нервы «толпы», чем активней провоцируют слепое, стихийное начало на прорывы в нужном направлении.

...Сражения армад космических кораблей в межзвездном пространстве; посылаемые обитателями неведомых планет невидимые лучи, под действием которых люди на земле начинают истреблять друг друга; бесстрашные детективы или тайные агенты, отправляющиеся, облекшись в скафандры космонавтов, в межзвездные скитания преследовать неуловимых преступников и политических заговорщиков; роковые страсти в космосе... Словом, убийства, таинственные преступления, ужасы, эротика — бульварщина в оправе научно-фантастического жанра. Она в данном случае просто присваивает реквизит научной фантастики для обновления своих старых аттракционов, схемы которых извечно неизменны.

Сверхгерой комиксов — типичнейшее порождение этой алхимии «популярных мифов». Принципиальная схема общего устройства «я» всех комикс-сверхгероев обозначается с предельной ясностью при ближайшем сопоставлении их с героем фантастики.

Фильм «Голем» был снят еще в 1914 году и затерялся бы, вероятно, по причине полнейшей незначительности, если бы темой его не воспользовались в 1920 году (позднее на ту же тему было сделано еще четыре киноварианта) известные немецкие сценаристы, режиссеры, артисты — Пауль Вегенер и Хенрик Гален. Их «Голем» оказал впоследствии огромное влияние на всю «черную фантастику» западного кинематографа — от Любича и Марнау до Хичкока.

Голем — могучий великан, вылепленный когда-то, еще в средние века, из глины, в которого чернокнижник-раввин вдохнул с помощью кабалистических заклятий жизнь. Прошли века, и вот, уже в наше время, группа рабочих-строителей откопала какое-то непонятное глиняное пугало, которое они и сволокли тут же к антиквару. Последний в свою очередь оказался тоже чернокнижником и, разыскав пожелтевший от времени манускрипт творца Голема, снова оживил глиняного богатыря, который превратился в раба, выполняющего любую волю хозяина, могучего, несокрушимого, ломающего на пути к заданной цели любые преграды.

Он-то, этот глиняный Голем, и стал первым сверхгероем, которого хоть сейчас переводи с целлулоидной ленты на рисованную. И каждый из нынешних сверхгероев комиксов, и Супермен, и Батмен, и Человек-факел, и Человек-щит,— все тот же самый Голем, размноженный в десятках лиц, имен, вариантов. Разница по существу лишь та, что Голем Первый был безобразен, чудовищен, а у этих — лощеная внешность киногероев; та, что он был неуклюж, груб, а у этих — изящные манеры, ловкость и легкость акробатов, фокусников. И все их сверхмогущество дается им одной ценой — они должны либо быть выходцами из иных миров, подделывающимися под людей (как Супермен), или существом, созданным не из человеческой плоти, а из каких-то иных материалов (Голем), либо пройти некую метаморфозу: превратиться из человека в нечто иное — скажем, в Капитана Америку, в Человека-факел или Человека-щит, в «сверхгероя» — назовем пока так результат этой метаморфозы. С момента ее завершения они уже не люди, хотя внешне как будто и сохраняют полностью образ и подобие человеческое. Им не опасны никакой разгул стихий и никакое оружие, для них не существует ни препятствий, ни расстояний, от их зрения и слуха ничто не укроется, у них нет страха и нет нервов. Потому что плоти их присвоены броневые качества литерных сталей — непробиваемость и огнеупорность, мышцам — сила и энергия мощнейших двигателей, органам восприятия — чуткость и «проницательность» совершеннейшей акустической и оптической аппаратуры, рентгена и спектроанализаторов, реакциям — точность и молниеносность электронной автоматики.

Короче, самый «организм» их определяется особой алхимией — синтезом свойств, отчуждаемых у техники, машин, приборов, аппаратов, комбинированием прочностей и скоростей, вездеходности и летности. Этим задано и им же, в сущности, до конца и исчерпано какое бы то ни было отношение сверхгероя к научной фантастике. И здесь же начинается его отношение к «современной мифологии».

Известный английский киновед Питер Джон Дайер отметил в очерке «Фантастика на все вкусы», что сыгранный Вегенером Голем был не чем иным, как первым появившимся на мировом экране роботом: глиняный, «заведенный» магическими формулами кабалы робот опередил железные антропоконструкции с механикой, управляемой радиосигналами, но действовал в принципе точно так же, как они, отвечал тому же назначению.

И сверхгерой — по сути, тот же робот. Но задача его изобретателей не только в совершенствовании его «боевых качеств», в наращивании — от образца к образцу — мощности и создании новых оригинальных моделей. И не только в претворении его свойств робота в действие, в сюжет, в захватывающий аттракцион. Она состоит также и в том, чтобы всемерно скрыть, «засекретить» от читателя — ребенка, подростка — факт, что перед ним робот.

В чем всегда состояло в научной фантастике назначение и, если можно так выразиться, «социальная функция» робота? В способности робота становиться материальным «вторым я» управляющего и направляющего его человека. С помощью робота человек может совершать действия и поступки, по-

добные которым в иных условиях принято называть подвигами, но совершать их, самому не только не будучи героем, а, напротив, надежно укрывшись за чужой спиной, не рискуя, не подвергая суровым испытаниям собственную силу воли, решимость, мужество... Которых у него, кстати говоря, может и не быть: ведь он посылает вместо себя «геройствовать» своего железного двойника — и тот входит в горящий дом, чтобы кого-то спасти из бушующего пламени; идет на врага под пули, отскакивающие от его стальной груди, и под ударами его железного кулака головы врагов (ведь они всего-навсего человеческие существа) раскалываются, как кокосовые орехи, он хватает противников в охапку, по нескольку штук за раз, и душит их в железных объятиях. Он может (почему бы и нет? — фантазировать так фантазировать) превратиться в снаряд и догнать врага, улетающего на самолете. Может проплыть сотни миль под водой со скоростью торпеды, может... короче говоря, может все что угодно, в этом смысле пределов для него — в рамках научно-фантастического жанра, разумеется,— пожалуй, не существует. Но чем невероятней его «подвиги», тем больше превращается направляющий его, диктующий ему свою волю, программирующий его деяния человек из негероя в антигероя.

То есть, по существу, робот-сверхгерой есть не что иное, как двойник антигероя, его стальное «второе я». За ним всегда и непременно скрыт антигерой. Он — производное от качеств антигероя, он — их прямое отражение.

Поэтому признание ребенком суперменов и его восхищение ими выливаются в принципиально иные формы, чем увлечения Робином Гудом, Соколиным Глазом, капитаном Немо, д'Артаньяном, ибо в роли героя подвизается, в сущности, робот, выступающий против живых людей. И эта мистификация, действуя исподволь, в корне извращает представление о доблести человеческой, о мужестве, о чести.

Увлечение похождениями сверхгероев приучает ребенка целиком и полностью отождествлять героическое с абсолютным превосходством в силе. Сверхгерой не оставляет ему других критериев, и мало-помалу все они начинают казаться ребенку ложными. И добро и зло, правота и неправота тоже начинают отождествляться с силой, с самим по себе фактом победы над противником.

«Если спросишь их,— пишет американский исследователь о «болельщиках» сверхгероев,— как они различают «хороших» и «плохих», то все сведется в конце концов к тому, что первые всегда побеждают: раз побеждают — значит, хорошие».

Такой «метод» различия связан с убеждением, что сильный всегда прав, что победитель всегда лучше и правее побежденного, потому что — сильней.

К. Вульф и М. Фиск приводят в книге «Дети говорят о комиксах» один типичный ответ на вопрос, кто из сверхгероев нравится больше и почему. Отвечает двенадцатилетняя девочка:

«По-моему, Супермен лучше других, потому что они умеют делать не все, а он — все. Батмен не может летать, а это очень важно».

Если бы в доказательство смелости рыцарей короля Артура сослаться на то, что они с головы до ног закованы в железо, а легендарный Робин Гуд бьется без доспехов — то это было бы чистейшим абсурдом. Но именно такой ход мысли становится единственно возможным в комиксах о суперменах: о смелости и доблести сверхгероя вам приходится судить по его подвигам, а подвиги его тем чудесней, чем технически совершенней он оснащен, чем больше «умеет» и «может» — о смелости «свидетельствует» мощь вооружения.

Безбрежная и, казалось бы, слышать ничего ни о каком реализме не желающая фантастика, оказывается, на деле полна цинически трезвого прагматизма, пропитана самой низменной эгоистической расчетливостью.

Но право сверхгероя на амплуа вечного и неизменного победителя подкрепляется еще одной очень важной особой приметой личности сверхгероя и его врагов.

Д. Рисмен отмечал, что в комиксах вообще «молодцов-парней сразу узнаешь по виду: с правильными чертами лица, с ясными глазами, рослые; дрянь-людишки — тоже видны сразу: их, в порядке снисходительности, делают всегда представителями некоей нераспознаваемой этнической группы, но, как правило, их грязный вид должен создать представление о выходцах с европейского юга».

Сверхгерой всегда являет собой идеальный образец англосаксонского типа, «северной расы», его враги и противники, как правило, похожи на итальянцев, греков, румын, характерные черты национального типа которых всегда передаются карикатурно, с явным и недвусмысленным намеком на «расовую неполноценность».

И это, безусловно, сближает сверхгероя с представителями еще одной, ныне чрезвычайно модной и политически актуальной профессии «героев» американского комикса: с «летчиками с напалмом», воюющими во Вьетнаме. Они выстраиваются на «рисованных полосах» в один ряд со сверхгероями. И в принципе между ними никаких различий — они действуют точно по той же схеме. Если же в жизни они совсем не такие победители, как в комиксах, то виноваты в этом не художники, ведущие комикс-хронику их «подвигов». Но «летчик с напалмом» в комиксах — это тот же сверхгерой, только действующий в жизненно-конкретной, реальной ситуации и в меру реальных возможностей реального оружия.

Известный американский ученый и общественный деятель Льюис Мамфорд особо останавливался в одной из своих статей на телепостановке, посвященной временам пио-

неров. Внимание ученого привлек герой передачи — тем, что, сталкиваясь, вступая в схватку с индейцем, он отбрасывал в сторону свой мушкет: раз у противника нет огнестрельного оружия, значит, и ему нельзя им пользоваться. Мамфорд подчеркивал, что этот рыцарственный жест, хотя он исторически и мало правдоподобен и даже более чем сомнителен с точки зрения нравов пионеров, противопоставляет этого героя всем нынешним американским героям образца «культуры для масс».

В век «грязных войн», пропаганды «политики с позиций силы», гонки термоядерного вооружения и фетишизации «абсолютного оружия», во времена «холодной войны», утверждал Мамфорд, именно такой герой — антипод всех суперменов — особенно нужен американской молодежи.

Но почитателям сверхгероев такой герой и непонятен, и смешон, его рыцарство должно им казаться просто глупостью. Фантастика супермен-комиксов пропитана слишком грубым прагматизмом во всем, что касается использования силы и оружия, никакого идеализма, никакого рыцарства не допускает.

Супермены идут по пестрым лентам «рисованных полос»... летят, со свистом рассекая воздух, торпедой проносятся под водой, несутся на врага, окутанные пламенем, сокрушая все преграды, и — побеждают, побеждают, побеждают... Они уже в какой-то мере победили в сердцах «миллионов ребятишек» тот персонаж, который принято называть благородным героем, они уже внушили многим, что он устарел, несовременен, отстал от жизни и сегодня их день, и праздник — на их улице. И медленно, но верно побеждают в сознании своих «болельщиков» такие «предрассудки», как способность принимать сторону побежденных, убеждение, что истинные смелость и мужество герой проявляет тогда, когда он вступает в схватку с сильным противником, и что сама по себе сила не есть доказательство правоты.

Супермены идут, и от их железного шага дрожит земля. И «миллионы ребятишек» продолжают взахлеб читать комиксы о них. «...читают, читают, читают — часами, днями, годами, пока не пролетит юность...» (Д. Рисмен).

Но когда «пролетит юность» и комиксы будут заброшены, сверхгерой не останется в прошлом, он и не подумает отставать от своих прежних почитателей — тогда и он покидает «рисованные полосы». И из Супермена, Батмена, Человека-факела превращается в Джеймса Бонда, непобедимого и неуловимого супершпиона.

Карьера последнего тоже началась на лентах комиксов. Но затем он шагнул из «царства рисованных полос», из детских комиксов на большой экран в кино «для взрослых», на сеансы которого несовершеннолетние не допускаются.

Глиняный робот Вегенера и Галена, Голем, разбился вдребезги оттого, что в нем пробудился человек,— он полюбил, был отвергнут, взбунтовался и погиб. Превращение сверхгероя в Бонда не оборачивается и не может обернуться трагедией. Просто потому, что это — превращение сверхгероя в «сверхчеловека», в существо той породы, которой истинно человеческое свойственно еще менее, чем Супермену и Батмену. Это— реалист самого цинического толка, находящий в насилии и лжи призвание, а в жестокости и презрении к людям — веру и мировоззрение. «У Бонда — деньги, враги, девчонки и некая доктрина, которая так или иначе оправдывает его пренебрежение заповедями обычной человеческой морали»,— писал Джон Ле Карре.

И Джеймс Бонд прельщает своих взрослых почитателей житейской философией точно так же, как Супермен и Батмен своих — стальными мускулами, умением летать, пуленепроницаемостью и огнеупорностью. Сверхчеловек снимает маску и облачение сверхгероя, предназначенные для детского карнавала,— разминка закончена: шляпа низко надвинута на лоб, рот твердо сжат, глаза смотрят холодно и недоверчиво, оружие проверено,— он начинает «работать».

В. НЕДЕЛИН

ВЕРА И СОМНЕНИЯ

Фантастика Рэя Брэдбери. Перевод с английского Л. Жданова. Составитель и автор предисловия К. Андреев. Москва, «Знание», 1963. 218 стр.

Рэй Брэдбери. 451° по Фаренгейту. Рассказы. Перевод с английского Н. Галь, Т. Шинкарь. Предисловие Р. Нудельмана, Москва, «Молодая гвардия», 1965. 260 стр.

Р. Брэдбери. Марсианские хроники. Перевод с английского Л. Жданова. Предисловие Ел. Романовой. Москва, «Мир», 1965. 334 стр.

Рэй Брэдбери — фантаст до мозга костей. Самый откровенный вымысел, чудесное играют в его творчестве значительно большую роль, чем у многих его собратьев по жанру. Он обычно балансирует на грани фантастического допущения и сказочной выдумки, нередко сознательно переступая границу и попадая в страну сказки. Блуждая в космосе, его герои попадают не в гипотетические миры, а из одной аллегорической поэмы в другую. Описание Марса у Брэдбери лишено железной логики условного, которая после общества селенитов Уэллса и «саламандровой эры» Чапека может показаться необходимой чертой фантастической сатиры. Общество марсиан у Брэдбери напоминает то современную американскую цивилизацию с ее равнодушным практицизмом, то обитель золотого века в духе легенд об Эльдорадо, в которых наивные мечты простолюдинов XVI века переплелись со скудными и недостоверными сведениями о великих индийских деспотиях.

Эта тяга современного фантаста к пантеону народных легенд и поверий, уже почти позабытых самим народом ради героев вестернов и комиксов, к традициям романтиков начала минувшего столетия не случайна. Поэтическое обаяние заведомого вымысла он предпочитает эстетике строгой логической конструкции, эмоциональная стихия преобладает в его творчестве над аналитической. Он с самой радостной восторженностью отдает должное научному гению, который обещает человечеству в подарок новые Земли и Солнца, и вместе с тем он опасается, что наука может отнять у него ощущение чуда жизни, чуда, «коего мы не в силах объяснить».

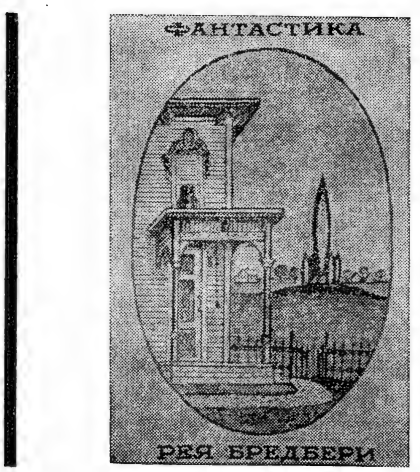
Мятежное стремление достичь вершин познания, зачерпнуть «частицу божественной плоти, каплю крови вселенной, пламенной мысли, ослепительной мудрости, которая разметила и проложила Млечный Путь, пустила планеты по их орбитам, определила их ход и создала жизнь во всем ее многообразии», шальная мальчишеская мечта: осалить Солнышко — и стремглав обратно! И желание притормозить, приостановиться, чтобы не сойти с Тропы, чтобы не оторваться от некоей ценностной базы, накапливавшейся тысячелетиями, чтобы чудища из металла, пластмассы, электричества и внутриатомного огня не закружили цивилизацию в безумной центрифуге противоестественных скоростей и не сбросили в молчаливое Ничто.

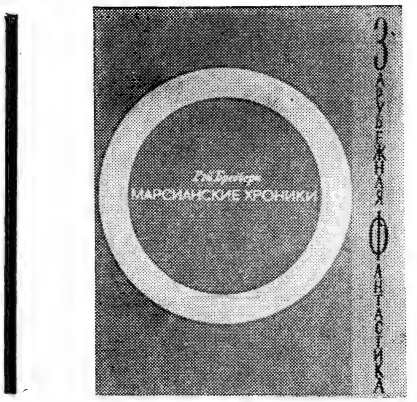
Восхищение машиной как средством раскрепощения человеческого разума от насущных забот: машину «ты высылаешь перед собой с шумом и стрекотанием, в то время как сам идешь сзади, спокойно философствуя» (рассказ «Конец начала»). И тревожные опасения, что те же заботливые, услужливые машины несут угрозу нравственного вырождения: они освобождают человека от труда и тем самым лишают его источника непосредственных, чувственных контактов с природой и с другими людьми; распадаются сердечные связи в семьях, подавляется творческий импульс, развиваются паразитические, разрушительные наклонности (рассказ «Вельд»).

Новые люди, мужественные, сердечные и бескорыстные, достойные послы земных красот и разума в космосе, приникающие к поверхности Солнца не только с чашей для уловления огненной плазмы в манипуляторе гениально сконструированной ракеты, но и со строками Шекспира и Йетса на устах. (Рассказ «Золотые яблоки Солнца»). И в том же будущем веке, в том же пространстве, на таких же совершенных ракетах, произведенная той же земной почвой — шайка индивидуумов с кругозором хорьков, с моралью гиен: «грабастай, сколько захватишь, что нашел — все твое, если ближний подставил щеку — вдарь покрепче, и так далее в том же духе». Не золотые яблоки Солнца привлекают их в космическом саду Гесперид, им бы только погнуснее испакостить этот сад: посшибать из ружья хрупкие башни ажурных марсианских дворцов, белеющие в сиянии двух серебристых лун, и облевать пьяной кислятиной великолепные мозаичные полы храмов и общественных помещений («Марсианские хроники»).

Кто же такой Рэй Брэдбери? Язвительный критик американского образа жизни, сатирик, ненавидящий «римлянина по имени Статус Кво» и изрекающий горькие истины во имя живительных перемен? Мудрый старовер, оттаскивающий своих сограждан от экранов телевизоров и зовущий их погреться у камелька одноэтажной Америки, погрезить на ее зеленых лужайках, напоенных «вином из одуванчиков»? Романтический поэт покорения космоса, лелеющий надежду на то, что человечество, «рассыпавшись во все стороны» и засеяв Вселенную, восполнит количеством недостаток нравственного качества и навсегда застрахует себя от возможной гибели?

Среди дилемм, осаждающих сознание писателя, можно выделить одну, едва ли не основную. В рассказе «И грянул гром» участник охотничьей экспедиции Эккельс (легкомысленный турист в прошлое, искатель острых ощущений) в паническом страхе перед грозным ящером сходит с антигравитационной Тропы, которая изолирует его от неприкосновенного мира прошлого, и случайно убивает бабочку. От этого изменяется ход естественной и общественной истории, и, возвратившись в год своего старта, 25 055-й, Эккельс застает не ту Америку, которую он покинул, а значительно худшую — стоящую на пороге фашистской диктатуры. Шорох крыльев уничтоженного насекомого, усиленный гигантским репродуктором множества тысячелетий, превратился в мощный гром, раскаты которого оглушают самого Эккельса в его предсмертный миг. Этот мотив лавины, нарушенного равновесия между природой и человеком, мотив ошибки, допущенной где-то в истоке, в конце концов прогремевшей убийственным выстрелом над ухом рядово-





го человека,— мотив, характерный для лихорадочно-нервных раздумий Брэдбери. Он мечтает об уравновешенной цивилизации, где противоречивые тенденции развития укрощались бы эстетическим чувством меры. «Вот увидите: еще появится башковитый человек, который ее (цивилизацию.— *И. Р.)* подлатает... *Человек, у которого душа лежит к красивому.* Он вернет нам — нет, не старую, а, так сказать, *ограниченную цивилизацию,* такую, чтобы мы могли жить мирно» (рассказ «Улыбка»).

Чтобы распространить жизнь в мироздании, завоевать человечеству бессмертие, нужно действовать сообща со всеми, быть солдатом в общем строю. Но тогда возникает трагическая коллизия. В разгаре этого стихийного марша чуткий человек начинает замечать, что колонны освоителей Вселенной сбились с пути: по отношению к покоренному простору они остаются чужаками, оккупантами, равнодушными к его красоте и гармонии, и жизнь. которой они засеяли космос, чревата собственной гибелью.

Брэдбери переживает, как личную трагедию, и одиночество Америки в современном мире. Размышления о национальной изоляции обостряют и отчасти питают его чувство «космического» и социального одиночества. Он содрогается при мысли о том нелицеприятном остракизме, каким могут отплатить американцам народы, третируемые отечеством Брэдбери как второсортные. «Когда я был маленьким, родители взяли меня с собой в Мехико-сити. Никогда не забуду, как отец там держался — крикливо, чванно. Что до матери, то ей тамошние люди не понравились тем, что они-де редко умываются и кожа у них темная... И я отлично представляю себе, что, попади отец и мать на Марс, они повели бы себя здесь точно так же».

Мысль о неизбежной расплате за попрание чужих святынь, за неуважение к чужой культуре (проистекающее из пренебрежения своею собственной) окрашивает «Марсианские хроники» в тона специфически американской проблематики. «Зеленое утро» колонизации Марса героично. Первые люди, ступившие на почву Марса, подобно пионерам североамериканских лесов и прерий, подобно героям Фенимора Купера, мужественны и благородно-чистосердечны. Несмотря на первые неудачи, земляне упорствуют, ибо возлагают на космический Новый Свет самые радужные надежды. Все новые волны переселенцев захлестывают Марс. Здесь, думают люди, мы окажемся вдали от войн и правительственного нажима, здесь мы заживем по-новому. Но вместе с ситцевыми занавесками, цветочными горшками и поэтическими земляничными окошками люди импортируют на Марс все противоречия и пороки старой цивилизации.

И Марс стряхивает с себя пришельцев. Сбывается предсказание одного из героев книги: «Имена, которыми мы наречем каналы, города, вершины, скатятся с них, как вода с гуся».

«Хроники» завершаются так же, как и роман «451° по Фаренгейту»,— огненной гибелью земной культуры и надеждой кучки уцелевших людей на то, что вырастет «...и по ту, и по другую сторону реки древо жизни, двенадцать раз приносящее плоды, дающее каждый месяц плод свой; и листья дерева — для исцеления народов». Две семьи перебираются «на другую сторону реки» — на Марс. Они не повторят старых ошибок...

Вряд ли Брэдбери считает всесокрушающую войну неизбежным событием будущего. Но та роль, которую он ей отводит в своей фантастике, не сводится к одним предостережениям. Ее кошмар ярче оттеняет веру в наступление очистительной перемены. Однако верит ли он действительно в будущее торжество этого беззакатного «зеленого утра» человечества? Должно быть, верит, и сомневается, и отчаивается — и снова верит. Чутьем поэта верит он в тройственное согласие между личностью, обществом и природой, которое будет установлено, если основой его станет человек с душой, «лежащей к красивому»,— не оккупант, а садовник вселенной. Он верит в мирную красоту вселенной, которая рано или поздно настигает и ошеломляет человека посреди его неустойчивого искусственного комфорта и возвращает его на Тропу.

И. РОДНЯНСКАЯ.

ОНИ УВЕРЕННО СМОТРЯТ В БУДУЩЕЕ

R. Bărbulescu. G. Anania. Doando. Bucureşti, Editura Tineretului, 1965.

Открывая научно-фантастический роман, по привычке заранее знаешь, что тебе с самого начала предстоит чему-то удивиться. На то он и фантастический.

А этот роман вызывает непривычное удивление. Читаешь, читаешь, и все нет в нем ни одного землянина, нет даже упоминания о такой планете — Земля!

Постепенно выясняется, в чем дело.

Действие развертывается через полтора тысячелетия после первых полетов в космос. Находящаяся на краю Галактики планета Вуундо медленно покрывается ледниками — ей грозит смерть. Ее жители ищут спасения. Прошло сто лет с тех пор, как они совершили социальную революцию, добились единства, и теперь появилась возможность снаряжать ракеты в космос для поисков обитаемой планеты, более пригодной для жизни, чем Вуундо. И вот ракета «Лоро» с пятью жителями Вуундо на борту тщетно бороздит просторы Галактики. Странное ощущение для читателя: жители Вуундо, отчаявшись, готовы решить, что в Галактике нет больше ни одной живой планеты. Они не подозревают о существовании нашей с вами Земли.

Внезапно ракета «Лоро» захвачена сильным полем тяготения и совершает вынужденную посадку на какое-то таинственное небесное тело.

Долго жители Вуундо не могут найти ни одного живого существа, хотя присутствие какой-то разумной воли ощущается на каждом шагу.

И вдруг они встречают людей! Обыкновенных людей с Земли. Но и они здесь не хозяева. Земляне-космонавты также были захвачены этим таинственным небесным телом. Подружившись, жители Земли и Вуундо начинают совместно исследовать место своего пленения. Оказывается, они находятся на гигантской сферической ракете, неизвестно, кем управляемой, и неизвестно, куда мчащейся. Это Доандо, то есть «жизнь без жизни». Действительно, Доандо постоянно следит за своими пленниками, заботится о них, создает им привычные условия, показывает им шаг за шагом свое устройство. Доандо действует автоматически и осмысленно. Однако живые существа, ею руководящие, так и не появляются.

После многих загадок, приключений, заблуждений и драматических ситуаций становится ясно, что Доандо не только обслуживается роботами, но и в целом является искусственным биокибернетическим организмом, оснащенным всем необходимым для существования в космосе и для выполнения своей запрограммированной цели. Доандо — посланец биологически гибнущей внегалактической цивилизации. Его задача — найти обитаемую планету, достигшую достаточного уровня научного и социального развития, чтобы с согласия ее жителей перенести эту планету к той гибнущей цивилизации и помочь ее представителям биологически оправиться (им для регенерации необходимо погрузиться на два-три столетия в сон, и, чтобы за это время не погибнуть, они хотят передать свой опыт и вверить свою судьбу иным разумным существам).

Доандо направляется к Земле, выходит на орбиту вокруг Солнца, раскрывает людям свою тайну и с их согласия переносит освоенную людьми планету «Земля-5» в другую Галактику. (Доандо внутри полый, он переносит планету в себе!)

Это кульминационный момент — планета отправляется во вселенское путешествие, знаменующее собой победу безграничного развития разумной жизни.

Действующие лица романа — жители Вуундо и жители Земли — наделены героическими характерами, самоотверженностью и высокими идеалами.

Вера авторов в научный прогресс, создание ими героев будущего помогли им выполнить свою задачу: написать научно-приключенчески-фантастический роман для юношества.

В румынской литературе жанр фантастики никогда не был особенно развит. Потому появление такого произведения, как «Доандо», говорит не только о явном оживлении в этой области, но и о том, что румынские фантасты вносят в обжитой мир жанра своеобразную интонацию. Подчеркнутый оптимизм романа как бы противопоставлен тому тревожному, двойственному, а часто и безнадежно мрачному отношению к будущему человека и вселенной, характерному для некоторых фантастов Запада. Можно, конечно, отметить, что авторы «Доандо» иногда проявляют, пожалуй, больше живости воображения, нежели глубины, что длинноты в романе порою весьма ощутимы, но главное несомненно: румынские фантасты Р. Барбулеску и Г. Ананиа глядят в далекое будущее светло и уверенно. И, понятно, их умонастроение не случайно. Оно отражает сегодняшнюю молодую энергию страны, успешно развивающейся в условиях победы нового общественного уклада — социализма.

КИРИЛЛ КОВАЛЬДЖИ.

Авторы этого номера

ПЕТР КАРААНГОВ (род. в 1931 г.).

Стихи болгарского поэта Караангова вошли в поэтические сборники «Следы на дороге» («Следи по пътя», 1957), «Времена года и наша улица» («Сезоните и нашата улица», 1960).

В этом номере мы помещаем стихотворение, присланное автором в рукописи.

■

КОШТА АНДРАДИ — COSTA ANDRADE (род. в 1936 г.).

Ангольский поэт и публицист, автор двух сборников стихов: «Земля пурпурных акаций» («Terra de acacsias rubras», 1961) и «Ангольское время в Италии» («Tempo angolano em Italia», 1963).

В номере публикуется шестая песнь его поэмы «Обвинение».

■

ДАШДОРЖИЙН НАЦАГДОРЖ (1906-1937).

Недавно в Монголии была учреждена премия имени Нацагдоржа, поэта, чьи книги пользуются у него на родине большой популярностью.

В этом номере мы помещаем стихотворение, вошедшее в полное собрание сочинений писателя, изданное в Улан-Баторе в 1961 году.

■

АНАТОЛЬ СТЕРН — ANATOL STERN (род. в 1899 г.).

Известный польский писатель, поэт и прозаик. Переводчик советской и французской поэзии, автор романов, пьес и литературоведческих работ. Под редакцией Стерна в 1927 году в Польше вышел первый сборник стихов Маяковского, с предисловием самого поэта. Наиболее известен его роман «Люди и сирена» («Ludzie i syrena», 1955).

Стихотворение «Грядущее» получено редакцией в рукописи.

■

МИХАЙ БЕНЮК — MIHAI BENIUC (род. в 1907 г.).

Наш журнал неоднократно знакомил читателя с поэтическим творчеством румынского писателя, академика, лауреата Государственной премии М. Бенюка, автора многих стихотворных сборников.

Стихотворение «Красная звезда», которое читатель найдет в этом номере, взято из сборника «День ото дня» («Zi de zi», 1965).

■

БОЖИДАР БОЖИЛОВ (род. в 1923 г.).

Болгарский поэт, главный редактор журнала «Пламк». Перу Божилова принадлежат несколько стихотворных сборников, научно-фантастический роман в стихах «С ракетой на Луну» («С ракета на Луната», 1956) и др. В последние годы вышли сборники: «Весенняя поэзия» («Пролетна поэзия», 1965), «Праздник» («Празник», 1966).

Стихотворение, публикуемое в номере, было напечатано в болгарском еженедельнике «Литературен фронт».

■

ЛЕОНАРДО ШАША — LEONARDO SCIASCIA (род. в 1921 г.).

С творчеством этого итальянского писателя, рассказывающего в своих книгах о жизни Сицилии, читатели нашего журнала знакомы по роману «Сова появляется днем» («Il giorno della civetta», 1961), который был опубликован в № 4 за 1962 г.

В этом номере мы публикуем повести писателя «Каждому свое» («A ciascuno il suo», 1965) и «Американская тетушка», взятую из сборника «Сицилийские родичи» («Gli zii di Sicilia», 1960).

АНТОН ДОНЧЕВ (род. в 1930 г.).

Болгарский писатель А. Дончев по образованию — юрист. Им написан ряд книг на исторические темы, наиболее известные из них: «Сказание о времени царя Самуила» («Сказание за времето на цар Самуил», 1961) и удостоенная Димитровской премии книга «Время разделяет» («Време разделно», 1964).

Рассказ «Возвращение» вошел в сборник научной фантастики «Человек, который ищет» («Човекът който търси», 1964).

■

ИВО ШТУКА — IVO ŠTUKA (род. в 1930 г.).

Чехословацкий писатель Иво Штука дебютировал в 1948 году стихами и репортажами. В последние годы вышли его книги «Под нами земля» («Pod námi zemĕ», 1961) и «Шесть дней на Луне I» («Šest dnů na lunĕ I», 1963). Иво Штука — автор эпиграмм, переводчик советской поэзии, много пишет для детей.

Рассказ «Находка у Белых Камней» был опубликован в чешском журнале «Пламен».

■

ДОРА ГАБЕ (род. в 1886 г.).

Болгарская поэтесса, автор многих стихотворных сборников: «Зимняя дорога» («Земен път», 1928), «Неспокойное время» («Неспокойно време», 1957) и др.

Стихотворение, публикуемое в номере, взято из сборника «Лирика», вышедшего в 1966 году.

■

Дж. БРЕННАН — G. BRENNAN.

Редактор еженедельника, выходящего в Ульстере (Северная Ирландия), Бреннан лишь недавно обратился к жанру научной фантастики.

В этом номере мы предлагаем вниманию читателей один из первых его рассказов, который в 1965 году был опубликован в американском журнале «Фантазия и научная фантастика».

■

РОБЕРТ ШЕКЛИ — ROBERT SHECKLEY (род. в 1928 г.).

Имя американского фантаста Роберта Шекли хорошо знакомо советским читателям, его рассказы часто публикуются в нашей периодике, включаются в сборники научной фантастики.

Первый сборник его рассказов «Нетронутый рукой человека» («Untouched by Human Hand») вышел в 1954 г., затем появились книги «Гражданин в космосе» («Citizen in Space», 1955), «Бессмертие с доставкой на дом» («Immortality Delivered», 1958), роман «Путешествие за пределы завтрашнего дня» («Journey Beyond Tomorrow», 1962).

Рассказ «Терапия» взят из сборника «Паломничество на землю» («Pilgrimage on Earth», 1956).

ЛОДОЙН ТУДЭВ (род. в 1936 г.).

Монгольский писатель, поэт и прозаик, автор сборников рассказов «Друзья» (1956), «Детвора» (1960), романов «Горный поток» (1960), «Кочевья» (1964) и других произведений.

Стихи поэта, публикуемые в этом номере, получены редакцией в рукописи.

■

УИЛЬЯМ ТЕНН — WILLIAM TENN.

Под этим псевдонимом пишет английский писатель Филипп Класс, автор нескольких книг научно-фантастического жанра. Наиболее известен его роман «О-II».

В этом номере мы публикуем рассказ, вошедший в сборник «Время вперед» («Time in Advance», 1963).

■

ЛЮБОМИР ЛЕВЧЕВ (род. в 1935 г.).

Стихи болгарского поэта Л. Левчева вышли несколькими стихотворными сборниками, последние из них: «Но прежде, чем состариться» («Но преди да остарея», 1965) и «Пристрастие» (1966).

В этом номере мы публикуем стихотворение «Железная перчатка», вошедшее в сборник «Позиция» (1962).

■

МОРИО КИТА (род. в 1927 г.).

Японский писатель, доктор медицинских наук, иногда выступает как писатель-фантаст. Наиболее известен его роман «Семья Нире». В 1960 году за повесть «В закоулках «Ночи и тумана» писатель получил премию Акутагава.

Рассказ «Машина времени» — первое произведение Морио Кита, публикуемое на русском языке. Он взят из японского журнала «Ору ёмимоно» № 5 за 1964 год.

■

АНХЕЛЬ АРАНГО — ANGEL ARANGO (род. в 1926 г.).

Кубинский писатель, поэт и прозаик, доктор гражданского права. Часто выступает как писатель-фантаст и кинокритик.

Публикуемые в номере новеллы взяты из сборника «Куда идут сефаломы?» («¿Adonde van los cefalomos?», 1965).

■

МИХУ ДРАГОМИР — MIHU DRAGOMIR (1919-1964).

Перу румынского поэта М. Драгомира принадлежат поэмы «Война» («Războiul», 1954), «Ода моей земли» («Oda pămîntului meu», 1957), сборник стихов «По бесконечным дорогам» («Pe drumuri nestîrşite», 1958) и другие произведения.

Стихотворение, публикуемое в номере, было напечатано в еженедельнике «Газета литерарэ».

АНТОН ДОНЕВ (род. в 1927 г.).

Врач по образованию, болгарский писатель А. Донев начал свою литературную деятельность в 1958 году. Им написаны несколько пьес, среди них: «Есть ли у вас двойник?» («Имате ли двойник?», 1959), «Тени» («Сенки», 1960) и др.

В этом номере мы публикуем рассказы, вошедшие в сборник «Фантастический юмор» («Фантастичен хумор», 1966).

■

СУМИТРАНАНДАН ПАНТ (род. в 1901 г.).

Творчество видного индийского поэта С. Панта кладет начало новому направлению в поэзии на языке хинди. Стихи поэта вышли несколькими сборниками, он — автор ряда поэм и пьесы.

В этом номере мы предлагаем вниманию читателей отрывки из поэмы «Локаятан», получившей в 1965 году премию «Фонда Неру».

■

СТАНИСЛАВ ЛЕМ — STANISŁAW LEM (род. в 1921 г.).

Творчество польского сатирика и фантаста Станислава Лема пользуется в нашей стране большой популярностью. Его произведения публиковались и в нашем журнале.

Статья, помещенная в номере, взята из сборника статей С. Лема «Выход на орбиту» («Wejście na orbitę», 1962).

АРМАН ЛАНУ — ARMAND LANOUX (род. в 1913 г.).

Читатели нашего журнала знакомы с творчеством известного французского писателя А. Лану по его роману «Майор Ватрен», опубликованному в № 8 за 1957 год.

Свою творческую деятельность Арман Лану начал как художник-иллюстратор, затем работал на телевидении и радио, писал для театра. Лану — автор нескольких романов, удостоенных различных литературных премий.

Статья «Мир 2000 года будет принадлежать похитителям огня» получена редакцией в рукописи.

■

РОБЕРТ ЮНГ — ROBERT JUNGK (род. в 1913 г.).

Австрийский ученый, публицист. Автор переведенной на русский язык книги «Ярче тысячи солнц» («Heller als tausend Sonnen», 1956).

В этом номере мы публикуем отрывок из его книги «Будущее уже началось» («Die Zukunft hat schon begonnen», 1952).

■

ЖАН МАРАБИНИ — JEAN MARABINI.

Постоянный корреспондент французского еженедельника «Ар», где и была напечатана публикуемая статья (4 мая 1965 год).

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР **Б. С. РЮРИКОВ.**

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ: **Б. Г. ГАФУРОВ, С. А. ГЕРАСИМОВ, Л. П. ГРАЧЕВ, С. А. ДАНГУЛОВ** (зам. главного редактора), **Е. А. ДОЛМАТОВСКИЙ, Т. А. КУДРЯВЦЕВА, Т. Л. МОТЫЛЕВА, Л. В. НИКУЛИН, П. В. ПАЛИЕВСКИЙ, М. И. РУДОМИНО, В. П. ТЕРЕШКИН, П. М. ТОПЕР, С. П. ЧЕРНИКОВА, М. А. ШОЛОХОВ, К. ЯШЕН.**

Художественный редактор **С. И. Мухин.** Технический редактор **Л. Д. Богданова**

А 02620. Сдано в производство 11/XI-66 г. Подписано к печати 17/I 1967 г.
Бумага 70×108¹/₁₆=9 бум. л.; печ. л. 18. Зак. 3822.

Типография «Известий Советов депутатов трудящихся СССР» имени И. И. Скворцова-Степанова, Москва, Пушкинская пл., 5.

Цена 80 коп.

ИНДЕКС 70394